

ТУБОР
ЦЕРЕМ



ХОЛОДНЫЕ

ГНУ







Повести и рассказы

Перевод с венгерского

Составление и предисловие Е. Малыхиной

Москва «Радио»

1985

ББК 84. 4 Вн

Ч 46

Череш Т.

Ч 46 **ХОЛОДНЫЕ ДНИ: Повести и рассказы.** /Пер. с венг. Составл. и предисл. Е. Малахиной.—М.: Радуга, 1985.—416 с.

В книгу видного современного писателя Венгрии вошли избранные повести и рассказы.

«Холодные дни», повесть, уже известная советскому читателю,—одно из самых ярких произведений в венгерской литературе о второй мировой войне. В другой повести—«Сын и враг человеческий»,—посвященной событиям осени 1956 г., автор поднимает глубокие нравственно-патриотические проблемы: об отношении человека к родине, к труду, о становлении человеческой личности.

Разнообразна тематика рассказов, представленных в сборнике.

Ч $\frac{4703000000-538}{030(05)-85}$ 5—85

ББК 84.4 Вн
Ч(Венг.)

© Составление, предисловие и перевод на русский язык, кроме произведений, помеченных в содержании знаком *, издательство «Радуга», 1985

Тибор Череш

ХОЛОДНЫЕ ДНИ

Составитель Елена Ивановна Малахина

ИБ № 1536

Редактор Е. Орлова
Художник П. Караченцов
Художественный редактор Е. Кудрявцева
Технический редактор Е. Скребнева
Корректор В. Лсбедева

Сдано в набор 21.01.85 г. Подписано в печать 28.07.85. Формат 84×108¹/₁₆. Бумага типографская № 1. Гарнитура «таймс». Печать высокая. Услови. печ. л. 21,84. Усл. кр.-отт. 21,84. Уч.-изд. л. 25,49. Тираж 50 000 экз. Заказ № 689. Цена 2 р. 90 к. Изд. № 882

Издательство «Радуга» Государственного комитета СССР по делам издательства, полиграфии и книжной торговли.
Москва, 119859, Зубовский бульвар, 17

Ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени МПО «Первая Образцовая типография имени А. А. Жданова» Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательства, полиграфии и книжной торговли. 113054, Москва, Ваволова, 28.

Предисловие

Тибор Череш принадлежит к старшему поколению прозаиков нынешней венгерской литературы. Он родился в 1915 году в трансильванском селе Дердьоремете; там, на берегу стремительной горной речки, прошли первые одиннадцать лет его жизни, там, среди крестьян-секеев, этой интереснейшей по самобытности этнической группы венгров, с особенной бережностью хранившей стародавние культурные и речевые традиции, получил он начальные впечатления бытия. Но теперь он уже давным-давно — с 1926 года — будапештец. В одном интервью на вопрос: «Откуда вы ведете свое происхождение?» — Череш ответил: «Происхождение — понятие неоднозначное. По крови я родом из Трансильвании, мои родители были секеи; ну а что касается мысли, то тут я родом из пештских библиотек».

Тяга к знанию заложена была в этом человеке колоссальная. Он рано почувствовал в себе поэтическую, писательскую жилку, в двадцать два года опубликовал стихотворный сборник, несколько новелл, доброжелательно отмеченных критикой, но жажда высказаться не умерила в нем, как это иной раз бывает, стремления знать. С основательностью, присущей и внешнему его облику — Череш высок ростом, широк в плечах, у него массивная скульптурная голова и умные, усмешливые глаза, — он дотошливо овладевал конкретными знаниями: окончил экономический факультет Будапештского университета, одновременно с увлечением прослушал весь курс философского факультета, интересовался сельскохозяйственными науками, посещал лекции по ветеринарному делу, знакомился и с медициной. Так что фраза, столь часто присутствующая в биографиях писателей: «Родители хотели дать ему юридическое (или медицинское, агрономическое) образование, однако он мечтал стать писателем», к Черешу не относится, по крайней мере первой своей половиной. Именно потому, что он хотел стать писателем (поначалу — скромнее — журналистом), Череш сознательно стремился сам обрести максимальную «остойчивость»: для человека его склада это было необходимое условие обретения внутренней свободы, то есть веры в себя, в свои силы, в зрелую осмысленность, нужность своего слова. Писатель, считает Череш, самым фактом своего писательства обращается к людям, иначе говоря, хочет быть полезным, нужным. Но сказать нужное возможно, лишь зная. Зная жизнь. Постаравшись как можно глубже в нее проникнуть, осмыслить в ней большое и малое, своими руками потрогать и крупницы, и глыбы, из которых складывается правда существования отдельного человека и общества.

Начав свой творческий путь в тридцатые годы, Череш за большую писательскую жизнь создал выдающиеся произведения венгерской прозы — романы на темы и современные, и исторические («Пожар в Ходреге», 1950, «Смертный грех», 1960, «Крыши Пешта», 1961, «Игроки и любовники», 1970, «Развратные статуи», 1979, «Я — Лайош Кошут», 1981, «Фокшаньское ущелье», 1984), ряд повестей, лучшие из которых — «Холодные дни» и «Сын и враг человеческий» — включены в настоящий сборник, а также рассказы, очерки, зарисовки, выходившие сборниками.

Череш — художник яркий и своеобразный. Манера его письма то простодушно проста, безыскусна, то, напротив, усложнена предельно. Первое — простота — характерно для его лирической, поэтичной новеллистики, истоки которой по стилистике своей восходят к романтике венгерского фольклора. Таковы рассказы «Танец», «Лист акации», «Ах ты, небо звездное!» и многие другие. Ясен, прозрачен его почерк и там, где материал рассказа требует иронического прищипа («На курсах», «Фазан, жених»), а то и бичующей сатиры («Настоящим поручается...»). Но рассказ — это ведь короткая сценка, эпизод. Когда же писатель берется за большое социальное или историческое полотно, весь его облик вдруг словно меняется, он пишет жизнь множеством красок, со многих сторон одновременно старается охватить ее взглядом и не только не вытягивает в удобообозримую линию все то, что свершается на разных жизненных сценах симультанно, а, напротив, как бы подчеркивает необозримую сложность взаимосвязи явлений в жизни человека и общества. Одним словом, он вовсе не стремится «облегчить жизнь» читателю: чтобы понять нынешний мир, сказал он в одной беседе, читатель тоже должен трудиться, не искать легких дорог, подсказанных ему, он должен сам уметь разобраться в жизненном море, найти свою дорогу к истине. От себя же Череш требует искренности, точного знания фактов и такого художественного решения, которое каждый раз помогает наиболее полному изображению жизни. Читатель настоящего сборника получит некоторое представление об этом кредо автора, познакомившись с двумя повестями Череша, небольшими, но необыкновенно емкими по заключенному в них жизненному материалу.

Одна из главных тем творчества Тибора Череша — венгерская деревня. Писатель глубоко, как бы изнутри, понимает крестьянина, знает его психологию и нравственные устои. С особой пристальностью наблюдает Череш за теми изменениями, какие произошли в реальной жизни деревни и в душевном мире крестьянина после освобождения Венгрии от фашизма, когда закладывались первые основы новых социальных отношений и трудно, но необратимо рождалась социалистическая деревня. Одним из самых сильных произведений венгерской литературы на эту тему стала повесть Череша «Сын и враг человеческий» (1959). Правдивая, психологически убедительная, точная, эта

повесть при всем ее лаконизме воссоздает целую эпоху в жизни Венгрии, эпоху и радостную и трудную. И может быть, особо трудную для крестьянства, которому надо было за кратчайший исторический срок и осуществить вековую мечту о своей, *собственной* земле, и — расстаться с ней, по крайней мере в той ее форме, какая была привычна веками воспитанному пониманию собственности. Эти муки крестьянской души знакомы нам по «Поднятой целине» Шолохова. Проходит этот очень нелегкий путь и Фабиан, герой повести Череша. Трудно, драматично, через годы обиды и горя приходит к нему осознание того, что новые законы жизни села обещают в конечном итоге более светлую, менее изнурительную — достойную жизнь. Не сумев сам встать над своей бедой, забыть пережитую горечь утраты собственными руками возвращенного сада — своими же ожесточившимися руками и вырубленного! — Фабиан понял одно: сын его должен жить по-новому, новая Венгрия даст ему и место под солнцем, и радость, каких уже не сумеет познать он сам. И когда достопамятной осенью пятьдесят шестого года контрреволюционеры приходят в село, а с ними вместе оказывается и подхваченный контрреволюционной стихией сын, для Фабиана это страшнейший удар. Он понимает: его шестнадцатилетний сын запутался, он на ложном пути, его надо остановить во что бы то ни стало. И перед всем селом Фабиан бьет завравшегося парнишку по лицу. Увы, не сумел он остановить, удержать родное дитя, унесла его сумятица и неразбериха в дальние страны, оставив в сердце родителей незаживающую рану: неверности дому, родине Фабиан сыну не простил.

Эта повесть, написанная с большой художественной силой была высоко оценена венгерскими читателями и критикой.

Другой важнейшей в творчестве Тибора Череша темой стала война. Писатель-гуманист по всему своему складу, он все-таки сам был вынужден принять в ней участие, и сознание непоправимости беды, какую несет война людям, народам, человечеству, неотступно преследует его. Череш считает, что каждый народ должен прежде всего сказать себе правду в глаза, какой бы горькой она ни была. Сам Череш нашел такие силы в себе и создал в 1964 году уже известную советскому читателю повесть «Холодные дни», — повесть об ужасах, вершителями которых, кто вольно, а кто и невольно, становились в годы войны венгры, одетые в хортистскую форму. В мире известна трагедия, разыгравшаяся в населенном сербами краю: в 1942 году по прямому требованию немецких фашистов и при согласии хортистского военного руководства там было произведено массовое уничтожение сербов, евреев и других «неарийцев». Вот эту страшную историю и воссоздает на страницах своего произведения Череш.

Путь автора к выявлению глубинной сути преступления не прямолинеен, не публицистичен — сложен. Писатель «слышит» и

«озвучивает» для нас своеобразный квартет — это «внутренние» голоса четырех участников пресловутого массового уничтожения ни в чем не повинных людей: в следственной камере тюрьмы — война уже окончена — четверо обвиняемых, лишь изредка перебрасываясь между собой короткими репликами, вновь и вновь прокручивают в своей памяти роковые события, в которые они были включены как исполнители. Именно на этом основании — что они лишь исполнители и мнения их никто не спрашивал — они (майор, старший лейтенант, фенрих, унтер-офицер) поначалу всячески отталкивают от себя мысль о своей личной ответственности, даже в собственных глазах стараются не признать свою вину, как щитом загораживаясь от страшной правды затверженными формулами: «долг солдата», «воинская дисциплина»... Тем более что лично каждый из них никакой инициативы не проявлял, не зверствовал, как иные. Однако же с каждым днем думать об этом им все страшнее — и не столько от мысли о возможном возмездии, сколько от медленно просыпающегося в тех из них, кто еще способен мыслить и чувствовать, осознания глубокого своего человеческого ничтожества. Ибо, выполняя так называемый «воинский долг», они предали в себе человека и стали тем самым на сторону врагов человечества.

Несправедливая война, говорит Череш своей повестью, необратимо убивает человеческое в человеке, душит в нем совесть и чувство ответственности; несправедливость, жестокость порождают ответное зло, и нет на этом пути выхода из порочного круга. Череш не раз потом возвращался в своих произведениях к этой мысли. В рассказе «Человек из Бездана» (1970) он поведал именно об ответном зле, когда в деревушку Бездан, едва откатился фронт, ворвались устали и уничтожили поголовно всех жителей села, хотя в ту пору в деревушке оставались лишь женщины, старики, дети. Зло надо остановить, взывает Череш, для этого надо во всем разобраться, всем посмотреть правде в глаза. Только в этом — спасение человечества.

В 1985 году Тибору Черешу, выдающемуся мастеру венгерской прозы, исполнилось семьдесят лет. Это сильный, мужественный человек, много думавший о жизни, много о ней знающий. Ему есть что сказать людям, и он полон творческих планов. Недавно вышел его новый исторический роман — «Фокшанское ущелье». Череш — в работе. Дальнейших ему свершений!

Е. Малыхина



noeum

«ХОЛОДНЫЕ ДНИ»

Перевод О. Громова. Редактор В. Середа

«HIDEG NAPOK»

Budapest, 1964

«СЫН И ВРАГ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ»

Перевод Е. Малыхиной

«EMBER FIA ÉS FARKASA»

Budapest, 1959

ХОЛОДНЫЕ ДНИ

Вместе

— И как это им удалось сосчитать мертвецов? Просто нелегко! Три тысячи триста девять! Из них двести девяносто девять престарелых! Непостижимо! Что значит «престарелых»? И кто может это установить? Тем более задним числом. Вам это понятно, господин капитан? Ведь при таком морозе и невозможно было различить людей среднего возраста, пожилых и престарелых. Да простит меня общество...

Под обществом Поздор имел в виду троих заключенных, находившихся с ним в одной камере. Его рассуждения затихали в тесных четырех стенах, не отражаясь от них эхом. Вверху — окошко, напротив — дверь. Все очень примитивно.

— Холодно, — проговорил Сабо, самый закаленный из них, как бы в ответ на слова Поздора. А между тем на дворе стояло лето и окошко, на их счастье, выходило на юг, так что даже в конце зимы сюда постоянно, хоть и ненадолго, заглядывало солнце. Сейчас оно скользит мимо. Только узкая золотая полоска виднеется на карнизе; правда, она остается там в течение всего дня, так как солнце стоит высоко и его лучи падают на крышу почти отвесно.

— А зимой вам не было холодно? — спросил Поздор.

— Нет, зимой я обычно не мерзну.

Они снова помолчали. Поздор ждал, что и остальные двое вступят в разговор. Старший лейтенант речной флотилии мог бы заговорить, но промолчал.

— Странный вы человек, Сабо. Вы и *тогда* не мерзли?

На это можно было ответить и не задумываясь. Но Сабо все же помедлил.

— Нет, *тогда* мерз. На второй день, на рассвете.

Все ждали, что он продолжит рассказ. Ждали с любопытством, но на этот раз даже Поздор не стал задавать вопросов. Почему всегда только он? А эти двое только куражатся!

Такая строптивость появилась у него совсем недавно. Он даже руку положил на грудь, словно желая нащупать это свое упрямство. Да, он чувствовал, что где-то над сердцем, в груди, оно сидит. Нет, назло всему — нет!

Тут ему пришло в голову, что он, видно, обидел Бюки,

назвав его капитаном, хотя тот уже третий год был майором (а может быть, даже четвертый). И как он мог это забыть? Наверно, потому, что не видел его в этом чине. Другой батальон! Разумеется. И пути их разошлись. Все же Бюки под самый конец сумел получить майора. Это тоже злило его. «А я остался фенрихом*! Обо мне даже прохвост Салаши и тот позабыл! Ну а теперь уже поздно...»

— Самая большая беда была в том, что он не разрешил вызывать семьи. Для тех, кто привык к семейной жизни, это было невыносимо! Я даже хотел доложить господину полковнику, но...

Бюки редко говорил так много. И хотя сейчас он был без формы, слова его воспринимались как нечто высказанное старшим по званию; поэтому, слушая его, остальные на какое-то мгновение как бы потеряли способность размышлять. Несмотря на то что все были в штатском, в душе они оставались по-прежнему военными.

— Конечно, ведь он был холост,— поддакнул Поздор, сначала уловив эту разницу и лишь потом сообразив, что Бюки просто не удалось доложить о своих соображениях полковнику. Впрочем, если полковник был холост, удивляться тут нечему.

У старшего лейтенанта эти рассуждения вызвали недоумение.

— А ведь беда-то стряслась пострашнее,— заметил он.

Бюки глубоко вздохнул и горестно покачал головой.

— Что ты знаешь, Тарпатаки! И все те господа, которые попали в гарнизон в тот день. Или, точнее говоря, на те дни.

Тарпатаки удивленно пожал плечами, но не стал продолжать спор, хотя только он осмеливался возражать старшему по чину. Но он был уже сыт по горло этими спорами, которые всякий раз заканчивались тем, что Бюки, разозлившись, переходил с ним на «вы», как бы желая подчеркнуть свое старшинство.

— Не правда ли, Поздор?— обратился к фенриху Бюки чуть ли не подобострастно, но тут же одумался: — Хотя ты ведь тоже холостой. Разве тебе понять!

— Но я-то женат!— спокойно заметил Тарпатаки.

Бюки побагровел, вскочил с топчана, на котором лежал, подложив себе под голову вместо подушки кулаки. Описав рукой несколько кругов, он гаркнул:

— Я запрещаю!— И с отчаянием человека, наносящего удар, хрипло повторил: — Запрещаю.— Рука его бес-

* Фенрих—младшее офицерское звание в хортистской армии.—
Здесь и далее примечания переводчиков.

сильно опустилась, и голос захлебнулся. Внезапно Бюки повернулся к окну и сцепил руки за спиной.— Заметьте себе, господин старший лейтенант, что больше я с вами не разговариваю!

Нельзя сказать, чтобы для Тарпатаки были в новинку эти вспышки Бюки, но никогда еще они не оканчивались подобным образом. «Господи, хоть бы успокоились его руки—так и терзают одна другую»,—подумал Тарпатаки. Они как бы заслоняли всего Бюки. Тот стоял у окна, а вернее, под окном, до которого почти невозможно было дотянуться.

— Вам понятно?!—гаркнул майор срывающимся фальцетом.

— Так точно,—ответил старший лейтенант и, помедлив, даже прищелкнул каблуками.

Такая вспышка гнева была непонятной, ошеломляющей.

Поздор чувствовал, что сейчас лучше перевести разговор на другую тему. Он был выходцем из крестьян, земли у них было десять хольдов; правда, и детей было шестеро. Но все же десять хольдов... Поэтому после восьми классов школы он попал в училище. Однако по окончании его не смог получить место учителя и пошел в армию. Когда ему предложили остаться на сверхсрочной, он остался, а потом изъявил желание пройти испытательный срок кандидата на офицерский чин.

И он перевел разговор на прежнюю тему:

— Невероятно, чтобы их сосчитали. Ведь сколько еще пошло под лед, утонуло. Верно? Все это можно только прикинуть. Впрочем, и то вряд ли, ведь учетные листки...

Бюки повернулся к нему и потряс кулаком.

— Довольно! Хватит!—И, схватив стул, замахнулся им над головой.

Поздор прикрыл лицо рукой. Он настолько оторопел, что даже не догадался вырвать у Бюки стул.

Два грубо отесанных, сбитых из досок акации стула дополняли их мебель.

Наверху, звякнув, лопнула лампочка. Бюки испугался и выпустил из рук стул. Затем сел на топчан и уставился в пол.

Сабо часто не улавливал всех оттенков в беседе и сейчас заговорил лишь потому, что долгое молчание угнетало его.

— Холодно, в бога мать,—коротко бросил он.— Время жатвы, а я мерзну!

Зиму и весну они провели вместе.

И по сей день им непонятно, почему именно они вчетвером оказались здесь. Сначала они настороженно

присматривались друг к другу. Каждому хотелось по поведению остальных угадать свою судьбу.

А вдруг все это просто случайность? Что именно они вчетвером...

К сожалению, это казалось вполне возможным.

А если и так, то почему им не извлечь из этого хоть какой-то урок. Или по крайней мере почерпнуть сил, чтобы все перенести.

Если бы можно было верить друг другу... «Я с радостью выслушаю других, их муки, но умолчу о своих» — примерно так думал каждый из них.

Только кто может это выдержать? И до каких пор? Зима и весна — срок немалый. Много воды утекло. И каждый из них нет-нет да и принимался рассказывать...

Унтер-офицер Сабо по сравнению с остальными оказался в лучшем положении: он не был связан словом и говорил что бог на душу положит. Когда одно, а когда — другое. Если же его ловили на этом, он всегда выкручивался: «Так ведь я же говорил то, что слышал... А теперь говорю то, что было на самом деле!»

Позднее он уже только смеялся и отмахивался, если его уличали во лжи. Чаше это удавалось Тарпатаки. Ему достаточно было поводить указательным пальцем у Сабо перед носом, как тот хитро подмигивал: «Все, все, молчу, господин старший лейтенант, молчу!»

Сабо не мог привыкнуть к полному чину Тарпатаки: «старший лейтенант речной флотилии», тем более что тот был без мундира.

Минули зима и весна, а Сабо отваживался заговаривать без разрешения только тогда, когда трое офицеров начинали беспрерывно зевать, устав от долгого молчания.

Но мерзнуть он стал лишь летом.

На услуги его особенно не рассчитывали. Если он подметал, так ведь делал это и для себя.

Однажды он неведомо откуда раздобыл пузырек с палинкой. На виду у всех он потряс пузырек, наполненный, по-видимому, лишь до половины, и вылил его содержимое в рот. Смакуя, он не проглотил водку, а стал ее гонять во рту языком, как перебрасывают лопатой прелое зерно.

При этом Сабо даже глаза закрыл от удовольствия. Запах, крепкий запах палинки, распространился по камере, и Поздор сильнее других ощутил неудержимое желание выпить. «Да глотайте же вы, черт побери!» — воскликнул он. Сабо вздрогнул и словно очнулся. «Что? Что?» И вдруг увидел, что остальные с жадными, перекошенными от злобы лицами глотали... воздух. Впрочем, достаточно было взглянуть на Поздора. «Ну!» Сабо

неожиданно открыл рот, прижав к небу язык, чтобы все могли убедиться: во рту ничего нет. Были видны только гнилые зубы.

Бюки что-то пробормотал. Нечего-де было смотреть на этот фокус. А может быть, что-то другое. Сабо слышалось, что тот сказал: «Сволочь, свинья!»

Он вспылil: размахивая руками и брызжа слюной, принялся честить последними словами господ офицеров (он и Поздора причислил к ним), угрожал им и изливал на них целые потоки брани и похабных выражений, слышанных когда-то от фельдфебеля.

Через несколько минут, видя, что никто ему не отвечает и никто не защищается, Сабо неожиданно умолк.

Он глубоко вздохнул и, облизнув языком уголки рта, сглотнул драгоценную слюну, в которой еще чувствовался привкус палинки и которую он только что так неэкономно расходовал, озлобясь.

Сабо сел, потом растянулся на топчане и тут же захрапел. Господа офицеры не стали обсуждать случившееся. Ни тогда, ни после. Лишь спустя несколько дней Поздор обронил как бы между прочим: «Но где он все-таки раздобыл это зелье?»

А время шло, и протекало оно не в ссорах, скорее миролюбиво. Не преувеличивая, можно сказать: в сочувственном выслушивании друг друга.

Впрочем, и это не совсем верно и не совсем так. Бывали долгие дни, когда четверо заключенных не обменивались друг с другом ни единым словом. Порой казалось, что они и думать-то перестали. Каждый механически совершал привычные для него действия. Бюки вытягивался, как столб, под окном, потом, с заложенными назад руками, всем своим видом подчеркивая свое старшинство, отправлялся «на прогулку»: три шага вперед, три назад.

Тарпатаки по несколько раз в день и в самые неожиданные моменты делал зарядку: упражнения для рук и иногда приседания. Потом, сцепив кисти рук, начинал что-то про себя бормотать—то ли о прошлом, то ли о будущем. Поздор почти не двигался. Ему не требовалось много места: через каждые четверть часа он похрустывал пальцами рук, словно пытаясь обрести этим душевное равновесие. Сабо принимал к маленькому застекленному окошечку двери, стараясь угадать, что творится за нею. Не оборачиваясь, он делал знак рукой, чтобы остальные не нарушали тишины и не пугали его видений.

Но остальные трое и не следили за ним. К тому времени, когда выпал снег, они вообще уже не обращали внимания друг на друга. Каждый делал, что хотел, не

вызывая ни у кого любопытства. И только замечание, громкий окрик могли вывести их из состояния апатии и обреченности.

И хотя они всегда (за редким исключением) говорили об одном и том же, в роковой цепи тех дней—среды, четверга и пятницы—каждый из них мог определить лишь свое собственное положение...

— Его превосходительство...

— Фекетехалми?

— Ну да, он же Цейднер.

— Он крепко связал нас честным словом...

— Конечно. Но разве тут удержишься... Многие даже хвастались тем, что были там. И что там видели. Да и трудно забыть, хотя прошло уже четыре года.

— Верно, пошел уже пятый.

— И все же удивительно, как могли сосчитать...

— Что?

— Да трупы. В воде. Это невероятно.

А могли бы они говорить о другом?

Разумеется. Тарпатаки попытались организовать «курсы итальянского языка». Напрасно. Тогда он стал рассказывать об истоках венгерских народных песен. А когда узнал, что все, за исключением Поздора, католики, решил освежить в их памяти обряды этой религии и растолковать суть каждого обряда. Однако Сабо не проявил к этому, хотя бы из вежливости, ни малейшего интереса. Зато он знал много анекдотов, в основном о цыганах, и, когда у них бывало хорошее настроение, Сабо их рассказывал. При этом он первым смеялся, не доходя до «изюминки». И, только насмеявшись вдоволь, заканчивал анекдот.

Лишь один-единственный раз—после неожиданно приличного обеда—господа офицеры засмеялись, и смеялись заразительно, но и то не над шуткой, а над самим Сабо.

Он заметил это. И обиделся. А их удивила его обидчивость.

Но стоило упомянуть кому-либо из них о тех днях—среде, четверге и пятнице—хотя бы вполголоса, в комнате все замирало—тут уж не до шутки, не до песен, которые они порой тихо напевали с легкой руки Тарпатаки. Не вылезал и Поздор со своей репликой: «Лютер был умнее папы!»—все, что осталось у него в памяти от уроков закона божьего. Обмениваясь мнениями, воспоминаниями, офицеры обращались друг к другу, не называя чина. А если уж называли, на это были веские причины.

Сабо поначалу с трудом включался в разговор, но он постоянно что-то обдумывал и всегда имел свое мнение, которое, правда, излагал не всегда впопад.

А когда его слова были к месту или когда разговор как раз и затевался для него, то он бормотал что-то невнятное. Но если ему становилось ясно, о каком дне говорят остальные, он с радостью выкладывал все, что помнил, рассказывая, что он тогда делал или что с ним произошло.

Однако часто господа офицеры шептались между собой, особенно если майору приходило что-то на ум. Иногда даже и господин фенрих Поздор, удобно примостившись в углу, понижал голос до шепота.

Интересно, что старший лейтенант, или как там его называют, старший лейтенант речной флотилии, всегда выражался громко, ясно и понятно. Он мало заботился о том, обращают ли «нижние чины» внимание на его муки и на испытываемое им чувство стыда или нет.

А Сабо всегда обращал на все внимание. Особенно он напрягал слух, когда Бюки рассказывал что-нибудь очень тихо.

Выходит, что дело совсем не в том, у кого какой чин, не от этого зависела секретность разговоров. Потому что господин фенрих так до конца и остался младшим офицером.

Про себя же Сабо, когда погружался в свои мысли, только одного Поздора называл, как положено, господином фенрихом, так как, будучи новобранцем, служил под его началом. И хотя время это кануло в прошлое, от давней привычки он никак не мог отделаться.

Если его не спрашивали или если его мысли были далеки от темы разговора, он молчал. Но про себя он ничего не оставлял без внимания. И слух его уже по прошествии нескольких недель настолько обострился, что даже сказанное в самом отдаленном углу камеры обретало для него форму и смысл.

Бюки

Ошибочные, неправильные распоряжения всегда были и всегда будут. Но тогда давайте выясним, что позволительно, а что нет. То, что противоестественно, не может оставаться в инструкциях. А если все же остается, порождает скрытничанье и обман. Ведь это чистейшее безумие, если однажды тебе говорят: «Не рекомендуется», а в другой раз заявляют: «Я ведь уже однажды запретил это!»

Даже руководствуясь самыми благими намерениями, это нельзя выполнить. А тем паче если рекомендация или указание противоестественны. Тут-то и начинаются недоумки да обман.

И вот такие полуофициальные распоряжения, получаемые господами офицерами, были нередки. А ведь они имели силу приказа.

Тебе нужны примеры? Я тебе приведу один, а остальные ты и сам сможешь добавить.

Где ты должен жить? Если у тебя хватит денег — в гостинице. Но нужно быть дураком — лезть в гостиницу, когда к твоим услугам сколько угодно меблированных комнат. Ну вот теперь и выбирай! У венгра маленькая, бедно обставленная комнатка где-нибудь на окраине. Швабы не сдадут тебе, даже если у них есть лишняя; остаются только сербы да евреи.

Это все так; но что было сказано в секретном приказе по гарнизону? «Не рекомендуется снимать квартиру у жителей сербской и еврейской национальностей!» И тебе остается либо пропустить это мимо ушей, либо не почувствовать у еврея запаха или не заметить у серба его венгерского произношения. А если и запаха нет, и произношение без акцента? Тем лучше. Ведь не пристало квартиросъемщику спрашивать у хозяина квартиры документы. Была бы комната хорошая да уютная и обслуживание деликатное, предупредительное, вот и будешь себя чувствовать так, словно живешь среди венгров.

Сначала устроишься, а потом, недели через три, уже и стыдно спрашивать у хозяина, какого он вероисповедания и какой у него родной язык!

Впрочем, я-то знал, что мой хозяин квартиры — еврей. По его внешности это было сразу видно. А о жене его и не скажешь. Когда я написал об этом своей жене в Дёр, она язвительно ответила мне: чего ради я защищаю еврейку, уж лучше бы промолчал, а так-де только сам на себя навлек подозрение...

Этим я хочу лишь подчеркнуть, что моя жена происходит из очень верующей католической семьи и от рождения была антисемиткой; я же — нет, и, хотя с первого взгляда понял, с кем имею дело, я без колебания снял у них комнату, не интересуясь происхождением хозяина квартиры. Что же касается упоминания в одном из первых писем домой о том, что хозяйка совсем не похожа на еврейку, то тут я, конечно, промахнулся. Ибо из этого моего замечания жена заключила, что я в восхищении от хозяйки, считаю ее красивой и вообще она мне нравится. Да еще надо было мне, дураку, в том же или в следующем письме сболтнуть, что муж ее — коммивояжер и часто бывает в отъезде (ну о чем еще другом прикажете писать каждые два дня, если о самом себе ничего писать нельзя — военная тайна. Вот и описываешь квартирные новости, чем питаешься да как перевариваешь пищу).

Забыл я, правда, написать о том, что у хозяев есть восьмилетняя дочь, что наверняка успокоило бы мою жену.

Это всего лишь один пример, но зато характерный для распоряжений коменданта города. Впрочем, тут удивляться нечему: если мужчина дожил до пятидесяти лет и не женился, то все его действия и распоряжения, касающиеся личной жизни, почти всегда будут нездоровыми, противоестественными.

Холостой человек, а тем более армейский офицер, да еще в старшем чине, может и так иметь столько женщин, сколько его душе угодно. А если он к тому же комендант города, располагающий неограниченными средствами на представительские расходы, то может без счета менять любовниц, рекомендуя при этом остальным господам проявлять осмотрительность и осторожность.

Не люблю придирааться по мелочам, но и сейчас, спустя много времени, стоит мне вспомнить эти его указания и распоряжения, как мною овладевает ярость!

Но позвольте уж мне еще кое-что вспомнить! Ведь это неслыханное дело — не только лишить женатых офицеров рождественского отпуска, но даже запретить им отлучиться на два дня!

«Выполнение моего распоряжения я проверю посредством объявления тревог для господ офицеров», — посулил он.

Но больше всего возмутило многих офицеров его решение, запрещающее офицерским семьям — «впредь до особого распоряжения» — переезжать в гарнизон. «Лица, нарушившие настоящий приказ, будут привлечены к дисциплинарной ответственности».

Ему, холостому, разумеется, легко было издавать подобные распоряжения. А у нас в батальоне кое-кто из офицеров возбудил бракоразводное дело. Потому что наиболее темпераментные господа офицеры придерживались одного из двух распоряжений коменданта. Самой собой разумеется, большинство из них нарушали указание о соблюдении осмотрительности и осторожности в половом вопросе... А Грашши, видимо, представлял себе, что все мы будем жить как монахи.

Я был командиром учебной роты новобранцев. Первый этап учебной подготовки к рождеству закончился. И можно было спокойно дать отпуск всем семейным офицерам! Но он не сделал этого — ведь его любовницы были все в городе.

Я, помню, сказался больным. И когда в ночь на

четвертое января объявили тревогу, я не явился. Разумеется, я был совершенно здоров, но рассудил по справедливости: если ты поступаешь с нами так, то и от меня не жди другого.

Однако меня все-таки вытащили на свет божий: командир батальона сообщил мне, что назначает меня командиром остающегося подразделения, так как сам он выступает с частью, которую отправляют на выполнение боевого задания. (Он, правда, не сказал, но я-то знал, что многие, в том числе и он сам, рассчитывали на боевые награды!)

Более двух недель я чувствовал себя командиром батальона: когда я прибывал в казарму, дежурный отдавал мне рапорт перед строем. Если мне было нужно, я вызывал к себе офицеров на беседу. Единственное, чего я не мог,—это отпустить самого себя в отпуск, потому что господин полковник не отменил запрета и даже не покинул гарнизона. Каждый день он выезжал в район проводимого «прочесывания» на своем черном отапливаемом лимузине. Куда бы он ни ехал, его сопровождала мощная охрана. Этим я хочу только подчеркнуть опасность положения. Но разумеется, каждый день он возвращался назад.

Когда же прошло шестнадцать дней, мне даже показалось странным, что я снова всего лишь командир роты. Но еще более странным было то, что я, по сути дела, и командиром роты уже не являюсь, так как строевой расчет и раскрепление по подразделениям командиров оставили на последующие дни в таком виде, как это было там, в районе «прочесывания». Это было обидно, и хоть я и смолчал, но решил подать жалобу. В довершение всего меня откомандировали в штаб дивизии, в банский* дворец, на постоянное офицерское дежурство. Получив этот приказ, я в первый момент не знал, что предпринять: подать ли жалобу сразу, без промедления, или воздержаться, рассматривая свое назначение в штаб как повышение.

Но на второй, а тем более на третий день я уже обо всем позабыл.

Сабо

(Нет, подумать только! Он и не заметил, что было холодно. В бога мать его, даже словом не обмолвился об этом! Потому что не мерз. Но мы-то, те, что стояли в

* В Югославии в 1931—1941 гг. бан—наместник каждой из 9 областей (бановин).

карауле, ох как мерзли. Особенно на рассвете второго дня. После четвертого января нас осталось так мало, что в полдень мы сменялись, а назавтра в это же самое время снова заступали в наряд. Впору только сбросить ремень да проглотить из котелка обед. Чаше всего даже умыться не хотелось, только бы растянуться на койке и задать храпака. Печку в помещении для рядовых в это время топили не скупясь: мы получали дрова за выехавших в «район» и отсутствующих. Когда горнист трубил на ужин, мы вставали, ели и умывались на ночь, и то если была охота. А потом снова можно было спать до подъема. Но мы много играли в карты. Уйти никуда было нельзя. А с наступлением темноты тем более, потому что даже в приказе было сказано: сербы, мол, разбрасывают печатные листовки и угрожают пустить кровь всем трусливым гонведам*. Это они нас так обзывали; и все же даже и днем на улицах мы старались держаться ближе к краю тротуара, всегда имея наготове холодное оружие — винтовочный тесак — для самообороны, на случай если из каких-нибудь ворот на нас внезапно нападут. Конечно, если бы в нас кто-то выстрелил — из окна или из-за дерева, — нам пришлось бы проявить всю свою расторопность, чтобы суметь защититься тесакими. Ведь пистолетами у нас были вооружены только пулеметчики. Даже у моего командира отделения, унтер-офицера Дорнера (а я тогда топал в рядовых), как и у остальных солдат, была лишь винтовка... И все же это слишком: за две недели господин Бюки даже не заметил мороза, в бога мать его! А мы околевали от холода, патрулируя по городу!)

Тарпатаки

А у меня не было квартиры. Да и места на постой не было! Я прибыл утром и оставил на вокзале оба своих чемодана. Это обернулось для меня довольно скверно; но разве я мог предвидеть! Я явился в городскую комендатуру — чудак, сразу же заявился. Меня тут же отправили на офицерское совещание. Информация об обстановке, определение задач. Какой дьявол мог знать, что из этого получится! После того как всем были даны задания, начальник штаба спрашивает: «Кто из господ офицеров не получил назначения?» Я встал: «Только что прибыл, даже багаж оставил на вокзале!»

Наверно, мне следовало бы сначала объяснить, что я

* Гонвед (букв.: защитник отечества) — название рядового венгерской армии в середине XIX — первой половине XX в.

получил сюда перевод из Хароша — с первого января, — но в связи с тем, что у меня еще оставались дни отпуска за прошлый год (и именно поэтому!), я прибыл только сейчас. Итак, я явился к новому месту службы, но не знаю, где остановиться. Впрочем, объяснять все это было бы слишком долго.

И вот результаты недомолвки или неправильного толкования моих слов начальством не замедлили сказаться.

«Господин старший лейтенант, следовательно, примет командование над смешанным подразделением вокзала!»

Спорить или протестовать не имело смысла. К тому же ведь мой багаж ожидал меня на вокзале. Во второй половине дня я проехал на станцию, но тогда еще я никому не мог приказывать. Что, если пойти в казарму речной охраны? Но этим я только усложню положение. Гостиница? В поезде мне называли ее: «Дундьёрски». Это единственное место, достойное офицера. На пролетке я отвез туда чемоданы. Их уже внесли в вестибюль и поставили около стойки портье, когда администратор сокрушенно развел руками: «К сожалению, предоставить вам комнату могу только с разрешения городской комендатуры. А вообще-то гостиница переполнена. Но с разрешения комендатуры, разумеется...»

Напрасно я совал ему двадцать пенге*, большего я все равно не добился.

Тем временем уже стемнело. Правда, чемоданы мои в гостинице взяли на хранение.

Гостиничные портье имеют обыкновение давать адреса частных квартир, когда нет свободных номеров. На этот же раз они с сожалением сказали, что хороших адресов у них нет и они не могут брать на себя никакой ответственности. «Соблаговолите попытать счастья в казарме речной охраны».

Однако они тут же добавили, и, как мне показалось, с некоторым злорадством: «Конечно, комнаты для офицеров в казарме нет, и рассчитывать можно только на размещение в комнате для рядового состава либо вместе со сверхсрочниками. Или в какой-нибудь маленькой неотапливаемой комнатенке».

Пожалуй, самое лучшее, если я попробую устроиться на квартире у кого-нибудь из офицеров речной флотилии — моих товарищей по гарнизону.

Я тотчас же мысленно перебрал всех офицеров, соображая, с кем из них я пожелал бы, пусть даже всего несколько дней, дышать одним воздухом. Я был знаком

* Пенге — денежная единица в Венгрии в 1925—1946 гг. (до введения форинта).

со многими, но друзей среди этих господ у меня не было. Ни одного!

Как я уже сказал, наступил вечер. И тут мне пришло в голову: а что, если я попробую найти комнату по объявлениям, которые обычно выставляют в окнах или вывешивают на воротах?

Но припиленные кнопками бумажки предлагали детские коляски, коньки, двустворчатые гардеробы, ручные тележки. Объявления о сдаче комнаты нужно было смотреть в окнах. Однако меня обескураживали испуганные лица. В первом доме, куда я зашел, дверь мне открыла плоскогрудая женщина, вся закутанная в серый шерстяной платок. Показывая мне дрянную комнатенку, она дрожала всем телом и судорожно глотала воздух, так что я не понял даже, потому ли она так боится, что говорит на ломаном венгерском, или же со страха у нее все слова путались и коверкались. Трое детей, прижавшись к стенке, смотрели на меня, вытаращив глазенки. Они внимательно следили за каждым моим движением с того момента, как только я вошел, и до той самой минуты, как вышел.

Наверное, уже тогда, накануне первого дня, они знали или предчувствовали что-то.

Комната мне тоже не понравилась (вход в нее через кухню), и, махнув рукой, я решил бросить поиски и поспешно вернулся к своим чемоданам, то есть в гостиницу «Дуньдёрски».

Снова я принялся умолять портье дать мне комнату.

— Вы сообразовалили принести разрешение от коменданта? — спросил он, полагая видимо, что за время отсутствия я вполне мог получить его в комендатуре. Портье удивился, да и я сам удивился: почему я, действительно, не слетал в банский дворец за этой бумажкой? А таких там, заранее отпечатанных, наверняка лежит целая груда, только проставить дату: 20.01.42 — и вписать мою фамилию.

Дежурный по гарнизону офицер, какой-то майор, заставил ждать себя, а потом, вместо того чтобы, перейдя на дружеское «ты», дать мне направление в гостиницу «Дуньдёрски», заорал на меня:

— Господин лейтенант! Почему вы не явились в свою часть?

У меня не было никакого желания ни спорить с ним, ни объяснять ему что-либо, так как я страшно продрог. Вот когда я действительно заметил, что стоит жуткий мороз.

— А вообще-то, — смягчился несколько дежурный по гарнизону, поняв по моему виду, что я отчаянно замерз, —

есть тут одна комната для офицеров на восемь коек. Насколько мне известно, еще не все прибыли и есть пока свободные места.

Я нижайше поблагодарил дежурного, и вот уже солдат из караула повел меня длинным коридором в общежитие.

В комнате было действительно восемь коек, а главное—не сбылись мои опасения попасть в необжитое, нетопленое помещение. Здесь было достаточно тепло и, кажется, пятеро готовились ко сну—все офицеры. Для меня нашлась бы и свободная кровать, но я кивком головы поздоровался с полураздетыми мужчинами (освобождая тем самым себя и их от необходимости представляться друг другу), а затем, прищелкнув каблуками, еще раз отвесил поклон и вышел из комнаты.

Как бы я ни промерз, все равно не смог бы влиться в это «товарищество». Еще в пору, когда я был новобранцем, меня воротило от общества спящих, храпящих и хрипящих людей. То, что вот теперь мы тут вчетвером вместе,—это, наверно, самое вынужденное в моей жизни совместное проживание.

Сознательно позабыв о своих вещах, я направился в кафе «Эржебет». Там я перекусил, согрелся и почувствовал, что у меня поднялось настроение. Посетителей было мало; это тоже мне понравилось. Невдалеке от меня сидели и весело смеялись две женщины. Одна из них, блондинка с округлым лицом, приглянулась мне. Правда, блондинки—это не мой идеал, да и круглолицые меня не привлекают. Я решил не посвящать в свои планы официантку. Поэтому достал портсигар и, хотя в кармане у меня была зажигалка, подошел за огоньком к этим двум женщинам.

Затем я пересел к ним за столик и не изменил своего намерения даже тогда, когда из разговора с ними выяснилось, что обе они «профессиональные».

Более того, я страшно обрадовался, что эта блондинка решит мою жилищную проблему. Без сомнения, ночь я проведу у нее. Я прямо сказал ей об этом. Она быстро заказала что-то, мы весьма уютно посидели еще с полчаса и, не дожидаясь закрытия кафе, пошли «домой».

Я женатый человек, и у меня уже тогда был маленький сын; поэтому я не имел обыкновения в каждом новом гарнизоне заводить себе новую женщину, но то был совершенно особый вечер, да и положение всего города было особое.

Блондинка, назовем ее Бетти, подхватила меня под руку, и я почувствовал, что она дрожит.

— Ты так замерзла?—удивился я.

— Мне страшно,— ответила она.— От холода я так не дрожу.

Однако, когда мы добрались до одноэтажного домика, в одной из комнат которого, выходящей на улицу, она жила, и включили свет, Бетти успокоилась.

— Как хорошо, что ты такой покойник!— улыбнулась она мне.

Тогда я не совсем понял ее, и только позднее до меня дошло, что она похвалила мое спокойствие.

В таком дружелюбном тоне протекал наш разговор. У нее, к счастью, был будильник, мы поставили его на пять часов. К половине шестого утра мне, в соответствии с полученным указанием, надлежало быть на вокзале.

— Иногда он забывает звонить,— лукаво хихикнула Бетти и тут же стала жаловаться на то, что у них в доме нет водопровода, а следовательно, и ванной комнаты. Отгородившись от меня ширмой, она стала мыться над тазом. А я тем временем занялся будильником. Но до этого очередь дошла значительно позднее. Мы даже поспали сначала немного при свете. Разомлев.

Было уже за полночь. Комнатка, что так тепло приняла меня, начала выстывать. Пока Бетти вытиралась, я посоветовал ей еще раз заложить как следует печку. В полудреме я зевнул. А она вдруг серьезно сказала:

— Не забыть только положить деньги на стол. Я не люблю сам залезать в кошельки клиентов, и, может быть, я на рассвете буду проспать.

Она как-то странно объяснялась по-венгерски.

Немного сконфуженный, я достал из кармана френча, повешенного на стул, портмоне. Сначала я было вытащил десятку и положил на ночной столик, но, не успев еще убрать портмоне, передумал: десять пенге—позорно мало. Это можно было объяснить только моей неопытностью. У меня была еще полсотенная бумажка—я оставил ее, а зеленую десятку положил обратно в портмоне.

Успокоившись, я закрыл глаза. И первое, что мне приснилось,—мое же собственное мотовство и легкомысленное поведение.

Поздор

Всю свою военную жизнь я всегда действовал по уставу внутренней службы и только в тот единственный день отступил от него. Но ведь я тогда уже три недели как не мылся. Вытянувшись по стойке «смирно» перед командиром батальона, я думал про себя: да, рапорта мне не избежать. А что такое рапорт, я уже тогда хорошо знал:

это последний шаг к военному трибуналу. Но когда я выслушал приговор, а вернее, приказ, на душе у меня полегчало. А потом я сказал себе: отсутствие младшего офицера, к тому же не по его вине, на общем сборе не может повлечь за собой тяжкое наказание, хотя командир дивизиона и пользуется большими дисциплинарными правами. Господин подполковник строго спросил: «Почему господин фенрих не находился у себя на квартире, хотя я приказал быть в полной готовности на случай тревоги?»

Человек, проходящий испытательный срок кандидата на офицерский чин, не смеет в этом случае сказать, что он, мол, не знал о готовности к тревоге, тем более — что он был дома. Я не отвечал, сохраняя упрямое молчание. В случаях, когда подчиненный чувствует какую-то несправедливость, это самое лучшее. Единственный выход — молчать. А командир пусть думает что хочет. Дурного он все равно не подумает, если увидит, как перед ним лихо вытянулся в струнку подчиненный. И даже то взыскание, которое он наложит, будет смягчено, как только гнев его поостынет.

Должен сознаться, что я сам считал вынесенный приговор довольно мягким, и он не изменил его, к сожалению. Он сказал: «За то, что вы не явились на сбор офицеров по тревоге, вы, господин фенрих, примете командование приписанными к жандармерии расчлененными подразделениями. Местонахождение — клуб левенте*. Связь поддерживать со мной, со своими подразделениями и с господином старшим лейтенантом Кеширо».

Я обрадовался этому, мне и в голову не пришло отказываться: так точно, мол, осмелюсь доложить, но... Я ничего не стал говорить, когда услышал, что мы окажемся вместе с Шани Кеширо. В Сегеде два семестра мы посещали с ним юридический факультет. Из-за денег, да и потому, что надо было сдавать дополнительные экзамены, я бросил учиться. А он окончил. Смотри-ка, удивился я, Шани Кеширо! И он здесь.

А все получилось потому, что мой разиня денщик не вытащил меня из ванны, куда я забрался еще ночью, когда вернулся с Тительского нагорья. Там у нас и квартир-то не было, не то что ванной. Мы перекрыли местность, а жандармы установили на ней патрулирование. Вернулись мы еще в полночь, а на столе меня ждала записка. Лучше бы, конечно, если бы меня ждала в своей постели сама хозяйка... «Я поехать в Пешт, любезный господин фенрих, 21-го буду возвращаться».

* В хортистской Венгрии фашистская организация допризывной молодежи.

Она была сербкой, а потому не в ладах с венгерской грамматикой. Квартира осталась нетопленной.

Что прикажете делать, если я в кои веки собрался помыться? Я зажег газовую колонку, подождал, пока согреется вода и в ванной станет тепло. Часа в два ночи я забрался в ванну и, по мере того как остывала вода, доливал горячей.

Наверно, было раннее утро, когда пришел мой денщик, чтобы сообщить, что меня срочно вызывают по тревоге на сбор офицеров. Зайдя в комнату, он увидел, что постель моя не разобрана и меня нигде нет. Этот простофиля решил, что я провожу ночь у какой-нибудь бабенки. Он вернулся в казарму и доложил. А заглянуть в ванную ему и в голову не пришло. Правда, я сидел там очень тихо — в теплой воде я и сам не заметил, как задремал.

Сабо

Было дьявольски холодно, в бога мать, и все же мы стояли в карауле. Сутки в наряде, сутки отдыхать. Впору помыться да отоспаться. Даже в кино не очень-то тянуло, потому что мы только-только успевали к вечеру выспаться. А потом солдату не разрешалось одному ходить в кино — положено группой. Особенно в вечернее время. Когда-то было по-другому; поэтому мы и не рвались теперь в кино. Тогда, бывало, и познакомишься с кем-нибудь, и побалагуришь. Перед началом и во время сеанса. С гражданскими. С женщинами. А теперь что? Только кончится сеанс — «Выходи строиться!», и под командой старшего по чину: «Шагом марш!» — в казарму. Идти приказывали по самой середине мостовой, так как считалось, что из подворотни или из подъезда на нас в любое время могут напасть. Значит, надо успеть защититься. Однако никто ни разу не осмелился напасть на нас. Это лишь в приказах говорилось, что партизаны да четники намерены истребить венгерский гарнизон, потому как солдаты его трусливы, мол, и плохо обучены. Поэтому-то даже в кино мы должны были ходить группами. А мы предпочитали совсем не ходить. Смешно! Ведь как раз после сеанса, когда народ, щурясь, валит из кинотеатра, девицы так и ждут, что ты подойдешь к ним и скажешь: «Целую ручку, не разрешите ли проводить вас домой?» А тут!.. Нет, мы не ходили группами в кино. Лучше уж не связываться с этим. Когда же мы сматывались сами по себе — мне раза два тоже довелось принять участие в таком походе, — то из кино каждый топал в казарму своей дорогой. Смотрели мы «Барона Мюнхгаузе-

на» и «Выменянную усадьбу». А может, и «Проданную усадьбу»? Точно уж не помню. Оба раза с разными бабенками. В те дни у нас не было постоянных знакомых. Правда, во взводе несколько парней ходили к одной и той же. Но как раз в эти холода они перестали к ней ходить, подцепив от нее известную болезнь. Помню, я говорил тогда: «Спасибо, я обойдусь и без этого и в очередь к ней становиться не собираюсь».

Не соблюдали мы и распоряжение шагать посредине улицы. Нас уже так клонило ко сну, что мы еле могли дожидаться, когда наконец можно будет сказать: «Целую ручку, Шарика (или, допустим, Боришка). Желаю вам доброй ночи и приятных сновидений».

Я уже говорил: в кино я был дважды, и оба раза когда и господин унтер-офицер Дорнер, мой командир отделения, изъявлял желание пойти вместе с нами. Он разрешал не строиться. Дорнер был парень что надо! При всех его недостатках. Я и сейчас готов подтвердить это.

Помню, накануне того дня мы, как обычно, в полдень сменились из наряда. Мы еще ровно ничего не знали. Разве только то, что прибыл батальон и теперь наша жизнь станет легче. А вместо того что же происходит? Под вечер нас поднимают с постелей, плюют на наш законный сон после возвращения из караула и объявляют: наше отделение — дежурное, на ночь мы назначены патрулями. Я готов был крепко выругаться, но это сделал за всех нас унтер Дорнер, который, как и мы, устал и был в плохом настроении. Еще хорошо, что мы на тот вечер не купили билетов в кино, поэтому дамочкам не пришлось дожидаться зря.

Вместе

О женщинах они говорили не больше и не чаще, чем приводится на этих страницах.

Старший лейтенант только улыбался, когда разговор переходил на эту тему, точно желая показать, что и у него имеются на сей счет свои мысли.

У Бюки после первых недель интерес к этим вопросам нет-нет да и пробуждался: стоило кому-либо начать рассказывать любовную историю, как он наострял уши, но, едва речь доходила до описания подробностей, он мрачнел и отстранялся от рассказчика.

Поздор же не умел связно рассказывать о том, что случилось с ним лично, и потому пытался выдавать слышанные им когда-то чужие приключения за свои собственные. Но после третьей же фразы путался, и, как

ни старался довести рассказ до «смачного конца», ничего у него не получалось.

Сабо? Он стремился воздействовать на слушателей сальными подробностями, касающимися физиологической стороны дела. Его любил слушать только Поздор, подбадривавший Сабо восклицаниями вроде: «Вот плут солдат!» Тарпатаки хотя и слушал, но легким покачиванием головы показывал, что у него иной вкус на этот счет.

И когда Сабо доходил до развязки, смакуя детали, Тарпатаки запевал песню, желая предотвратить дальнейшие ассоциации, следовавшие в таких случаях одна за другой до бесконечности и вызывавшие у каждого множество аналогичных воспоминаний, в которых трудно уже было отличить правду от вымысла.

Старший лейтенант пел народные песни, преимущественно венгерские, но он знал и румынские, и словацкие, и сербские. Даже цыганские, македонские и украинские. Пел он то низким голосом, то фальцетом.

Где он выучил эти песни? Так ведь он старший лейтенант речной флотилии. Много плавал, а значит, много видел и много слышал—он же не слепой и не глухой.

Что касается Бюки, тот никогда не упускал случая во время такого песнопения вонзить в поющего жало своей антипатии.

— Ты кто, венгр или не венгр, Тарпатаки? Может быть, ты раньше был Тумпек или Тодоран? А потом овенгерился? Ну, погоди, сейчас я отгадаю, что у тебя была за фамилия: Трипниц, Турновский, Трусинский, Такович? Какую из них ты сменил на благозвучную Тарпатаки?

Старший лейтенант после такого выпада сразу умолкал, ничего на это не отвечая. В других случаях он спорил, но когда речь заходила о фамилиях—молчал. Смотрел на Бюки и молчал. Словно ожидал, что тот еще скажет умного. И ожидать долго не приходилось. Выдержка и деланное спокойствие Тарпатаки обычно еще больше распаляли Бюки.

— Видишь ли, дорогой мой, не только фамилией определяется, в какой мере ты венгр, но и тем, что у тебя на сердце.—При этом майор неизменно хлопал себя по груди.

Сказать Бюки просто так что-нибудь грубое Тарпатаки не хотел. На выпад майора нужно было ответить по-мужски, но совсем иначе.

Все молчали, понимая, что если слова Бюки расценить как оскорбление—и их вполне можно было так расценить,—то дело может дойти до драки.

Наконец, видя, что Тарпатаки упрямо молчит, Бюки проникновенным, дрожащим голосом тихо запевал:

Ветер швыряет листья сухие,
Бедный солдат — во власти стихии,
Нынче ему улыбнется счастье.
Завтра же — мрак и сплошное несчастье.
Так обними же меня поскорей
И поцелуй своих не жалеи!

В конце песни голос у него обычно срывался, а на глаза навертывались слезы.

Бюки

Я никогда не критиковал распоряжений своих командиров. Но от такого приказа у меня кровь бросилась в голову. «Впредь до особого распоряжения запрещаю привозить семьи!»

Я же, чудак, в каждом письме в Дёр писал жене о том, что, видимо, даже на рождество мне не удастся получить краткосрочный отпуск. А чтобы в письмах не только ругать коменданта гарнизона, я подробно расписывал свою квартиру, снова и снова описывал свою комнату, хозяев квартиры.

Я осторожно намекал: вижу, дескать, хозяева мои — люди сомнительного происхождения; муж — с ним все ясно — коммивояжер; как бы ни хотел, ему не откреститься от своих предков. Но про жену его совсем не скажешь...

Какую же головомойку я получил за это! Жена моя воспитывалась у монашек, которые до сих пор не могут простить евреям мучений Христа, его кровоточащих ран. С моей стороны было ошибкой — даже если я обронил это мимоходом — брать под защиту мою квартирную хозяйку. Эта оговорка и дала повод для подозрений.

И жена начала ревновать.

Моя благоверная даже язвительно спрашивала у меня в письмах, как далеко мы зашли в наших интимных отношениях.

Я посчитал это проявлением дурного тона с ее стороны; и если упоминаю теперь об этом, то только потому, что, по-моему, это сыграло важную роль в последующих событиях.

Вообще-то ее раздражение в какой-то мере можно понять — все же пятый месяц уже пошел, как она жила одна. А шестилетний сынишка еще слишком мал, чтобы

поддержат свою мать,—только и радости, что он есть. Золтанка! Бедный мой сыночек! Ему я всегда писал отдельно: мол, уже не за горами день нашей встречи.

Между тем произошла странная история. Я до тех пор защищал свою хозяйку, пока во мне не пробудился все же какой-то интерес... Иными словами, я начал приглядываться к ней и почувствовал, что стал находить все меньше трезвых доводов, чтобы умерить антисемитизм своей благоверной.

А муж этой женщины, хозяин квартиры, все чаще и чаще отлучался на день-два по своим коммерческим делам. Вот в такие дни эта женщина—она была невысокого роста—стала спрашивать меня, не обижусь ли я, если она пригласит меня к ужину.

Она, разумеется, заметила, что ужинаю я холостячки, всухомятку. Так что я весьма охотно принимал ее приглашения, ибо любил смену обстановки. Но я как-то совершенно не задумывался над тем, что происходило это всегда лишь в отсутствие ее мужа. Да и чего ради я должен был думать об этом, если вместе с нами всегда ужинала их дочка, маленькая Ильдико. Она сидела за столом до тех пор, пока ее не начинало клонить ко сну. Тогда она вставала из-за стола, благодарила за ужин маму и—в отсутствие папы, которого она тоже привыкла благодарить,—меня, хотя я был, разумеется, совершенно непричастен к тому, что девочка получила на ужин. Если не считать, конечно, той небольшой суммы денег, что я платил за комнату, или просто факта моего присутствия за столом.

После того как девочка уходила спать, мы еще около часа продолжали беседовать. Потом, почувствовав дремоту, я уходил. Хозяйка никогда не делала мне никаких намеков. Поэтому я перешел в наступление только после того, как мы раз восемь-десять вместе поужинали.

Она вела себя так, словно боялась противиться.

Теперь я уже сам приходил к ней на ужин, не ожидая приглашения. В наших отношениях внешне ничто не изменилось. Я бы сказал так: эта женщина не брала на себя роль моей соучастницы.

Все это случилось еще задолго до рождества. Когда я переходил к решительным действиям, она ни единым жестом не поощряла меня, но и не оказывала мне сопротивления.

В разговорах между собой мы никогда не касались наших с ней отношений.

Так что ревность моей жены, которую в той же мере можно было бы назвать игрой растревоженного воображе-

ния, как и интуитивным, тонким чутьем, не была беспочвенна.

Вспоминая теперь об этом, я задним числом думаю: пыл мужского желания в моих письмах наверняка постепенно угасал, зато моя неприязнь к коменданту города, возникшая у меня с самого начала, находила себе выход в каждом новом письме.

Разумеется, моя любовь к жене и сыну никак не уменьшилась.

Да, но я хочу рассказать о первом дне.

В шесть часов утра я уже был в банском дворце. Мне было приказано поступить в распоряжение высшего начальства.

Странно звучит: высшее. Но нужно добавить — для той обстановки. В городе, в гарнизоне, в районе предстоящего «прочесывания». Там, где находится командир, там и высшее.

В семь часов я позвонил на квартиру — узнать, все ли в порядке. Прозвучал ответ: «Все в порядке».

Надо сказать, что мы договорились: мои телефонные звонки всегда будут очень краткими. Наш разговор затягивался только тогда — да и то на две-три фразы, — если назревала какая-то неприятность.

Это тоже излишне деликатное слово: неприятность. У моей квартирной хозяйки появились какие-то дурные предчувствия. И мы даже не знали, радоваться ли нам, что ее муж как раз во вторник утром уехал на несколько дней по делам в Топойю. И это несмотря на то, что кое-какие признаки надвигающихся событий уже тогда были налицо... А может быть, именно поэтому.

Вообще же нас всех взбудоражил случай на футакской дороге. Дело в том, что партизаны обстреляли из засады нашу финансовую охрану, и нам просто повезло, что не было ни раненых, ни убитых; к счастью, как раз поблизости располагалась лагерьм рота прибывающей в город пехотной части. Вдоль дороги, что ведет на Футак, то есть в северо-северо-западном направлении...

Я позвонил на квартиру, что к обеду не приду. Господин полковник, как видно, считал, что возможны серьезные бои, и объявил офицерам, чтобы зря не выходили на улицу; кстати сказать, для гражданского населения вступил в силу приказ, запрещающий появляться на улице. Были развешаны объявления, в которых говорилось, что не пройдет и трех дней, как проникшие в город и скрывающиеся здесь партизаны будут пойманы.

До обеда никаких других новостей, кроме как о случае на футакской дороге, я не слышал. И я хвалил себя за сообразительность, что догадался держать своего денщика

как сверхштатного у себя на квартире. Помню, тогда еще никаких столкновений и стычек не происходило (за исключением этого одного случая), и в послеобеденные часы—в те дни рано темнело—мы с двумя моими приятелями зашли в кафе «Эржебет» выпить по чашечке черного кофе и съесть по пирожному. Мы даже не чувствовали холода.

Я снова неточно выражаюсь. Аппетит на пирожные появился у меня одного. Я отношу это за счет внутреннего возбуждения, о котором мои товарищи и понятия не имели. Помню, мы с шутками миновали ту статую, которую позднее убрали,—произведение какого-то хорватского скульптора; вообще мы были в отменном настроении. Господин полковник утром обошел все комнаты дворца и был обходителен со всеми офицерами. Даже я на время позабыл о его гнусных распоряжениях.

Когда я к ужину пришел домой, то мне кое-что рассказали о событиях дня. (Хозяин квартиры почему-то уже вернулся! На поезде, что ли, приехал?)

Наш сосед (насколько мне было известно, венгр по происхождению), не обращая внимания на строгий запрет выходить на улицу, нахлобучив только шапку—дома-то ведь рядом!—забежал к нам во двор за водой (у них колодец замерз, да и вообще он имел обыкновение брать воду из нашего колодца, считая ее вкуснее). Ну, его, конечно, встретили как героя. Однако когда он пошел обратно, то напоролся на патруль, как раз приближавшийся к дому. Два выстрела—и сосед наш распластался на снегу. Патрулям было дано указание стрелять без предупреждения в любого, кто нарушит приказ.

Когда я возвращался домой, ведро с остатками воды, превратившейся в сплошной лед, так и стояло на тротуаре, а рядом с ним лежал сосед. Я посветил фонарем ему в лицо—остекленевшие его глаза были широко раскрыты.

Сабо

(Пока люди мерзли на страшном морозе, эти сидели в кафе «Эржебет» и уписывали пирожные, мать их растак! И он не стесняется признаваться в этом, пусть даже задним числом! Ему не стыдно! А мог бы и постыдиться, потому что солдатам, например, туда и летом вход закрыт! Нам даже воскресным вечером туда заглянуть не разрешалось. В тот первый день мы были назначены куда-то совсем в другое место—не в кафе «Эржебет»,—и нам было сказано, что-де обед и кофе с ромом нагонят нас. Но вот уже минуло два часа, а нигде ничего, и нам

нельзя никуда пойти погреться. Приказ гласил: патрулировать только на четырех улицах — и указывал на каких. А на этих четырех жалких улочках была лишь одна лавчонка да торговый склад по продаже дров, угля и брикетов. Лавочником оказался еврей; всю колбасу, обнаруженную у него, мы купили, рассовали по карманам шинелей и на ходу стали подкрепляться. Когда мы вернулись, чтобы купить шоколад, табак и содовой, лавка была уже заперта — напрасно мы барабанили в дверь кулаками. А нас к тому времени после наперченной чесночной колбасы начала мучить жажда, да к тому же мы так замерзли, что нам наплевать было на все, лишь бы что-нибудь предпринять. Наш унтер Дорнер знал в кафе «Эржебет» одну девицу — Бежику. Мы зашли в кафе — словно получили приказ завернуть на Темеринскую улицу, чтобы отведать пирожных с кремом. У входа в кафе нас никто не остановил. Дорнер скомандовал: «На ремень!» Взяв винтовки на ремень, мы гуськом, ступая по мягкому ковру, вошли в кафе. Я там не бывал ни до, ни после этого. Мы стояли посреди зала как чучела, пока Дорнер разыскивал свою Бежику. Тут к нам подошел какой-то майор из жандармерии и стал орать на нашего помощника командира отделения: «Вон отсюда, свиньи! Здесь вам не теплушка!» Мы, конечно, задрав головы, отдали ему честь, повернулись кругом — и только нас и видели. Но бедняге Дорнеру пришлось еще в течение минут десяти выслушивать «накачку». Он, наверное, осмелился возразить, чтобы не потерять свой престиж в глазах Бежики, служившей в кафе официанткой. Возможно, Дорнер получил и пощечину; во всяком случае, к нам он вышел красный как рак. И даже назвал Бежику грязной потаскухой.)

Тарпатаки

Будильник зазвенел намного раньше пяти часов. Бетти тоже проснулась.

— Какой плохой сон я видела! — зевнула она. — Мне приснилось, что я стащила у тебя часы и ты гонишься за мной, а у меня нет сил бежать... Поцелуй меня в шею, вот сюда.

Только теперь, когда Бетти подставила мне шею для поцелуя, я заметил, что она как-то по-семейному лежала рядом со мной в ночной кофте.

— Ты очень много выложил мне денег. Очень много. Когда я засыпала, то решила, что с тебя ничего не возьму. С тобой быть так хорошо.

И она тут же прижалась ко мне. Но я должен был оставить и новыми льготами не мог воспользоваться. Впрочем, мысленно я было настроился, но холод, гулявший по моим обнаженным ногам, остудил всякое желание.

Комната вымерзла, железная печка не давала больше тепла, когда я подошел к ней, воображая, что она еще топится.

Бетти по кончик носа спряталась под одеяло.

— Прикрой себе спину,— сказала она, потянувшись,— а потом уже одевайся. И возьми свои деньги.

Этими несколькими словами она как-то ободрила меня, и мне сразу стало вроде теплее.

— Жаль, что ты так спешишь,— продолжала она ворковать.— Наверняка я потому видела дурной сон, что не положила деньги назад в твоё портмоне, хотя перед тем, как заснуть, решила отдать их тебе обратно. Вот я и боялась проспать, и ты станешь подумать, что мне все равно, от кого брать деньги, что мне безразлично, хорошо было с тобой или нет.

Она зевнула и, пока я натягивал сапоги, снова заснула глубоким сном. Шинель я надевал очень осторожно, чтобы не разбудить Бетти.

Ни поцел я, разумеется, опоздал. Вернее, не опоздал, а застал там невероятную суматоху и неразбериху. Я подумал, что это из-за меня, из-за моего отсутствия.

Прибыл первый пригородный поезд. Если мне память не изменяет, он пришел из Паланки. Пассажиров с ним приехало мало, человек шестьдесят. Однако мои люди вели себя еще неуверенно и неэнергично. Они знали только, что нужно забирать гражданских, потому что среди них много подозрительных. Что означало это слово, «подозрительный», нам всем было, конечно, ясно: это партизаны или сочувствующие партизанам и четникам. Или даже шпионы. Кто по внешности смахивал на еврея, того простые матросы, не долго думая, забирали по подозрению в шпионаже. Да и унтер-офицеры и офицеры тоже долго не раздумывали над этим.

Впрочем, что касается этого поезда из Паланки, то здесь дело обстояло несколько по-другому. Мои люди, повторяю, вели себя неэнергично, проявляли какую-то мягкотелость. Возможно, это шло от неопытности, возможно, от того, что они только-только вышли на мороз из теплых залов ожидания, служивших им пристанищем на ночь.

Все эти обстоятельства могли бы, конечно, вызвать у них грубость и раздражительность.

Мои матросы размахивали руками, что-то объясняя,— словом, вели себя по-граждански. А неуклюжие торговки

в толстых шерстяных платках и мужики в сермягах и высоких шапках все громче шумели. Они не хотели понять даже того, что им не разрешали идти в город в интересах их же безопасности, поскольку запрет появляться на улице давал право любому патрулю стрелять по ним без всякого предупреждения.

Интересно, что и это только тогда пришло в голову матросам, когда я прибыл туда.

Но мужики и тетки не понимали опасности. Большинство из них регулярно приезжали в город — они и сегодня были с корзинами и узлами, — и никогда еще их никто не задерживал; наоборот, власти даже радовались тому, что они привозили в город продукты.

Все они возбужденно кричали по-венгерски. Это обескуражило матросов. А тут еще школяры начали гудеть, что они-де опаздывают в гимназию и им запишут целый день прогула, потому что директор у них такой строгий, что кто хоть на минуту придет позже, тому весь день...

Ясно, что это была беззастенчивая ложь со стороны подростков, ведь только-только пробило шесть часов, и до восьми, то есть до начала занятий, они могли бы еще обежать весь город.

Вот тут-то и прозвучала первая пощечина.

Я ожидал, что пощечина разъярит людей, но нет, она скорее укротила их. Женщины сразу замолчали, да и мужики заметно поубавили голос.

Мы не могли стоять сложа руки и ждать, что произойдет через полчаса; поэтому решили устроить что-то вроде проверки документов.

Я наугад отобрал двух унтер-офицеров, поручив начать действовать по обеим сторонам от билетной кассы. Туда как раз, в просторный зал ожидания, и устремились пассажиры после этой единственной пощечины.

Я же, медленно расхаживая взад и вперед, только наблюдал за происходящим.

И ожидал от унтер-офицеров, еще неумытых и не пришедших в себя после сна, чтобы они раскачались и принялись за «работу». Однако что-то у них не ладилось! Они не говорили, но очень скоро выяснилось, что мужики редко когда носят с собой документы, да и у торговков, почти у всех, не оказалось никаких удостоверений.

Что же касалось несовершеннолетних, то у них, кроме учебников, разумеется, ничего не было.

Впрочем, я и сам не знал, обязательно ли здесь, в приграничной полосе, носить с собой какие-либо удостоверяющие личность документы.

А спросить об этом я постеснялся. Мне самому нужно было решить, что делать. И я приказал: тем, у кого есть

документы, стать вправо, у кого нет—влево. Мне казалось, что эти «вправо», «влево» не имели особого значения, потому что стоило бы мне только повернуться, и я мог бы уже перепутать их.

Однако задержанные явно приутихли. Когда начиналась проверка документов, прибывший из Паланки народ гудел и возмущался, но не успел я показать рукой вправо и влево, как все страшно перепугались и замолчали.

Тут я вдруг почувствовал, что в наших руках их жизнь и смерть.

Но я еще и сам не знал, что буду делать с теми, кто группировался на одной стороне, и с теми, кто на другой.

Тут прибыли два жандарма со штабс-фельдфебелем. К шинелям у них были пристегнуты воротники из бурого волчьего меха. «Видимо, по причине исключительных морозов»,—решил я.

Штабс-фельдфебель обратился ко мне уверенно, по-поспешному. Он передал твердое распоряжение начальства: всех подозрительных—в гимназию!

Помню, я улыбнулся: «В гимназию? Даже не спросив, кто из них грамотный, а кто—нет?»

Но фельдфебель не был склонен шутить и попросил у меня разрешения отобрать тех, кого нужно будет доставить в гимназию. И тотчас всех, кто стоял по левую руку от меня, начали выталкивать из зала.

Я очень поразился тому, насколько точно воплощается в жизнь моя мысль, что мы хозяева над жизнью и смертью этих людей. И все же очень обрадовался, что решение этой задачи снято с моих плеч.

Из кассовых окошечек все время выглядывали кассиры, наблюдая за тем, что происходит.

«Пока жандармы распоряжаются, мне нужно исчезнуть,—подумал я, чувствуя глупость своего положения.—Стою и молча гляжу на то, как выталкивают женщин в платках и кожихах».

Я зашел в комнату кассы, где стояла железная койка, покрытая одеялом; в нос ударил запах угарного газа и человеческого пота. Как раз происходила смена. Железнодорожница с усталым, помятым лицом передавала свой пост румяному железнодорожному чиновнику с коротко подстриженными усами.

Я даже, помню, удивился этому.

— Куда забрали этих торговков?—спросила меня женщина.—Я всех их знаю. В лицо, конечно. По рыночным дням они всегда приезжают, и я вижу их. Некоторые из них, покупая билет, чуть не с головой влезают в окошко.

Я не знал, что ответить ей на это.

Но когда подошел следующий поезд, кажется из

Апатина, я встал с железной койки и загородил дорогу кассирше, которая собралась уходить:

— Помогите мне.

— Оставьте меня в покое,—передернула она плечами.

Я прикрикнул на нее, и она пошла со мной.

С этим поездом пассажиров приехало больше. Оставшиеся от первого поезда были вытеснены в коридор. С помощью кассирши мы быстро справились с толпой. Сначала она показывала пальцем на того, кого знала, а потом—только глазами. У тех, кто был ей незнаком, мы спрашивали документы.

После проверки осталось всего человек шесть.

Тут ко мне подбежал дежурный по вокзалу и, назвав меня господином майором, спросил разрешения на отправление пассажирского поезда на Старую Паланку. Я очень обрадовался этому. Как раз вовремя!

Только после обеда я узнал, что этот состав должен был возвращаться не рано утром, а около полудня. Но какой-то перепуганный торговец уговорил машиниста сразу же отправляться. Я не мог, конечно, знать, во сколько это ему обошлось. Во всяком случае, дежурный утверждал, что лично он не получил ни филлера.

Машинист сам из паланковских, поэтому, возможно, действовал из солидарности. А жене своей он написал записку: «Мать, к вечеру буду дома! Ференц».

Паланковцам я тотчас же приказал садиться по вагонам. Коридор очистился. Я уже стоял на перроне, намереваясь проследить за отправлением, когда ко мне обратились с просьбой несколько пассажиров апатинского поезда, чтобы я разрешил им уехать. Я знал, что скоро прибудут новые составы, и подумал: пусть едут.

Что тут только началось! Некоторые, узнав о моем решении, стали орать и вопить. Особенно женщины. Они приехали домой, а я вздумал отсылать их обратно!

И всего-то две-три бабы, а такой шум подняли. Я отмахнулся от них: оставайтесь, мол.

Дежурный уже давал свисток машинисту. Свистит-свистит, а кондукторов нет как нет, и машинисту пришлось ждать.

Видя, что некоторые остались, кое-кто из севших в поезд решил последовать их примеру и сойти—ведь они приехали сюда не просто так, а по делу.

А если все-таки можно остаться?!

Вот и начали вытаскивать из вагонов корзины, узлы, спуская их по ступенькам.

Я пришел в ярость и заорал:

— Да отправляйтесь же к чертовой матери!

Вообще-то я не имел обыкновения ругаться.

Паровоз засвистел, состав дернулся и отошел от станции без кондукторов. В последний момент еще одна женщина спрыгнула и растянулась на платформе. Юбка задралась ей на голову, открыв длинные, до колен, трико с начесом. Ей вслед выбросили из вагона плетеную сумку.

Женщина поднялась и, подхватив сумку, медленно пошла к вокзалу. Она была худая, но в зимней одежде казалась полной.

В этот момент вернулся штабс-фельдфебель со своими жандармами. Тут же кто-то нашелся, кто его обо всем информировал.

Теперь уже он не обратился ко мне, как положено, а еще издали принялся размахивать руками.

— Вы что это изволите нарушать порядок?!

Голос его звучал настолько непочтительно, что я решил: наверняка он уже имел обо мне разговор со своим начальником. С моего авторитета словно слетела золотая мишура.

Я подумал о том, что меня подбил на отправку поезда (и я тогда еще не знал, что на несколько часов раньше, чем по расписанию) тот проклятый железнодорожник, который теперь улизнул к себе в конторку.

Может, свалить всю ответственность на него? Пожалуй, не стоит. Из-за какого-то рыкающего жандарма!

А в ушах у меня еще звучал мой собственный недавний окрик, с которым я обрушился на машиниста. Я набрал в легкие побольше воздуха и гаркнул:

— Занимайтесь своими делами! И не вмешивайтесь в мои!

Жандарм вытянулся в струнку и, отчеканив: «Слушаюсь!», козырнул.

А я, не удостоив его даже взглядом, прошел мимо: мол, не о чем нам говорить!

Золотая мишура авторитета вновь засияла на мне. Теперь уже все ждали от меня дальнейших распоряжений.

Первой подошла ко мне кассирша и попросила разрешения уйти домой, так как матросы не пускают ее, а она живет здесь поблизости, на улице Ракоци. Ее ждут дома к завтраку.

Правда, приказ запрещал появляться кому-либо на улице, но на возвращавшуюся с работы кассиршу вокзала он вряд ли распространялся.

Я пожал плечами. Один из моих людей бежал ко мне от диспетчерской: прибывает будапештский скорый.

— Меня от этого увольте! — сказала кассирша. — Как я буду потом продавать билеты? — Она все еще не могла отделаться от волнения, которое испытала при отборе людей.

— Да полноте...— пытался я ее успокоить.— Чепуха.

Она же расценила мой жест как разрешение; наверняка так же понял его и охранник у выхода, взявший было на заметку эту настырную женщину, а теперь пропустивший ее.

Позже мне припомнилось, что кассирша вся тряслась от страха. Я уже направился к будапештскому скорому.

Тут я услышал винтовочный выстрел. Его звук почти слился с шипением останавливающегося поезда.

Сразу вслед за ним грохнул еще один выстрел.

И вскоре мне сообщили: солдат из патрульной команды метров с четырехсот застрелил кассиршу.

Только теперь я окончательно понял, что здесь шутками не пахнет.

Я повернулся и пошел назад от медленно отдувающегося паровоза. Вместе с жандармами поезд встречали мои матросы—их было более чем достаточно, и за эти часы они уже приобрели некоторый опыт в «сортировке».

Что-то подсказывало мне, что я должен сейчас позаботиться о несчастной жертве, а прибывающие пассажиры подождут. Я захватил с собой двух матросов с винтовками; втроем мы вполне выглядели как патруль. Быстрым шагом мы двинулись вперед. Ребят это вполне устраивало: маршировка была все же для них привычнее, чем сегодняшняя «работа».

Винтовочные выстрелы, казалось, прогремели очень далеко, но мы пришли к месту происшествия довольно скоро. (Левой, левой! Я не командовал, а слышал, как за мной оба матроса чеканят шаг.) Уже издали мы увидели людей, столпившихся вокруг подстреленной, как птица, женщины.

Это был патруль, застреливший кассиршу,—пятеро солдат. Рядом стоял фенрих со своим денщиком. Всего семеро. Они беспомощно наблюдали за агонией несчастной. Единственное, на что хватило у них догадки,—это обшарить карманы ее форменной куртки в поисках удостоверения. Да, пожалуй, и это они делали в гаденькой надежде, что из-под невидной одежды, глядишь, покажутся женские груди.

— Еще жива,—проговорил один из солдат.

Женщина уже четверть часа истекала кровью. Первая пуля, пущенная ей навстречу, попала под правое плечо. Испугавшись, она бросилась было к ближайшему дому—перевязать рану. Но тут ее настигла вторая пуля, попавшая в челюсть.

— Четниковская шпионка,—объяснил мне командир патруля.

Я не из тех, кто любит сквернословить, но тут я стал

безудержно ругаться самыми непотребными словами. Патруль принял стойку «смирно». Даже фенрих и тот не рискнул шевельнуться. В нарушение всех правил я велел перенести женщину в тот дом, куда она бежала. Фенрих-на денщика я послал за врачом, а сам остался на улице, изрыгая потоки брани, словно хотел залить ими небо.

Наверно, во мне говорила совесть, она грызла меня за то, что я отпустил сменившуюся кассиршу без вооруженного провожатого.

Как я уже упомянул, пришел будапештский поезд, и, когда я вернулся на вокзал, жандармы успели отобрать человек двенадцать и строили их, чтобы увести.

— Милейший старший лейтенант! — фамильярно обратился ко мне жандармский штабс-фельдфебель. — Остальных пассажиров оставляем на твое попечение. Распоряжайся. На рассвете мы вернемся!

Я ответил грубым ругательством, что всем очень понравилось и никого не обидело. Мои люди с уважением поззрились на меня. Люди, переполнявшие зал ожидания, посторонились, чтобы дать нам дорогу.

Как только жандармы удалились, я приказал всем отойти на место. У кого есть еда, пусть поделится с соседом.

Вскоре мне пришлось смягчиться.

Начало темнеть. Вокзал был по-прежнему переполнен. Незадолго до наступления темноты ко мне подбежала Бетти. Блондиночка Бетти, та, у которой я ночевал и от которой ушел сегодня на рассвете.

Как тут было не смягчиться, глядя на ее смущенное лицо в обрамлении белого мехового воротника. Пятьдесят пенге, видите ли, так и остались у нее на ночном столике.

Я рассмеялся, но не успел и слова сказать, как она с кошачьей ловкостью подобралась к карману моей шинели и сунула туда деньги.

Ну, такого успеха я еще никогда не имел у публичных женщин!

Поздор

Мы располагались не в районе станции. Я с удовольствием и не выходил бы на улицу. Настолько мне не нравилась вся эта история. Я устроился в одной из комнат клуба левенте. И обратился к унтер-офицеру из нашего батальона: «Дайте мне что-нибудь почитать, Балог, но что-нибудь очень интересное. Что у вас есть?» «У меня, прошу покорно, есть тут боевой устав пехоты: «Боевые действия взвода». Ну, думаю, черт бы тебя побрал.

«Ладно,—говорю,—давай его сюда, хоть отвлекусь немного, почитаю». Читал я устав всю первую половину дня, чтоб его разорвало! Но это я сейчас так говорю. Задним числом. На самом же деле совсем и не с чтения я начал день. Жандармы разбили моих людей на взводы и отделения, а потом даже и на полуотделения. Впрочем, меня это не задело, тем более что я увидел наконец Шани Кепиро. Это по его приказу один из унтер-офицеров распределял рядовых. Я еле дождался, когда Кепиро освободится. Вскоре горизонт очистился; тогда я подошел к нему и запросто, по-приятельски, спросил: «Узнаешь меня, Шаника?» — и протянул ему руку. Он даже не взглянул на меня, лишь бросил коротко: «Узнаю!» Но руки не подал.

«Должен сказать господину фенриху,—отчеканил он,—что, находясь при исполнении служебных обязанностей, я не признаю ни друзей, ни знакомых». Он подождал немного, желая, наверно, сказать еще какую-то гадость, но промолчал. А возможно, просто ожидал, что я скажу: «Понятно, господин старший лейтенант». Затем он сурово посмотрел мне в глаза и четко, по-уставному, козырнул. Я тоже вынужден был откозырять. Только уже отвернувшись, он процедил мне сквозь зубы: «Привет!»

«Ну и выродок!» — ругнулся я про себя. Вот тут-то я и попросил у унтер-офицера Балого какого-нибудь чтива. И полдня читал о боевых действиях взвода, изучал его боевые порядки — цепь, походные колонны отделений, шеренгу — и порядок образования из взводов боевых групп. Дойдя до конца устава, я мог начинать сначала, потому что мысли мои все равно были далеко. Ну и влип же я: вроде как есть у меня рота, а на деле нет. Должность, почитай, офицерская, будь она неладна (это я, конечно, теперь так говорю, тогда же я думал по-другому), а звание — фенрих, и любой жандармский фельдфебель может вырвать у меня из рук командование даже одним отделением неполного состава! Лучше уж сидеть и читать устав, не вникая в содержание, чем слушать, как мой старый друг, ну, пусть просто знакомый, снисходительно говорит со мной, едва достаивая взглядом, и подчеркнуто обращается: «Господин фенрих...»

Такого со мной еще не случалось.

Поэтому, когда старший лейтенант Кепиро прокричал во дворе клуба левенте мою фамилию, я даже не пошевелился. Да и зачем, когда один Балог, тот, что снабдил меня чтивом, после чего давно уже получил какое-то распоряжение и исчез, знал, где я скрывался. А по голосу этого Кепиро чувствовалось, что он собирается либо дать мне какое-нибудь задание, либо, как знать, даже наговорить мне грубостей.

Правда, денщик мой в полдень разыскал меня и принес горячий гуляш. У этого прохвоста нюх был что у лесного зверя. Да и на щеках у него был словно лес дремучий. Сколько я, бывало, ни заставлял его по утрам бриться, к вечеру его физиономия уже зарастала целыми кустами щетины.

Впрочем, справедливости ради надо сказать, что накануне он все же не нашел меня в ванной комнате! Хотя правда и то, что, во-первых, я заснул там, а во-вторых, я строжайше наказал ему раз и навсегда не совать нос в комнаты хозяйки, за исключением кухни, где он мог пользоваться водопроводным краном и хранить сапожные щетки и ваксу.

После обеда ко мне, в мою «потайную» комнату, попросился какой-то лейтенант-пограничник. Он договорился уже об этом с моим денщиком. Крепко выругавшись, он протянул мне руку: мол, чинов он не признает. Его, дескать, послал Шани Кепиро на идиотскую стрельбу. Но не по людям. Под обстрел нужно было взять какое-то здание. Впрочем, об этом он говорил довольно-таки неохотно и быстро переменял тему, спросив, где же я был, когда само небо стонало.

Этот лейтенант был офицером запаса. Среди пограничников таких всегда было много. Они не привыкли соблюдать военную тайну, наоборот; вот и этот еле мог дожидаться повода, чтобы разболтать, что он видел и что он слышал начиная с четвертого января и по сей день и в чем он-де лично принимал участие. Специальным приказом запрещено было говорить об этом, однако солдатня не очень-то соблюдала приказ, да и такие офицерики запаса не знали удержу в своей болтовне.

Этот пограничник как раз был в Жабье и в Чурогe. И прослышал, что мне довелось мерзнуть лишь у Сентивана и что в чурогском магистрате я только что и видел шесть мерзлых трупов наших новобранцев, которых партизаны накрыли в небольшом леске. Это были мои новобранцы. Еще до рождества, как только закончился курс одиночной подготовки, мы передали часть рядового состава пограничникам. И вот мы махнули туда — пожалуй, лишь для того, чтобы посмотреть на выставленные трупы. Нет, жандармы не произвели на меня никакого впечатления, да и на моих продрогших солдат тоже. Зато те шесть новобранцев! Тела их совершенно окостенели на морозе — кто знает, когда с ними это случилось. Я даже не помню, как их похоронили. Они, конечно, заслуживали, чтобы их похоронили с воинскими почестями, но тогда было не до этого. Расквартировали нас в Чурогe отвратительно. Даже офицерам и тем, можно сказать, пришлось спать на

солومه. И так мы были злы, что готовы были отправиться куда угодно, лишь бы отомстить за наших новобранцев. Наверно, для того и пришлось нам отмахать столько по снегу да морозу, чтобы в нас взыграл боевой дух. Наутро мы снова сели на велосипеды. (Правда, теперь передвигаться было легче: грузовики, так и сновавшие по дороге, немного утрамбовали ее, но все равно было ужасно скользко.)

Утром мы просыпались лениво, неохотно; впрочем, в нас еще сохранилось достаточно злости, чтобы броситься с кулаками хоть на самого святого Петра, узнай мы, что это он предал наших новобранцев. Ну, на завтрак нам дали горячий кофе и граммов по сто сала на брата. Однако, попробовав кофе, мы сразу смекнули: сегодня ничего особенного не предвидится—кофе был без рома. И все же он пришелся всем по душе: уж больно солдаты окоченели. Ведь всю ночь в шинелях, разве что только поясные ремни отстегнули, бедняги, да большинство сбросили башмаки.

Затем наша рота в течение двух недель обеспечивала охранение по южному краю Тительского плоскогорья. Когда светило солнце, снег искрился и скрипел под ногами. Мы несли патрульную службу, днем выставя наблюдателей; если на снегу появлялся свежий след, мы шли по нему, но только в пределах отведенного нам района, за его границы мы не совались—это не входило в нашу задачу. Куда мы ни отправлялись, из каждого хутора всегда можно было видеть два-три других, а ведь маршрут наш был ограничен. Мы старались держаться мощеной дороги, по ней мы и передвигались, забираясь в попутные хутора. Однажды моих людей обстреляли—один-единственный раз,—видно, заметили сверкавшие на солнце примкнутые штыки. А так полагалось, чтобы винтовки всегда были наготове к штыковому бою. Но стреляли издалека, всего один раз, и мы не стали доискиваться, кто стрелял и откуда. Даже новобранцы и те как-то заметно скисли в эти дьявольские холода. Я не раз слышал, как они, беседуя между собой, говорили о своих шести товарищах: мол, бедняги, получили то, что им написано на роду. Поэтому я должен был разжигать в них жажду мести—ведь нельзя же было успокоиться на этом. Да и по выстрелам они могли судить, что партизаны, переправившиеся по льду Тисы, скрываются где-то неподалеку, в покинутых жителями хуторах, и в любой момент могут напасть на нас. Так что днем и ночью мы подвергаемся смертельной опасности. Вот в таком духе я наставлял солдат, а те только моргали да про себя благодарили судьбу, что не их назначили в тот злополуч-

ный дозор, с которым в новогоднюю ночь разделились партизаны.

Да, чтобы не забыть о Новом годе! Ведь даже в приказе было расписано, к чему они готовятся: в ночь под Новый год (по их календарю старого стиля) партизаны, мол, собираются истребить всех венгерских жандармов и солдат. Об этом говорилось и в листовках, изготовленных в какой-то тайной типографии; эти листовки разбрасывались повсюду, чтобы наводить страх и панику на солдат и население. Я-то лично не видел ни одной такой листовки, хотя от партизан вполне можно было ожидать подобного. Да и то сказать, не стало бы наше командование выдумывать таких дерзких призывов и угроз, написанных корявым венгерским языком.

Вот что я рассказал после обеда заявившемуся ко мне лейтенанту-пограничнику в ответ на его страшные истории, которым я наполовину не поверил. Во-первых, потому, что на Тисе, как известно, не бывает такого толстого льда, разбить который можно только подрывом. А во-вторых, потому, что течение подо льдом все равно не унесет далеко трупы — они разбухнут, всплывут и примерзнут к внутренней стороне ледяного покрова. Так что и речи не может быть о том, что они могут далеко уплыть. Они наверняка останутся на месте и выдадут все. Но мой новый приятель, пограничник, начал мне втолковывать, какой я лопух. Ведь если вода хоть чуточку спадет подо льдом, что часто бывает, то на такой большой реке, как Тиса, трупы все равно будут подхвачены и унесены течением. Что же касается того, что они быстро разбухнут, это весьма маловероятно, поскольку под толстым слоем льда температура воды держится почти на точке замерзания. Вода же не может замерзнуть, нарастить лед, потому что все время движется. А если температура близка к точке замерзания, то трупы не будут разлагаться. Сохранятся до весны. Но только где они тогда будут! Вернее всего, уже в море, кроме, конечно, тех, которые, зацепившись за корягу, застрянут где-нибудь.

Ну вот так и прошел вечер за тихим разговором. Мы сидели и покуривали, как вдруг в комнату ворвался мой денщик. «Будьте осторожны,— кричит,— господин старший лейтенант обходит все помещения клуба, не иначе как подозревает что-то».

Тогда мы выбрались через окно в небольшой задний дворик и сделали вид, будто только что возвращаемся откуда-то. А этот дьявол, денщик, говорит мне: «Господин фенрих, прошу покорно, что-то я нашу хозяйку нигде не нахожу. Хотя я даже нарушил ваш запрет и зашел в ее комнаты. Пахнет тем, что она куда-то смылась».

Тут я вспомнил. Ну конечно! Ведь в записке, которую она мне оставила на столе, наверно, с неделю назад, уезжая в Будапешт, она обещала, что сегодня вернется. Мы побрели домой. Хозяйка еще не появлялась. Как раз в это время раздался гудок паровоза пештского поезда. Он показался мне более резким, чем обычно. А может быть, в городе было тише, чем в другие дни.

«А ну-ка, дружок, пойдем ее встретим»,—пани-братски сказал я денщику; хоть мы, военные, могли свободно передвигаться по городу, все же тащиться одному мне было не особенно приятно.

Иду я, значит, а за мною мой денщик. Шагаем в ногу по улице Ракоци. Впереди нас патруль. Ускоряю шаг, чтобы нагнать патрульных. А они, что называется, жмут вперед, да и только. Я будто предчувствовал что-то: надо бы поскорее догнать их. И тут—ба-бах! Выстрел! Один, за ним второй. Я даже остановился: уж не в нас ли стреляют? Хотя по звукам выстрелов было ясно, что стреляли не в нашу сторону. Я все же остановился. И увидел идущего навстречу человека. Стреляли в него. Я хотел было побежать, но не рискнул. Эти болваны солдаты еще обернутся и выпустят в нас пару пуль. Я только ускорил шаг. Командир патруля решительно объявил: партизан—значит, шпион—нес сообщения своим сообщникам, а может быть, даже и оружие. Но ведь это женщина, и при ней ничего нет!

Когда мы внесли пострадавшую в ближайший дом, кто-то опознал ее и сказал, что она с этой улицы. И вовсе не шпионка, а железнодорожница. Это было видно даже по ее форме.

Но патруля уже как не бывало.

На улицу никто выходить не осмеливался. Пришлось нам приволочь врача. Старик ужасно боялся и не хотел идти. Я пригрозил ему: если не спасешь эту женщину, то, мол, прощайся с жизнью. Я, правда, не знаю, удалось ли ему спасти ее. Это я не проверил. Но когда мы пришли с ним к раненой, около нее уже топтались ее дети. Через дворы и палисадники слух о ее ранении долетел до их квартиры, и детям помогли пробраться к матери, которая стонала и хрипела, точно наступил ее последний час. Мальчику было лет десять, девочке—немного больше. Мать что-то тихо говорила им. Я прислушался: женщина объясняла, что поест на обед в случае, если она не сможет добраться до дому.

Потом мы беспомощно стояли около этой несчастной, наблюдая, как врач ее раздевает. Кто-то сказал, мол, у нее муж инвалид, поэтому не сможет прийти сюда—ему не перелезть через забор.

Помню, я даже улыбнулся, услышав это.

А денщик тут шепчет мне: будапештский скорый, наверно, уже давно прибыл.

— Ах ты, черт возьми! Пошли скорее на вокзал!

Моя квартирная хозяйка от страха как-то вся съежилась и напоминала озябшего котенка, которого выгнали на мороз и не пускают назад в дом. В руках у нее был большой чемодан, она с трудом тащила его.

— Ой, а я уже испугалась, что вы совсем забыли обо мне, ну, думаю, конец мне пришел.

Черноволосая сербка была на полголовы ниже меня, хотя и я не отличаюсь ростом Голиафа. Она, правда, была немного старше меня. Вдова, а дети ее остались в Петербурге, хотя она упорно называла этот городок Петровавдином и то и дело показывала фотокарточки своих детей.

Я предъявил свои документы подошедшему матросу и решительно заявил: прошу записать мою фамилию, я беру ответственность за эту женщину.

Все обошлось гораздо проще, чем я предполагал.

На улице мы построились. Я даже пошутил: в колонну! Впереди—я, посередине—черноволосая хозяйка, а сзади—мой денщик с огромным чемоданом. Если бы кто издала посмотрел на нас, подумал бы, что мы кого-то сцапали и теперь сопровождаем к месту назначения. Правда, в этом деле был неприятный момент: мне пришлось взять у моего денщика винтовку с примкнутым штыком.

— Ой, и как это мне удалось спастись! Люди говорят, что здесь, в Нови-Саде, расстреливают сербов и евреев, всех подряд. Об этом болтали на вокзале.

Я никак не мог приучить ее вместо Нови-Сада говорить Уйвидек, как это принято по-венгерски.

И все же я рассмеялся:

— Да мало ли болтают всяких глупостей!

— Мне тоже показалось странным: в Субботице поезд почему-то очень долго стоял, а потом нигде не делал больше остановок.—Она очень мило ворковала. Уже шла третья неделя, как я ее не видел.

— Скорей бы добраться до дома! Я тоже не буду останавливаться,—шутливо пригрозил я.

После этого она до самого дома молчала. Хотя, кажется, она так и не поняла моих слов.

Сабо

Не хватает еще, чтобы и этот грех мы взяли на себя! Наш унгер Дорнер никогда бы не сделал такого. Он не

трус! Не может быть, чтобы он целился в голову или в грудь идущему навстречу человеку! Вообще-то я не то хотел сказать. Я хотел сказать, что унтер Дорнер, даже если бы немного струхнул и на мгновение потерял бы присутствие духа, все равно наверняка скомандовал бы ему: «Стой!», а затем, когда тот остановился: «Кругом!» И только в том случае, если задержанный попытался бы удрать, Дорнер применил бы оружие или приказал нам: «Ребята, пли!»

Потому как, прямо скажем, на отдыхе, вне службы, он всегда толковал нам: «Ребята, в присутствии господ офицеров я всегда с вами по-уставному, на «вы», отдаю вам замысловатые приказы, называю вас «рядовой такой-то...». Но если мы попадем в боевую обстановку, не ждите от меня ничего подобного. Я лишь гаркну: «Коли!», или: «Стреляй, ребята!» А вы уж должны будете знать, что нужно делать. Там конец боевой подготовке, там наступает настоящая жизнь. И смерть, если будете хлопать ушами! Чтоб вам стукнуло в самую любимую часть тела!» Наш унтер Дорнер умел красиво выразиться! Или, например, так: «Носом бы тебя в то место, которым тетушка Мари плюхается на лавку!»

Словом, в то утро мы, так и не выпавшись, попали в клуб левенте. Там мы тотчас же стали строиться, даже не пикнув о том, что, мол, устали от этого двухнедельного, почти непрерывного дежурства. Жандармский капитан, распорядившийся людьми, отдавал команды таким суровым тоном, что у Дорнера, пытавшегося было доложить о нашем положении, слова застряли в глотке.

Пришлось безропотно подчиниться и отправиться. Нам было сказано, что обед каждый патруль получит в районе патрулирования.

Но мы свой обед, к сожалению, проворонили — то ли походная кухня не нашла нас, то ли мы как раз в это время отклонились от маршрута.

Нельзя было, конечно, соваться в такие места, которые у всех на виду, да еще по личным, в общем-то, делам. Но ведь не мы приказывали, а унтер-офицер Дорнер: у него, видите ли, в этом кафе, в кафе «Эржебет», была бабенка, которая оказалась самой настоящей шлюхой и оставила с носом нашего унтера. Нам нельзя было лезть в кафе «Эржебет», и мы это хорошо знали, а Дорнер и того лучше. И надо же было случиться, что жандармский капитан, распределявший нас, сидел именно там. Вообще говоря, всем было известно, что рядовому составу запрещалось посещать кафе «Эржебет».

Еще наше счастье, что мы сразу очистили помещение и ждали Дорнера снаружи, на морозе. Когда он вышел из

кафе с повешенной на плечо винтовкой, физиономия у него была красной, как свекла.

Мы решили, что не иначе как он получил оплеуху. Дорнер повел нас в клуб левенте, где мы получили приказ препроводить в гимназию большую группу каких-то людей.

И в клубе и в гимназии уже знали о нас. Наверняка капитан позвонил из кафе по телефону. Дорнер кипел от ярости, я никогда еще не видел его таким взбешенным.

Само по себе задание было нетрудным, хотя люди, которых нам надлежало отвести в гимназию, были с виду крепкими и здоровыми (женщины среди них ни одной не было); правда, в большинстве своем — евреи. Сбежать никто не пытался. Один только попробовал было передать какую-то записку, но Дорнер так саданул ему в спину прикладом, что сразу отбил охоту что-либо передавать.

В гимназию мы попали как раз к концу обеда. Сдав людей во дворе «поштучно», мы стали промышлять, чего бы перекусить. На дне одного котла еще были остатки пищи, но уже холодные. Мы разделили их поровну. Отвратительные поскребыши — один жир. После них хотелось плевать, жир застыл у нас на губах и языке.

К этому времени Дорнер уже совсем дошел. Не знаю уж отчего, но эта жирная холодная еда окончательно вывела его из себя. Ни о чем никого не спрашивая, мы гуськом, один за другим, поднялись наверх. Сначала мы зашли в уборную, а потом двинули в одну из аудиторий. Дорнер хорошо рассчитал. Там находилось не более десяти пленников, которых вследствие того, что аудитория была на самом верху, почти не охраняли. Мы заставили их сломать на дрова несколько парт и затопить печку. Пока они работали, мы сняли винтовки и поясные ремни, расстегнули шинели, а потом, по примеру Дорнера, сбросили башмаки.

Выставили часового, меняя его через час. От печки потянуло теплом, и мы задремали. Наши арестанты, томившиеся здесь, видно, с самого утра, голодные и холодные, тоже прикорнули.

Засыпая, мы ничего не чувствовали, кроме тепла. Об ужине забыли и думать: за завтраком наверстаем упущенное.

Вскоре стемнело, хотя было еще не поздно.

Вместе

Разговоры четверых мужчин стали привычными, их доверие друг к другу с каждым днем возрастало, и,

несмотря на озлобленность и подозрительность, их сердца и души стали постепенно раскрываться. Даже сокровенные свои мысли они начали понемногу — то один, то другой — вплетать в рассказы и воспоминания о пережитых событиях.

В первый день они удивлялись лишь одному: «Почему мы четверо вместе попали сюда?» Только спустя несколько недель к их искреннему удивлению примешалось чувство горечи. Да и то это чувство сказывалось лишь в отношениях между самым старшим и самым младшим по чину.

Сабо обижало, что Бюки с важным видом перешептывался в сторонке с остальными. «Хочет остаться господином! Передо мной? Даже в таком жалком положении?»

И в его сознание закралась страшная мысль: «Они хотят у меня все выпытать! Когда я не прислушиваюсь к их разговору, он дает им приказания, как обвести меня вокруг пальца».

А у Бюки подозрение возникло еще раньше: «Когда этого Сабо сажали с нами вместе, то знали, конечно, что он простой солдат. А раз знали, то сделали это неспроста».

Однако с двумя другими офицерами своим предположением он не поделился. Пусть каждый сам следит за тем, что говорит! Мы же мужчины! А не выжившие из ума старухи!

Хватит и того, что с ними обоими он говорит тихо, в сторонке.

Бюки

Жена у меня высокая женщина, выше меня на два сантиметра. Впрочем, кроме нас двоих, никто не знает об этом. Как-то мы померялись и от всей души хохотали над таким открытием. Разумеется, никто не замечает разницы, когда мы в полном одеянии.

Роза, жена, еще в пору девичества любила черный шелк. К черному платью она всегда носила белую шаль и, в зависимости от сезона, прикалывала еще красную розу. Она очень шла к ее черным волосам.

— Мне все равно, где жить, — говорила Роза, когда мы переехали в Дёр. — Но только, друг мой, давай поселимся на такой улице, где не живут евреи. Когда я их не вижу, то и не вспоминаю о них.

У нее совсем не было знакомых.

А мой сынок! Золи! Я еще не говорил вам о нем. Ему было тогда шесть лет. Черные волосы, белая кожа. Весь

в мать! Славный мальчуган, а какой темперамент!

В первый вечер господин полковник вел себя поджентльменски.

Я это говорю отнюдь не из личных симпатий, поэтому должен объяснить.

К вечеру его превосходительство вызвал на инструктаж господ офицеров, находившихся во дворце.

Форма одежды: шинель, поверх — ремень с портупеей. Разумеется, и сапоги, как полагалось по сезону.

Построившись, мы ожидали в парадном зале.

Старший по чину офицер отдал рапорт, потому что господин полковник сопровождал его превосходительство.

Они быстро оглядели нас.

И с первых же слов его превосходительство на нас обрушился:

— Почему, собственно говоря, господа офицеры не надели касок? Или не считают обстановку боевой?

Господин полковник должен был бы ответить, но он промолчал.

— А вообще результаты первого дня плачевные! Да, надо сказать, плачевные!

Он говорил таким тоном, что можно было подумать, будто мы виноваты в каких-то упущениях, хотя порядок проводимой «чистки» он знал куда лучше, чем любой из нас.

Господин полковник нахмурил брови, из чего я заключил, что этот упрек относится к нему. Но и нам надлежало слушать.

— Моя цель — возмездие! — воскликнул его превосходительство. — Я требую больше решительности, подлинно боевого духа. — И неожиданно резко заключил: — У меня все.

На этом инструктаж был закончен. Или, точнее говоря, собрание офицерского состава.

Даже не удостоив нас кивком головы, его превосходительство удалился. За ним последовал и господин полковник и несколько человек из свиты, а также те, кто присоединился к ним.

Мы же остались на месте и даже не сразу догадались принять стойку «вольно».

«Что это должно означать?» — думали мы, хотя и не решались спросить вслух.

Через несколько минут господин полковник вернулся. И заговорил с нами уже без всяких церемоний:

— Ввиду сильных морозов ночью каски разрешаю не надевать. Те, кто живет поблизости, могут на свою ответственность разойтись по домам. Обеспечить охранение, связь! — Он махнул рукой и удалился.

А что делать с касками утром? Он не сказал ничего определенного, так же как и насчет боевого духа.

Ну, раз такое дело, я решил пойти домой. Пристроился к одному из патрулей, став в конце шеренги.

Мой денщик был дома. Шесть или семь раз я звонил по телефону: все в полнейшем порядке!

— Господа, кто в мою сторону?—спросил я, ища попутчиков для этой далеко не из приятных прогулки по морозу.

Но, как выяснилось, желающих не нашлось ни в мою сторону, ни куда бы то ни было. Господа офицеры предпочли домашним постелям сомнительное удобство кожаных кресел и кушеток, которые городская комендатура всегда предоставляла в распоряжение дежурных офицеров. Я даже не сомневался, что, кроме солдатского одеяла, им ничего другого не получить и что вместо подушки придется класть под голову полевую сумку или потрепанные служебные журналы.

И тем не менее никто не откликнулся на мое приглашение; вместо ответа все только удивленно посмотрели на меня и замотали головами.

Неужели так уж опасно выходить на улицу с наступлением темноты? Да нет, наверно, мы просто все еще находимся под впечатлением тех слов, которыми встретил нас утром господин полковник: «Оставлять это здание, господа офицеры, только по приказу!»

Наутро я узнал, что около полуночи состоялось еще одно служебное совещание—более расширенное, с привлечением младшего офицерского состава. Господа офицеры словно предчувствовали это.

Но мне тогда и в голову не пришло ничего подобного. Едва я вошел в дом, в нос мне ударил запах свежей домашней колбасы. Что за дьяволыщина! Этого я не ожидал. Я знал, что в конце двора содержится поросенок. Но что именно сегодня, в среду, будут справляться «поминки» по нему—на это я не рассчитывал. И если бы рядом с моим денщиком, руки которого, обнаженные по локоть, были перепачканы кровью, не стояла моя блондиночка-хозяйка, ласково и в то же время виновато улыбающаяся мне, то я не знаю, чем бы все это кончилось. Но она, предчувствуя мое удивление, а может, и гнев, выбежала к воротам мне навстречу, чтобы избавить моего денщика от неприятных объяснений. Оказывается, это она подбила его на убой поросенка, с которым они возились, наверное, с полдня, если не больше.

— Мы боялись, что его угонят,—говорила она, стоя рядом со мной и дрожа от холода.—А у нас как раз кукуруза кончилась.

И все же я был возмущен: такое сумасбродство, и именно сейчас, когда жандармы и военные без конца шныряют по домам, проверяют, обыскивают! Надо быть сумасшедшим, чтобы устраивать эти «поминки» по свинье!

Но стоило мне услышать радостное щебетание ребятишек, как у меня сразу отлегло от сердца и я успокоился. На раскаленных противнях весело потрескивали колбаски, распространяя чудесный запах по всему дому. В такой момент сумасбродством было бы придирааться или того хуже — затевать скандал.

Девочку, дочку хозяев, звали Ильдико. И это характерно! В тридцать четвертом дать дочери венгерское имя! Я писал о ней жене еще до рождества! (И, помню, на той же неделе получил ответ, полный подозрений и злой иронии: «А видел ли ты ее метрику? Девочку такого возраста родители вообще могут называть как им вздумается! Хоть каждый день по-разному!»)

В разделке свиной туши принимала участие и Милена, жившая на нижнем этаже в квартире, выходящей под арку ворот. Она была в доме кем-то вроде привратницы; муж ее, взятый в армию весной по мобилизации, до сих пор не вернулся, и никаких сведений о нем она не имела. Милена скромно жила в своей квартире, не навлекая на себя ни тени подозрения, хотя мой денщик (он тоже, как и я, женат) без конца увивался вокруг нее и, как выяснилось за ужином, они по утрам и вечерам вместе выносили помои свинье. На этот раз с Миленой пришла и ее десятилетняя дочь Анжелія, девочка с красивыми пугливыми глазенками. (В доме эту девочку, мило коверкающую венгерские слова, ласково называли Андялкой. Красивая будет, когда вырастет, подумал я, глядя, как она, присев к маленькому столику, развязывала непомерно большой платок, в который была закутана. Фигурка ее уже начала приобретать девичьи формы; красивые дужки бровей и горящий взгляд черных глаз невольно наводили на мысль о том, какая задорная была, наверно, ее мать лет десять назад.)

На столе появилось вино. Не знаю, где достали его в тот тяжелый день. Мы чокнулись. Получилось так, что за стол сели все, даже мой денщик (кто-то подстроил это). Уписывая жирные кровяные колбаски, мы, перед тем как пропустить по второму стаканчику, уже беззаботно чокнулись.

На этих «поминках» по свинье, потроха которой доставили нам столько радости, я был героем вечера, потому что своим присутствием как бы ограждал дом от всех возможных неприятностей и бед.

Милена, сидевшая в конце стола, смотрела на меня

словно на божество. Меня даже в жар бросило, ведь она была красивой женщиной, правда, невысокой, но чем-то походила на мою жену.

Впрочем, если бы я сказал тогда об этом, я тут же возбудил бы бурную ревность, страшную ревность.

Сабо

(В бога мать! Ему мороз не заползал под шинель! В то время как другие просыпались и у них зуб на зуб не попадал и им спросонья казалось, что наступил конец света, этому, когда он открыл калитку, ударил в нос запах домашней колбасы! Жалкий солдат ни о чем тогда другом не мог думать, как о том, чтобы хоть чуточку утолить свой голод, а этот тип бахвалится тут тем, что сам не знал, какую выбрать из двух бабенок, не мог решить, какая из них аппетитнее! И холуем своим хвалится: мол, как тому хорошо жилось под его началом! А кто шел в денщики-то! Подлый народишко! Настоящий венгр — гордый человек, и он никогда не станет набиваться в денщики, даже к самому командиру батальона. Вот половые, цирюльники, живодееры — эти рады стараться! Да еще голытьба деревенская!)

Тарпатаки

Это была тяжелая ночь! Половина ее ушла на поддержание порядка. Однако мне нужно было позаботиться и о себе самом, чтобы остаток ночи провести по-человечески. Поэтому первое, что я сделал, — это занял одну из кассовых комнат вокзала. Второе, что я также незамедлительно осуществил (хотя это, казалось, и шло вразрез с первым), — это удалил Бетти с территории вокзала.

После этого оставалось только успокоить задержанных людей.

Впрочем, удалить Бетти оказалось не таким уж простым делом. У меня даже невольно мелькнула мысль: а не устроиться ли нам с ней вдвоем в зашторенной конторке? Какому мужчине не придет это в голову в подобной обстановке? Она бы еще и готовила мне, ведь денщика-то у меня не было!

Но я поручил двум матросам сопроводить ее домой.

Ничего, пару деньков проживем на сухом пайке.

Блондинка Бетти, любезно предоставившая мне накануне ночлег, никак не соглашалась, чтобы ее увели отсюда. Она даже расплакалась. Во-первых, от обиды, что, мол, я

се уже больше не люблю, и все из-за этих денег. Но ведь она принесла назад пятидесятипятирублевую бумажку! Вторых, она призналась, что боится одна оставаться в квартире. Ее комната выходит на улицу, и сейчас это очень плохо. Жильцы в доме ее презирают. Даже и не разговаривают с ней. «Они смотрят меня свысока», — сказала она, коверкая речь.

Это прозвучало у нее очень искренне, и не поверить ей было нельзя. И все же она поняла: на вокзале для нее тоже нет надежного убежища. И тогда она сбивчиво, шепотом стала просить меня отпустить домой ее знакомых, которых она видела в толпе прибывших с поездом, — все равно ведь я дам ей провожатых.

Вполне можно было подумать, что ее знакомые не иначе как какие-нибудь проходимцы. Каково же было мое удивление, когда Бетти выбрала из толпы несколько старух и стариков и лишь одного-единственного мужчину помоложе, да и тот поддерживал больную жену, которую привез из будапештской больницы. Увидев это, я понял, что публичная женщина, если она умная, не вербует клиентов среди тех, кто живет поблизости от нее, иначе не миновать ей постоянных интриг и скандалов.

Когда матросы вернулись, я спросил, не перепало ли на их долю женской ласки. Ребята быстро сообразили и отрицательно покачали головой.

Девица вела себя так, что им и в голову не пришло побаловаться с ней, даже когда они подошли к порогу ее дома.

Да ведь и мороз какой! Когда тридцать градусов ниже нуля, тут уж не до юбок.

Я полагал, что рано лягу спать. Но в каморке кассирши это оказалось невозможным: я не переставал дрожать от холода, так как никто не побеспокоился затопить здесь печку.

Раздосадованный, я как раз думал об этом, когда мне позвонили по телефону и сообщили, что в банском дворце совещание офицерского состава.

Тогда я как-то не обращал внимания на это название, ведь бана у нас не было, да мы и не собирались его заводить, а вот название дворца мы не изменили.

Вместе с дворцом, который построили сербы, мы унаследовали и его название.

Совещание офицеров? Там были все — как говорится, и стар и млад. Да ведь ты тоже, наверно, помнишь, Поздор! Его превосходительство кидал фразы, и они свистели над нашими головами, как бумеранг, который то летел в нашу сторону, в зал, то из глубины зала вновь возвращался к нему. Одновременно он размахивал руками и то угрожа-

юще потрясал кулаком, а то как-то странно растопыривал пальцы. И нельзя было понять, особенно с того места, где я стоял (в задних рядах), откуда же вылетают эти резкие звуки и рубленые фразы: изо рта или из ладони.

— Я недоволен результатами! Враг укрылся здесь, в городе! Он прячется по домам и смеется нам в лицо! Или—что еще хуже и позорнее для нас—он хихикает себе в кулак, тыча под нос нашему солдату или жандарму жалкую бумажонку в несколько строк—фальшивое удостоверение личности! Стыд и срам! Неужели не найдется среди вас никого, кто отомстил бы за пролитую кровь? Ваше безволие, отсутствие дисциплины говорят о полном крахе нашей боевой подготовки! Я сыт всем этим по горло! И больше не потерплю такой бездеятельности, такого трусливого поведения! Я хочу боя! Моя цель—возмездие! Полное уничтожение врага!

Так он говорил добрых полчаса. Мы уже устали его слушать. В помещении было жарко, и мы все вспотели. Особенно те, кто опоздал, добираясь из отдаленных точек, и, не успев раздеться, стоял сейчас в полном зимнем обмундировании и молча слушал гневную речь его превосходительства.

Когда наконец все закончилось и мы вышли на улицу (меня сопровождали два мичмана и один фенрих), нас так охватило морозом, что испарина застыла на лицах.

— Что же мы будем делать?—осторожно, словно щупывая меня, спросил фенрих.—Ведь что-то и мы должны делать!

Под ногами скрипел и хрустел снег. Мы парами направлялись к вокзалу, и наши шаги раздавались так гулко (тем более что мы шли не в ногу), словно шествовала целая рота!

— Ничего мы не будем делать. Нас же учили: стрелять только тогда, когда видим противника. Если же не видим, то и не стреляем. Вот этого правила мы и будем придерживаться!

Может быть, я еще сказал что-нибудь вроде того, что дурацкие приказы будем принимать к исполнению только в письменном виде. А может быть, я только подумал, но не сказал.

И без того я сболтнул лишнее.

А знать, что думают мои молодые спутники, я не мог. Я был для них командиром, и они мне не перечили.

Поздор

Вообще-то это совещание офицерского состава протекало не совсем так. Речь шла и о другом. В строю были и

раненные жандармы, а один капитан зачитал донесение о самых последних безобразиях. О том, что каких-то свреев поймали в тот момент, когда они с крыши синагоги подавали световые сигналы через Дунай, в Петерварад. Четники и евреи—одно и то же. Это странно было слышать. Но потом мы пришли к выводу, что, по-видимому, так оно и есть. Ведь они и в разговоры с нами не вступали. Чтобы еврей сблизился с венгерским офицером—не было таких примеров. Правда, торговцы рассыпались в любезностях и заискивали перед нами, но то была лишь приторная личина, которой мы не верили. После первых недель показного воодушевления (когда они из кожи вон лезли, чтобы доказать, какие, мол, они истые венгры, даже витрины украшали трехцветными лентами, протягивая их из угла в угол между головками вонючего сыра и кальсонами) они вдруг как-то замкнулись и подозрительно стали отводить глаза. Правда, и нас тогда кое о чем предупредили: дескать, из их среды и выходят шпионы. Спору нет, мы чувствовали, что они установили контакт с врагом и поддерживали постоянную связь с четниками и партизанами, скрывавшимися в окрестностях Фрушки-горы. Посылали им сведения, получали от них листовки с угрозами в наш адрес и распространяли их в городе. Ведь по ночам они могли свободно передвигаться! Это ничего не значило, что военная администрация еще не была упразднена. И световые сигналы они передавали—это точно! Сигналили с крыши синагоги, а из Петерварада передавали ответ морзянкой, по светотелеграфу. И с того берега, из петерварадской крепости, потому что и там у них наверняка тоже был свой человек. Они, конечно, были уверены, что, мол, эти болваны—венгерские солдаты—ничего не заметят. Вот как презирали нашего брата после первого патриотического порыва. Но чем они могли похвастаться перед нами, что у них было за душой, чтобы так спесиво бить себя кулаками в грудь? Тем, что они говорили по-венгерски, понимали венгерский?! Ну и что с того? Венгерскому можно выучиться и ради выгоды! А потом кто знает, может быть, дома они болтали на другом языке! Говорят, чаще всего на немецком. Впрочем, я знаю и таких, которые совсем «осербились»: зимой носили высокую меховую шапку и заправляли шаровары в сапоги!

В общем, там, на этом затянувшемся ночном совещании, мы поняли, о каком важном деле идет речь. «Моя цель—возмездие!» А что еще, прошу покорно, может быть, как не возмездие? У меня перед глазами тотчас же предстали заледеневшие трупы шести моих новобранцев. Как мы все быстро забываем! Да вот хотя бы я: хорошо

помылся, и уже не было у меня иного желания, как прикорнуть где-нибудь в одной из боковых комнатенок клуба левенте. Ну и еще: не дай бог, чтобы кто-нибудь обидел мою квартирную хозяйку. Скажу честно: я тогда сгорал от стыда; хотя его превосходительство говорил вовсе не обо мне! «Мы должны показать, что венгерские солдаты не потерпят бесстыжих издевательств. Всему есть предел. К сожалению, терпение — это как раз национальная добродетель венгров. Но всему есть конец, чаша нашего терпения вот-вот переполнится. И тогда мы нанесем удар. И кровожадный, вконец обнаглевший враг почувствует, что нет места пощаде и жалости, если дело доходит до возмездия! За грехи следует расплачиваться! Моя цель — возмездие!»

Ясно, между евреями и сербами никакой разницы. И те и другие могут быть одинаково виновны. Более того, если какой-нибудь серб ведет себя подобным образом, то это еще понятно. От серба другого и ждать не приходится. У него мозги набекрень еще со времени, когда он пил материнское молоко. Он, может быть, даже и не сознает полной меры своей вины, хотя и ест венгерский хлеб.

А вот с евреями положение намного хуже!

Это чувствовал на совещании каждый!

Но я тут же подумал, что мне нечего стыдиться за свою квартирную хозяйку. Ведь я же прекрасно знал, что ни в каких непатриотических делах она не замешана. Ей и в голову не могло прийти поддерживать мятежников куском хлеба или просто-напросто сочувствовать им. Не буду отрицать, я знал, что она думала так, как мне хотелось. А она знала, что это мне приятно!

Если я, случалось, злился, то лишь на то, что никогда не смог бы на ней жениться. Потому что ее общественное положение не позволяло мне сделать это, не уронив чести мундира. Я хоть и не рискнул спросить ее, но все же догадывался, что она сдавала комнату и раньше, при сербах. Впрочем, муженек ее тогда еще был дома. Ха, гляди-ка, расхвастался и совсем забыл о том, что моя квартирная хозяйка была замужней женщиной!

Словом, скажу, что в ту полночь, в среду, каждый сознательный офицер чувствовал: в четверг должна пролиться кровь! Пролитая венгерская кровь должна быть отомщена. Эта речь пришлась по сердцу и запала в душу.

«Моя цель — возмездие!» Я никогда не забуду этого!

Сабо

Если бы мы узнали хоть на полчаса раньше, что предстоит возмездие, что скоро должна пролиться кровь, мы, конечно, не струхнули бы так на рассвете. А то ведь

даже унтер-офицер Дорнер с перепугу пускал из-под шинели таких «голубков», что пулеметчик, шедший в строю за ним, сказал с возмущением: «Вы что, издеваетесь, господин унтер-офицер? Я лучше стану в конце шеренги!» Так и получилось, что наш пулеметчик, который должен идти сразу же за командиром отделения, в затылок ему, в ту ночь оказался в хвосте шеренги.

На рассвете мы вышли на улицу из гимназии, где после отвратительного, совсем остывшего ужина расположились на отдых. Сказать по чести, мы и не наелись, и не согрелись совершенно, да и спали-то как псы дворовые: только было задремали, как нас подняли по тревоге. В голове промелькнуло: «Ну, конец света!» Даже Дорнер стучал зубами—то ли от холода, то ли от страха (это по сей день осталось для меня неясным).

Мы наскоро надели на себя ремни и повесили тяжелые патронные подсумки. Штыки примкнули уже в воротах. В бога мать!—на улице трещал такой мороз, что даже волосы в ноздрях сразу смерзлись, и когда я нечаянно коснулся носа, то чуть не взвыл от боли.

Эти двупалые солдатские перчатки были для нас настоящим проклятием, особенно если нужно было в них что-нибудь делать.

Спустившись с верхнего этажа гимназии, мы даже вспотели, хотя еще минуту назад наверху спросонья дрожали от холода. Может быть, это случилось оттого, что жандармский офицер, точно острый нож, направлял нам в спину карманный фонарь.

В воротах он еще раз смачно обругал нас, а Дорнера обозвал даже большевистской свиньей, затем отпустил.

Чтоб ему пусто было! Этот тип преследовал нас, как архангел Михаил—Адама и Еву!

Бог свидетель, что в следующую же минуту влажная от пота щетина, которой поросли наши щеки, превратилась в ледяную корку. Черт бы побрал эту стужу! Хоть плачь от боли! Такой мороз! Во всяком случае, я дико мерз.

А солдатик, что плелся вслед за мной, так он и вправду плакал. Что с него взять, сердечного,—новобранец ведь!

Дорнер же молчал, точно ему зашили рот.

Прошло не менее получаса, прежде чем мы немного пообвыклись в этой ночной стуже. А пока мы, как волы, упрямо топали дальше по скрипучему снегу. Не знаю, не припоминаю даже, куда мы держали путь. Возможно, унтер Дорнер тоже не знал, а шел напрямик, куда вел его собственный обмороженный нос. А мы за ним, ни дна ему ни покрывки!

Никогда не забуду той ночи! Я обморозил себе шесть пальцев на ногах. С тех пор при перемене погоды всегда маюсь с ними: болят страшно!

Я тогда думал: этому патрулированию не будет конца, от него с ума сойти можно! И все же психанул не я, а наш пулеметчик. Это был крепко сбитый парень из Куншага, с такой челюстью, что, наверно, мог бы загрызть теленка, попадись тот, бедняжка, ему на зубы. Вот такой это был парень, дикий и страшный на вид, а на самом деле добряк. Правда, после того, как он взбунтовался против дорнеровских «голубков», мы поняли, что с ним что-то неладно.

— Стой!— заорал вдруг пулеметчик в конце шеренги в нарушение всех уставных правил. Он не имел никакого права командовать, и все же мы остановились. А он взял да впечатал приклад своего ручного пулемета в снег и как начал сыпать ругательствами: дескать, чтоб черт забрал того, кто выдумал это ночное свинство!

Дорнер тоже остановился, вышел из строя и крикнул:

— А ну подними пулемет, вонючий мужик!— Он был сапожником у себя в деревне и запросто мог так сказать.

— Сам вонючий!— ответил парень.

Тут Дорнер подошел к пулеметчику и, развернувшись, влепил ему левой рукой оплеуху. Перчатка смягчила удар. Но парень неожиданно разревелся.

— Вы драться?— вдруг спросил он и, не ожидая ответа, отшвырнул от себя ручной пулемет и обхватил Дорнера. Хорошо еще, что тот на полголовы был выше, и парню, чтобы укусить его за нос или за ухо, пришлось встать на цыпочки и тянуться.

Мы-то видели, чего он хотел, и, будь Дорнер хоть немного ниже, парень в тот же миг наверняка оттяпал бы ему нос, а может, еще и ухо. Он тянулся изо всей силы, но Дорнер запрокинул назад голову, и укус пришелся на воротник шинели. Куншагский парень, чтоб ему пусто было, мгновенно отгрыз форменную пуговицу и тотчас же выплюнул ее. Мы схватили парня. Больше он уже не мог кусаться. Впрочем, он и не пытался; казалось, он даже был рад, что мы его схватили.

— А здорово я согрелся!— проговорил парень, осклабившись. Однако сам дрожал всем телом.

Дорнер тоже не стал его больше бить—ни за эти слова, ни за откушенную пуговицу,—хотя знал, что теперь ему придется до рассвета командовать нами в неуставной форме. Он не подал виду, что разозлен.

Ручной пулемет он заставил нести другого парня, сказав, что только на один час. И добавил при этом (что нам показалось очень странным):

— Не знаю, какого черта нужно таскаться с этой

штуковиной по такому морозу. И все же, если с ней что случится, вы мне ответите!

Дорнер перешел на уставное «вы». Парнишка из Куншага вытянулся по стойке «смирно». Однако «Слушаюсь!» не сказал. Один из новобранцев нашел пуговицу Дорнера, с трудом откопал ее из-под снега и подобострастно протянул господину унтеру.

Дорнер снял перчатку и спрятал пуговицу в карман шинели. Потом приказал куншагскому парню:

— Дайте сюда ваш пистолет!

— Почему? Что я такого сделал?

— Пока вы несли ручной пулемет, вам полагался пистолет. Но поскольку вы сменили пулемет на винтовку, пистолет вам уже больше не положен.

Это верно. Даже странно, что у Дорнера была только винтовка, а у неотесанного новобранца — и винтовка, и пистолет!

— А вам полагается? — спросил парень из Куншага, явно озадаченный.

— Я командир отделения!

Тут уж самому господу богу не над чем было раздумывать.

Парень отстегнул от поясного ремня кобуру с пистолетом и без колебаний отдал ее Дорнеру. А тот нацепил ее на свой ремень, за подсумками с патронами, так что пистолет оказался у него где-то совсем сзади. Мы тронулись дальше.

В кварталах, где мы патрулировали, город был нем и мрачен. Ни малейшего движения. Казалось, даже собакам пасти заперли на замок.

Но вот в щели ворот одного из домов мы заметили полоску неяркого света. Он шел из темной глубины двора и падал не на дорогу, а светил на уровне глаз.

Дорнер постучал в ворота. Мы стали ждать. Тишина. «Держать оружие наготове!» — скомандовал наш унтер.

«Чего ваяет дурака этот Дорнер? — подумал я. — Вот сейчас он подаст команду «Огонь!», и мы всполошим всю округу». Но тут же я подумал: а почему бы, собственно, нам и не всполошить всю округу веселенькой пальбой? По крайней мере хоть какое-то дело. А нам и вовсе неплохо: ведь если ружейный ствол нагреется, то и ночь покажется более теплой, а служба — более легкой.

Дорнер еще пару раз остервенело ударил в ворота, и тогда огонек задрожал и двинулся по направлению к нам. Кто-то нес керосиновую лампу. Когда дверь открылась, мы увидели перед собой мужчину, голова его была по-бабьи повязана платком.

— Я мыл голову, — сказал он, склонившись и ничего

не спрашивая; затем посторонился, пропуская Дорнера вперед. Он даже посветил ему лампой, указывая, куда идти. Он вел нас в свою «нору», хотя, как мы заметили, во двор выходили двери еще по крайней мере четырех квартир.

Комната, в которую мы—все наше отделение—прошли, была согрета человеческим теплом и пропитана запахом женского тела и маленьких детей. Когда хозяин выкрутил побольше фитиль лампы, мы увидели, что в кровати под периной лежит женщина с ребятишками. При виде нас они задвигались на скрипучем ложе и вытянули шеи в нашу сторону.

— Поесть!

На полке стояла корзинка. Хозяин извлек из нее начатую буханку хлеба. На жестяной тарелке лежал небольшой кусок сала.

Дорнер вытащил перочинный нож и раскрыл его; кто-то из детей громко заплакал. Дорнер отрезал себе ломоть хлеба и кусочек сала.

— Нарезайте себе!

Никто не двинулся с места.

Один Дорнер уписывал за обе щеки.

— Выпить!

Хозяин будто не понял его.

— Палинки!

Тот пожал плечами, и мы рассмеялись, глядя на его по-бабьи повязанную голову.

— У Лакича есть,—с дрожью в голосе проговорила женщина.

А муж ее: «В самом деле!» И с этими словами вышел. Мы услышали, как во дворе раздался стук в соседнюю дверь. Хозяйка, видимо испугавшись, что осталась одна с девятью соладтами, которые могут сейчас сделать с ней все что угодно, заголосила.

Н-да, только этого нам и не хватало. Если бы она хоть немного приоткрылась, может, у нас и пробудилось бы желание. А так даже смотреть не хотелось на ее вмятую в подушку растрепанную голову.

Но вот вернулся ее муж и принес бутылку палинки. Однако сам Лакич не пришел с ним. Мне почему-то захотелось зайти к нему и вытащить его из постели. Наверняка у него красивая жена, рядом с которой он сейчас снова улегся. Эта мысль разозлила меня: мы должны мерзнуть на таком морозе, а кто-то сунет через дверь бутылку с палинкой (правда, многие и палинки не дают, да мы у них и не просим) и снова плюхается на кровать рядом со своей аппетитной, теплой женой. Разве что приспичит помочиться—встанет, выйдет, сделает свое

дело, а потом снова подкатится к ляжкам своей красотки. В бога мать!

Дорнер, продолжая жевать, тотчас потянулся за бутылкой с прозрачной жидкостью. Сделав несколько глотков, он передал ее мне. Мы все по очереди выпили и даже угостили хозяина. А когда бутылка снова вернулась ко мне (Дорнер все еще был занят салом), то я и хозяйке предложил.

Женщина была так напугана, что не посмела отказаться, да и муж не возражал, поэтому она приподнялась на локте и поднесла бутылку ко рту.

Рука у нее была обнажена — белая и такая полная, что я, наверно, не смог бы обхватить ее своей лапой. Когда хозяйка пила, грудь у нее приоткрылась. Она не была такой белой и упругой, как рука. Мне она показалась какой-то рыхлой и обвислой, и это было ее счастье.

Остальные, думаю, ничего и не заметили, разве что только Дорнер, но он продолжал есть.

Бутылку мы взяли с собой. Было бы жалко оставить ее у мужчины с бабьим платком на голове. К тому же мне доверил ее наш унтер: «Сунь к себе в карман. У тебя будет не так заметно, как у меня, в голове шеренги. Да если и заметят, не беда: просто подумают, что у тебя как у молодого бычка... Хе-хе-хе!»

Он-то сказал это шуткой, а у меня и в самом деле мысли стали перескакивать от палинки к взлохмаченной теплой женщине. У нас ведь и руки соприкоснулись, когда я брал у нее назад бутылку.

Только потом я догадался: они, наверное, сербы; недаром говорили так мало и вели себя так услужливо.

Мы еще раз пустили бутылку по кругу и, опорожнив, бросили в сугроб.

У всех поднялось настроение. Мы даже забыли о том, что надо идти в ногу. Дорнер шел впереди и весело насвистывал: «Кто в ногу шагает, тому вечер пирог обещает!» Когда он дошел до пирога, то вдруг оборвал свист и вместо пирога вслух посулил нечто иное...

Не прошло и пяти минут, как мы почувствовали, что мороз прохватывает нас еще сильнее.

Кожа на лице, казалось, готова была треснуть, обожженная ледяным ветром, дувшим со стороны Дуная. Нам всем хотелось, чтобы Дорнер нанес визит еще кому-нибудь.

И чтобы найти повод для этого, мы во все глаза глядели по сторонам, не мелькнет ли где огонек, будь то даже лампадка.

Дорнер и мы были одно целое. Он мог обложить любого из нас матом или дать затрещину, но, когда нам

угрожала опасность, мы были одно целое. И мысли и желания Дорнера совпадали с нашими.

Тем более в такую ужасную ночь!

Я уже не помню названия улицы, по которой мы шли. Вроде как Милетическая? Ее еще переименовали в улицу 13 апреля.

Во всяком случае, мы ее так называли—в честь дня, когда мы вступили в город.

Помнится, старушка, в окно к которой мы постучали, сказала, что это Милетическая улица. Аккуратный такой домик, с четырьмя окнами. Три окна—чистые, блестят, луч карманного фонаря скользнул по ним как по зеркалу. А первое от ворот окно—заиндевелое. В него мы и постучались. За стеклом показалась закутанная в платок женская голова.

— Впустите, мамаша! Замерзли.

Мороз был ужасный. А точнее, предрассветные часы—самые холодные. Даже летом; что же говорить о зиме! И ведь никуда не приляжешь—кажется, остается только одно: сдохнуть под забором.

Тетка, увидев винтовки со штыками, пошла отпирать дверь. Мы слышали, как она гремела ключом, стараясь попасть в замочную скважину.

Она провела нас в комнату, стены которой были завешаны книжными полками. Видно было, что, кроме нее, здесь живет еще мужчина—возможно, ее сын.

— Чем он занимается?—спросил я.

Отделение рассыпалось кто куда. Двое двинули в кухню, а Дорнер—в другую комнату. Тетка прошла вместе с нами в большую комнату. Там стояло несколько мягких кресел.

— Преподаватель,—невнятно ответила она,—в гимназии преподает. А сейчас он в Будапеште. Мой племянник.—И она показала на неразобранную кровать.

Дорнер вошел и спросил:

— Где держите палинку, бабка?

Женщина только головой покачала.

Дорнер подошел к книжной полке, сбросил две-три книги и сунул руку в паз.

— Обычно господа хранят палинку в таких местах. Ракия, ракия?!—кричал он старухе, думая, что она сербка. Затем, точно отсыревшую штукатурку со стены, смахнул на пол еще один ряд книг—его разбирало нетерпение: где могла быть спрятана водка?

Я тем временем уселся в мягкое кресло и только теперь сообразил, почему окна в этой комнате такие блестящие и прозрачные: она была нетопленая.

А старуха, заикаясь, бормотала:

— Мы венгры.

Что такое? А, это она насчет ракии: не понимает, мол.

— Мы не держим в доме крепких напитков.

Мне было холодно. Не дожидаясь окрика Дорнера, я встал.

— Пошли!

Дорнер выругался. Через другую комнату мы прошли на кухню. Старуха, идя за нами, гасила свет.

— У кого, по-вашему, может быть палинка?

— Немного картошки с паприкой у меня есть, и, пожалуй... пожалуй, я могу вскипятить чай. Если вы подождете...

Два наших парня, опорожнив кастрюлю с остатками ужина, заснули на кухне, не выпуская ложек из рук.

Ясно! Старуха топила только кухню.

— Пошли.

Дорнер пинками растолкал обоих новобранцев. Мы двинулись. Не успели выйти за ворота, как голос у старухи прорезался:

— На помощь! Бандиты! Ограбили!

Мы остановились, взглянули на Дорнера. Тот резко повернулся кругом. Затем поймал старуху в дверях и дал ей пинка.

— Старая карга! Где взять палинки, ты, конечно, не знаешь!

Женщина плюхнулась животом на подметенную брусчатку двора и проговорила теперь уже совсем другим голосом:

— У Готтлибов всегда... всегда есть ликер!

Оставив открытой дверь в кухню, Дорнер с силой захлопнул калитку.

Он хохотал. Ему нравилось, как он разделался с этой старухой. У третьего дома мы остановились. На двери увидели табличку:

«Адольф Готтлиб, электромонтер».

Дорнер продолжал смеяться.

— Старуха не соврала!

— Это еще не известно,—возразил парень из Куншага.—Вот когда увидим ликер...—И он забарабанил в дверь.

Дорнер одобрительно кивнул и сказал:

— Готтлиб!.. Какой-то божий еврей! Не пойму только, почему он тогда ходит в простых электромонтерах.

Дорнер был страшно горд, что знал и по-немецки.

Это была целая речь. За весь день мы не слышали ничего подобного. Мы нажали на дверь. Запор оказался слабым. Перед нами была небольшая застекленная веранда. Легко открыв дверь, мы посветили фонарем и увидели

ступеньки; Дорнер, я и пулеметчик поднялись на веранду.
— Остальные останутся здесь — в охранении.

На веранде температура была вполне терпимой. Чувствовалось, что здесь тоже топили; кругом стояли горшки с цветами. Недурно живет этот еврей!

Дорнер шел уверенно, полагаясь на свои познания в немецком.

Мы нашли выключатель: нечего беречь электричество! Затем пошли дальше. Снова застекленная дверь, за которой оказалось еще теплее.

Вот так топят! Около двери мы опять увидели выключатель и снова включили свет. У противоположной стены стоял большой старинный буфет с мраморной доской посередине. Дорнер кинулся к нему, чуя, что именно там спиртное.

Винтовки с примкнутыми штыками мы прислонили к стене.

Вокруг стола стояли четыре стула. Стол был накрыт и еще не убран после ужина: крошки на скатерти, куски хлеба в корзинке и тушенная гусиная ножка на блюде.

Я первым увидел гусятину и потянулся за ней. Взял ножку, суховатую правда, но зато целую, нетронутую.

Дорнер нашел бутылку. В ней было что-то зеленое. Он понюхал, достал чайный стакан, наполнил его почти до краев и одним духом осушил. Шинель у него около шеи распахнулась, и стали видны костяные звездочки на петлицах. Он снова налил себе и отодвинул бутылку на угол стола.

— Это вам, ребята,— сказал он, обращаясь к пулеметчику.

Меня он вроде как бы не брал в расчет, видя, что я занят гусиной ножкой.

Но тут же как рывкнет:

— Эй ты! Как ты смеешь?!— И потянулся за ножкой.

В этот момент дверь соседней комнаты отворилась, и на пороге появился хозяин дома в каком-то балахоне. Он только рот разевал от изумления и не мог выдавить из себя ни звука.

Бутылка с ликером застыла в руках пулеметчика, а гусиная ножка — у меня в руке.

— Если ты сейчас же не отдашь мне ножку,— орал Дорнер,— я вырву у тебя ее вместе с пальцами!

Хозяин стоял у него за спиной, и он не мог его видеть.

Я бросил гусиную ножку на стол, надеясь, что мне хоть достанется полстакана зеленой жидкости.

— Как вы смеее?!— завопил наконец хозяин.— Какое вы имеете право?!— Балахон его распахнулся, и мы увидели под ним белое, плотно облегающее тело белье, в

какое обычно бывают одеты маленькие дети.

Дорнер—с костью в зубах—обернулся.

— Как вы смеете врываться в дом мирного гражданина?! Налоги я плачу исправно!

Мне было непонятно, что он хотел этим сказать. Но хозяин тотчас добавил:

— Завтра же утром я донесу об этом в банский дворец! Это бандитизм!—Он подошел к нашему унтеру, все еще державшему в зубах гусиную ножку, и начал его выталкивать.

Собственно, я неточно говорю: он только раз толкнул Дорнера, второй раз уже не успел, так как Дорнер одной рукой отшвырнул от себя стул, а другой вытащил из кобуры пистолет и, не целясь, выстрелил.

Он попал в голову хозяина, который как раз в этот момент раскрыл рот, намереваясь, видимо, произнести новую угрозу. Падая, он потянулся за стулом и опрокинул его на себя. Рухнув на пол, он сразу же забился в конвульсиях и захрипел, в бога мать.

Ну и ну! Все это произошло так неожиданно, что я даже не успел встать из-за стола.

Пулеметчик, не выпуская из рук бутылки, подхватил свой ручной пулемет, стоявший у стены, и бросился к выходу. Он едва не прошиб застекленную дверь.

В комнату стали заглядывать остальные наши ребята из отделения. Дорнер наспех догрыз кость, бросил ее и осушив стоявший перед ним стакан.

— Вот так так! А я-то надеялся хоть на половину!—потянулся было я обеими руками к стакану. Пальцы все еще плохо слушались, точно одеревенели. Я и ножку гусиную до этого еле удерживал.

Дорнер на мгновение задумался. Потом положил пистолет на стол.

— Где бы найти иголку с ниткой?

И выдвинул один из ящичков под мраморной доской буфета. Он был дьявольски спокоен.

Дверь оставалась незакрытой, и комната быстро наполнялась холодом.

Тут я услышал какой-то шум, донесшийся из внутренней комнаты.

— Пошли...—начал было я.

— Эти господа иголки с нитками обычно держат в таких местах.

Он забыл, что мы были в доме простого электромонтера.

В этот момент дверь распахнулась, и в комнату вбежали две женщины. Они сразу бросились к хрипящему на полу хозяину дома.

— Ой-ой, папа! Умер, умер, его убили!

Я даже не помню, во что они были одеты, так внезапно все это произошло.

Между тем Дорнер и думал, и действовал, вернее, сначала действовал, а потом...

Он схватил со стола пистолет и разрядил обойму в обеих женщин—все остававшиеся шесть патронов.

Наступила полная тишина. Дорнер уже больше не искал иголку с ниткой. Он перешагнул через скрюченные тела и шепнул мне:

— Смываемся!

Только было он взял свою винтовку, как опять послышался какой-то шорох. Мы обернулись. В дверях стояла невысокая женщина в чепце. Она прижимала руки к горлу, точно желая удержать голову на шее. Их мать!

Она была в ужасе от увиденного. С ее губ срывались какие-то слабые, нечленораздельные звуки: то ли «о-о», то ли «и-и-и».

Заметив в руках у Дорнера винтовку со штыком, а может быть, четыре костяные звездочки у него на петлицах, она начала пятиться. Но дверь уже не успела закрыть—господин унтер-офицер настиг ее.

— Ты подсматривала? А?—зловеще прошептал он. Затем послышался вопль, и... все стихло. Дорнер молча втиснул женщину в темную комнату. Я видел только его спину. Но тут же он вышел и вытер штык о свисающий конец скатерти.

Не говоря больше ни слова, Дорнер направился к выходу.

Я погасил электричество и притворил дверь.

Мне было жалко, что бутылку осушили без меня, а наши ребята ни о чем не спрашивали.

Внизу мы построились и зашагали в ногу: левой-правой, левой-правой. Никто из нас не проронил ни слова.

— Черт побери, даже пуговицу пришить недосуг!—раздраженно проворчал Дорнер после долгого молчания.

О проклятом морозе мы уже больше не говорили до самого рассвета. Мы совсем забыли о холоде. Наконец стало светать.

Вместе

Шли месяцы. Они по очереди изливали друг другу душу, но достаточно было им погрузиться в долгое молчание, как, несмотря на приход весны, они по-прежнему оказывались во власти мучившей их мысли: «Почему все же мы четверо?»

И не столько даже почему я, или ты, или почему он!

На это можно было найти ответ. Но почему мы вчетвером, вместе?! Почему именно мы вчетвером? Мы, которые до этого никогда и не встречались.

Только фенрих да унтер-офицер Сабо выяснили, что за два с половиной года до того времени оба они были в одной учебной роте: Поздор—кадетом, а Сабо—повобранцем. Но Поздору и не пришло бы это в голову, если бы Сабо не напомнил ему об этом.

Разумеется, много говорили о женщинах. Вообще о женщинах. И о конкретных случаях с ними. О мимолетных связях. Как начиналось знакомство, как развивалось и чем заканчивалось. В заключение давалась оценка; так сказать, подводился итог: хорошо ли было и стоило ли.

Разговоры на эту тему вели главным образом Поздор и Сабо.

Бюки если иногда и прислушивался, то после одной-двух историй хмурил брови и с презрением отворачивался. В такие беседы он не вступал, ничего не спрашивал.

Другой женатый человек, Тарпатаки, иногда принимал участие в перемывании женских косточек. Однако там, где нужно было сослаться на собственный опыт, он всегда в начале или в конце рассказа говорил: когда я был холостым...

Сон и молчание занимали половину их времени. Две мысли незримо кочевали от одного к другому: может быть, и не вместе, не одновременно, не как близнецы, но и не обособленно, а словно держась за руки. Или, еще вернее, как тени—друг за дружкой.

«Я-то действительно совершенно невиновен. Судьба ничем не сможет запятнать меня. А вот вы? Какие ужасные, жестокие часы пришлось пережить каждому из вас?! Меня-то принудили, поэтому я и нахожусь здесь, под одной крышей с вами, дышу с вами одним воздухом».

Когда не нужно говорить вслух и можно обойтись как бы наметками мыслей, то и примитивно мыслящий человек стремится к высокому стилю.

А также тогда, когда желает ввести кого-то в заблуждение.

«Я не могу знать, кто тут доносчик, кто соглядатай, только и ждущий, чтобы я размяк, разоткровенничался и дал бы ему возможность донести на меня, оболгать и предать».

Но стоило кому-либо заговорить, и уже не удавалось держать в узде свои мысли, думы. Даже если бы за тобой кто-то все записывал, то и тогда трудно было бы отказаться от удовольствия предаться воспоминаниям. А тем более если ты сможешь чем-то удивить.

Как трудно иногда бывает среди ночи, когда наступает неожиданное просветление, заставить себя молчать только потому, что остальные трое спят.

И тогда: «О, только бы не забыть рассказать об этом утром!»

Поэтому-то тайны не могли оставаться среди них тайнами.

Бюки

Человек, конечно, не запоминает каждое утро в своей жизни, но то утро, которое началось для него смертельной опасностью, он не забудет. Помнит он и то утро, которое промелькнуло как одно счастливое мгновение.

Давно я себя не чувствовал так хорошо, таким свежим и полным сил: я шел пружинистым шагом, снег под ногами так и похрустывал.

Поздно было или рано, мне было неясно. Но мне казалось, что либо что-то произошло, либо может произойти,—одним словом, я не хотел опаздывать. Движимый каким-то подсознательным чувством, я вышел из дому пораньше и добрался до банского дворца, опередив других офицеров. Точнее говоря, господа офицеры, оставшиеся там на ночь, еще и не вставали, когда я уже сел к своему рабочему столу. Охране это было известно, и первого посетителя направили ко мне.

Накануне никто не приходил с жалобой, и этот ранний жалобщик невольно вызвал у меня подозрение.

— Это из тех,—сказал мне посылный.

Вооруженный охранник, поддерживая под руку, ввел в комнату мужчину в черном, немного старомодном пальто городского покроя с меховым воротником и каким-то тюрбаном на голове.

— Что случилось?

— Могу я сесть?

Я придвинул ему стул, хотя сразу понял, что передо мной еврей. Тюрбан был намотан у него из простыни и полотенца, сквозь которые проступала кровь.

— Что случилось?

— Меня застрелили, но я воскрес, чтобы прийти сюда и заявить: двух моих дочерей убили, а жену закололи штыком!

Говорил он с трудом, и рассказ его прозвучал неправдоподобно. Я чуть было не крикнул ему: «Что за чертовщину ты несешь?!» Но о мистификации не могло быть и речи: передо мной сидел человек, ослабевший от потери крови.

Я составил протокол, который одновременно явился и

рапортом о преступлении, совершенном тремя людьми в военной форме.

— Это были венгерские солдаты?

— Нет, прошу покорно,—уклонился от прямого ответа электромонтер,—это были трое мужчин, одетых в венгерскую военную форму.

Когда я доложил господину полковнику эту подробность показаний пострадавшего, он даже пальцами прищелкнул.

— Какая наглость!

Его замечание прозвучало так, будто частично относилось и ко мне. Меня это разозлило, но прямо спросить его об этом я не рискнул.

— Можно идти?—спросил я через несколько минут, чтобы хоть что-то спросить.

Грашши стоял спиной ко мне и глядел в окно. Разрешения идти я попросил не по форме—я просто задал вопрос.

— Я вас не задерживаю!—отрубил он, даже не взглянув на меня.

Я тогда уже знал о ночном совещании офицеров, да и ему уже, наверно, доложили, что я отсутствовал.

Мне отвели комнату внизу, рядом с охраной. Жалобщики и пострадавшие сменяли один другого. Все утро прошло так, что я даже минутки урвать не смог, чтобы позвонить домой.

У остальных господ офицеров тоже дел оказалось невпроворот. Многих из них послали даже на усиление операций по проведению облав и «прочесывания», а также для неослабного контроля.

Открыв окно, чтобы слегка проветрить комнату, я услышал вдалеке винтовочные выстрелы. Они доносились совсем с другой стороны, не с той, где находилась моя квартира. Позже, в полдень, я смог различить пулеметные очереди. Они слышались уже в другом месте, но по-прежнему в противоположной стороне, и это меня успокоило.

Я не только забыл позвонить на квартиру, но не подумал о том, что ведь и мне не звонили, и вспомнил об этом, лишь когда денщик принес мне обед.

Я не приказывал ему этого, но аппетитный запах жареной свиной колбасы (я чувствовал его через бумагу и белую салфетку), видимо, подействовал на моего денщика как приказ, и он, несмотря на дикий мороз, прибежал сюда, во дворец, с обедом.

Бедняге не пришлось и передохнуть, я тотчас отослал с ним салфетку обратно. «Карауль дом! Чтобы не случилось беды! Слышишь, стреляют?!»

Я никогда не обращался к нему на «ты», за исключением этого единственного случая: настроение у меня было прескверное.

— Ясное дело,—ответил он,—мы слышим стрельбу! Сербы и евреи готовы пролезть в любую щель! Так и норовят пробраться в наш дом и почувствовать себя в полной безопасности благодаря господину капитану.

Это, с одной стороны, успокоило меня, но вскоре после того, как мой денщик, получив ясный и короткий приказ, ушел, мне стало не по себе.

Во второй половине дня вернулись офицеры, которые побывали в клубе левенте, а один даже на набережной Дуная.

Этот ни о чем не рассказывал, но позже, правда, проговорился, что возмездие продолжается и число жертв уже перевалило за сотню.

Один из офицеров, который, как и я, не покидал здания, заметил: трудно придется с захоронением этих грешников, ведь земля промерзла на большую глубину, и, чтобы захоронить такое количество трупов, понадобятся огромные усилия.

Другой офицер предположил, что немцы, вероятно, разработали на такие случаи специальные методы, и наше командование, без сомнения, могло бы перенять у них опыт.

Кто-то упомянул сожжение, кремацию, как гигиеничный и, так сказать, гуманный метод.

Я, помню, заметил на это:

— Не понимаю значения слова «гуманный». По отношению к мертвецам оно вряд ли уместно. Этот термин может относиться только к периоду, предшествующему смерти.

Тогда некий Казмер Надь, старший лейтенант, набрался смелости и сказал, что он вообще не понимает, зачем нужно возмездие в таких масштабах в Нови-Саде, тем более что, насколько ему известно, здесь вообще не было никакого восстания.

Многие зашикали на него, замахали руками: как, мол, он после вчерашнего ночного собрания офицеров может так говорить...

Я сам удивился его смелости, хотя в какой-то степени был согласен с ним. Во всяком случае, нужно делать различие между виновным и невиновным!

Однако Казмер Надь позабыл об обычной осторожности, а может быть, почувствовал неодолимую потребность высказаться в своей среде.

— Моя свояченица ездила на рождество в Панчаву и Вершец, и там уже тогда поговаривали: «Венгры готовят-

ся в Бачке расправиться с сербами! Правда ли это? И когда? И в чьих это интересах—сеять распри между венграми и сербами?»

— Но ведь речь идет не только о сербах,—возразил ему кто-то.

— Все остальное—это прискорбные случайности и неизбежные перегибы. Да, да!—закричал Казмер Надь.— Это немцы заинтересованы в том, чтобы здесь творилось безобразие, чтобы лилась кровь! Представьте себе, что тут будет, если в конце войны сюда вступят сербы?!

Эта необдуманная речь шокировала всех.

Я и сам возмутился.

Мы еле утихомирили его, еле заставили замолчать, и разговор снова перешел на то, куда вывезти и как схоронить трупы.

Тот, кто был и на берегу и пока не произнес ни слова одобрения, ни слова порицания, не выдержал и вклинился в разговор:

— Пустая болтовня, господа! А в Жабье? Да ведь у нас, господа, уже и свой опыт имеется!

Офицеры замолчали, потому что об этом, пожалуй, каждый уже знал: там под лед в Тису спустили половину жителей деревни.

— Да, но в городе это... гм-гм...—с сомнением покачал головой какой-то капитан (старших офицеров среди нас не было, и весь этот разговор происходил в одной из комнат офицерской столовой, как говорится, за белым столом).

И тут, как назло, в комнату вдруг ввалился порученец господина полковника (да, был у него такой, потому что сам он занимал уже тогда генеральскую должность!).

— Господа!—крикнул он.—Имею указание...

Словом, всем нам пришлось идти.

Господин полковник принимал нас по одному. Люди выходили от него с суровыми лицами и тотчас, без лишних слов отправлялись туда, куда им было приказано.

Наконец нас осталось двое: Казмер Надь и я. Его увел порученец, и вот я последним зашел в кабинет.

Грашиш посмотрел на меня.

— Ах это вы?—спросил он таким тоном, точно ему все известно.—Чтобы я больше не видел вас!

Это уже перешло всякие границы.

— Честь имею доложить: пока я прохожу службу в составе корпуса...

— Что-о?!—прервал он меня.

— ...возможность видеть меня нельзя исключить. И тут я ничего не могу поделать.

— Молчать!—завопил он.

Я совершенно потерял голову. Мне вспомнились многие его распоряжения, направленные против женатых офицеров, и самая последняя выходка, оскорбившая лично меня: сегодня утром он разорвал в клочки составленный мною протокол! Мне рассказал об этом только что его порученец, пока я ожидал в коридоре.

— А что с человеком? С тем, у которого тюрбан на голове? — спросил я тогда у порученца.

Тот скривил губы и произнес:

— В бою пленных не берем!

Эти слова насчет боя прозвучали в его устах так, что я чуть было не принял их всерьез.

Полковнику же я прокричал:

— Ваши распоряжения незаконны! Вы не имеете права разлучать семьи. Вы старый холостяк и не имеете понятия...

— Молчать!

Его визг, казалось, проникал сквозь стены. Я вышел.

Только в коридоре мне вспомнилось: ведь после обеда я опять забыл позвонить домой. Вернувшись к себе в комнату, я тотчас же подошел к письменному столу и хотел вызвать квартиру. Однако станция не соединяла.

С утра все гражданские линии отключили. Обратное включение их было строго запрещено.

Я почувствовал, как лоб у меня покрылся испариной.

Сабо

(Дорнер совсем осатанел: он тянул нас — как паровоз. Но вдруг крикнул: «Отделение!» Мы начали рубить парадным шагом и, когда он скомандовал: «Стой!», остановились как вкопанные, как если бы мы очутились перед самым его высокопревосходительством господином регентом. Это господин унтер-офицер Шашвари обычно говорил нам так на занятиях по строевой подготовке: «А ну замри, ты, кабан, в бога мать! Замри так, точно ты остановился перед его высокопревосходительством господином регентом!»)

— О том, что вы ночью видели, никому ни слова!

— Так точно!

— А что вы видели?! — рявкнул вдруг на нас унтер Дорнер.

Что мы могли на это ответить? Мы молчали.

— Ну!

— Ничего не видели! — ответили мы хором.

— Плохо слышу. Так, сегодня на рассвете... мы ровным счетом...

— Сегодня на рассвете мы ровным счетом ничего не

пидели!—гаркнули мы, сотрясая ледяной воздух. Надо сказать, что к этому времени мы даже о морозе почти забыли.

— Вот так-то, ребята!

И все же по лицу Дорнера я видел, что наш ответ не принес ему особого облегчения.

Когда совсем рассвело, мы кружным путем, как бы случайно, снова подошли к тому дому. Интересно, что другой патруль уже хозяйничал во дворе. Трупы женщин выволокли на мороз. Когда одну из них тащили за ноги, у нее, конечно, задралась юбка, да и рубашка. Но, ей-богу, никто из нас тогда не стал любоваться этим зрелищем.

Дорнер, как только узнал, что застреленный им мужчина пропал, чуть не лишился рассудка.

Жандармский унтер-офицер, распорядившийся во дворе, обратил на это внимание.

— А с чего вы взяли, что не хватает одного мертвеца? Вам что, троих мало? Кто знает, а не затаился ли где-нибудь этот мужчина и не подкарауливает ли нас?! А может быть, пропавший—ваш родственник?! Чего вы суетесь не в свое дело?

— Честь имею доложить,—сообразил ответить Дорнер,—вот уже третьи сутки подряд мы в наряде.

Тогда жандармский унтер поручил нам препроводить человек пятнадцать на какую-то площадь, уж не припомню названия.

Это были схваченные у себя на квартирах, вытуренные из постелей, промерзшие мужчины и женщины, не знавшие, что их ожидает, как не знали этого и мы. Именно поэтому они задавали нам по дороге разные вопросы, и мы отвечали им. Интересовались они всякой чепухой, лишь бы обратиться к нам по-венгерски, тем более что мы ничего не имели против них. Перед тем как мы тронулись в путь, жандармы присоединили к колонне еще нескольких штатских—мужчин и женщин. И тут Дорнер как бы невзначай громко спросил:

— А кто знает что-нибудь об этом электромонтере?—Он спросил это так, точно прочел его фамилию на вывеске.

— Его тоже застрелили,—ответил кто-то из соседей,—но утром он пошел в банский дворец жаловаться.

Дорнер побледнел, словно ребенок, которого одели в праздничное платье, а он напустил в штаны.)

Тарпатаки

У меня в жизни не было еще такого безумного дня—он промелькнул словно один час.

Поезда прибывали и на второй день: и будапештский, и другие; только из Футака пригородный больше не прибыл.

Слыша выстрелы, надо было быть последним идиотом, чтобы не догадаться о связи между этой пальбой и людьми, согнанными в гимназию и клуб левенте.

Мы слышали, что больше всего выстрелов доносится со стороны Дуная; знали мы и о том, что произошло в Жабье, кое-кто из матросов там побывал. Поэтому я распорядился задерживать поезда на ближайших станциях.

По вокзалу дежурил чиновник, с которым я сцепился в первый день; это был худощавый, подвижный человек, а когда он приподнимал свою форменную фуражку, то по его жестким как щетина волосам видно было, что он сохранил свою приверженность армейской службе.

Во вчерашней стычке с жандармами он меня бросил; впрочем, возможно, он обманул меня из добрых побуждений; однако расхлебывать всю эту заваруху пришлось мне.

Он попытался дозвониться на соседнюю станцию, чтобы остановить поезда. Но поезда, хоть и с некоторым опозданием, продолжали прибывать. Я надеялся, что панический слух все же распространится и люди, почуяв неладное, будут сходить с поездов и поворачивать обратно.

Моего железнодорожника будто подменили, куда только девалась его вчерашняя трусость; он включил красный свет на внешних семафорах. Разве мы могли предположить, что там тоже «пасутся» жандармы и что они, не обращая внимания на сигналы, подаваемые службой безопасности движения, заставят машиниста двигаться дальше?

И тут мы придумали—комплектовать составы по направлениям. Тогда еще, то есть утром второго дня, жандармы не очень рьяно прореживали скопившуюся на вокзале толпу. Вот нам и приходилось заботиться об отправке людей, хотя бы ради того, чтобы как-то высвободить место. Это служило нам в качестве объяснения, если на поезд набрасывались жандармы.

Поезда мы все время отправляли с третьего пути, а составы на ближайших двух путях прикрывали передвижение людей. Первый поезд, насколько я помню, забрал около двухсот человек и пошел на Футака, пусть даже и не по расписанию, но все же к месту назначения. Жандармы, охранявшие внешний участок путей, пропустили поезд без выстрела. А мы только за тем и следили: стреляют или нет.

Жандармы были не то обескуражены нашими действиями, не то одобрили их.

Но вот уже подали сигнал следующему машинисту. Только они да кочегары не волновались: их никто не проверял, на их плечи не ложилось никакой ответственности, в глазах — никакой заботы.

Отправился и второй состав. Когда народ садился, пернее — просачивался в поезд, наши люди советовали пассажирам не стоять у окон, а по возможности пристроиться на полу, и лучше всего прямо под лавками. Последнее говорилось в шутку, но многие пытались последовать этому совету.

Когда состав миновал семафор, паровоз замедлил ход и остановился перед штыками жандармов. Через несколько минут мы слышали выстрелы. Мы даже не пытались их считать! Я вспомнил о дрезине. Пять человек — со мной! Но мотор у дрезины никак не заводился. В конце концов всемером мы вскочили на ручную дрезину и помчались. Когда мы подъехали к составу, жандармы уже успели застрелить пятнадцать человек. В основном мужчин, прятавшихся под лавками.

— Это все беглые четники, — объяснил мне жандармский фельдфебель, когда я заорал: «Прекратить огонь!»

Они застрелили еще трех человек в голове состава и только после того, как я поручился за оставшихся пассажиров, разрешили отвести поезд обратно.

Часть трупов уже лежала на насыпи. Тех, кто был убит в вагоне, жандармы тоже стащили вниз. Мои люди подобрали на путях несколько человек, которые еще подавали признаки жизни. Я тотчас велел внести их в вагон и распорядился подать поезд назад.

Машинист был в таком состоянии, что беспрекословно выполнял любое приказание.

Тем временем на вокзале жандармы разделили всех пассажиров, что называется, на черных и белых баранов. Специально отобранных они заталкивали в грузовые машины (пешком гнать людей им уже надоело). Два «форда» для этой цели стояли на площади перед вокзалом.

А для тех, кто остался — больше сорока-пятидесяти человек не уместилось на двух машинах, — жандармы открыли подвал вокзального здания. В него они согнали человек семьдесят, поставив у железной двери двух часовых.

Кое-кто из господ офицеров — жителей города приходили ко мне и, невзирая на свои чины, умоляли отпустить ту или иную женщину, того или иного гражданина. Хотя такие просьбы порой пахивали не лучшим образом, я не доискивался до истинных причин, побудивших этих людей

обратиться ко мне. За кого приходил просить офицер, того я тут же без волокиты приказывал отпустить. Мне было даже как-то обидно, что в гарнизоне нашлось все же не много таких смелых, отзывчивых (или пусть даже корыстных) людей.

Появилась и Беттике в качестве этакой самаритянки и принесла с собой целый список. Я не мог удержаться и расхохотался над ее хлопотами.

— Чего смеяться обо мне?—спросила она, путая слова и тоже улыбаясь.

— Этак ты разбогатеешь, Беттике! Но я не возражаю!

— Это потому, что я отдала тебе назад полсотни?

Эх, мне уже в то время было не до этих пятидесяти пенге!

— Ладно, Беттике, иди разыскивай, кого ты хочешь спасти!

Она украдкой поцеловала меня. Я шлепнул ее по мягкому месту и дал ей в сопровождающие матроса.

— Ты есть очень хороший человек.

Этот поцелуй ее многие видели. И я слышал, как, переругиваясь и споря с моими людьми, она называла меня по имени!

У нас осталось только два жандарма—те, что стояли на часах у железной двери подвала; остальные удалились, и поэтому наверху, в залах вокзала, теперь я командовал и распоряжался один.

Между тем в толпе я заметил сербских крестьян, одетых в национальные костюмы. Я подумал: наверное, я не очень-то согрешу, если заведу их в свою конторку и немного «исповедаю»; как знать, может быть, у них и песни тоже старинные. Правда, пришлось пригласить еще одного горожанина, который и сам лихо распевал, и других настроил. Так что национальные наряды меня слегка подвели.

Слух о том, чем я занимаюсь, распространился быстро, как пламя. В конторку набились все, кому не лень: кто хотел забыться, кто поскандальить.

И вдруг мне подают клочок бумаги.

«Я тоже знаю много красивых народных песен, сам собирал их». И подпись: «Жарко, из подвала».

Неожиданная и удивительно смелая записка! Почерк нервозный, но написано четко, без ошибок. Меня разобрало любопытство.

Когда я спустился в подвал, оба жандарма, мирно сидевшие у двери, тотчас вскочили. Странно, но здесь было тепло. словно где-то в конце коридора топилась котельная.

— Унтер-офицер! Мне нужен некий Жарко для допроса! Он в подвале.

Жандарм повиновался. Он крикнул что-то в темноту и извлек из нее этого Жарко. Я даже не взглянул на него, лишь, поднимаясь по лестнице, слышал за собой стук его ботинок.

Только в конторке кассы я разглядел его как следует. Это был молодой человек с заостренным лицом, в приличном, даже элегантном зимнем пальто, в мягкой шляпе и при галстуке. Несильным, но приятным голосом он спел несколько песен. Потом я выпроводил крестьян.

— Как вам пришло в голову написать эту записку?

Он мгновение поколебался, потом ответил:

— Мы видели вас, да, к счастью, и пение доносилось к нам.— Он понизил голос:— Очень прошу вас, заприте меня здесь, в своей комнате. Если меня заберут, мне конец. А я должен пережить это. Мы видели плакаты: три дня! Значит, осталась еще половина этого срока. А нам, мне нужно выжить, пережить это. Я—серб, так же как вы—венгр!

Последнее он почти прокричал, и я улыбнулся.

Тогда мы вместе с дежурным по станции устроили этому Жарко на втором этаже маленькую камеру и приставили к нему часового-матроса, чтобы он не сбежал.

Каждому будет ясно: это мой арестант, у меня с ним личные счета.

Все это так и расценили.

Впоследствии я узнал, что он не то был, не то должен был стать местным руководителем движения Сопротивления.

Жарко Злитич, преподаватель. Но какого Сопротивления, мне и до сих пор неизвестно.

Он знал народные песни и неплохо исполнял их негромким, но хорошо поставленным голосом.

Поздор

Мы договорились с друзьями весь день резаться в карты. Спрятаться в укромном уголке клуба левенте, где-нибудь позади сцены, в одной из раздевалок. Выбирая это место, мы рассчитывали на то, что отсюда услышим приближение любой опасности, но сама опасность нам угрожать не будет. И, сидя в тепле, раскинем картишки. Серьезную задачу на нас ведь все равно не возложат, и лучше остаться в стороне от ответственности за то, к чему мы не имеем никакого отношения. Конечно, офицерское совещание изрядно взбудоражило наше воображение, но к утру страсти улеглись, разгоряченные головы по-

остыли. Здорово это я сказал!

С картами у меня так ничего и не получилось. Утром начальник караула сунул мне под нос бумажку — служебную записку.

— От господина старшего лейтенанта Кепиро, — сказал он при этом.

Я вырвал листочек из его рук: дескать, плевать мне на распоряжение какого-то жандармского офицера.

Однако когда прочел приказ, то сразу же остыл. Шани — доброе все же у него сердце! — позаботился обо мне. Наверно, вспомнил тот год на юридическом факультете в Сегеде, когда мы учились вместе. Словом, мне предписывалось взять на себя контроль за раздачей чая солдатам.

Следует сказать, что к этому времени я уже слышал: число жертв возмездия достигло нескольких сотен. «Кто того заслуживает, пусть гибнет! — думал я. — Но меня это не касается».

Грузовики снаряжались в путь во дворе нашей казармы. В кузовах «фордов-мармонов» устанавливались котлы полевых кухонь. Машин было две. В котлах кипятился чай. В каждый из них полагалось по четверти рома. Я отдал первое распоряжение: без меня ром в котлы не заливать!

После того как в моем присутствии опорожнили бутылки, мы выехали со двора казармы. Я сел в кабину одной из машин рядом с водителем и его помощником. В кузова забралось по четыре кашевара с лужеными половниками.

Грузовик шел медленно, и, как только на пути попадался патруль или одиночный солдат с оружием, мы останавливались, наполняли их фляги горячим напитком. Если нам попадался солдат с луженой глоткой, способный разом пропустить всю порцию горячего чая с ромом, ему выдавали добавку. А когда на пути встречались одни жандармы, я приказывал водителю не останавливаться. Этим мы тоже хотели подчеркнуть свое несогласие с тем, что творили они. Одно дело — армейский солдат, и другое дело — жандарм!

Когда пересыхало во рту, урчало в желудке или становилось холодно, я и сам выпивал котелок крепкого чая. Повара при этом тут же спрашивали, не желаю ли я дополнительной порции рома, но я отказывался.

«Откуда у них этот ром? — размышлял я про себя. — Может, они раскупорили бутылку еще до моего появления?» К своему счастью, повара предлагали мне спиртного не из плетенки, и я готов был даже подумать: вот идиоты, неужто купили в лавке?

Так, разъезжая, мы не заметили, что прошло время обеда и день стал клониться к вечеру. У нас еще оставалось немного чая, и я приказал остановиться на крохотной площади, образованной тремя сходящимися улочками. Тут-то мы и раздадим остатки чая!

Я вылез из кабины и смотрел на подходивших с фляжками в руках солдат. Вдруг я почувствовал, как кто-то положил мне руку на плечо. Шани Кепиро!

— Пойдем, приятель, проверим, как идут дела,— сказал он.— Офицерам сейчас лучше не ходить в одиночку. А машина тебя подождет.

«Этот образумился»,—подумал я о Кепиро, и мы пошли, держась середины улицы.

По пути заходили наугад то в один, то в другой дом посмотреть, что там творится. Шли и разговаривали. Разумеется, называя друг друга на «ты».

— Вот теперь-то мы покажем миру,—сказал Шани.— А ты как считаешь?

— Я считаю: скорее бы наступило послезавтра!

Ответ явно разозлил Кепиро. Но он постарался скрыть гнев и дружелюбно продолжал поучать меня: мол, недостаток у всех офицеров венгерской армии в том, что им безразличны цели, которые мы ставим перед собой в войне. С такими настроениями, рассуждал Шани, невозможно победить. А мы тоже должны потрудиться ради создания новой Европы.

— Политика, старина,—это коммерция!—говорил он, жестикулируя.— Не внесешь своей доли—не получишь куш!

Кепиро несколько раз пытался заставить меня поддержать его возмущение, но я ограничивался лишь невнятным бормотанием, поскольку в разговоре со старшим по званию офицером молчать было просто неприлично.

Из двух-трех домов мы выгнали жильцов на улицу. Точнее сказать, выгонял он, Кепиро. Выкурили и какого-то домовладельца, который в прошлом году перебежал на ту сторону, а сейчас пробрался сюда. Он, не таясь, назвал себя хорватом. Документы жены были в порядке, но она не хотела оставлять мужа. А в следующем доме мы наткнулись опять-таки на подозрительных—молодых людей, интеллигентиков, с виду студентов. В гости, говорят, приехали. На праздники. Ни документов венгерских, ни разрешения на пересечение границы! Вот храбрецы! Мать их так!

— Черт побери!—сердито проворчал старший лейтенант.—Ведь здесь уже прошли мои люди. А этих оставили! Видать, у моих фельдфебелей нух только на евреев!

У меня не было никакой охоты сопровождать старшего лейтенанта: куда бы мы ни входили, нас встречали с ужасом. Дети пускались в рев, собаки скулили.

Когда мы вернулись на треугольную площадь, то увидели, что нас ожидало человек двести штатских. Стоявший тут же фельдфебель что-то доложил Кепиро. Шани приказал сдвинуть котел из-под чая в угол кузова нашего грузовика и велел некоторым гражданским (важные персоны, пояснил мне он) забраться в машину. Мужчинам и женщинам вперемешку. Мы, грешным делом, даже позавидовали тем штатским, которые рьяно подсаживали дамочек с круглыми задками, помогая им взбираться в кузов машины. Нашим кашеварам осталось место лишь у заднего борта. Я спохватился, лишь когда Кепиро сделал мне знак взглядом, чтобы я сел рядом с шофером. «Куда это мы?»—хотел спросить я, но на подножку рядом с шофером уже вскарабкался жандарм, вооруженный винтовкой с примкнутым штыком,—указывать маршрут.

— Стадион, на берегу Дуная!—услышал я его слова. С какой радостью я выскочил бы из кабины!

Всюду вдоль нашего пути на улицах царили мрак и безмолвие. Казалось, жители покинули свои дома.

— Машина перегружена,—ворчал водитель.

Он тоже не был готов к перевозке людей. Можно было подумать, что он умышленно ехал медленно, чтобы дать возможность смельчакам спрыгнуть. У кашеваров ведь не было никакого оружия!

Мы уже были почти у цели—я чувствовал дуновение ветра с реки,—как вдруг пришлось остановиться: дорогу пересекал стрелковый окоп. Шофер затормозил и проворчал:

— Нашли время копать канавы...

Дорога была изрыта. Ров и кучи земли. Жандарм в бессильной ярости завопил:

— Только посмейте пошевелиться!

Ну, думаю, сейчас я его осрамлю.

— Эй, люди!—крикнул я.—Откройте задний борт да подтолкните машину.

Штатские спрыгнули на землю, в кузове остались лишь четверо кашеваров.

До чего ж неловки и беспомощны были эти бедняги: добрых четверть часа возились они с грузовиком, пока кучи земли и ямы остались позади.

На стадионе мы сдали наших пассажиров. Теперь за этих людей отвечал жандарм. Он немедленно принялся загонять их на футбольное поле, как стадо овец.

Один из кашеваров сказал мне:

— Давайте подождем, господин фенрих! Посмотрим, что будет с ними.

— Можно и подождать,— ответил я,— не возражаю.

Наслышавшись всякой всячины, мне и самому было любопытно узнать, что же будет дальше.

Ко мне подошел помощник шофера и доложил:

— Пока толкали машину, одна из женщин, в коротенькой шубке, ускользнула через калитку. Сделала вид, что поправляет чулок, и отстала от остальных.

Кашевары видели беглянку, но ни один из них и словом не обмолвился.

Я же подумал только: а ведь мужчины-то—ни один не рискнул смыгться! А потом решил: раз уж я здесь, то хоть посмотрю, что происходит вокруг.

В раздевалке для футболистов на соломе расположились солдаты. Они штыком открывали банки с консервами, и никто из них не обратил на меня внимания. А из огромных стеклянных банок, величиной с ребенка, они—тоже штыками—выуживали соленые огурцы.

— Что здесь происходит?—крикнул я, как, бывало, делал, когда входил в казарму к новобранцам.

Скучающими взглядами солдаты посмотрели в мою сторону, будто спрашивая: «А что должно происходить?», и продолжали жевать. Мне вдруг захотелось поесть вместе с ними, и я поспешил из раздевалки. Выходя, я услышал их разговор.

— Новых привезли.

— Сейчас вызовут нас.

— Пошли они к черту. Устал я.

Потом кто-то из солдат раздраженно крикнул, явно мне вдогонку:

— Да закройте, к дьяволу, эту паршивую дверь!

Я поспешил к нашему грузовику. Со стороны трибун доносились громкие крики и винтовочные выстрелы. Но людская толпа оставалась неподвижной.

— Подождем еще немного, господин фенрих, поглядим, что будут делать с ними,—пытался уговорить меня один из кашеваров.

Но мне оставаться не хотелось.

— Поехали!—скомандовал я.

Мы еще раз наполнили в казарме котел чаем и вылили в него плстенку рома.

Чувствовал я себя прескверно. Впутал же меня Кепиро в эту историю. Но как бы там ни было, я тут ни при чем.

Когда кончили развозить чай, мы снова встретились с ним. Старший лейтенант опять перешел со мной на «вы».

— Как мне стало известно, вы, господин фенрих, содействовали побегу арестованных!

Вот тебе на! Ведь помощник шофера не мог на меня донести, он все время сидел рядом со мной в кабине грузовика.

Сабо

Все по-настоящему и началось с того момента, когда Дорнер во дворе гимназии заметил этого типа. Или, правильнее сказать, когда этот тип увидел Дорнера. Впрочем, все произошло не совсем так. Этот идиот—в бога мать, надо же было ему оказаться здесь!—сидел, несмотря на стужу, у стены, опустив закутанную в окровавленное полотенце голову. А рядом шеренгой стояли другие; их было с добрую сотню. Мы как раз въехали во двор с очередной, наверно уже третьей, группой задержанных. Дело-то было к полудню. И черт бы побрал этого типа—именно я пришелся ему не по душе. Он с трудом поднялся на ноги и, шатаясь, махая руками, стал показывать на меня и кричать, что, мол, я—убийца и все такое прочее. Хорошо еще, разобраться в том, что он нес, было трудно. Он напоминал пьяного или человека, делающего вид, что он нетрезв,—голос его то и дело прерывался невнятными звуками.

«В бога мать! И чего это он вздумал накинуться на меня? Уже на нас глазеет, наверное, половина людей, находящихся во дворе»,—подумал я.

— Господин унтер-офицер!—схватил я (совсем не по-уставному) за хлястик шинели Дорнера.—Этот тип явно соскучился по вас, господин унтер-офицер!

И действительно, стоило Дорнеру взглянуть в сторону кричащего, как воскресший из мертвых электромонтер неуверенной походкой вдруг двинулся к нему, сразу же позабыв обо мне, хотя только что клял меня на чем свет стоит.

Ну а Дорнер показал бедняге, где раки зимуют: так саданул его прикладом, что тот рухнул будто подкошенный.

Признаться, мне тогда стало очень жаль несчастного: нет чтобы умереть утром от пули, а то вот теперь, в такой мороз, валяйся на снегу и коченей.

Стоявший поодаль старший офицер—чина я не мог различить—видел эту сцену и, очевидно довольный энергичными, по-военному решительными действиями Дорнера, подозвал его к себе и что-то спросил. Когда наш унтер довольно тихим голосом доложил о случившемся, до меня донеслись только слова офицера:

— Молодец! В награду отведите их на пляж!

Это относилось ко всей толпе, а не только к человеку, у которого здоровенная шапка из махрового полотенца уже превратилась в какую-то красную бесформенную массу, примерзшую к воротнику пальто.

Так вот, когда мы пришли к реке, то увидели, что вода покрыта толстым льдом. Доносились звуки пулеметных очередей: стреляли выше по реке. Колонна остановилась. Наше отделение расположилось позади нее. Такую уйму людей надо было охранять по крайней мере двум отделениям: одно—в голове, другое—в конце колонны. А с нами был всего один жандарм, фельдфебель кажется.

Над рекой стелился туман, а то место, где строчил пулемет, было явно далеко от нас.

— Погодите,—махнул в нашу сторону рукой Дорнер,—я разведую обстановку.—И направился к реке. Но дальше фельдфебеля, тоже спустившегося к реке, он не ушел. Дорнер остановился, о чем-то посоветовался с жандармом и сказал:—Чего тут мудрить, все ясно! Пулеметчик и еще двое—кто хочет—ко мне! Остальным оставаться на месте!

И мы вчетвером пошли вперед. По льду. Толпа заподозрила что-то недоброе, да это и неудивительно. Люди все видели и все слышали!

— Не мешало бы мостик покрепче на лед,—проговорил фельдфебель. Потом добавил:—Эх, доску бы подлиннее! Ну да на нет и суда нет! Хорошо, что хоть топор захватили!

Но и его-то взяли не мы, а те, кто шел впереди нас. Здесь, шагах в двадцати от берега, нужно было сделать большую прорубь. Мы топором вырубили во льду круг и взорвали его гранатами, целой связкой. Все это подсказал фельдфебель. Знал дело!

После взрыва мы подбежали к проруби и заглянули в нее. Чудно! Вода плескалась у наших ног, будто разговаривала с нами. Ну прямо как в колоде на пастбище, к которой на водопой ходит стадо...

Теперь можно было подводить штатских... Впрочем, первого подвел к воде жандармский фельдфебель, но в этот момент толпа позади нас загудела.

— Пойди присмотри за ними,—взглянул на меня Дорнер.

«Именно сейчас, когда начинается самое интересное!»—подумал я.

Тут одна женщина, вырвавшись из толпы, бросилась ко мне, умоляя взять ее ребенка. Мальчику было лет семь.

— На кой черт он мне,—пробормотал я, хотя на нем была красивая шубка.

Вот тогда-то и раздался первый выстрел. Я стоял спиной к проруби и только хотел повернуться, как женщина обхватила мои колени, а я...

Вместе

— Хватит!—орал Бюки всякий раз, когда Сабо собирался подробно рассказать о том, что произошло у реки. Бюки вскакивал, вскидывал ввѣрх руки, словно желая уцепиться ими за что-то, и хрипел: «Хватит! Хватит!»

Движения, жесты майора были широкими, эффектными—прямо хоть на сцене играть ему,—но, несмотря на то что он повторял их в пятый, шестой, десятый раз, они не вызывали улыбки у остальных, а тем более у Сабо. И каждый раз после слов «Женщина обхватила мои колени, а рядом дрожал мальчонка лет семи...» он растерянно замолкал.

А ведь сколько раз Сабо пробовал закончить рассказ о событиях того часа, о том, что пережил он сам, что увидел, когда, наведя порядок в последних рядах колонны, снова смог наконец вернуться к проруби.

Не поведаяв этого, он, по сути дела, не мог продолжать свои размышления, ведь из памяти не вычеркнешь не только этой сцены, но даже шагов, которые вели его назад, к проруби.

Такое можно пережить лишь однажды. Хотя, впрочем, лучше не переживать ни разу. Да, лучше ни разу!

Бюки при этом скороговоркой бормотал про себя: «Убийцы, убийцы вы все! Как это я оказался среди вас!»

А Сабо именно в этих случаях рассуждал так: «Никакой разницы между нами нет. Все мы одинаково погрязли в этом дерьме—тогда и теперь. Только тогда было пожарче, а сейчас—холодно. В бога мать! И чего это меня так трясет, больше, чем других? Ведь заслужили-то поровну. Иначе бы не держали нас здесь вместе. Там, наверху, все известно. Возьмем хотя бы того электромонтера с обмотанной головой. Кто передал его нам? Господин майор! Сам ведь признался в этом! А почему было не сунуть его в госпиталь, когда утром бедняга притопал в комендатуру?!»

«Там, наверху, все известно!» Сабо имел в виду не господ бога. Лик божий, с детства хранимый в его душе, изрядно поблек от солнца, от ливней, от снежной слякоти и потока матерщины, а также от обилия выпитого спиртного. Не бога, а власть предержавшую чтил Сабо более всего.

О махровом полотенце на голове расстрелянного и

воскресшего электромонтера речь больше не заходила. Но не потому, что Сабо запретили продолжать рассказ. Ни у кого не было сомнения в том, что бесформенный, бурый от запекшейся крови тюрбан в числе первых оказался у края разверзшейся проруби. Душа Дорнера должна была успокоиться.

Но Сабо за все то время, что они вчетвером жили вместе, этого так и не мог дорассказать.

Отношения между ними испортились. Отношения? Впрочем, какие отношения могли быть у них? Просто отпало желание разговаривать друг с другом. Слушать друг друга. Терпеливо молчать и слушать.

Бюки словно забывал начать разговор. Он погружался в собственные мысли, закатывал глаза, будто спящий.

Тарпатаки в такие моменты что-то напевал себе под нос (впрочем, он мог напевать хоть весь день). Наверно, пением он регулировал свое кровообращение, настроение, рассеивал грусть, пробуждал надежды.

Поздор и Сабо сидели в стороне и о чем-то шептались. О чем же? Не нашли иной темы для разговора, как устав внутренней службы! Хотя ни тому, ни другому пользоваться им больше не придется. Это уж точно!

Про себя же Сабо ругался. Клял судьбу, что свела его с этими «убийцами».

Бюки

В ту ночь одна-единственная мысль сверлила мне мозг, не давая уснуть. Телефонная связь не работала, и от этого мне чудились всякие ужасы, которые лишили меня сна.

А что бы я предпринял, если бы вдруг—о боже!—жена моя и ребенок в эти дни как раз оказались в городе? Как защитить бы их? Какие меры предпринял бы ради их безопасности?

Первым и довольно прямолинейным шагом могло бы быть следующее: на эти три дня собрать всех офицерских жен, их детей и всяких отпрысков в городской комендатуре, обеспечив таким образом их безопасность.

Почему этот шаг казался мне прямолинейным? Да потому что мы безоговорочно признали бы, что Грашши был прав, запретив привозить сюда семьи. (А, собственно, кто такой Грашши; Грашши—Граш—из немцев!) В самом деле, безопасность наших жен никто не гарантировал, и защитить их можно было, только собрав под единый кров и поставив на казарменное довольствие; но лагерный режим и обеспечение недостойны супруг венгерских офицеров и несовместимы с рыцарскими понятиями о чести.

Всю ночь я не спал, бродил по освещенным коридорам. В комнате мне было невыносимо. Чтобы хоть с кем-то поговорить, я несколько раз заходил в караульное помещение, наблюдая оттуда за ночной, скованной морозом улицей. Не проходило и четверти часа без одиночных выстрелов. Стреляли по бегущим людям, пытающимся скрыться от часовых и патрулей. Начальник караула пояснил мне, что вражеские лазутчики захватили не только солдатское, но и офицерское обмундирование и в нем пытаются скрыться, поэтому надо быть начеку. И если утром, дескать, наткнетесь на закоченелый труп в венгерской офицерской форме, не думайте, что убит обязательно свой, добавил он.

Когда я услышал об этом (караулу такая инструкция была дана еще с вечера), у меня пропало всякое желание возвращаться вечером домой. Я вообразил себя в шинели венгерского офицера, уткнувшимся лицом в снег, окоченевшим, таким «не своим» трупом. И только по документам в кармане френча потом, возможно, установят мою личность.

Нет, Грашши был не прав. Тысячу и тысячу раз не прав!

Под утро я разговорился с дежурным офицером. Лейтенантом, призванным из запаса, если мне не изменяет память. И поскольку обсуждать этот вопрос с рядовым составом я считал неудобным, мы долго рассуждали с ним о том, найдутся ли среди нас такие офицеры, которые, нарушив или обойдя приказ начальника гарнизона, все же привезли в город жен или семьи, скрывая их от властей.

Лейтенант сказал—сам он тоже был женат и, как я уже упоминал, призван из резервистов,—что такие случаи имеют место. По крайней мере под рождество и под Новый год он видел здесь жен офицеров из батальона. Позже он признался, что и его супруга тайком приезжала сюда на три дня из Ходмезевашархея, где, кстати, они живут.

Услышанное укрепило мою убежденность в том, что возмущаюсь я не напрасно, а мое волнение и беспокойство имеют под собой почву—и в этом я не одинок.

О многом еще мы беседовали с ним: он—чтобы скоротать время, я—потому что не мог заняться ничем иным.

Я не удержался от вопроса:

— А ты как поступил бы, если бы твоя семья застряла здесь?

Не задумываясь, он ответил мне рассудительно, даже несколько назидательно, словно учитель в сельской школе:

— Домой следовало бы отправить! Сегодня ведь тоже был поезд.

Он улыбнулся, будто знал, сколько вот таких тайно приехавших офицерских жен отправилось назад с этим поездом.

Вообще-то он был совершенно прав. Это единственно правильный, хотя и недозволенный, выход из положения. Уж коль скоро запрет был однажды нарушен, не останавливаться же на полпути.

Я еле дождался утра. Но размышления и сомнения настолько утомили, расслабили меня (пока мы решали вопрос, что же предпринять), что, едва добравшись до нашего общего ночлега, я тут же бросился на койку как был, в обмундировании, и погрузился в глубокий сон.

Проснулся я оттого, что вдруг ожили, забулькали батареи центрального отопления и от них повеяло приятным теплом.

Я вскочил с постели, боясь, что опоздаю осуществить свое решение.

Но тут же понял, что встал зря: на улице еще было темно.

По опыту я знал: после утомительной, тревожной ночи, проведенной без сна, перепуганные часовые и патрули выполняют приказ об открытии огня с особой готовностью.

Тарпатаки

На вокзале—в помещении и вокруг него—полно народу. Повсюду, даже у грузовой платформы, стояли пассажирские составы—паровозы без машинистов и кочегаров и пустые вагоны. Почему бы не включить отопление в поездах? Ведь тогда можно было бы разгрузить станцию. Эта мысль пришла мне в голову только на следующий день, то есть утром третьего дня.

Если в первый день на вокзале было просто душно от скопления людей, то теперь, к вечеру, уже стояла невыносимая вонь.

Канализация засорилась сразу же. К туалету выстраивались длинные очереди, и передние толпились в текущей им под ноги жиже. Туалеты тоже отапливались—угля, заготовленного Управлением венгерских железных дорог, хватало, и растекающиеся нечистоты, к сожалению, не замерзали.

Дети и женщины, не способные сдерживаться, ходили по нужде к задней стене вокзала. Вонь оттуда не доходила, так как сильный мороз тут же сковывал,

превращал в камень все экскременты.

Но конторка кассира провоняла так, словно это было преддверие ада.

Хорошо, что появился какой-то господин (он разыскивал на вокзале свою семью) и предложил мне ночлег. Господина сопровождали два штабных офицера. Они разговаривали между собой так, словно собирались вызвать отсюда всех, но на самом деле имели право взять лишь несколько человек.

Штатским господином оказался сам Дульдёрски, хозяин гостиницы.

А вечером в ресторане я узнал о нем гораздо больше: он помещик, по всей Бачке у него мельницы, консервные заводы.

Мне отвели небольшой номер на третьем этаже. Спать было еще рано, и я, несмотря на усталость, спустился в ресторан. Правда, до этого я был уверен, что, как только увижу постель, забуду про еду, тут же завалюсь до утра.

В ресторане собралось весьма изысканное общество. Большинство, разумеется, офицеры, но немало и штатских. Атмосфера же была совершенно не похожа на ту, что царила на улицах.

Не видя свободного столика, я заколебался, оставаться здесь или уйти. «К чему было приводить себя в порядок и спускаться сюда!» Но из кухни доносились такие ароматы, что я понял: повара работают на совесть.

За одним столиком сидели трое, и по совету официанта я попросил у пехотного подполковника разрешения сесть на свободное место. Его необычно вежливый жест я расценил как дань необычному роду войск, к которому я принадлежал. Позже выяснилось, что он и его собеседники были осведомлены о событиях на вокзале.

Один из штатских за столиком, полный, с поседевшими волосами, оказался врачом.

Все трое ели суп из крабов, приготовленный, очевидно, из консервов. Мне тоже захотелось этого супа.

— Я вот что тебе советую,— обратился подполковник ко второму штатскому, профессию которого мне в первые минуты определить не удалось,— точнее, не советую хлопотать за того человека. Как его там зовут—Фишер?

Штатский утвердительно кивнул и начал объяснять мне то, что двое других уже знали:

— Это просто возмутительно! Одна знакомая дама в Будапеште сказала мне, когда я уезжал сюда: «Будет скучно, заходите в дом к моей сестре». Позавчера я приехал, а вчера разыскал семью сестры моей знакомой. Квартира и магазинчик, принадлежащие этой семье, находятся на окраине, напротив казармы финансовой охраны.

Лавчонку разграбили, хозяина арестовали. А торговал он пряностями и колониальным товаром. Говорят, открыл стрельбу. Сестра моей знакомой осталась одна с двумя детьми, плачет и говорит: никогда в доме не было никакого оружия, разве что кухонный нож.

Суп из крабов оказался превосходным. Мы ели и слушали. Потом врач с седой шевелюрой пробормотал:

— Кто знает, где плачет теперь она сама!

А штатский продолжал:

— Ума не приложу, какую важность с точки зрения внутренней политики имеют эти три дня? Плакаты и объявления, развешанные по городу, никем не подписаны. Военное командование — и без имени. Но простите, ведь уже введена гражданская администрация!

Из разговора с этим подвижным человеком выяснилось, что он занимается поставкой и монтажом медицинского оборудования в воссоединенных областях. И надо же было ему в эти дни приехать в Нови-Сад!

— И представь себе, — объяснял он теперь уже мне, — сегодня в полдень в сопровождении этих господ я все же выбрался на Футацкое шоссе. И что ты думаешь? Ни сестры моей знакомой, ни ее детей!

Супа он так и не доел.

— Не только лавчонку разорили, но и квартиру. Если я расскажу об этом...

— Я советую тебе, — доверительно наклонился к нему подполковник, — пока этого никому не рассказывай. Мы вот, здесь сидящие, рады, что хоть нам не надо принимать участия в этом... Но мы не можем допустить и мысли, чтобы в данном случае кто-то осмелился отказаться от выполнения приказа.

— Да, да, — поддержал его врач. — До предпоследнего звена ни у кого нет никаких оснований игнорировать приказ. Разумеется, столь большое возмущение могло бы оправдать ограничение определенных гражданских прав. Конечно, если бы еще сохранилась военная администрация...

Тон, в котором велся разговор, заставил меня призадуматься, и я, как только покончил с ужином, тоже стал рассказывать о событиях на вокзале. Меня внимательно слушали.

Я так увлекся, что даже не заметил, как вокруг собралось несколько посетителей ресторана. Они стояли у нашего столика, курили и с интересом следили за моим рассказом.

Когда я умолк, один из подошедших продолжил разговор:

— Одного старшего лейтенанта полковник собственно-

ручно прикончил за то, что тот назвал возмездие резней и в присутствии посторонних заявил, что, дескать, вся эта затея—в интересах германского командования, а некоторые действуют прямо по указке немцев.

Меня бросило в жар. Я почувствовал, как краснею, ведь эти слова, сказанные как бы мимоходом, действовали так, будто отвечали на мою оценку происходящего, относились к моим действиям, моему поведению. Я встал.

— Ты это мне адресовал?—спросил я говорившего. Им оказался капитан.

— Нет, нет,—поспешно замахал тот руками.—Я имел в виду обстановку вообще.

Мои собеседники знали капитана. Тот постоял еще немного, потом исчез. Возможно, поднялся к себе в номер.

Мы продолжали беседу. Поговорить было о чем. Рассказывали истории, ужасные и нелепые. Например, о том, что в числе жертв якобы оказался крестный сын господина регента. Тогда это известие произвело впечатление величайшей сенсации. Сын вице-адмирала! Весь город знал этого отставного моряка, хорвата по происхождению, отца юноши.

— А тот старший лейтенант получил сообщение из Баната—кажется, из Панчовы—о том, что там немцы еще в рождество каждому встречному-поперечному говорили, что здесь скоро произойдут большие события.

О случае со старшим лейтенантом было известно многим из собравшихся у нашего стола, хотя и не все версии заканчивались пистолетными выстрелами полковника Грашши.

Еще позавчера все, не вдаваясь в подробности, считали возмездие справедливым. По крайней мере оправданным. Но теперь, после того как мы столкнулись с ним воочию, известие, которое получил старший лейтенант из Баната, никак не выходило из головы.

Нами овладел ужас, а вместе с ним пришло и наше осуждение событий.

Незадолго до полуночи в дверь, ведущую на улицу и тщательно завешенную толстыми, грубыми одеялами, зашел офицерский патруль.

Жандармов возглавлял майор. В таких случаях среди патрульных младшим по званию мог быть только старший лейтенант.

Даже подполковнику пришлось предъявить документы. Меня долго и внимательно проверял патрульный—не майор, он был занят другими посетителями ресторана, а капитан.

У невысокого штатского, поставщика медицинского

оборудования, он тщетно рылся в карманах пиджака—документы остались в номере, в другом, не вечернем костюме.

— Разрешите, я сейчас же принесу их,—пытаясь быть спокойным, попросил он.

Капитан не разрешил.

И еще одного штатского сочли подозрительным. Патруль из семи человек с двумя задержанными, которым не дали даже надеть пальто, удалился.

Было ясно: их повели в клуб левенте.

Кто-то узнал майора, начальника патруля. Его звали Эмиль Коварц. Кажется, из резервистов.

Тучный доктор с одним штатским поспешили подняться в номер за документами нашего соседа по столу. Хрустя от волнения пальцами рук, появился хозяин гостиницы Дундёрски.

— Ужасно неприятно, ведь я лично знаю обоих. Но напрасно я твердил майору, что ручаюсь за моих жильцов!

Подполковник и еще один знакомый офицер—большое дело!—решили в полуночный час проделать по улицам путь в несколько сотен метров.

Попытка увенчалась успехом.

Бледные и усталые, они до рассвета, наверно, рассказывали о том, что еще бы немного, и было бы поздно.

Все то время, пока они хлопотали за задержанных, из какого-то помещения неподалеку от них доносились глухие звуки выстрелов.

Поздор

В ту ночь нам тоже не пришлось поспать как следует. Хотя мы с приятелем высмотрели себе неплохую комнатушку: днем в ней можно было резаться в карты, а ночью—подремать.

Но после ужина—гуляш с фасолью (причем мяса вдоволь)—наша комнатка была обнаружена, и я получил два распоряжения. Они пришли не одновременно, с большим интервалом. Сначала одно, потом другое.

В просторном помещении в присутствии двух жандармов надо было заносить в протокол показания допрашиваемых. Привели мужчину, он был с непокрытой головой, в рубашке. Допрашивал не я. В мою задачу входило записывать данные. Один жандарм вел допрос, другой бил жертву. Потом они менялись ролями.

Когда привели следующего, я вышел «по нужде» и обратно уже не вернулся. В здании слышались пистолетные выстрелы.

В коридоре я столкнулся с Шани Кепиро.

— Вот хорошо, что не спишь,— обратился он ко мне.— Пойди в большой зал и организуй читку этой книги. А то задержанные чрезмерно взволнованы. Нам же не хочется пачкать мебель. Все в свое время.

Сказав это, старший лейтенант сунул мне томик Йокан. «Золотой человек»,— прочел я на обложке. Юбилейное издание.

Я даже обрадовался.

В большом зале стоял смрад—признак страха.

Я нашел какого-то еврея-учителя. Ему и поручил читать книгу остальным.

Проходя через двор, я увидел под открытым окном трупы. С улицы во двор как раз осторожно пятился грузовик. Пистолетных выстрелов теперь не было слышно.

В нашей чудесной, уютной комнатке мой приятель, лейтенант, крепко спал. Я запер дверь на ключ.

Сабо

Если и этой ночью поспать не удастся, ей-ей ноги протянем, думал я.

На стадионе мы заняли под ночлег теплую раздевалку. Каждому выдали по полному котелку гуляша с фасолью. Мяса—до половины. Дали хлеба, белого, какой пекут в городе, и на двоих по бутылке вина.

Дорнер с гордостью сказал:

— Вот ведь—уважают нас!

Про свои утренние волнения он совсем забыл.

Пулеметчик тоже навалился на гуляш и, почти без хлеба, быстро опустошил котелок. Свою долю вина он добросовестно отлил в флягу и возвратил бутылку напарнику. И уже из фляги за один присест выпил всю порцию.

Винцо было хорошее—«Пустамергешское».

От печки в раздевалке стало жарко, и мы начали разоблачаться. Тут была солома; на нее и ляжем, решили мы. Даже одеяла расстелили.

Первым сделал себе лежанку и лег пулеметчик. Глубоко вздохнув несколько раз, он громко всхрапнул. Потом вдруг вскочил и направился к выходу, но до двери не дошел: вся порция вкусного гуляша и огненное «Пустамергешское» хлынули из него прямо на пол посреди раздевалки.

Те, кто ел медленно, продолжали выгребать еду из котелков. Пулеметчик же вернулся на место, лег и тут же, сильно захрапев, заснул.

Двум солдатам Дорнер приказал убрать то, что он нашкодил.

Вместе

Бюки говорил все тише и все глубже погружался в свои мысли, словно забыв (или желая забыть) о сказанном раньше.

А ведь забыть все, что было, невозможно, разве только то, кто—в какую конкретно минуту, какой час—что делал, какие отдавал или выполнял приказы.

— Человек как скотина: куда гонят кнутом, туда и идет.

Потом ему вспомнилось, что часть людей из здания гимназии, да и из клуба левенте, в качестве своих пленников или заложников увели немцы. Они появились в городе к вечеру второго дня и оставались на третий день. А потом днем, после полудня, вдруг исчезли, как туман. А с ними и много арестованных. Одно, несомненно, связано с другим!

О немцах Бюки говорил обычно с неприязнью, особенно, правда, не конкретизируя. Немцы—штатские, торговцы—основательно попотрошили Венгрию. За сало расплачивались губными гармошками, за пшеницу—тканями из целлюлозного волокна; одежда из них, стоило лишь в ней попасть под дождь, садилась вдвое. Все это не он выдумал.

Но чуть только речь заходила о немцах-военных, Бюки поднимал палец вверх. О, армия—это другое дело! Мы с вермахтом под одним знаменем. Это дело чести! Военная присяга! Боевая дружба!

Эти слова тоже не им придуманы, но он повторял их с таким пылом, словно его жизнь зависела от убеждения в том, что честью, присягой и боевой дружбой нельзя поступаться ни в каких, даже самых ужасных, испытаниях.

Как это было ни странно, Бюки упорно верил в то, что немецкие части, осуществлявшие контроль над карательными операциями, покинули город на третий день от возмущения происходящим. Поэтому, мол, они и прихватили с собой свидетелей, так сказать надежных людей, чтобы потом те подтвердили: дескать, не немцы совершали здесь злодеяния...

Им, рассуждал Бюки, нужны были пользующиеся доверием свидетели. И если немцев попытаются обвинить, то, по всей вероятности, германская дипломатия тут же в качестве живых свидетелей представит Международному

трибуналу достаточное количество истинных христиан, объявив их «жертвами».

Ничего не скажешь, немцы всегда работают обстоятельно. Комар носу не подточит. А среди свидетелей-христиан будут и сербы. Более того—возможно, припасут еще в резерве и евреев!

О завершающем этапе войны Бюки вспоминал редко. А если и вспоминал, то им овладевали грустные мысли. Русские, разумеется, легко могли развеять в прах все его надежды—ведь они захватили в плен и этих важных свидетелей, и солдат, выделенных для их охраны. Так что надеяться, увы, было не на что.

Эти рассуждения и надежды были непонятны остальным. Только один Тарпатаки подозревал, что все это имеет свои основания: не иначе жена Бюки приезжала тайком к мужу на рождество. Да не одна, а с сыном! Жила нелегально и в последующие дни! Он, Тарпатаки, получал письма от жены. Как и все женатые! Почта доставляла их даже сюда, в тюремную камеру! А вот Бюки не получал!

Поздор не любил противоречий. И если его собеседник высказывал какие-то сомнения или предположения, он принимал это за ложь. Фенрих слушал, слушал рассуждения Бюки, возобновляющиеся изо дня в день, повторяющиеся, как вздохи, воспоминания о двух последних днях, затем о половине третьего дня и наконец не выдержал:

— Действительно, в городе оказалось несколько фрицев. Одному дьяволу известно, откуда взялись они, имели право быть там или нет. Но я хорошо помню, что некоторые жандармские офицеры уж очень лебезили перед ними, изъясняясь по-немецки. Низшим чинам, конечно, невдомек было, о чем у них разговор. Нет, немцев было немного, взвода полтора. Да и их не всех приставили к жандармам. Немчура караулила в помещениях и во дворах. А проверяли документы жандармы.

Бюки согласно кивал головой, причем в его одобрении было какое-то воодушевление.

Он не возражал даже против утверждения, что немцы не очень-то высывались на улицы, а наблюдали за событиями из домов да со дворов. И это естественно. Особенно же пришлось Бюки по душе, что немцы не только во дворах, но и в домах помогали венгерским жандармам: что-то объясняли им с помощью жестов, что-то говорили, а те зачастую и не понимали, жильцы и то скорее догадывались.

Правда, это было не единодушие! О нет! Далеко не единодушие!

Сабо слушал, слушал и наконец сказал:

— Немцы получили какой-то приказ примерно на третий день, в полдень. И слиняли как зайцы. Шкуру свою паршивую спасали.

В первый момент Бюки, чтобы показать свое недовольство услышанным, состроил гримасу и отвернулся. Но Сабо не заметил гримасы и продолжал говорить. Майор, задыхаясь от злобы, прохрипел:

— Вас не спрашивали! Ясно? Вот спрошу—тогда говорите!

Стоило майору разволноваться, голос его начинал хрипеть, и этим он невольно пугал собеседников.

— Ясно?

— Ну ладно, ладно. Ясно...—соглашался Сабо, и у него сразу пропадало желание поддерживать беседу.

В разговорах о третьем дне не участвовал лишь Тарпатаки. Он подозревал, что они причиняют боль майору, и догадывался о его наивных ожиданиях. Впрочем, наивных ли? А может, нервишки у майора сдают? Кроме всего, Тарпатаки чувствовал себя оскорбленным. И поэтому говорил только в том случае, если к нему обращались. И если ему было что сказать. По своей же воле рассказывать о событиях он перестал еще весной и летом.

Бюки

С шести часов утра я стоял в подъезде дворца вместе со стражей—так сказать, за спиной у часовых. Ждал рассвета. Черт возьми, кто мог предположить, что в такую пору может быть даже туман? Откуда он взялся? Уж не с замерзшего ли Дуная? Впрочем, какое это имеет значение? Туман возник в тот момент, когда тьма на площади перед дворцом начала рассеиваться. Пришлось ждать.

Ждал долго. И тем не менее, когда решился пойти, вокруг царил еще полумрак, такой, что, будь это вечером, я на десяток шагов не посмел бы отойти от зоны, которая находилась под наблюдением знакомых часовых.

На всем протяжении обычного пути до дома никто ни разу не остановил меня, не проверил документов. Никто даже не окликнул. Правда, я шел, как предписывалось в инструкции, посередине улицы, кобура расстегнута, курок пистолета взведен. Я был готов к любым неожиданностям, это придавало мне смелости, и я шел уверенно.

На углу топтался в нерешительности патруль. Заметив меня, солдаты замерли по стойке «смирно», подняв руку к головному убору.

Лениво козырнув, я было прошел мимо, но тут мне пришло в голову: вдруг они подумают, что я переодетый четник, ведь я не сказал им ни слова? Солдаты были не из моего батальона, следовательно, не знали меня. Надо было что-то сказать им.

— Кто командир? Какое задание выполняете?!

Один из них — младший унтер-офицер — бойко выскочил вперед и затараторил. Как только он начал свой рапорт, я понял, что они или уже нашкодили, или собирались это сделать. Но я не подал виду и с напускной строгостью приказал:

— Чтоб никаких нарушений порядка! Продолжайте действовать по инструкции! — и пошел дальше, опасаясь, что придется отдавать еще какие-то распоряжения, если патруль начнет докладывать обстановку.

Я не знал, что буду делать дома. Просто шел домой, полный надежд. Меня встретили такими причитаниями, что если бы я не видел своими глазами всех в добром здравии, то мог бы подумать: кто-то погиб.

В полночь, сообщили мне, патруль явился проверять документы у соседей. Взяли пожилого владельца дома — серба, неплохо говорящего даже по-венгерски.

Услышав переполох у соседей, мои проснулись, оделись и ждали, что в последующие четверть часа дойдет очередь и до них.

Моего денщика, который в такую пору ночью обычно спал беспробудным сном, с трудом разбудили, заставили одеться и поставить к воротам — разумеется, со стороны двора. Если появится патруль и начнет стучать, думали мои домочадцы, их встретит свой же солдат, в такой же форме, который сможет и ответить, как положено, а коли понадобится, то и дать отпор.

Но нашего дома облава не коснулась.

Ответственность задания настолько вывела денщика из состояния равновесия, что он успокоился лишь после того, как я появился в доме. Мои же встретили меня в таком страхе и тревоге, что я, не мешкая, распорядился:

— Сейчас же на вокзал! Эти страхи нам ни к чему!

В этот момент во мне так и пылала ненависть к коменданту города.

Сынишка Золтан бросился ко мне на шею:

— Ты тоже поедешь с нами, папа?

Жена посмотрела на меня запавшими от бессонницы глазами. В ее взгляде были надежда и благодарность и в то же время какое-то недоумение. А настороженный блеск глаз выдал мне ее мысли: «Хочешь отправить нас, а сам снова примешься волочиться за этой женщиной?!»

На одной руке у меня повис Золтан, другой я обнял жену и спросил:

— Дорогая! Неужели ты не чувствуешь, как опасно оставаться здесь?

Она утвердительно кивнула: дескать, да, чувствую, и тем не менее... Еще в начале января я предлагал им уехать, но ревность жены заставила отказаться от этого.

Натренированная мужская наблюдательность помогла мне прочесть в ее взгляде легкое осуждение: «Хочешь вновь пробудить во мне ревность? А ведь ты так хорошо все объяснил».

Действительно, первые дни после приезда сюда жены я потратил на то, чтобы доказать ей, что все ее подозрения не имеют под собой никакой почвы. А раз так, то нечего и ревновать.

На помощь мне пришла Милена. Когда жена увидела ее грубоватую, природную красоту, то прежние подозрения развеялись как дым и она все внимание обратила на эту женщину.

О Милене я никогда не упоминал в письмах. «Значит, и здесь что-то неладно»,— решила жена.

И моя благоверная принялась усердно наблюдать. Но тут меня невольно выручил хозяин дома, коммивояжер. Правда, я сам этого не знал, ведь днем меня почти не бывало. А тот как раз в рождество и под Новый год почти никуда не отлучался. Жена видела, что хозяин тайком наведывался в квартиру Милены, вход в которую был со стороны сада, то есть перед нашим окном.

И так происходило каждый раз, когда очаровательная дочурка Анжелика уходила по какому-нибудь делу из дому или же вместе с Ильдико и Золтаном играла у нас наверху. Такое бывало часто, поскольку у девочек, почти одногодок, было полное согласие во всем, и они дружно кокетничали с нашим мальчиком. А тот принимал знаки внимания девочек как должное, с сознанием своего мужского превосходства.

— Может, захватить с собой Ильдико с мамой?— предложила жена с мольбой в голосе.

— Ты хочешь их взять с собой?— удивился я.

— Ну да. Отвезем их в Дёр. А может, остановятся в Будапеште. Наверняка у них найдутся знакомые в столице.

Я не видел для этого особых препятствий.

— Разумеется,— согласился я ласковым тоном.

Мы тут же принялись собирать вещи. Ильдико с мамой тоже сложили в чемоданы самое необходимое. Отец помогал им. То, что он оставался здесь, тоже казалось естественным—ведь должен же кто-то охранять дом.

До этого я как-то не верил предположениям жены по части любовных дел. Но, перехватив благодарный взгляд Милены, обращенный к нашему хозяину, я прочел в нем горячую женскую признательность за мужскую верность.

И тут я снова задумался над логикой жены: неужели она не преодолела той небольшой брешки, которая открылась после этого? Ведь обманутая жена куда легче могла стать моей добычей...

Правда, я и сам думал об этом без особой охоты.

Наверно, со стороны наш «караван» выглядел странным. Впереди я с сынишкой Золтаном, который в том году очень любил шапочку с пером а-ля Бочкаи*. Позади нас — две женщины, взявшие друг дружку под руку, причем с другого бока к моей жене нежно прильнула малышка Ильди́ко. У меня появилось желание отчитать в этот момент мою благоверную за ее прежний антисемитизм: мол, видишь, что получается на практике, в жизни!

Шествие замыкал мой денщик, который нес, а точнее, с трудом волок два набитых вещами чемодана. Конечно, можно было связать еще несколько узлов — но кому их тащить? И мы, мужчины, уговорили наших беглянок откаться от этих вещей.

— Знаешь, чего хотел дядя? — неожиданно разоблачил мой сын того, кто меньше всех из окружающих старался расположить его к себе за все время его пребывания здесь. — Он хотел надеть твой китель, на котором орденские планки и медали, твои медали. Но тетя не разрешила ему. Она сказала: «Не надо, Армин. Ведь на тебя посмотрят, и сразу будет видно: ты не тот, за кого себя выдаешь».

Сын гордился моими наградами, и мне с большим трудом удалось отвлечь внимание мальчика от разговора об опасности, угрожавшей моему кителю.

В конце нашего путешествия по улицам Золтану стало холодно, и он даже обрадовался, когда мы вошли в вокзальное помещение, наполненное густым теплым смрадом.

За всю дорогу нас никто не остановил, хотя навстречу нам попался грузовик, набитый жандармами. Они тарасили на нас глаза. Но тщательно продуманный боевой порядок: в авангарде шла элита мужской половины, в арьергарде — пехота с обозом, а ядро составляли женщины — дал свой результат.

Подумав об этом, я чуть не рассмеялся. Это было уже недалеко от вокзала. Но на вокзале пришлось проторчать

* Бочкаи, Иштван (1557—1606) — один из руководителей венгерского национального антигабсбургского движения.

без толку добрых два часа: надежда отправить моих то возникла, то вновь исчезала.

Повсюду слышалось: «Поезда сегодня не будет!» Тогда я пошел искать начальника станции. На месте его не оказалось. У разных железнодорожных служащих, а в конце концов даже у машинистов я узнал, что серьезных помех, а точнее, никаких помех для отправления поездов нет—ведь прибывают же они чуть ли не на все пути! И распоряжения, запрещающего их отправление, нет. Более того, вчера два или три состава ушло! (Об этом мне было известно. Правда, о том, почему второй или третий состав вернулся на станцию, к тому же без части пассажиров, я тогда не знал.) Некоторые машинисты вели себя так, словно только и ждали приказа об отправлении. А один из них прямо сказал: «Если господин капитан станет рядом со мной, хоть сейчас отправимся!»

Все они были необычайно возбуждены и довольно непочтительно жестикулировали.

В результате предпринятых мною действий и расспросов в толпе началась суматоха, обычная перед отправлением поезда. Повсюду шептали, говорили, кричали о каких-то распоряжениях, приказах. Когда я пробирался через толпу, которая становилась все более плотной (приходили очередные поезда), мне стало ясно: добрая весть о возможности уехать отсюда исходит от меня и люди, уже осознавшие, какая серьезная опасность им угрожает, вцепились за эту весть.

Своих (я бы сказал—моих домашних) я расположил неподалеку от выхода. Там было и тепло от людской толпы, и все-таки доходил свежий воздух снаружи.

— Не бросай нас, роднуля,—взмолилась жена. Так она обычно называла меня, когда мы оставались вдвоем.

— Не бросайте нас,—подняла на меня, возможно сейчас впервые, полные любви и отчаяния глаза хозяйка. А оба ребенка вцепились в меня с обеих сторон.

Я поручил денщику быть с ними и еще долго спорил с совершенно незнакомыми мне людьми: с кочегарами, железнодорожными служащими, солдатами, жандармами, машинистами.

Я, конечно, глупо себя вел. В этих условиях капитан должен был бы наорать на всех и действовать!

На душе у меня было спокойно: жандармов я почти не видел. Не припоминаю также, чтобы встретился хоть один матрос из речной флотилии. Теперь, когда я знаю факты, это мне кажется крайне странным.

Я решил разыскать военного коменданта вокзала, сообразив наконец, что, наверно, только с ним, и больше ни с кем, можно договориться об отправлении поезда.

К этому времени к главному входу подъехало несколько машин. Почувяв опасность, я отказался от своего прежнего намерения и стал пробиваться через толпу назад к тому месту, где торчала голова моего денщика.

Неожиданно людская масса расступилась: два жандарма, крича: «Дорогу!», расталкивали людей, делая проход, в котором я смело остался стоять один. В следующее мгновение я увидел, как на меня среди расступившихся людей двигался Грашши в сопровождении адъютанта (тоже капитана, я знал его). Оба были в шинелях с меховыми воротниками, шли в ногу.

Я чуть отошел, уступая дорогу, и замер по стойке «смирно».

Но Грашши остановился и смерил меня суровым взглядом.

— Почему вы здесь, капитан?

— Дело есть, господин полковник,— прошипел я почти угрожающе.

У Грашши даже брови взметнулись от удивления.

— Следуйте за мной!— прошипел теперь уже он, так же как и я, а может, еще более угрожающе. И, отвернувшись от меня, обратился к адъютанту:— Где тот старший лейтенант?

Мы двинулись дальше. Я даже не взглянул в ту сторону, где располагались мои. Не оглядывался я и позже, словно боясь превратиться в соляной столб.

Понутив голову, ничего не слыша и не видя, униженно брел я за двумя офицерами. Только одно желание было у меня: не выдать жену. А как? Да так, что не обмолвлюсь ни словом о ней перед этим старым холостяком-сластоустрасником.

Когда наши взгляды на мгновение встретились, мне показалось, что он знает о том, что моя жена здесь, и жаждет поиздеваться надо мной. Именно поэтому мне ни слова нельзя было говорить о своей семье.

Господин полковник время от времени останавливался, глухим голосом задавал вопросы и отдавал распоряжения, и мы шли дальше—мы трое, а впереди два жандарма.

Ужас охватил меня, когда через боковой ход мы вышли на площадь перед вокзалом и за нами подошли машины. Мне хотелось еще раз увидеть жену!

Я сел в ту же машину, что и жандармы. Они на заднее сиденье, с автоматами в руках, а я—рядом с шофером. Тогда я не посчитал это чем-то страшным, даже обрадовался: мол, не придется отвечать на расспросы господина полковника Грашши.

Улицы были пустынные, словно вымерли. Когда машины остановились у банского дворца, Грашши без единого

слова отпустил меня, сделав это так, словно милостиво простил мне мои грехи или просто забыл о них.

Я вошел в комнату, где был вчера, и, облокотившись на стол, заплакал. Заплакал от стыда перед самим собой.

Прошло добрых полчаса. Появился мой денщик. Он доложил, что вещи, а также мою жену и квартирную хозяйку вместе с детьми доставил домой. Он принес мне обед. Все те же свиные колбаски.

Я встал, с благодарностью обнял его, и снова слезы хлынули у меня из глаз. Но я сдержал рыдания: из котелка шел дразнящий запах свинины. Я с аппетитом пообедал и только после этого отпустил денщика, который терпеливо следил за каждым куском, который я отправлял в рот.

— Ну, идите к ним,—распорядился я, успокоившись,—и следите за порядком.

Немного погодя я вышел в коридор, чтобы отыскать туалет, и заметил какое-то необычное оживление и суету.

По голосам пробежавших мимо военных я понял, что прежний метод действий запрещен. И правильно, подумал я и вдруг увидел: мой денщик стоял, вытянувшись в струнку, у поворота коридора и, наморщив лоб, наблюдал за происходящим, явно пытаясь понять причины всей этой кутерьмы, этого хаоса. Я никогда не замечал за ним такого любопытства. Увидев меня, он щелкнул каблуками, вздернув подбородок, и виновато заморгал.

— Ладно, ладно! Я не сержусь,—махнул я рукой.— А сейчас отправляйтесь скорее домой и скажите там, чтобы не волновались, теперь-то уж нет причин для беспокойства.

Он четко повернулся кругом, я кивнул ему и пошел в туалет, ради чего, собственно, и вышел в коридор.

Облегчившись и немного успокоившись, я почувствовал желание лечь и хоть чуточку поспать, но услышал в коридоре сначала шушуканье, потом более громкие разговоры о том, что в наших действиях мы где-то перегнули палку. (Я, правда, воздерживался высказывать свое мнение.) Люди бегали взад и вперед как сумасшедшие. Только те и казались нормальными, кто был углублен в свои думы. Надев шинель и подпоясавшись ремнем, я, насвистывая, отправился домой.

Я хорошо помню и, пожалуй, буду помнить всю жизнь, что насвистывал до самых ворот дома. Нет, кажется, все же ошибся. Веселый свист оборвался у меня за два дома до моей квартиры. В выложенной камнем канавке вдоль тротуара ничком лежал венгерский солдат. Я умолк и, подходя к труп, замедлил шаги. Когда я увидел на нем офицерские сапоги, то испугался не на

шутку. Офицер! Об этом свидетельствовали и шинель, и свалившаяся с головы шапка. Я прошел мимо.

Все еще не подозревая ничего плохого, я открыл калитку—она оказалась незапертой. Во дворе стояла полнейшая тишина. Я взбежал вверх по лестнице. В квартире—никого. Я обошел все четыре комнаты, не только наши. Никого! Я был близок к отчаянию. Но тут обнаружил, что упакованные чемоданы тоже исчезли, и это успокоило меня.

Воздух в опустевшей комнате показался мне тяжелым. Я поднял фрамугу. В саду, в нашем маленьком садике позади дома, тоже царило безмолвие. На скрип окна открылась дверь квартиры Милены, расположенная на три-четыре ступеньки ниже уровня земли.

Из нее показалась голова моего денщика. Увидев меня, он тяжело поднялся по лесенке. Подойдя к окну, вытянулся:

— Осмелюсь доложить, мы здесь.

Они выходили по одному—Анжелика, Ильдико и Золтан—и становились рядом с ним. На душе у меня стало легче.

— А где остальные?

— Осмелюсь доложить, не знаю. И детям тоже в общем ничего не известно.

Сын в своей шапочке с пером стоял между двух девочек. Он молчал. Вероятно, потому, что девочки держали его за руки. Заговорила Ильдико, четко, ясно:

— Мы играли здесь, когда во двор вошел дядя солдат и крикнул: «Есть тут кто?» Тогда Золтан подошел к нему и приложил руку к шапочке. Дядя солдат сказал ему: «Молодец, расти большой!» И ушел, даже не заглянув к нам.

— А остальные где?—нетерпеливо обратился я к денщику.

— Осмелюсь доложить, когда я вернулся сюда с посудой, взрослых дома уже не было. Я говорю о дамах.

Анжелика же похвалила моего сына:

— Золтан очень храбрый. Он крикнул: «Мама, ты когда вернешься?» А потом подергал дядю Армина за шинель и опять крикнул: «Сними! Это не твое!» Но дядя Армин не снял шинели, а побежал за машиной.

«Так, значит, их увезли на грузовике!»

Я завопил. Не знаю, слышен ли был мой вопль на улице. Да и кто бы мог его услышать? Сколько людей, столько и криков отчаяния. Искать! Искать их!

В первое мгновение я подумал самое плохое.

Но кого обвинять? Денщик тут ни при чем—ведь он носил мне обед. Нет, денщик не виновен. Я бросился в ту

сторону, куда ушла машина. Но никто, кого я ни спрашивал, не мог сказать мне ничего путного.

Денщику я крикнул:

— Оставайся здесь!

Ведь должен же был кто-то присматривать за детьми!

На улице первое, что бросилось мне в глаза,—это моя военная форма. Я и тут не остановился возле лежавшего ничком трупa. Но, миновав его, ощутил прилив ярости. «Нет, ведь даже подумать об этом мерзко: спрятаться за капитанским мундиром! Это уж слишком!» Я даже пожалел, что не пнул его на бегу ногой. Но нужно было спешить. А, собственно говоря, почему?! Гнев на какие-то минуты затуманил мне разум.

— Роза! Роза! Роза!—выкрикивал я, потеряв голову, имя своей жены.

Но улица была пуста. Так что некому было особенно удивляться моему поведению. Зато в банском дворце все были поражены.

Хотя я лишь хрипел и рычал как безумец, изрыгая бессвязные слова и фразы, офицеры, командовавшие службой наряда, тотчас же поняли, в чем дело, и это их возмутило и потрясло.

Они немедленно послали на берег отделение солдат, а адъютант командира корпуса даже дал мне легковую машину. Поскольку сам его превосходительство господин Фекетехалими якобы узнал о случившемся со мной.

Мы сели в машину, и я скомандовал:

— В клуб левенте!

Роза! Роза! Роза!..

Во дворе народу тьма-тьмушая. Разумеется, в толпе нашлась и молодая еврейка по имени Роза. Как сумасшедшие мы помчались дальше. Мое беспокойство передалось и адъютанту командира корпуса, решившему помочь мне, нервничал даже шофер. Как только мы подъехали к гимназии, они тоже принялись выкрикивать имя моей жены. Однако здесь людей почти не было. Лишь несколько стариков. Я было решил ехать обратно, в клуб левенте.

— Нет! Нет!—закричал шофер.—На стадион!

Он не ошибся. Сотни арестованных стояли здесь шеренгами по четыре. Кричать было бесполезно. Трибуны были пусты. А если бы она находилась в колонне, то непременно выбежала бы мне навстречу!

Мы вошли в раздевалку. В ней располагались солдаты.

При виде офицеров они нехотя поднялись... Мы стали расспрашивать их. Они только трясли головами: дескать, уже ничего не помним.

— На пляж!—крикнул кто-то из нас.—Да, да, на пляж!

Там мы тоже бегали от кабины к кабине.

Роза! Роза! Роза!

Потом пустились бегом по берегу. В машину не садились. Бегом по истоптанному снегу. Берег уже был безлюден, если не считать нескольких солдат, собиравших одежду. Чью одежду? Зачем? Адъютант с отвращением отхлестал по физиономии одного из солдат.

К прорубям! Быстрее к воде! Бегом на лед! Сколько было прорубей? Три? Шесть? Мы увидели три. В первой спокойно плескалась вода, словно от нее только что ушли рыбаки. Мы бросились вверх по течению. Во второй вода зловеще хлюпала, но в проруби—ничего. Побежали к третьей. В ней что-то темнело. «Кусок материи,—подумал я,—зацепился, наверно».

Рядом валялись жерди. Шофер взял одну из них и ткнул пару раз в материю. Она не ушла под воду, а всплыла еще больше. Мало того, темная масса перевернулась, и на нас глянуло бородатое лицо.

«Наверно, старый еврей»,—мелькнуло в голове.

— Вытащить?—спросил шофер.

— Нет, нет!—дружно вскричали мы.

А я-то, безумец, думал, что здесь найду Розу!

Чуть выше по берегу стоял ресторан. Его как раз освобождали от арестованных. Жандармский фельдфебель, словно овец, выгонял на улицу детей.

Роза! Роза!

Жандарм показался мне пьяным.

— Пошли, пошли!—орал он на людское стадо, даже не замечая нас.

О Розе никто ничего не знал. С кем бы я ни говорил, все сходились на одном: «Возможно, даже вернее всего, их увезли немцы. Да, да, немцы, им ведь нужны свидетели». Недаром же те два взвода, что прибыли сюда из Петерварда, исчезли, словно их и не было. А там, в Петерварде, в эти дни будто и знать ничего не знали. Оно и понятно—дипломатия. Я всем говорил об этом предположении, но, как только следовал мой вопрос, мне после некоторого раздумья отвечали: «Возможно...»

До сих пор я уверен, что жену мою увезли немцы! И она непременно даст о себе знать из какого-нибудь лагеря или из другого места. Кто знает, быть может, она попала в плен к русским или французам.

Хотя если в плен к русским... И все-таки я и поныне убежден, что ее увезли немцы. И непременно обе женщины отыщутся. Вернее, все трое. Но кто знает все же, к русским или к французам они попали в плен. Все зависит от того, где застал их конец войны...

До позднего вечера я ездил по тем местам, где

происходили события этих трех дней. И ей-богу, радовался, что нигде не находил и следа их, даже их чемоданов.

В течение той ночи было обнаружено еще много трупов. Солдаты вытаскивали жертвы из домов, собирали на улице.

Разгоряченный, усталый, с расстегнутым воротником шинели, не считаясь с уставом, брел я по ночному городу домой. Проходя мимо трупа около нашего дома, я остановился. Кто-то уже снял с него одежду. Человек лежал на спине, ноги и руки уже окоченели. На лице и на животе — запекшаяся кровь. Темные пятна показывали, куда попали выстрелы. Я не знал убитого.

Когда я вошел в квартиру, денщик чистил мои сапоги. Рядом лежал парадный мундир. Он только что удалил с него мыльной пеной и бензином пятна крови.

Трое малышей спали в широкой хозяйской кровати. Девочки даже во сне протягивали свои ручонки к рукам моего Золтана.

Шинель у меня была хоть выжимай. От пота. Все липкое, скользкое, как студень. Может, то был кровавый пот? Не знаю...

Сабо

(Бормочет себе под нос, будто скрывает что от меня. В бога мать! Значит, я здесь никто? Ни во что не ставит меня? Видел я таких господ, которые с собакой разговаривали так, как иной со своим другом! Может, он считает меня хуже собаки? Что он скрытничает при мне? Нет такого секретного дела, при котором я не присутствовал бы! Я тоже могу молчать, если потребуется. Но зачем отмалчиваться здесь, где все свои! Или не все здесь свои?!)

Тарпатаки

Я тоже проснулся рано утром, хотя вставать спозаранку в теплом, с центральным отоплением, номере гостиницы было нелегко. С вечера я попросил портье разбудить меня в полшестого: хотелось принять ванну. Правда, я уже искупался вечером, перед сном. До чего же приятно было полежать в теплой воде!

Утром жандармы опередили меня. Я предвидел это и приказал им освободить внутренние помещения вокзала. Правда, паровозное депо они сохранили за собой. У меня

был один путь: открыть движение поездов. Я послал на разведку своих железнодорожников, и оказалось: жандармы перекрыли дорогу по всем направлениям. Прибыло два поезда. Один остановили у входного семафора и там начали сортировать пассажиров. Когда я услышал об этом, первым делом хотел отправиться туда, но потом передумал. Я приказал разжечь топки тех паровозов, что стояли на путях, ведущих к угольному складу. Когда пошел слух, что движение начнется, люди из зала ожидания и из других помещений бросились занимать места в вагонах. Этого я и хотел. Потом появился машинист, который стал ссылаться на какого-то капитана, под охраной которого он, мол, готов повести состав в сторону Топойи...

— А если жандармы откроют стрельбу?—спросил я.

— Они ведь тоже люди,—последовал ответ.—Увидят господина капитана и не будут стрелять!

Потом выяснилось, что впереди и сзади состава, готового к отправке, на путях стоят холодные паровозы. Наш эшелон оказался запертым, не мог двинуться ни вперед, ни назад. И капитан пропал. Сначала он появлялся то тут, то там, словно призрак, а потом исчез.

В этот самый момент прибыл Грашши. Я кинулся навстречу с рапортом. Позади него вышагивали, словно на строевой подготовке, два капитана.

Я козырнул, доложил о себе. Полковник прервал меня и протянул мне руку.

С чего бы это он? Обычно он так не поступает. О нем ходят иные слухи.

— Послушай, старина,—начал он.—Ты задаешь слишком много работы органам, которые занимаются проверкой людей. Слишком много людей присылаешь в городскую комендатуру!

Грашши отпустил мою руку и повел меня на перрон, где было меньше народу. По дороге он положил мне руку на плечо, почти обнял.

— Ты недавно прибыл сюда, но, кажется, был на совещании офицеров позавчера?

— Так точно, был!

— Вот видишь! Не посылай ты нам на шею этот сброд. Хватает нам и тех, кто в городе!

— Я прошу разрешения останавливать идущие сюда составы как можно дальше от города!

Услышав это, он на мгновение остановился, посмотрел на меня, словно обдумывая ответ.

— Поезда должны прибывать сюда точно по расписанию! Будто ничего не случилось. Чтобы никакие тревожные слухи из города не выходили.

— Осмелюсь доложить, господин полковник, поезда из города не выходят, и это дает повод для тревожных слухов.

— А ты отправляй их из города!—резанул он воздух рукой.

— Жандармы расправляются с пассажирами!

Мы вышли на перрон, где стояли мои караульные и жандармы. Полковник продолжал:

— Это нелепо!

— Так точно!

— Нелепо, что ты употребляешь такие слова.

Я промолчал. Он говорил тихо, не кричал, скорее просил: «Не посылай ты мне на шею столько штатских! У тебя же есть солдаты! Вот с их помощью сам и распорядись этими людьми!»

— Я прошу разрешения на вокзале самому следить за ходом проверки документов.

— Правильно, сам и распорядись теми, кто здесь...

— Я прошу разрешения отправлять к вам только подозрительных.

— Я же сказал тебе, не посылай никого!

— До сих пор жандармы брали пассажиров без разбору. Я прошу разрешить мне самому производить проверку документов.

Полковник взялся за пуговицу моей шинели.

— Я думаю иначе! Кстати сказать, документы не имеют никакого значения,—разъяснял он.—У людей полно фальшивых бумаг. Документ тоже может быть фальшивым. А тебе и твоим людям трудно установить подлинность документов. Но есть и другие доказательства!

— Осмелюсь доложить, относительно этого я инструкций не получал.

— Сейчас получишь!—неожиданно заорал он. Потом, снова понизив голос, продолжал:—Вместо проверки документов ты сам распорядись своими задержанными, понял меня?

Теперь уже я заупрямился:

— Я прошу точного приказа относительно того, проверять мне документы у пассажиров или всех отправлять в комендатуру.

— А другие возможности вам не известны?

— Других возможностей я не могу себе представить.

— Я немедленно снимаю вас с должности! Приказ поступит сегодня же!—прошипел он.—Можете идти!

Не попрощавшись, сделав лишь единственный широкий жест рукой, выражающий презрение, он направился к выходу.

Я ни о чем не хотел знать и только твердил про себя: хватит с меня этого, меня здесь нет! Лучше я буду беспокоиться о чае с ромом, о «фордах-мармонах». Ну, и еще, пожалуй, о бензине. Да и что бы я мог сделать в этой обстановке? Залить эрзац-ром в чай этим идиотам? А откуда мне взять эрзац, если хозяйственное отделение штаба присылает только настоящий ром? Или, может быть, я должен был приказать подлить воды в бензин, чтобы не заводились моторы машин? И этого я не мог сделать, разве что самолично, чтобы никто не увидел и не смог бы выдать меня. Но когда я мог это сделать? Только ночью! А это значит — часовой открыл бы по мне стрельбу! Приятели, друзья и товарищи, господа хорошие! Ведь у бочек с бензином выставлен часовой, и если он в темноте услышит хоть малейший шорох — бах-бабах! А особенно тогда: весь город так и кишел переодетыми в венгерскую форму дерзкими четниками.

И все же с бензином я кое-что сделал. Меня поймал господин майор Кормош, начальник штаба, и говорит: «Сынок, организуй двадцать литров бензина, мне нужно срочно выехать по очень важному делу». Я помчался на мотоцикле в нашу казарму и достал бензин. Двадцать литров. Наверно, летчики отказались дать ему горючее? Точно, летчики — они все это время где-то тихо отсиживались! Словом, бензин сразу кончился! Арестованные днем брели уже пешком, как побитые собаки, в район летнего пляжа. Так вот, этот Кормош, пардон, господин майор генштаба Кормош, тоже туда покатил. Впрочем, что я говорю — покатил! Помчался! Он и остановил побоище. Лично сам.

Если бы я не достал ему бензина... Часа два прошло бы, прежде чем он решился бы отправиться туда пешком. А скольких людских жизней это стоило бы? Многие обязаны мне своей жизнью. И готов спорить, ни один из них об этом и не догадывается!

Сабо

Пехотинец хорошо знает эти петлицы: красные на черном бархате — значит, генштабисты! При виде их даже у офицеров появляется дрожь в коленях. И все же...

В два часа пополудни на маленьком вездеходе туда прибыл один майор-генштабист. Я даже не хочу добавлять «господин». К чему? Просто «майор». Машина его не успела остановиться, а он, открыв дверцу, уже кричал будто помешанный:

— Прекратить огонь! Прекратить огонь!

От той партии еще оставалось человек пятнадцать-двадцать. А с ними что делать?

Дорнер и жандармский штабс-фельдфебель уже здорово сработались, они лишь молча переглянулись: ну, этих-то уж нельзя оставлять!

— Ты солдат,— проговорил жандарм,— ты иди и докладывай!

Сказав это, он попятился, став позади оставшейся кучки людей. Дорнер вышел вперед. Он так лихо вытянулся по стойке «смирно», ожидая, пока подойдет генштабист, как фельдфебелям из юташской унтер-офицерской школы и не снилось. Майор генштаба остановился перед ним, словно перед каким-то столбом.

— Честь имею доложить: эти здесь все равно уже все видели, все знают... Разрешите нам закончить с ними работу.

Генштабист смотрел, смотрел на Дорнера, потом перевел взгляд на кучку людей, а Дорнер продолжал:

— Мы и так сейчас закончили бы и пошли обедать...

Дорнер махнул рукой, а этого не позволил бы даже господин старший унтер-офицер Шашвари.

Было по-прежнему холодно; это особенно чувствовалось, когда стояли без дела, не двигались.

Генштабист не спеша стянул с левой руки перчатку. На среднем пальце было кольцо с печаткой; указательным пальцем он ловко повернул печатку внутрь, к ладони, и в ту же секунду нанес удар. Потом ударил второй и третий раз, голой рукой без перчатки. У Дорнера на физиономии показалась кровь.

Я тут же подумал: да, Дорнер, сколько ж тебе оплеух выпало за эти три дня! Но он держался. От последнего удара у него даже шапка свалилась с головы. И сам он покачнулся, но тотчас же сделал вид, что просто нагнулся за шапкой. Поднял ее, нахлобучил на голову и вдруг ударил генштабиста в челюсть. Это произошло так молниеносно, что закрыл на мгновение глаза—и вроде бы ничего не произошло. Майор качнулся назад, но не упал, потому как, к счастью для себя, отступил на шаг.

Дорнер, хотя и стоял по стойке «смирно», тем не менее еще раз проворно ударил окоченевшей рукой, без перчатки. Но генштабист заслонил лицо рукой с перстнем. Дорнер даже вскрикнул от боли и невольно сунул в рот окровавленный палец.

Мы все следили за генштабистом, только Дорнер проглядел. Майор зубами сорвал перчатку со второй руки. У него был маленький пистолет; когда Дорнер заметил его, было уже поздно: раздались два выстрела. Наш унтер

только было собрался броситься на генштабиста, как пули угодили ему в живот. Майор, повернувшись вполоборота, одним движением плеча оттолкнул его назад и всадил в него третью пулю.

«Вот это да!» — подумали мы. От нас майор не стал дожидаться помощи. Но и Дорнеру так лучше; иначе ему все равно свет стал бы не мил.

А ведь Дорнер рассчитывал получить награду. Еще утром он сказал мне в перерыве между транспортами: «Если я теперь не получу большую серебряную, то уж, значит, никогда!»

Даже не на малую, а сразу на большую серебряную медаль надеялся!

Я не знаю, как делили и распределяли группы. Мы получали человек по пятьдесят, а то вдруг нам «перепало» больше сотни. Первую группу всю скошил наш пулеметчик. Правда, он стал белый как мел. Но послушаться приказа не решился. Когда привели новых, его «машина» вдруг «чих-чих» — и он доложил о неисправности оружия. Взглянув на пулемет, я сразу понял, что даже Дорнеру не удастся теперь заставить парня привести в порядок свое оружие. В перерыве, пока расчищали прорубь, пулеметчик долго возился со спусковым механизмом. После этого механизм и вышел из строя. Одиночными выстрелами стрелять еще было можно (но тогда нельзя целиться), да и стреляные гильзы он не выбрасывал. После каждого выстрела нужно было освобождать патронник. Но что толку от такой стрельбы из пулемета! Тогда уж лучше наши маузеры нового образца: зарядишь обойму — да и выпустишь все шесть пуль, можно даже прицельно.

Дорнер после выхода из строя пулемета продолжал вести огонь из винтовки и пистолета, который так и остался у него.

Вода подо льдом, вместо того чтобы убывать, скорее, прибывала, и полынья, если в течение четверти часа в прорубь ничего не поступало, от мороза затягивалась пленкой. К утру в проруби образовался такой толстый слой льда, что, пожалуй, мог выдержать двух или трех человек.

Прорубать его приходилось топором и лопатами, которые мы взяли в расположенной поблизости корчме.

Я зашел туда за оглоблей и увидел нашего пулеметчика; он сидел в натопленной кухне и играл в ладошки с мальчиками и девочками. У них мерзли руки, и они с радостью зашли в кухню, расселись на скамейки и табуретки и весело смеялись, когда неповоротливый пулеметчик, сидевший как истукан, «промазывал» очередной удар.

Со стороны проруби слышались разрозненные выстрелы, а здесь, в продымленной комнате, хохотали ребяташки. Я сразу заметил, что большинство из них — еврейские дети. Но скажите, пожалуйста, что я мог поделаться с этим сумасбродом пулеметчиком, с которым даже унтер-офицер Дорнер не рисковал связываться.

Оглобля была нам очень нужна, потому что вода, я же говорил, стала не то чтобы спадать, как обычно бывает в такие страшные морозы, а вроде даже прибывать. И когда мы прорубали лед, она фонтаном выплескивалась из проруби.

Поэтому уже к середине утра все старания Дорнера и жандармского фельдфебеля захихать под лед шпионов, партизан и четников пропадали даром. Они сбрасывали их в воду вниз головой, а спустя некоторое время вода выбрасывала их обратно задом кверху. И ведь нельзя было сказать, что они уходили под лед с запасом воздуха в штанах.

Вдруг мне стало как-то не по себе. Что-то теплое брызнуло в лицо: тот, в кого стреляли, упал не вперед, а назад. И этим теплым оказалась не кровь, а что-то белое, студенистое — из его головы. Крови я почти не заметил.

Когда люди подходили к проруби, на них уже почти не оставалось никакой одежды. На мужчинах — кальсоны, на женщинах — комбинация да тоненькое трико. А одна баба дожидалась своей очереди в теплых, с начесом, штанах до колен.

Я даже сказал Дорнеру:

— Послушай, ну эта-то уж точно не партизанка и не шпионка!

За его спиной стояла бутылка с ромом, он неожиданно плеснул из нее в мою сторону, желая напугать меня.

— Что ты понимаешь в этом, лопух?! Ты ведь даже и курсантом-то не был.

Тогда у меня действительно не было никакой унтер-офицерской подготовки. Меня послали на курсы только в марте следующего года.

У меня тошнота подступила к горлу, так как я в чистом виде рома не переношу. Поэтому я сказал:

— Господин унтер-офицер, где-то застряли эти... Надо бы пропихнуть их каким-нибудь шестом.

— Ты хоть и лопух, а дело сказал, — отозвался Дорнер, как обычно, грубо, но ему уже было не до меня. А я и рад был этому.

В отделении напились не все; среди старших по возрасту нашлись двое или трое (из проходивших переподготовку), которые ужасно жалели этих бедолаг. Поэтому они старались насколько возможно облегчить их участь.

Сначала делали так, что все должны были раздеваться до трико и кальсон около корчмы, но очередь получалась такая длинная, что бедняги прямо коченели от мороза. Тогда эти «старички» сжалились над ними и разрешили им идти еще полпути одетыми.

И что интересно: пока люди брели в одежде, они возмущались, протестовали, не обращая внимания на окрики. Но как только им приказывали сбросить с себя верхнюю одежду, они сразу как будто смирялись.

То Дорнер, то жандармский штабс-фельдфебель по очереди подглядывали, что творится сзади.

Какой-то парень бросился было в сторону, но фельдфебель подстрелил его на бегу. Желающих последовать его примеру не нашлось, потому что подстреленный парень так и лежал на виду у всех.

Но в очереди все же шумели и роптали. Все называли себя венграми, утверждали, что попали сюда по недоразумению.

— Я в первую мировую был старшим лейтенантом!— кричал один, я его отлично помню.

И у каждого были какие-то заслуги. Но удостоверений и документов уже ни у кого не было. Так что все их разговоры ничего не стоили. Находились и такие, которые шли молча. Большинство женщин рыдали. Правда, не все.

Когда я побрел за шестом на берег, то увидел там трех женщин, которые, уцепившись друг за дружку, громко кричали и бранились, но ни одна из них не плакала. Видные были женщины, и говорили по-венгерски.

— Наши мужья—офицеры венгерской армии,— твердили они, когда к ним кто-нибудь подходил. Но бумаг, документов у них не было.

Мимо как раз проходил штабс-фельдфебель.

— Выслушайте их, пожалуйста,— говорю,— стоило бы их выслушать.

Одна из них, черноволосая, была немного выше других ростом, другая—тоже черноволосая—пополнее, с большими блестящими глазами, как у испуганного кролика. Они так чисто говорили по-венгерски, что «штабс» на минуту задержался около них.

— А ну-ка подойди сюда, Дорнер,— сказал он.— Вот эта госпожа знает поименно всех офицеров батальона.

Подошел Дорнер. Женщина перечислила офицеров батальона.

— Правильно?—спросил фельдфебель.

— Правильно,—ответил Дорнер.— Но у них ни у кого нет здесь жен.

— Нет?

— Конечно, нет, потому что запрещено им.

— Ах вот как! Тогда это очень подозрительно. Чтобы кто-то так хорошо знал фамилии всех офицеров. Значит, ты не знаешь эту госпожу?

— Никогда не видел.

Потом спросили что-то у той чернявой, что пониже ростом. По ее разговору сразу было видно, что она не венгерка.

— Ну вот, пожалуйста!

Дорнер повернулся и пошел обратно. Я тоже отправился по своему делу, наверх, к домам. А «штабс» еще остался. Во дворе корчмы среди всякого хлама я стал искать какой-нибудь шест или оглоблю.

Вдруг вижу, по дорожке поднимается штабс-фельдфебель с той женщиной, что повыше. Они сразу направились в пустую, оставленную квартиру и прямоком, минуя кухню, во внутренние комнаты.

Слышу, женщина умоляет о чем-то, говорит о своем муже. А «штабс» ей в ответ: «Ладно, потом разберемся!» А я тем временем сидел на кухне, смотрел на игру в ладонки и грелся. Оглоблю я уже раздобыл. Но не спешил идти с ней на берег. Примерно через полчаса, когда я уже спускался к реке, смотрю, бредет назад та женщина, всклокоченная, а «штабс» подгоняет ее пинками.

— Признайся, ты, курва: сербка ты или еврейка? Тогда я отпущу тебя.

— Если мой муж узнает обо всем этом, вам не поздоровится! Свинья!

Фельдфебель разозлился и стал пинать ее еще сильнее. Даже став в очередь, женщина все еще продолжала кричать:

— Свинья! Подлая свинья!

Я наблюдал за происходящим и не очень-то спешил со своей оглоблей. Женщина замолчала, когда вместе с остальными подошла наконец к тому месту, где громоздилась груда одежды. Да, там умолкали все. Может, от стыда, может, от холода, а может, потому, что оттуда уже по-иному были слышны винтовочные выстрелы. Женщина могла бы стать в конец очереди, но она прошла вперед.

Там три подружки снова обняли друг дружку — так они согревались — и стали тихо всхлипывать. У них было красивое тонкое белье и красивые круглые зады. Самый большой и круглый был у той черноволосой, что пониже ростом. Да у нее и штаны-то были теплые, шерстяные. Я сейчас скажу, почему так запомнил этих трех; хотя бросил на них один только взгляд на ходу!

— Давай быстрее, мать твою так! — торопил меня Дорнер.

Я спешил к проруби с оглоблей, и мне некогда было их разглядывать.

Нужно было освободить место у горловины проруби. Эта работенка не под силу одному человеку. Поэтому мы взялись за оглоблю вдвоем еще с одним солдатом. Наверное, каждый из тех, что стреляли, подошел бы помочь мне, если бы разрешил Дорнер.

И вот через четверть часа настал черед тех трех женщин... Та, что с каштановыми волосами, никак не хотела идти к воде; ее толкнули и срезали выстрелом, как птицу в полете. Чернявая, та, что была пониже ростом, в теплых штанах, в последний момент повернулась лицом к стреляющему и что-то крикнула по-сербски. А высокая вдруг испугалась и кинулась к ногам господина штабс-фельдфебеля, стала целовать его сапоги, обнимать колени. Тут я заметил, что шелковые трусы на ней все разодраны. Когда я столкнул ее в воду, железный конец оглобли зацепился за них, совсем порвал и...

Вместе в последний раз

Сабо не смог продолжить свой рассказ о событиях тех дней. Он так погрузился в воспоминания, что упустил из поля зрения Бюки, хотя, по сути дела, для него и рассказывал, в точности воспроизводя, «как это делалось». Более того, он даже решил про себя, что, если в ходе его рассказа Бюки по обыкновению завопит: «Довольно, хватит!», он и глазом не моргнет, не остановится, а во всех подробностях опишет, что происходило у проруби.

Да, он должен был дойти до этого пункта в своем повествовании, означавшего завершение событий, в которых он никак не мог представить себе свое собственное место. Ведь потому он и выдержал все это. А воспоминания? Нет, воспоминания можно было бы вынести, если бы этот старый хрыч, этот Бюки, не визжал всякий раз, как только он в своих рассказах приближался к тому месту, к той страшной полоске земли, отделявшей берег от реки. О, летом, да уже и весной там, конечно, снова текла река! И ходили туда гулять кавалеры с дамами, со своими бабенками.

О том же, что там произошло и где именно произошло, Сабо еще никогда никому не рассказывал. А ведь мог бы и он похвастаться. Слышал ведь, как другие бахвалились, хотя был даже издан специальный приказ, запрещающий болтать об этом...

Пока Сабо растягивал свой рассказ, описывая, как он пошел за оглоблей, он всего лишь один раз взглянул на

Бюки, да и то лишь мельком. Тот сидел на топчане, по-граждански спустив на пол ноги, обутые в тяжелые лыжные башмаки. Именно по-граждански, потому что оба башмака вплотную прижимались один к другому, в то время как по-военному следовало бы держать «пятки вместе, носки врозь». И Сабо даже отметил про себя: смешно, как Бюки легко вытаскивает из ботинка ногу в клетчатом шерстяном носке, словно это не башмак, а корыто или ночная туфля, и ставит ее на каменный пол. Вот что значит сухощавые господские ножки!..

Сабо как раз начал рассказывать о том, как, сняв с себя одежду и бросив ее в кучу (место которой сердобольные солдаты-резервисты вдвое приблизили к проруби), люди умолкали и лишь старались как-то прикрыть свою наготу.

Сабо говорил не спеша, устремив взгляд вверх, к окошку, по которому с весны скользили солнечные лучи. Поздор и Тарпатаки сидели, уставившись в пол, а Бюки молчал. Вот он легко вынул и вторую ногу из огромного башмака—без шнурков—и потянулся за ним рукой. В правую руку Бюки взял левый башмак, в левую—правый. Бросил взгляд на каблуки—достаточно ли острые на них подковки.

И вдруг со страшной силой обрушился на Сабо, нанося ему удары башмаками—левой, правой, левой, правой.

Он вложил в эти удары всю свою силу.

И сразу обмяк. Когда Тарпатаки схватил его за руки, мышцы, бывшие за минуту до этого стальными и упругими, вдруг стали ватными. На руках майора дрожал каждый мускул, каждая жилка.

Поздор начал молотить кулаком в железную дверь.

Когда два охранника вытаскивали Сабо, он был еще жив, хотя глаза у него уже закатились. Цементный пол был перепачкан кровью. Только на следующий день двое незнакомых арестантов убрали камеру.

Бюки, дрожа всем телом, корчился, его рвало в парашу. Приступы тошноты следовали один за другим; уже давно нечем было рвать, но судороги, выворачивавшие его, не проходили.

Старший лейтенант поддерживал его, чтобы тот не упал. Он не мог поверить, что мужчина с такой выправкой оказался таким немощным и хлипким. Никакого жира, хотя все трое они прибавили по несколько килограммов. У Бюки ослабевшие мускулы дрожали так, словно через них пропускали электрический ток.

В тот же день Бюки был изолирован. Когда его уводили, он ни с кем не простился. Даже не оглянулся в дверях. Он старался идти без посторонней помощи, ступая

по полу в шерстяных носках, позабыв о своих башмаках.

После того как Бюки увели, старший лейтенант и фенрих долго молчали.

На следующий день Тарпатаки попытался было запеть.

А Поздор на третий день решил подвергнуть разбору главу устава внутренней службы, ту, где рассматривались права и обязанности должностных лиц в связи с применением оружия. Ну и небрежные формулировки!

Тарпатаки отмахнулся от него, и фенрих обиделся.

Прошло немало времени, прежде чем они снова нашли взаимопонимание.

Один из них вспомнил Бетти, а в связи с ней все, что случилось на вокзале, когда прибыл комендант города. Отсюда мысли снова вернулись к Бетти; позднее почему-то вспомнилось, что им преподавали в офицерской школе речного флота относительно подрыва льда.

Другой же трусливо признался, каким «грузом» был набит кузов «форда-мармона» и куда его отвезли на последних остатках горючего, перед тем как он получил задание достать бензин. Остальным пришлось топтать пешком.

Трусоват был Поздор! А может, просто тактичен — хотел пощадить Бюки.

По сути дела, он и сам до конца не верил тому, что произошло.

Тарпатаки

О Бетти, Бетти! Я совсем позабыл о ней в то утро. У меня было других дел по горло. Чего уж тут говорить!

Заполнив людьми поезда, мы получили, что называется, возможность для маневрирования в помещении вокзала. Один поезд мы окрестили топойяйским, а другой — футакским. Но это были лишь пустые названия, потому что из-за жандармов об их отправке нечего было и думать. Кроме того, на пути перед топойяйским каким-то образом оказался еще и товарный состав.

Я приказал немного прибрать и подмести в залах, а снаружи, за перроном, отрыть отхожее место. Словом, я со своим отрядом приготовился к длительной обороне.

Прибыл поезд из Будапешта. Мне не хотелось верить, что «в мире» настолько не осведомлены о наших делах. Нельзя сказать, чтобы будапештский скорый был набит до отказа, но и свободных мест тоже не было. Ну, естественно, началась суматоха.

Но как только появился Грашши, суматоха прекрати-

лась. Он говорил очень тихо, и я ему докладывал также тихо. Однако у меня было такое ощущение, что все кругом наостригли уши.

И когда я провожал к выходу его и сопровождавших его лиц, все уже знали, о чем мы говорили!

В беззвучной тишине толпа на площади расступилась, образовав живой коридор.

Они так дружно шли в ногу, что я чуть не расхохотался,—точно оловянные солдатики. Хотя никакого настроения смеяться у меня не было. Полковник и два капитана—гуськом. Я спохватился, только когда капитан повернулся ко мне и с перекошенной физиономией тихо проговорил:

— Моя жена...—и показал пальцем на угол большого здания.

Этот еле заметный жест перехватил полковник.

— Господин капитан! Садитесь!

В машине уже сидели два жандарма.

Мне лишь потом сообщили, что они приехали не вместе. Конечно, нет! Я вспомнил, как капитан незадолго до этого, размахивая перед моим носом руками, что-то говорил об отправке поезда. Но было ли у меня тогда время обращать внимание на каких-то растерянных армейских офицеров!

Я разыскал его жену. Это была красивая, холодная, гордая женщина. Она, разумеется, не любила этого Бюки, но, по-видимому, была из бедной семьи; а какая красивая, но небогатая девушка сумеет противостоять настырным ухаживаниям мужчины, да еще разукрашенного золотыми галунами! Я говорил с ней лишь несколько минут и уже все знал о них. Вернее, зная Бюки, я теперь ясно представляю себе их прошлое.

— Самое разумное—это отправиться домой, или же подождите, если вы себя чувствуете здесь в большей безопасности.

— Мы пойдем домой,—решительно ответила черноволосая женщина. Я дал ей в провожатые двух матросов.

Прошло полчаса; время уже близилось к полудню, а жандармы пока ничего не предпринимали. Ладно, думаю, займусь подготовкой к обороне. Но вот исчезли куда-то даже те несколько жандармов, что были на перроне.

Кто-то сказал, что надо бы попробовать отправить хоть один поезд.

Мы отправили футакский. Я выставил пять матросов в дверях вагонов, велел им спрыгнуть на насыпь, как только паровоз минует разъездные пути. Мы прислушались: никаких выстрелов.

Через час они вернулись: поезд ушел. Жандармы кричали и размахивали руками, но не стреляли. Матросы помахали им в ответ. Однако когда они возвращались обратно, то старались держаться подальше от насыпи.

Я послал за женой капитана одного из тех матросов, что сопровождали ее,—может быть, она пожелает поехать в Топойю?

Весь поезд дожидался их. Потом мне доложили: дома их нет. Это обошлось нам в получасовую задержку.

Посланный мною матрос (я мог послать сейчас только одного) сказал, что господина капитана застрелили, а квартира пуста. Помню, это ошеломило меня.

Перед вторым поездом стояло, наверно, около тридцати товарных вагонов. Начальник станции противился, но машинист взял всю ответственность на себя. Он только попросил дать ему несколько матросов. Мои люди уже начинали бунтовать. Но все же отправились. На этот раз мы услышали выстрелы, однако поезд не остановился и матросы не вернулись обратно. Только к вечеру. Но тогда уже...

Из всего этого я сделал вывод, что резня затихает. Хотя поступающие сообщения говорили совсем о другом.

Около полудня на вокзальной площади остановилась грузовая машина, набитая кричащими людьми. Я еще не слышал, чтобы на каком другом «форде-мармоне» так орули, это не допускалось.

Оказывается, это Бетти, Бетти взбудоражила людей. Двое жандармов вытащили ее из кузова и стали выкрикивать мою фамилию. Я подошел к ним; тогда один из них, уже вежливо кивая на Бетти, спросил:

— Честь имею доложить, эта дама называет себя вашей женой, господин старший лейтенант, и баламутит всех. Правда ли, что господин старший лейтенант и она...

Бетти раскрыла мне объятия и театрально воскликнула:

— Сердце мое!

Мои люди знали (во всяком случае, догадывались), что она лжет. Я вспомнил о капитане и его настоящей жене, которую отправил утром в сопровождении матросов, и уже больше не колебался.

— Беттике, сердечко мое!—Я обнял ее, и она припала к моей груди.

На ней и на этот раз была шубка с белым меховым воротником. Может быть, поэтому ей и поверили?

Жандарм передал мне железнодорожный сезонный билет моей жены.

— Что это?—спросил я. И чуть было не воскликнул от удивления. Бетти вернула мне пятьдесят пенге, но в ту,

первую ночь выгащила у меня из портмоне фотографию моей жены! Мне нужно было продлить в части ее льготный проездной билет на этот год.

Жандарм взял под козырек. А я сказал:

— Благодарю вас, унтер-офицер!

Водитель грузовика дал газ.

Поздор

Я сразу понял, что речь идет о его жене... а этот скотина солдат еще... И хоть бы раз, болван, глаза поднял... Вот и достукался.

Поэтому лучше всего держать язык за зубами. Я выполнял приказ и старался держаться в стороне, если видел, что дело пахнет большой гадостью.

А ведь я запомнил того желторотого птенца, который выскочил из задней квартиры первого этажа, в венгерке и форменной гимназической шапочке с пером, и, подбежав ко мне, рубанул по всей форме рапорт, а потом откозырял: честь имею, мол. Я щелкнул его по шапке и похвалил:

— Молодец, расти большой!

Женщины в это время уже были на грузовике.

Жандармы поначалу поступали очень глупо: сгоняли всех подозрительных с близлежащих улиц на более или менее просторную площадь. Народу скапливалось много; люди разговаривали, скулили, распространяли панические слухи. У некоторых снова проверяли документы. Кое-кому удавалось даже раздобыть какие-то удостоверения или обменяться ими.

Шани Кепиро решил, что лучше всего проверять документы по домам. Там, среди своих, было яснее, чего стоит товар!

Как только грузовик наполнялся—баста! Поехали!

Шани, чтоб ему пусто было, выбрал меня, нашу автомашину.

Пока грузовик отвозил людей, мы шли дальше по домам, потому что из пяти прикомандированных к нам жандармов только двое сопровождали машину.

Я тоже мог остаться, а мог и поехать, сев рядом с шофером и выгулив из кабины одного из жандармов. В кузов они не лезли, как некоторые болваны солдаты, а становились рядом с водителем на подножку кабины.

Тех трех женщин мы нашли вместе.

На наш стук калитку открыла невысокая черноволосая женщина. Она еле могла что-то выговорить по-венгерски—так испугалась.

Мы прошли в квартиру. В передней нас встретила госпожа.

— Я жена капитана венгерской королевской армии.

В руке она держала удостоверение. Назвала фамилию мужа и батальон, в котором он служит.

— Ты ее знаешь, Поздор?—спрашивает Кепиро.

— Фамилия знакома, а госпожу не знаю.

За ней стояла еще одна женщина, тоже по виду госпожа. И она держала в руке удостоверение. Шани заглянул в него и скривил рот. Женщина тихо произнесла фамилию—звучала она явно на еврейский лад.

— Одна из дам останется здесь,—в своей обычной манере распорядился Шани,—а другие две пойдут с нами для дальнейшего выяснения.

Но это к тому времени уже звучало пустой формальностью. Видимо, как-то почувствовали это и женщины.

— Скажите, пожалуйста,—глухо спросила та, что пониже ростом,—что взять с собой?

— На день продуктов,—ответил один из жандармов, и женщины стали укладывать пожитки. Шани прошел по всем комнатам, а я вышел в сад и вот тут-то и щелкнул шутиливо мальчонку по шапочке.

Уже у машины я услышал:

— Послушайте, мы же сказали вам: оставайтесь!

— Я хочу удостоверить личность моей квартирной хозяйки. Прошу вас, доставьте меня к мужу! Он поручится за всех нас!

— На машину!—послышалась команда Шани. Он не очень-то церемонился, тем более что грузовик был заполнен, да и жандармы уже сидели впереди.

— Он капитан венгерской королевской армии!—кричала женщина. Если бы она не повторяла этого несколько раз, мы бы уступили ей, а так она показалась нам подозрительной.

Машина вот-вот должна была тронуться (мы все же немного колебались), как вдруг в воротах появился капитан. В парадной форме, при орденах, в сапогах и кивере!

Нам это сразу показалось странным, мы даже остолбенели на мгновение.

Шинель на нем была распахнута.

— Стой!—крикнул Шани шоферу, решив выяснить насчет этого капитана.

Грузовик уже тронулся, так что пришлось немного проехать, пока сработали тормоза и машина остановилась.

— Я спасу тебя, дорогая!—крикнул мужчина в форме капитана. И низенькая женщина, которая примостилась у заднего борта грузовика, крикнула ему в ответ:

— Мы вернемся, Армин! Береги себя!

Однако тот, кто внимательно наблюдал за происходящим, мог бы заметить, что обращение «дорогая» мужчина предназначал вовсе не ей.

В сапогах и кивере! В те-то дни. Кепиро тотчас же сообразил, что эта форма явно не его!.. Да еще Армин!

— Поехали!—скомандовал Шани шоферу.

Машину тряхнуло, и она тронулась с места. Женщины что-то кричали. Мужчина бросился было вслед за машиной—не знаю, на что он надеялся. Но споткнулся в своих сапогах. И кивер чуть не слетел у него с головы.

— Руки вверх!—гаркнул Шани. Тип испугался и поднял кверху обе руки. Ну, теперь мы знали, кто перед нами. Шани уже кивнул одному поднаторевшему в этих делах жандарму с винтовкой и показал на пальцах: «Два!»

— Армин?—спросил Шани.

— Армин,—ответил еврей. Когда он произнес это, то даже на физиономии у него отразилось подобие сожаления, что он пытался нас обмануть, скрывая свое явно еврейское происхождение.

Шани махнул рукой—это предназначалось жандарму.

Один за другим раздались два выстрела. Но в это время машина уже была далеко. Теперь могли отправляться и мы.

— Мы доложим об этом! Господин полковник будет рад,—вслух размышлял Шани.

Вдвоем

Старший лейтенант напевал народные песни, но фенриху это было не по душе. Потом Тарпатаки стал высказывать ему свои мысли по поводу того, что, мол, как странно, что в офицерской школе речной флотилии подрыву льда обучали только между прочим, как самому мирному занятию—на тот случай, если во время ледохода возникнет угроза наводнения. Или если в войсковой части, в полевых условиях, захотят порыбачить, то взрывом можно сделать прорубь. Заложить определенное количество толовых шашек... И вот что из этого получилось!

Поздор не удивлялся этому, не ахал сочувственно. Он знал, что устав внутренней службы не интересует Тарпатаки (а прочими уставами—боевым уставом пехоты, наставлением по тактике—и тем более не было смысла донимать его—офицера-речника). Поэтому он чаще всего повторял то, что особенно занимало его:

— Как все же смогли установить количество и пол мертвецов? Это же невозможно! Три тысячи триста девять! А вода? К концу января она стала убывать подо

льдом, а когда лед растаял, от них вообще вряд ли что осталось! Конечно, в первый день на них еще была одежда, а те... кого в последующие дни... те оставались в одном белье. А на некоторых, говорят, и его не было. Двести девяносто девять престарелых?

Это нужно доказать!

Тарпатаки в грош не ставил эти его терзания и всегда оставлял их без ответа.

И лишь как бы между прочим, словно сам с собой, начинал размышлять вслух, вполголоса:

— И снова я думаю о том, и раньше уже над этим задумывался, и, кажется, тогда, в предпоследний вечер в ресторане гостиницы «Дуньдёрски», мы тоже обсуждали, какое же возмездие будет за это?

— Да, пожалуй, никакого...

— Это невозможно!

— Когда начинали, то ни о чем подобном не думали!

— Возможно. Потому что были очень глупы. Я даже и не беру в расчет жестокость — ведь исполняли солдаты.

— Попадались и цивильные!

— Попадались, но, по-видимому, и они не думали о возмездии.

— А может, и думали. У меня в голове не раз, а много раз мелькало: что будет, если все обернется по-другому? Но верно и то, что если возмездие все же свершится, то наше преимущество в том, что их погибло на сотню, а то и на тысячу больше, чем нас. Если последний козырь за ними, то хоть выжмем из них все, что можно, до этого...

— Можно и так рассуждать,—вздыхнул Тарпатаки и сплюнул как завзятый курильщик. Хотя он не курил.

Спустя некоторое время к ним в камеру поместили новых заключенных, и они совсем перестали говорить об этом.

Ведь сам господин командир корпуса еще в конце той недели, в последних числах января тысяча девятьсот сорок второго года, отдал приказ: «Господа! Об этом — ни единого слова!»

СЫН И ВРАГ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ

(Битва с встряньими мельницами)

Когда наступала пора сбора яблок, веселей всего было возле сортировочной; там всегда над кем-нибудь потешались, там постоянно кипела битва: целая армия девушек и женщин лихо сражалась со считанными мужиками (возчиками, грузчиками), кому посчастливилось среди них оказаться.

Вокруг сортировочной и хранилища без конца шла веселая перебранка. Девушкам тоже нравилось здесь работать: хоть и приходилось поминутно краснеть, да краснелось-то радостно, а поскольку все было в открытую, на глазах у людей, то можно было за себя не бояться даже самой нестойкой из них. Зато и мужчин куда как бодрило все это множество развевающихся вокруг сортировочной юбок, побуждало к рискованному балагурству; от женского духу разбирало даже самых холоднокровных, и они гарцевали, словно лихие скакуны.

Подышать этим духом, отпустить две-три непристойности приходил сушильщик из амбара для слив, он же мельник с ветряной мельницы—старый Биге.

По обычаю прежних мельников, старый Биге брил голову наголо. Никогда не приходил он с тем, чтобы помочь, хотя бы для виду. Просто сидел и наслаждался озорным весельем, отчаянными выходками молодых бабенок и так хохотал при каждом забористом словце, что голова его ходила ходуном, подпрыгивала, словно в тире пустая скорлупа от вытекшего яйца на струе воды. А уж если женщины его избирали мишенью для шуток—его, вдовца!—он весь встряхивался, довольный донельзя.

Одного Фабиана бабенки оставляли в покое, не задевали пересмешками. И не только оттого, что рядом была жена. Габор Фабиан даже на самых что ни на есть недоростков смотрел исподлобья, снизу, насупив широкий покатый лоб. И еще женщин пугали его могучие, как у первобытного человека, плечи.

Но в тот день, когда возле сортировочной заговорило радио, к вечеру огромный яблоневый сад опустел. Опустела и площадка перед сортировочной.

Собственно говоря, здесь, посреди сада, радио не было, это Биге притащил с мельницы свой приемник и включил его в сеть. Не в силах был у себя на мельнице, в одиночестве, слушать этот обезумевший мир.

На закате и он, подхватив под мышку свой «четыре

плюс один» *, удовлетворенный, поплелся к себе через сад в сопровождении старой легавой. Возле бесчисленных ящиков, посреди моря яблок остались только Фабиан и его жена. Они развели костер, в жару испекли картошки на ужин.

В вечерней тишине с шоссе слышался отдаленный гул моторов и еще непривычные звуки выстрелов, взрывов. Фабиан умел отличить выхлоп мотора от выстрелов. Так противоестественны были эти звуки, что он содрогнулся. Теперь и жена поняла, что происходит, она тотчас подумала о сыне, но постаралась подбодрить мужа:

— Не бойся, нашего Ферчи никто не тронет. Он там в хорошем месте, о нем позаботятся.

Да-да, сын и сам о себе позаботится, подумал и Фабиан. А жена даже поднесла ему палинки: может, на исповедь мужа потянет. Выпивши, он добреет и начинает душу выкладывать...

Ночь прошла в сторожком прислушиванье, два следующих дня—в работе. Они снимали яблоки, от яблонь на тележке отвозили корзины к весам, сами завешивали. И сами же вдвоем укладывали в ящики по сортам.

Два года отсидел Фабиан из-за Хайду. Хайду на него заявил, он же был и главным свидетелем. Никто, кроме него, поступок Фабиана преступлением не считал, как и его самого—преступником. И в свидетели идти никто не спешил, никто, кроме Хайду. Странная получилась тогда история, и, хотя вслух никто ничего не сказал, все чувствовали: непростое тут дело, Хайду чего-то добиться хотел, а Фабиан—ни в какую! Так остается оно и поныне!

Когда отсидел те два года Фабиан полностью (даже лишние три недели прихватил из-за нерадивости какого-то писаря), вернулся он домой и стал работать при бабе своей. При жене.

С тех пор так и повелось—трудится под именем жены (на ее трудовую книжку то есть) в кооперативе; жена вступила сразу, как только осудили мужа: жить ведь на что-то надо!

Под яблонями поднялся поздний сорняк, в нем легко укрывалась падалица. Присев передохнуть, они выбирали яблоки из травы, ими и закусывали, для себя с дерева не рвали. Чаше лакомилась жена, откусит от яблочка—оно вроде и разговор легче ведется.

— Учителя сказывают, он к химии страсть способный, и к алгебре тоже. Вот увидишь, он и дальше пойдет! Так что правильно говорится: что ни случается—все к лучшему!

* Марка радиоприемника.

Так у них повелось, что только она и ездила в город к сыну, провести да разузнать, каково ему там живется. Но стоило ей про выпавшую им судьбу наметнуть, про мужнюю долю, как Фабиан сразу взвизывался:

— Уж это мне знать, что к лучшему, а что не к лучшему!

Жена тотчас умолкала.

Так вот и живет Габор Фабиан, словно никогда такой и не жил на свете: трудится под именем своей жены, а в кооператив не просится. И трудовую книжку брать не стал, даже книжку для записи трудовой. Мол, жена Фабиана живет на свете, есть такая, а самого Фабиана нет. Знали в селе: это из-за Хайду.

Выработка у жены Фабиана выросла вдвое, а то и втрое. И Хайду терпел. А Фабиана нигде и не слышно. Уже кое-кто из ровесников его, в память о более веселых молодых годах, решался было поговорить с ним, однако жена Фабиана их остерегала: «Про эти дела с ним говорить — что красной тряпкой перед быком махать. Вот и я уж о чем, о чем, а об этом и слова ему сказать не смею!»

Но когда надрывалось в саду радио, суля кровь, восстание, возмущение, войну, оба они думали о своем мальчишке, а жена Фабиана еще и о том, что, может, оно опять к лучшему — та случившаяся с ними беда...

Они продолжали собирать яблоки в корзины, уходя далеко в розоватое раздолье садов. Молочно-голубой воздух опустился к самым деревьям, запутался в яблоневой листве, и, хотя не было ни ветерка, с веток то и дело слетали, кружась, бледные листья. Днем сюда доносился лишь редкий свисток паровоза, и опять было тихо. Днем никто не стрелял.

Фабиан с женой все таскали яблоки к складу: рано или поздно объявится же кто-нибудь, чтобы учесть, отобрать, рассортировать их.

Жена воспротивиться не решалась. Знала, что случилось давно, двадцать лет назад, с бедным дедушкой Фабианом, когда он в начале лета не удержался и съел потихоньку соленое сало, припасенное на жатву. Помер от сыновних побоев!

Уже второй день никто не появлялся в саду.

Под вечер, когда с уставленной корзинами повозкой они вернулись очередной раз к сортировочной, там на краю бетонной колоды сидел Хайду — без шапки, разломаченный ветром, с седой прядью посреди головы. Увидев их, он закурил сигарету; пальцы выдали, как он весь напряжен. Хайду пришел не с проверкой, он просто сидел и ждал, что они заговорят с ним. Когда он затянулся,

глубокие морщины на щеках (метки жестокости, по суждению жены Фабиана), показалось, стали глубже, чем всегда. Хайду смотрел, как они работают, и ждал. Ждал.

Седую прядь он заработал не теперь. Но этим двоим она сразу же бросилась в глаза.

Нагруженная повозка—жена только правила, а Фабиан сзади, натужась, толкал ее—остановилась. Оба держались так, словно и не заметили Хайду.

— Нет, вы ненормальные!

Женщина вздрогнула, но корзины не выпустила.

Хайду вздохнул. Выронил сигарету, затоптал. Медленно растер окурок, может быть жалея, что их обидел.

— Вы что же, ничего не знаете о положении? В мое окно стреляли...

Две пустые корзины плюхнулись на тележку. Пустые везти было легче, Фабиан управлялся с тележкой один, жена, потупя глаза, следовала за ним. Только теперь стало видно, как бледен Хайду... Прямо сухоцвет...

— Мне оставаться в деревне нельзя, но и бежать я не хочу!

Фабиан с женой опять нагрузили корзины и вернулись с повозкой. Хайду сидел там же, где они оставили его. Может, и вздох был все тот же...

— Вы знали?—спросил он негромко, но требовательно.

Женщина пожалела его:

— Не знали мы. Про это не знали, хотя выстрелы слышали.

— Один из них мне предназначался,—торопливо и словно бы немного гордясь сказал Хайду (понимал: так говорить рановато, но жена Фабиана уже от него отвернулась!).—Нынешней ночью. Я вон туда было кинулся, через камыши, ну а потом все ж в эту сторону свернул, по кукурузе, потому как бежать из села я не хочу.

Фабиан и его жена молча выкладывали яблоки. Осторожно, чтобы не повредить. Приемщик из «Плодоовоща» в три глаза смотрит, что покупает.

— Я бы здесь переночевал,—просто сказал Хайду.

Когда корзины опять опустели, жена Фабиана (Хайду видел: с мужем она не перекинулась ни словом, даже шепотом) сказала тихо:

— У нас на двоих одно покрывало. А ночи-то страх холодные.

Покрывало! Как будто об этом шла речь!

Пока они обернулись туда-сюда и опять прикатали к сортировочной с полными корзинами, Хайду простыл и след.

Во избежание и устранение ошибок автор показал написанное им о Габоре Фабиане Иштвану Хайду, лицу, действующему не только в этом повествовании, но также и в общественной жизни. Хайду рукопись прочитал и, закончив, заметил только: «Что ж, примерно так оно все и было... вот только смута, да и слабость человеческая вырисовываются пожалуй что недостаточно!»

Чтение свое Хайду прерывал шесть раз, то краткими, то более пространными возражениями либо дополнениями.

Хайду. Кое о чем Габор Фабиан здесь забывает. Уж не знаю, сознательно или нет. Я говорю — Габор Фабиан, потому что писатель уж так точно его мысли и передраги житейские излагает, что ясное дело: о событиях тех знает от него одного. Вроде как заморозил его Фабиан. Этими своими лохматыми бровищами. Ну, во-первых: в яблоневом саду я бывал часто, особенно во время сбора урожая. Так что не был там гостем, редким гостем. Во-вторых: когда люди, наслушавшись воплей по радио, всполошились и гуртом подались в село, Фабиан побежал вместе со всеми. Откуда знаю? А я вскоре после того с ним лично встретился, но случилось это еще до описанных в повести трагических событий. В суматоху люди позабыли, все мы позабыли про нашу общую скотоферму, я и сам вспомнил только два дня спустя. Правда, два-три старика при хлевах оставались, но где уж им было весь скот кормить-обиходить. И тут, слышу, собрались в одном доме умные головы совет держать. Без меня! Я прямо к ним. Тогда ведь положение было не такое угрожающее, как потом. А я сразу быка за рога: «Хватит языками чесать, все пойдем скот кормить!» Да только никто и не шевельнулся. Тогда я прямо к Фабиану обратился, надеялся, видно, на авторитет его, думал, за ним и другие потянутся. И вот ведь странное дело: он-то пошел, а прочие все остались!

Еще два дня я держал фронт. Потом мне выстрелили в окно.

Даже смерть — и то ничего, если была у человека мечта, когда он в мужскую пору входил. И если потом, с седой уже головой, довелось увидеть ему: что хотел — получилось.

Габор Фабиан лишь чутьем угадывал это прямое веленье судьбы: даже смерть — и то ничего, если...

Но сейчас, ведя по свежей пахоте этих парней с автоматами, он весь был настороже и знал одно: нужно каждое слово при них выбирать с оглядкой, даже мысли таить, ведь эти запросто выпустят в тебя очередь и не спросят, успел ли покаяться.

А было так, что на третий день под вечер уступил он мольбам супруги своей; они заперли пропитанный яблочным духом амбар и пешком подались в село. В другое-то время, едва оглядевшись в дому, он давно уж сказал бы жене: «Ну, я на рынок пошел, посмотрю, что там нового на доске у сельсовета вывешено». Но в эти смутные дни все новости знало радио, оно каждые два часа меняло свои сообщения и ежечасно взывало: сдавайте оружие!

Не знал тогда Фабиан, что его ждет, но видел: люди на улице уступают ему дорогу, приподымают перед ним шляпы. Так вышел он на главную площадь, ни о каком собрании и не помышляя, сперва даже показалось — просто в толпу ненароком забрел. Фабиан сразу и выбраться из нее захотел, к берегу выгрести, да только понял вдруг, что, пожалуй, он-то и есть центр муравейника. Конечно, он тут же развернулся — и скорее домой, да что толку — его и заглазно в какую-то комиссию выбрали.

Потом еще дважды к нему приходили, за ним то есть. Однако он и не показался, укрылся от непрошенных гостей. Не беда, если станут потом насмехаться, пусть. Но когда передали ему, чтоб приезжих людей проводил через сады, согласился охотно: по крайней мере тихомирно избавится от взбудораженного села. Да только недолго он радовался.

Не знал ведь он, соглашаясь тропу показать, что чужаки вооружены автоматами. Велел жене собрать хлеба да соленого сала дня на два. Уже и по этому видно: хотел добром уйти из села и остаться покуда вдали. Безлюдная надежность садов — и шипящее, полыхающее страстями, взбесившееся от радиоизвестий село.

Эти трое явились к нему прямо домой.

Когда он увидел у них автоматы, отступаться было уже невозможно.

Трое их, и каждый на особицу, только автоматы одинаковые.

— Обложим сушилку для сливы, там и накроем, брат, — заговорил самый малорослый из них, пухлый подвижный юнец, старавшийся выражаться и двигаться по-охотничьи, торопливо при этом принохиваясь; он непрерывно нашептывал что-то высокому молчаливому парню, отчего тот показался вроде начальником, хотя на самом-то деле начальников среди них не было.

Оружие Фабиану весьма не понравилось, но самих

«братьев» он не принял всерьез, даром что слышал все, о чем голосило радио. Страх он не ощущал, только не мог угадать, что будет дальше.

Пока что они шагали по пастбищу, дальше дорога пойдет садами.

— Может, спрямим? — спросил Фабиан.

Они согласились, хотя носатый среднего роста парень хлюпал по грязи в туфлях. Пастбище еще не забыло дождь, ливший на прошлой неделе.

— А сколько это? — шмыгнув большим своим носом, спросил тот, что был в туфлях.

— Сколько? Это вы, товарищ, про что?

Товарищ... Они поугрюмили. Долго шагали молча.

— Он спрашивает, сколько времени займет дорога, — смягчился наконец начальник.

— Добрых часа полтора, — буркнул Фабиан.

— Могли бы на велосипеде скатать, — прохрипел носатый.

Фабиан не отозвался, чтобы опять как-нибудь не разозлить их.

— А обратно-то как? — подумав немного, спросил коренастый юнец.

— Д-да, пожалуй, ты прав, — согласился носатый.

Фабиан знал короткий путь среди болотец; начальник был в солдатских башмаках, коротышка юнец и вовсе в сапогах барского кроя, только туфли носатого то и дело тонули. Спутники над ним посмеивались. Фабиан никак не участвовал в их веселье.

— Однако же далеко, — проговорил немного спустя начальник. Фабиану он нравился больше других, может, просто голос его нравился, хотя он понятия не имел, что у того на уме. — В наших краях давно уже в соседнюю деревню пришли бы.

— В Задунайщине?

— Там.

Фабиану хотелось завести какой-нибудь разговор, не очень-то было приятно топать впереди, когда в спину глядят их автоматы. А за разговором, призадержавшись, можно хоть с первым из них шагать рядом. Сразу иное чувство. И тут припомнилась ему глина. Их путь шел стороной, но Фабиан незаметно сделал со своим отрядом маленький крюк, чтоб увидели они на черном желтое пятно. Он знал: по вспаханному еще хорошо должно быть видно желтую глину.

— Здесь вот тоже деревня была.

— Деревня?

— Ну да, стояла когда-то деревня. — И он ладонью, пальцами погрузился в легкие сумерки.

«Если тракторист уехал только вчера, желтизна еще видна хорошо»,—думал Фабиан. Немного пришлось поискать, но он все же нашел: какая ни маленькая была деревушка, а сколько-нибудь места да занимала. Пашня, правда, подсохла, но следы вывернутой глины на черноземе были видны отчетливо.

— Русские разорили?—радостно оживился носатый.

— Турки,—охотно пояснил Фабиан и, видя, что чужаки с автоматами вроде бы заинтересовались, особенно начальник, продолжал:—Турки все тут порушили. Деревенька маленькая была, плуги и посейчас что ни год монетку-другую старинную выворачивают. С той поры, как тракторами пашем.

Чужаки тотчас головы вниз, глазами по земле шарят, словно еще надеются чем-нибудь да поживиться из старинных укладок.

— Бедная была деревня, и денежки бедные здесь находили. Но с тех пор, как у нас эти мощные тракторы пашут, старые стены, вишь, там и сям отдают глину-то, из какой наши предки свои дома лепили. А ведь тому уже добрых четыре сотни лет!

Все помолчали, тем двоим чем-то, видно, не по душе пришлось упоминание о кооперативных тракторах, и они, отмахнувшись, зашагали вперед. Но начальник все смотрел на глину, желтую глину среди черной пашни, и вдруг двинулся вдоль контура некогда стоявшего строения, балансируя, словно шел по высокой стене. Ему это нравилось, он был явно взволнован. Обойдя один такой дом, он остановился, кивнул и, то ли уважительно, то ли просто задумчиво, повернулся к молча стоявшему Фабиану, который наблюдал за произведенным впечатлением так, словно та деревенька принадлежала лично ему! И тут начальник вдруг посуровел лицом, и голос его словно загустел:

— Как же не болеть человеку за землю, если и земля вон как помнит след рук человеческих!

Вот-вот, эти самые слова с давних пор искал и не находил Фабиан! Его переполняла благодарность за то, что они наконец-то найдены.

— Так оно и есть,—выговорил он, и глаза его увлажнились,—так оно и есть. Человеку-то как же не помнить!

Задумался и начальник, тоже растроганный.

Они перекинулись взглядом и в этот момент крепко понимали друг друга.

— Ну! Дальше-то что?—нетерпеливо окликнул их юнец, ничего не понявший в их взволнованном молчании.

Не ответив, они последовали за остальными.

— Сколько бы раз ни проходил я здесь осенью либо

всеной, во время пахоты, всегда это самое на ум идет.

Высокий парень в солдатских башмаках кивнул, они и дальше держались рядом, хотя и не разговаривали особо.

— Добрая земля, первоклассная,— опять сказал Фабиан.

И вдруг отозвался толстый юнец:

— Еще бы! Я думаю!— Это прозвучало так, словно он имел самое прямое отношение к здешней земле либо она ему причиталась.— Я думаю! Это ж не почва—золотое дно!

Фабиан предпочел замолчать и вовсе оборвал разговор. Кто он такой, этот чужак, что взхлеб расхваливает здешние почвы? И что ему нужно? Только у самых садов Фабиан спросил напрямик, и спросил сурово, как человек, который не ступит дальше ни шагу, если не получит честного, прямого ответа:

— Цель-то нашего пути какая? В чем она? Я ведь не знаю.

Глаза «начальника» сверкнули. Впрочем, он слегка удивился, почему, договариваясь, Фабиану не рассказали.

— В чем? Может, в ком? Тут, говорят, шишка одна скрывается где-то.

— Кто ж эта шишка?

— Как его?— обернулся «начальник» к толстяку юнцу.— Вот, на языке вертится...

— Хайду,— отозвался юнец; в этот миг в его голосе не было ненависти, скорей возбуждение, радость предстоящего приключения. Но он тут же злобно ощерил зубы, теперь и слова и голос звучали заодно:— Убийца! Мой дядюшка мог бы много порассказать про него!

— Кого ж это он убил?

— Там разберемся!

Хайду. А как же! Ведь у нас только одно покрывало!

Фабиану было ясно: теперь уж хочешь не хочешь, а придется вести этих к сушильне и к ветряной мельнице. Тяжело было у него на душе, только на миг и полегчало, когда приостановился, словно бы колеблясь, по какой тропке идти через сады: из-за сметенной турками деревушки они теперь шли не привычным путем.

— А кто ж такой будет ваш дядюшка?— совсем тихо спросил он юнца.

Тот ответил охотно, явно гордясь таким родственником:

— Пакоманди!

«Господин Пакоманди!» — пронеслось в голове у Фабиана.

— Гашпар Пакоманди, — уточнил юнец.

Господина Пакоманди Фабиан знал, а вот племянника что-то не помнил. Может, и врет, просто похвастаться захотел. Да только перед кем здесь эдаким хвастаться?

— Мы с ним в свойстве, — пояснил юнец, — его жена доводится мне тетушкой, но она с ума сошла, когда...

Фабиан остановился. Что там дальше говорил этот щенок, он не слышал. В душе бушевал океан горечи. «Одно ясно: ему, сопляку, и дела нет до тех моих яблонь, из-за которых два года...» Усыпанная яблоками ветка хрустнула под его рукой.

— Смотрите, какие яблоки спелые. Самая пора собирать!

Фабиан обвел рукой сад; теперь он вполне достаточно знал о задаче отряда, и все его мысли были о том, чтобы эти с утра не евшие, не пившие, пока станут набивать себе брюхо яблоками, о нем позабыли, а он уж сумеет тогда от них улизнуть.

Словно повинуясь приказу, парни с автоматами принялись за яблоки. Сорвав джонатан, они с хрустом впивались в сочный плод, так что обнажался оскал зубов, и тут же, завидев еще более красное яблоко, отбрасывали раненого красавца прочь, едва надкусив.

Один из них все ныл из-за промокших туфель, другой порывался рассказать поподробнее про дядюшку своего и тетушку, третий даже с набитым ртом все вздыхал о благословенной земле, которая и четыреста лет спустя шлет им привет. И каждый обращался со своим к Фабиану; его намерение освободиться от них осталось, увы, лишь намерением. Напрасно надеялся он и на темноту, закат словно застыл в бледной сумеречности.

— Ну, куда нам теперь? — отер рот начальник.

«Все-таки надо идти, надо вести их», — думал Фабиан. Но в разговоры уже не вступал.

Автоматчики припустили вовсю, только что лбами не врезались в стену мельничьего дома. Да и то правда, сад подступил к дому вплотную.

Ладно еще, пришлось его обходить, чтоб на крыльцо галереи попасть, и Фабиан, сложив рупором ладони, успел крикнуть:

— Эгей, где вы, дядюшка Биге?

Только им двоим было ведомо, сколь особенная причина могла вызвать такое обращение: они же едва друг с другом здоровались, а тут — «дядюшка»! Словом, пожелай Биге выскочить из дому и под прикрытием заброшен-

ной ветряной мельницы улизнуть, он вполне успел бы это сделать легко и неслышно. Но Биге поступил иначе, он, напротив, чуть ли не бегом кинулся голосам навстречу и буквально телом призадержал гостей еще за углом дома.

— Хо-хо-хо! Кто меня зовет? Кому понадобился дядя Биге? О, глядите-ка, вот так сюрприз, дядюшку Биге почтил визитом целый вооруженный отряд!—Свои возгласы он сопровождал быстрыми и словно бы неловкими движениями, как будто старался скрыть недоумение, но чувствовалось: на самом деле он не удивлен и гости не застали его врасплох.— Сюда пожаловали, куда и птица не залетает!

И он стал усердно зазывать гостей в дом, всячески стараясь отвлечь их внимание от двора, который, впрочем, со всех сторон тесно обступили сады. Да и его театрально громкие реплики, казалось, обращены были не к тем, кто и по жестам мог бы угадать его чувства, а к кому-то, кто не мог его видеть.

— Прошу, прошу! Сюда, сюда пожалуйста! В берлогу старого, давно свое отслужившего мельника!

Однако носатый был недоволен.

— Нам про сушильно говорили,—просипел носатый.

— И сушильня здесь близенько,—отвечал Биге, на этот раз гораздо тише.— Все здесь имеется, вы только заходите да присаживайтесь, а здесь все найдется, что господ интересовать может!—Последние слова он произнес с ударением.— Вина? Палинки? Может, виноградной водочки? В момент разобью два десятка яиц, под хомокское вино яичница-то очень хороша.

Такое радушие чужакам было приятно, а по-осеннему теплый дом, самый дух помещения, запах мебели, фруктов и вовсе их размягчили, ни один и не подумал отказаться. Щелкнул выключатель, бахромчатый абажур, спускавшийся с потолка, не только осветил уютно старенькую зеленую скатерть на столе, но при этом и погрузил в темноту весь внешний мир. Стаканы и бутылки так и слетели на стол, можно сказать, одновременно со светом—будто не случайно были под рукой. И яичница изготовилась мигом, хотя Биге почти неотлучно суетился возле гостей. Впрочем, чужаки ничего не замечали, просто радовались, что выдался им спокойный часок.

Один только Фабиан наблюдал и думал напряженнее, чем когда-либо. Мысленно он предсказал, что, подав яичницу, Биге исчезнет надолго.

После третьего стакана, когда гости усердно занялись яичницей, мельник посреди трапезы и в самом деле исчез на несколько долгих минут.

Гости сыто рыгали, болтали и, отложив вилки, почув-

ствовали себя совсем как дома. Иногда их взгляд обращался на потолок, и тогда они видели над собой струганные доски и топором отесанные балки. Вековой аромат всего этого мертвого дерева невольно захватывал их томящееся по старине сознание, которое сейчас, пока выпили не так уж и много, было еще восприимчиво, восприимчивей, чем когда-либо.

Снаружи послышался лязг железа и какая-то речь. Но уже в следующий миг Фабиан — прислушивался он один — догадался, что разговаривают не с человеком. Собака!

Биге вернулся довольный и подсел к гостям. По покрасневшему лицу видно было, что он торопился; в руках у него было несколько штук зеленой, только что с грядки, паприки — на случай если б его спросили: «А где ж это ты, старик, пропадал?» Однако никто его ни о чем не спросил, и он, не дождавшись расспросов, молча положил паприку на стол.

— Жива еще ваша старая легавая? — спросил Фабиан.

Остальные расхохотались: умное животное, словно поняв, что спрашивают о нем, положило голову на стол.

Вот с кем разговаривал Биге!

— Ну, скажу я вам, наблюдательный вы! — воскликнул Биге весело, и последняя капля настороженности, чувствовавшаяся с первой минуты, оставила его.

Яичницу обильно запили вином; сипатый сказал вдруг:

— Ну что ж, поглядим теперь, что к чему! — и шевельнул свой автомат, словно собирался с его помощью расплатиться за скромное угощение. Биге побагровел, но тут же залебезил:

— Ну, ну, что уж... я вот сейчас! — И, словно хотел поговорить о чем-то другом, отвел начальника в сторонку и стал ему что-то быстро нашептывать. В какой-то миг начальник метнул взгляд на Фабиана и... кивнул.

— Словом, будет еще компот, — возвратился он к столу. — Что ж, компота дождемся.

— А вы пока расскажите им, Фабиан, как обошлись с вами из-за деревьев ваших, — подсказал Биге, чтобы не скучали ребятки даже те несколько минут, покуда он открывает банки с компотом.

Как только Биге исчез на кухне, Фабиан махнул рукой. Чужаки не настаивали.

— Старый хрен хочет меня уверить, — зашептал начальник своим спутникам, а более всего Фабиану, — будто никто тут у него не скрывается!

— Но ведь нам... — самоуверенно заговорил было толстый юнец, впрочем, тут же и смолк под суровым взглядом начальника.

— Он у нас поплатится, если мухлевать вздумал! —

проворчал носатый и, налив себе, выпил один. Он вообще был не склонен шутить.

Вернулся Биге с большой миской компота, на пяти пальцах левой руки покачивались пять кружек.

— Слышь-ка, ребята,—совсем уже запросто обратился он к гостям,—разбирайте кружки.

Каждый взял по кружке, старик поставил миску на стол и стал зачерпывать компот прямо кружками.

— Я понимаю, вы желаете выгородить это дерьмо,—сказал, как уговорились, начальник,—да только мы имеем точные сведения, что он скрывается здесь.

Биге, словно у него спал камень с души, потчевал гостей и приговаривал, чтобы всем стало ясно: он умывает руки и к поискам непричастен:

— Ради бога, ради бога! А мое дело сторона. Я так уж и живу—молчком да тишком.

— И правильно! И молчите себе! Беру командование на себя!—оживился начальник. Но тут же, подумав, спросил:—А что, найдем мы ночью дорогу обратно?

— Я найду,—сказал Фабиан.—А вы-то со мной ведь пойдете.

— Я так и полагал, да только небо-то в тучах.

— Пустое, и без звезд не заплутаемся. Однако и то, в темноте спотыкаться не слишком приятно. Думаю, ночь переспать мы и здесь бы могли.

У Фабиана одна забота была—потрафить начальнику, но те двое так и взвились:

— Мы не спать сюда пожаловали! После такой работы спать не принято!

— Да еще неизвестно, сыщется ли здесь место для всех,—проговорил, утихомиривая страсти, начальник.

Биге правой рукой разливал компот, а левой только взмахнул: нашли, мол, о чем спрашивать! Впрочем, начальник продолжал колебаться; когда старик стал ему наливать, он приподнялся к самому его уху и опять о чем-то спросил шепотом, только видно было, что не о постелях. Мельник кивнул в ответ и при этом таинственно опустил ресницы, совсем прижмурился, наверное, и стол едва видел.

Когда опорожнились кружки, начальник сказал:

— Что ж, ребята, ужо на рассвете!

Никто ему не возразил, но когда и Фабиан высказал свое мнение: «Оно и лучше, ежели при свете уведете!»—чужаки удивленно переглянулись. Носатый стащил с ног туфли и поставил их к стенке сушиться. И оттуда буркнул, усмехнувшись:

— Хм... Уведете, вы сказали?

Толстый юнец покосился на собаку, потом вышел по

малой нужде, прикрыв за собою дверь. Впрочем, собака даже ухом не повела ему вслед.

Вернувшись, он со школярским бахвальством стал расписывать свои успехи и чувство облегчения. Фабиан страдальчески заерзал:

— Ох, и я бы пошел, коли б кто вынес меня!— хотя ни малейшего позыва не чувствовал и в подобных шутках никогда не принимал участия, даже когда солдатом служил.

— Уж я бы вынес, мне б только ножичек поострее!— отозвался юнец.

Все беззлобно посмеялись.

Начальник потрогал топчан, Биге поставил на стол еще бутылку вина. Выискал где-то и засохшие сырные палочки.

Фабиан соображал. Башня ветряной мельницы! Хайду мог скрываться только там!

Действовать надо до того, как улягутся, потом-то ведь неизвестно, как обернется с ключом. А на рассвете, может статься, будет поздно!

Толстый юнец сильно потянулся, и опять попала ему на язык та его личная цель, ради которой он здесь:

— Им сто хольдов оставили, а детей-то у них нет! Они бы мне здесь все завещали... Ведь, живы пока, еще могут мне завещать! Эх, надо было от них бумагу попросить...

Станным образом и Биге понял ход его мыслей, засмеялся:

— Бумажонки всякие тут ни к чему!

Фабиан решил и все-таки не мог сдвинуться с места под гнетом душевной тревоги. Вдруг все взгляды обратились к нему, эти щенки потешались над ним, весело выведывали, какие муки он терпит по милости мочевого пузыря.

От этого приспичило сразу всем, даже носатый в мокрых носках прошлепал на галерею, постоял там возле перил; начальника Биге отвел подальше, в сторону бескрылой башни ветряной мельницы,— вел не спеша, тихо что-то нашептывая. Фабиан поднялся лишь тогда, когда все трое вернулись.

Он помнил здесь все. Хотя минуло уже десять лет, как в последний раз привозил сюда молотить зерно.

Там, в коридоре, висит доска, на ней ключи! Он это знал. Из комнаты вышел покачиваясь, пускай трунят над ним. На веранде, однако, протрезвел совершенно. Даже больше протрезвел, чем хотелось: ключа, огромного, с головкой в ладонь, ключа от мельницы, на месте не было! Не было и доски, остался только след от нее на крашеной стене.

Фабиан испугался, хотя причины для этого пока еще не было. Из комнаты послышался шум, он мгновенно повернулся к двери, и на дверном косяке глаза сразу увидели ключ.

Большими шагами он пересек темный двор, дальше, почти уже в самом саду, высилась мельничная башня. Он шагнул прямо к двери, приставил ключ. Ключ не вошел, но Фабиан уже знал: другая дверь! Он обошел башню, и там, с заднего входа, ключ, словно ложка в масле, легко повернулся в замке.

Дверь не скрипнула, мягкая мука и запах досок обволакивал, казалось, самые шаги его.

Несколько мгновений он прислушивался.

— Где вы? — спросил. — Вы здесь?

И сам признал, что один из вопросов — лишний. Если не оба.

Тишина стояла такая, что его охватила дрожь. Подыматься на второй ярус не хотелось, на третий — тем более.

Может, у него пистолет! Или он затаился на самом чердаке... Вдруг словно бы запах пота ударил ему в нос. Он и сам вспотел; но то был другой запах!

— Бегите, слышите вы меня? Очень вам худо придется, коли здесь останетесь...

Несколько мгновений Фабиан молчал, потом кашлянул, прочищая горло, и почти с мольбой в голосе, но отчетливо заговорил опять:

— Сейчас я запру дверь на ключ, ведь, если не запру, мне не сносить головы!

Возле воронки послышался шорох, и голос Хайду спросил:

— Оружие у вас есть? — Каждое слово дрожало.

— Какое, к черту, оружие! — рассердился Фабиан. — Уносите ноги, потому как я дверь запираю.

Больше Хайду ничего не сказал (может, испугался своего дрожащего голоса, а может, устыдился его) и выскользнул наружу. Он не знал, с какой стороны от него Фабиан. Только одежда их на миг соприкоснулась...

Фабиан плюхнулся на стул с таким вздохом, словно освободился от векового груза. Так свободно вздохнуть, так легко задышать умеют только любители пива.

— Какой тут стакан мой? — У него пересохло в горле.

Биге как раз расписывал, как подло его надули.

— Все вокруг деревьями засадили! У меня, мельника, ветер отняли! Ветер для ветряной мельницы — все! Движение воздуха, верно? Меня этими яблоневыми садами просто угробили! Понимаете, уважаемые? Ну что я такое без ветра? Ничто! Кусок дерьма, вот что. И того меньше.

Я теперь даже куска дерьма не стою! Понятно вам это, уважаемые?

— Чего там—уважаемые! Давай на «ты», понял? Мы—твои сыновья!

Биге обнял начальника.

— Вижу, вы меня понимаете, сынки? Вы-то понимаете, что для мельника на ветряной мельнице ветер—это жизнь! Это для него все! Эх, господи, вот и до такого дня дожить довелось...

Фабиан пил, говорить не хотелось; не хотел он сказать им, что с тех пор, как себя помнит, мельница эта работала на моторе. Что ж это старик? Или просто забыл за выпивкой?

Но Биге тут вроде бы что-то вспомнил.

— А всему причиной—Хайду! Это он сказал тогда: нужно, мол, и мотор снять! Кто, мол, к дьяволу, повезет сюда зерно молотить? Слыхали вы такое? Да ежели я говорю, что рентабельно! Что есть смысл молотить... его-то какое дело? Не затем я им сдался, не затем в кооператив ихний вступил, чтобы вот так подкосили меня!—Биге расчувствовался, утирал слезы.

— Ну ладно, ладно! Да ну же! Успокойся, старина! Мы тут наведем порядок! Затем и пришли, чтобы порядок навести. Все образуется, отец.

— Какой еще отец! Просто мы—свои парни, верно говорю?

— Точно! Мы—свои парни! И ты тоже!

— Ну то-то, к тому и сказано!

За это следовало выпить. Выпив, Биге настойчиво взглянул на Фабиана, словно ожидал какого-то подтверждения, хотел еще придать весу своим словам.

— Расскажи им и ты про свое, кум Фабиан! Расскажи и ты ребятам, как с тобой обошлись из-за деревьев твоих! Ты тоже ведь пострадал.

Кое-что про эту историю «свои парни» уже знали.

— Ну-ну, как оно было там, с деревьями? Почему вырубить их пришлось?

— Да ты сам расскажи! Пусть ребята послушают, какая нам жизнь тут была. Сколько мы пострадали! Они, пожалуй, и вообразить такого не могут. Потому сколько мы намучились—это ж уму непостижимо!

А Фабиан как раз думал о сыне, и не хотелось ему ни чувств своих здесь выкладывать, ни их подоплеки.

— Не к месту теперь разговоры эти! Надоест, пожалуй, товарищи...—Последнее слово, недоговоренное, застряло в горле.

А тут еще Биге с грохотом поставил стакан на стол, остатки вина выплеснулись на скатерть, струйка потекла

прямо на колени мельнику.

— Рассказывай, коли просят тебя!—заглушая голос Фабиана, крикнул Биге.— Не тани волюнку!

— Ха-ха-ха,—веселился толстый юнец,—крестины будут!*

Носатый даже в ладоши захлопал, так радовался.

Только начальник не утерял интереса к истории Фабиана.

— Расскажите-ка, дядя, мне это интересно. Хочу услышать вашу трагедию! Сколько вам выстрадать пришлось.

Больше отговариваться было нечем. Фабиан рассказал. Еще парнем нанимался он рабочим в господское садоводство. А сам неотступно мечтал развести однажды свой собственный сад. Взяли его в солдаты, послали на фронт, а когда кончилась война и стали землю делить, получил и он надел—на песках пять хольдов—и сразу решил: будет здесь у меня сад. Еще и радовался, что легкая песчаная почва досталась! Другие-то кляли ее на чем свет стоит. Начал с одного хольда, задумал так, чтоб за несколько лет все засадить.

— А где была та земля?—внезапно спросил толстый юнец.

— Земля? Какая?—удивился Фабиан.—Моя, что ли?

— Та, о которой рассказываешь,—икнув, недобро сказал юнец.

Фабиан побагровел, ответил лишь жестом, показав, что недалеко они, его пять хольдов.

— Выходит, и ты такой же подлец, как все остальные!—завопил наследник земель Пакоманди.

Его счастье, что взбеленился он на другом конце стола. Кулак Фабиана и голос начальника достигли его одновременно.

— Заткнись ты, слышь!—свирепо рявкнул начальник. И, словно извиняясь, повернулся к Фабиану:—Пьяный он.—Ему, пожалуй, даже понравилось, как этот невеселый мужик сграбастал рубаху на жирной груди парня.

— Мы на «ты» не пили!—отпустил наконец юнца Фабиан. Тряхануть его он успел, но от пощечины воздержался.

— Ну, говорите же, дядя,—успокаивал его начальник.—Говорите, рассказывайте.

— Только не от Адама и Евы,—переметнулся вдруг на сторону Фабиана и Биге.—Про Хайду расскажите.

У Фабиана еще дрожали губы.

— Да плюньте вы на сопляка этого,—продолжал

* Народное поверье: к кому течет по столу струйка вина, тот вскоре будет отцом или матерью.

уговаривать Фабиана начальник,—сопляк он и есть сопляк, только из яйца вылупился, скорлупа еще на задуг. А так-то он неплохой парень.

Фабиан тяжело перевел дух и с горьким вздохом продолжал:

— В сорок восьмом сад мой уже так захорошел, что, кто ни пройдет, всяк похвалит. И урожай первый собрал. Прибыли пока не было, но и убытку тоже. Особенно персиковое деревце одно расстаралось, тридцать шесть персиков в тот год принесло.

Слушали внимательно. Биге кивал, он ведь и сам в свое время должен был это видеть. Носатый опирался на локоть, толстый юнец сидел, положив голову на стол. Если не из чего другого, так ради того, чтобы не увидели на его лице интереса.

— Вот осеннюю обвязку никогда не забуду. Я ж каждое деревце вроде как в лицо знал. Можно сказать, по имени... Да уж, ту осень, когда стали мы от заячьих зубов деревца обвязывать,—ту осень мне не забыть... Из-за слов, что мой сын сказал. Осень налетела неожиданно: то вдруг растает все, то снег посыплет. Спешить надо было с работами... В тот день как раз дождь зарядил, лил как из ведра. А жена, на беду, расхворалась. Другого помощника, кроме сына шестилетнего, у меня не было. Раздобыл я тростник, куски проволоки. Не дай бог, заяц обдерет деревья, конец тогда моему саду, знал я!.. Мы так работали: я обложу тоненькие стволы тростником, а потом и говорю малышу: держи! Он обхватит тростник-то вокруг ствола ручонками, а я в трех местах проволокой прикручу. А ручки у него еще маленькие, только-только им стволы, обложенные тростником, обхватить... А дождь прямо в лицо нам лупит, и ветер, как ни старались мы отвернуться, все в лицо задувает. Да все сильнее становится. Велел я сыну рукавицы надеть, поглядел, а у него и запястья тоже лиловые—высовываются из-под рукавов! Очень замерз парнишка. И вдруг повернулся он ко мне, этак бесхитростно поглядел мне в глаза.

— Рукам сильно больно, папа!

Что замерз совсем—не сказал, только что больно! А мы еще и половины дела не сделали. Снега-то осталось немного, но он под ветром смерзся весь, заледенел. А зайцы так и высматривают, когда уж я брошу работу свою. Ведь в ту пору других садов в наших краях не было. Что оставалось делать? Что мог я поделаться? Сынок, конечно, надеялся своим детским умишком, что коль скоро замерз он да ручки болят, значит, мы тихо-мирно домой потопаем. Надо было его чем-то подбодрить. А чем? Ну, говорю ему:

— Яблоки любишь?

— Люблю,— отвечает, да сипло так.

— А груши?

— И груши люблю!— Уж это он прямо выдохнул, смерть как любил груши-то.

— Ну а черешню?— спрашиваю: помнил с лета, как он обмирал по ней.

А он молчит. Давно уж она была для него, черешня, он, может, и слово-то позабыл, хотя в душе памятка, верно, осталась.

— Помнишь черешню? Красные такие ягоды, ты их еще на уши себе вешал!

Вспомнил малыш, обрадовался, даром что замерз и руки в рукавчиках болели.

— Помню чейешни!

Он тогда шепелявил малость, теперь-то прошло.

— Ну так вот,— подхватил я скорей.— Если мы с тобой не обяжем теперь деревца все тростником, зайцы обглодают их за зиму, и тебе никогда больше не доведется ни яблочком, ни грушей, ни черешней полакомиться.

Смторит на меня малыш, глазенки широко раскрыл.

— Зайцы любят чейешни и гвуши?

— Нет, сынок!— И стал я тогда ему объяснять, тихо да ласково, словно не дождь нам в лицо хлестал, а светило весеннее солнышко: — Зайцы не деревья любят, а кору деревьев черешневых. Но деревце, если кору с него сдерут, помрет и никогда больше не принесет черешенок.

Понял малыш. Сразу понял, потому что неподалеку как раз хромой зайчишка скакал, я его комком земли шуганул. Да и вправду казалось, что тот заяц поглядывал, когда уж мы бросим обвязку, чтобы он с семейством своим мог за деревца наши приняться.

Очень даже хорошо понял все Ферчи и испугался, потому как любил красную черешню без памяти, всяко любил, и на ушах, и во рту, и в животишке.

Больше он не жаловался: зубы дробь выбивали, не говорил уж— сипел, но жалоб я от него не слышал.

Когда же все кончили и я на плечах принес его домой, пришлось в теплой воде ручонки ему отогреть: совсем застыли. Диво еще, что хворь какая не прицепилась. Мог бы навек калеккой остаться.

Так что холодный осенний дождь очень даже мне памятен.

Когда переমেжевание объявили, у меня уже и на втором хольде саженцы поднялись. А землеустроители наступают на меня со всех сторон. Уж я себя чувствовал ну прямо как зверь, попавший в капкан. Меня уговаривали: вступай, мол, в кооператив. Да разве для того я сад

свой выращивал? Для того на голой земле жилы из себя тянул? Ведь здесь тогда голая степь была!

Фабиан через стол ткнул в плечо дремлющего юнца. Тот испуганно привскочил, моргая, таращил глаза против света.

— Чего? А?

Все усмехнулись, Фабиан мрачно продолжал:

— Потом мне сказали, что дадут в обмен участок на черноземе, коль в кооператив вступать не хочу. А на что он мне, чернозем? Что я вам, пшеничная душа, паук с косой?! Ну и кто-то там, кто всем этим ведал, велел передать мне, что и черт, мол, со мной, коли так.

— Да ты говори,—вскинулся Биге,—говори смело: Хайду это!

— Своими ушами не слышал, так что, кто сказал, знать не могу. Тогда пошел я в землеустроительный комитет и спросил: а кто вознаградит меня за труд мой, который я в эти два хольда вложил, вколотил?

— А над тобой там насмеялись, так?

— Они не смеялись. Не такие были времена, чтоб смеяться. За труд твой?—говорят. А никто, приятель. Никто его тебе не оплатит. Так ты и знай! Напрасный это труд был, к черту в зубы пошел.

— Да что ж ты ходишь вокруг да около? Говори же, не бойся! Это был Хайду. Так?

— Так,—согласился Фабиан, а Биге победоносно огляделся и вдруг зевнул во весь рот и откинулся на стуле, словно его сморил сон.—Это так,—повторил Фабиан.—Еще и потому приходится по имени его называть, что он ведь и донес на меня. Потому что я тогда весь свой сад, оба хольда, топором в один день порубил. Только персиковое деревце оставил, которое тридцать шесть персиков в том году принесло. Никто в свидетели не пошел. Хайду донес, он же и свидетелем был.—Прочистив горло, Фабиан с трудом договорил:—Лунная ночь была. К часу ночи я свое дело сделал. Два хольда стояли словно скошеннные.

Он кончил, да и не было у него больше сил.

Биге опять ожил и стал нахваливать Фабиана:

— Мы все смотрели на него как на помешанного. Никто не посмел остановить. Дивились только этакой храбрости. И считали тогда, что он в своем праве. Раз труд не возмещают; верно я говорю? Радовались даже, что вот нашелся человек, по-мужски ответил. Потому никто и не донес на него и в свидетели не пошел. Только он, Хайду!

Биге никогда не чувствовал по-настоящему радости без возлияний, вот и теперь, пока они не выпили, не очень-то

верил в действие своих слов. Разлив остатки вина наугад в два стакана, он вышел с пустой бутылкой, а по его рассеянному лицу уже пробегали новые мысли: что еще надо будет сказать, чтобы снять с себя перед этими всякую ответственность.

Двое парней потянулись за вином. Они уже не заботились о том, у кого чей стакан.

Фабиана слушали только двое: лежавшая на полу собака да начальник, сидевший облокотясь на стол.

— Вот так,—сказал своим внимательным слушателям Фабиан,—все подкосил под корень, до последнего деревца! Я и пилу прихватил. Некоторые деревья спилил. А потом бросил это. Боялся, что оставлю дело на полдороге, не кончу задуманного, если на коленях работать буду. Нет, там мне был нужен топор! Острый топор. Да чтоб обеими руками... Иной раз валил дерево с одного удара. Не под корень, но над самым комлем. А те, что потоньше, ломал рукой. Когда очень устал, даже не наклонялся, рубил куда придется.

Биге вернулся с полной бутылью.

— А ты все про то же?

Однако начальник взволнованно подался к Фабиану:

— И на сколько же вас осудили?

— Два года дали.

— И вы отсидели?

— Отсидел. Да еще три лишние недели в придачу, какой-то писарь напутал там.

Биге до краев наполнил стаканы.

— Вы лучше про то расскажите, что у вас дома было!—Протрезвев, он опять заговорил с Фабианом на «вы».—Про то, что с сыном вашим случилось.

Очень не хотелось касаться этого Фабиану.

— Ну, это уж просто... следствие, что ли...

— Следствие?—картинно горячился, возмущался Биге.—Следствие? У него отняли сына, а он говорит, что это всего-навсего следствие!

— Что-что?!—Все сразу проснулись, уставились на Фабиана.

— Выпьем,—в первый раз за этот вечер предложил Фабиан.

— У вас отняли сына? Кто? Хайду?

— А кто ж, как не он?—вдруг совсем расхохотался Биге.—Нет, видели вы когда-нибудь человека с такой рыбьей кровью?

— Ладно вам! Кто-то, видать, позаботился об этом.

— А вы плохо рассчитали, приятель! Вздумали сейчас защищать того, кто перед вами-то и виноват!

— Я говорю, как было.

— Нечего здесь черное белым выставлать.

Гости—члены отряда—поворчали, пошумели, потом умолкли.

— У меня сына не отнимали. Его учиться отдали, в интернат.

— Ну а мать? От матери-то зачем дитя оторвали?

— Она рада была, что жива. Что как-то концы с концами сводит.

— Ну? Так чего ж вы тут...

— Она очень радовалась, что Ферчи в школу ходит.

— У вас отняли сына, чтобы он по-другому о жизни думал, не так, как отец его. Тогда тут все про это толковали. Или неправда?—начав шепотом, опять перешел на крик Биге.

— Он прав был, Хайду. Он правильно поступил. Затем и отдали сына моего в интернат, чтоб он сызмальства по-другому жизнь понимал, а не как отец его...

— Чудовищно!—сказал начальник.

— Экое свинство!—добавил носатый, а юнец молча сплюнул.

— Так ведь я же мог бы назад его взять, когда из тюрьмы вышел!

— А вы что же, не взяли?—уже неприязненно спросил начальник.

— Нет. Оставил там, в интернате. Учиться.

— Черт побери! Почему?

— Чтобы рос и жизнь понимал не как я.

— Да он и впрямь ненормальный.

— Спятил ты, отец!

— Совсем его там перевернули. Мы-то поначалу думали, что он замыслил сделать так, как прежде беднота поступала частенько, отдавая своих сыновей в духовную семинарию. Они числились семинаристами, оканчивали гимназию, а то и дальше учились, и притом все лукавили, святыми прикидывались, а как приходила пора сан принять перед алтарем, тут-то и просили пардону: прошу, мол, прощения, а только у меня совсем другое было на уме.

— Ну а вы? У вас и вправду не было другого на уме?—еще раз сделал попытку начальник.

— Нет. Я всегда думал одинаково: пусть он даже и не узнает про несчастья мои! Пусть вообще не помнит, что мне довелось пережить!

— И вы надеетесь, что Ферчи забыл про вашу беду?

— Рано или поздно забудет. Сколько раз ни приезжал он на каникулы, мы никогда не говорили о прошлом.

Неожиданно Биге стал хохотать. Нарочито, закатываясь, словно какая-нибудь птица. Сбить хотел Фабиана с опасной темы?

Фабиан не понимал, к чему этот смех. Но вдруг недоумение сменилось ужасом, под птичий этот пересмех в голове пронеслось: «Может, я и вправду умом тронулся?!»

И так ему стало страшно, что дальнейших разговоров он уже не слышал.

В первый год, как вернулся он, мальчик не раз его спрашивал: «Это вы так долго болели, папа?» Верно, поначалу совсем потерявшись от горя, мать так ему и сказала: «Болен отец твой, а больнице лежит».

И прошло два года, мальчик думал, что болен отец тяжело и лежит где-то далеко в больнице... да только и после не могли они сказать все как есть. Миновала болезнь, а сказать все как есть не могли, чтобы не обнаружилась стыдливо хранимая тайна. Но кто-то все-таки выдал ее, должно быть, сыну, рассказал ему о тюрьме. Хотя тут и выдавать-то было нечего. Когда мальчик подрос и припомнил весь кавардак, что предшествовал «тюрьме» (угрозы, бурные перепалки, повестки, полицейскую машину перед домом), то и половины этого было бы довольно, чтобы повзрослевшие глаза открылись на прошлое.

Полицейская машина остановилась перед домом, Фабиану дали полчаса на сборы, прощанье. И никто не сказал мальчугану: на это ты не смотри! И он был там, среди взрослых, вертелся возле незнакомых людей в мундирах. Но прошли годы, и он уже знал, что не в больницу увозят, под охраной, таких здоровых, но убитых горем мужчин.

Хорошо хоть вопросы сына угрожали родителям только во время долгих летних каникул да коротких рождественских.

— А где же наш сад яблоневый? — спрашивал поначалу Ферчи.

— А этот огромный сад тоже вы, отец, посадили?

— Эх, хорошо бы к черешне домой поспеть!

Потом он понял, что спрашивать можно только у матери.

— Мой отец умней всех; почему ж он нигде и никто? Мать на это ему отвечала:

— Это потому, что он в кооператив не вступил, войди он в кооператив, мог бы стать кем угодно!

— Отец был эксплуататор? — Когда же ему говорили «нет» или недоуменно подымали брови, продолжал: — А тогда за что же его наказали?

На такие вопросы даже мать не хотела дать прямого

ответа. Выполняла наказ мужа: «Ничего такого ему не говори, чтобы душу ему перевернуло, от школы отворотило!»

Дело в том, что не только он — оба они считали эти два года несправедливостью, хотя самое преступление обоим представлялось чудовищным, и чем дальше, тем больше.

Но особенно боялся Фабиан, что однажды сын спросит: «А это правда, отец, что, не держи я тогда тростник, покуда вы в тот холодный осенний день его вокруг деревцев обвязывали, не едать бы мне никогда ни груш, ни черешни?»

Это было ужасно — однажды сын вдруг стал вспоминать: «Помню, когда я маленький был, у меня так руки замерзли, что я уж думал, помру...»

Отцу невольно было дослушать сына. Время стояло холодное, рождество, они как раз в комнате все собрались перед ужином. Вскочил Фабиан, вышел во двор. Следом за ним выбежала жена: «Что с тобой?» Когда они вернулись, сынишка уже позабыл, о чем было начал рассказывать.

«Вот вступил бы в кооператив, стал бы кем захотел. Вот вступил бы в кооператив, мог бы стать кем угодно!»

Но такое уж дело женское — плакать да причитать, где понять женщине, что у человека на душе.

О, сколько раз наведывался к нему и сам Хайду!

«Не позорьте вы нас! Вступайте в кооператив! Будете полноправным членом. Что было, то прошло, забудем все. Начнем жить сначала!»

«Меня уже нету! Так вот с тех пор и нет! Как могу я в кооператив вступить? Ведь меня нет!»

Сказал — отрубил, вот так и ответил Иштвану Хайду.

И не вспомнил, что сын в эту пору был дома и уж наверно подслушивал...

Да если бы и не подслушивал! На другой же день про это все село знало.

Боялся, очень боялся он вопроса: «Значит, мне бы никогда уж и не есть фруктово-ягод, если б не примерзали тогда мои руки к тростнику тому?»

Нет, пускай растет сын так, чтоб и в мыслях не держал тогдашней беды. И того, почему отец те деревья срубил.

Ожидания Фабиана, по-видимому, сбывались. Мальчик радостно улыбался, слушая разговоры о кооперативе, где работала его мать. (И отец тоже — но под именем матери.) Не насмешливо улыбался, а дружелюбно, весело.

Как-то вошел Фабиан в дом босиком — словом, незаметно, бесшумно — и видит: сидят жена и сын рядышком,

тихо беседуют, Ферчи кооператив расхваливает, объясняет, какое у него будущее. Слова были книжные, школярские, но звучали искренне, от сердца. Однако ж, увидев отца, сын примолк. Смущенно примолк, словно был виноват в чем! «Стыдится передо мной, что на стороне матери! Или—что к кооперативу тянется?»

«Да ведь я же того и хочу! Я именно так хотел! Чтобы душу ему не смущать...»

Неделю спустя (на этот раз подошел к ним обутый) услышал:

— Прав был отец! И другие так сделали бы, если бы такие же смелые были... раз человека плодов труда его лишают!

Увидев отца, сын замолчал, но глаза его пылали.

— Этому тебя учат в школе?!

— Нет.

— От меня ты этого никогда не слышал. И от матери не слышал. Так?

— Так.

— Меня никто не лишает плода от трудов моих. Разве что я сам.

Но это нехорошо вышло. Глаза сына пылали по-прежнему. И даже с еще большей гордостью. И стояли в них слезы. На другой же день жена пересказала, чем кончился их разговор.

— А получает ли отец вознаграждение за то, что не выправил себе трудовую книжку, а живет так, словно бы он умер для них?

— Что ты, что ты!—перепугалась мать.—От кого же вознаграждение? От господ бога?

— От господ бога!—сердито захохотал подросток.— Не ждите вы от бога милостыни!.. Но ничего, кое-кто все-е видит и замечает, кто как ведет себя.

Не поняли они этих слов его. Мать и придумать не могла, на что сын намекает.

А еще... нынешним летом сын с ними вместе работал в яблоневом саду, помогал, и случилась у людей перепалка с Хайду, пришлось из-за председателя какую-то работу наново переделывать. Люди ворчали, и вдруг Ферчи возьми да и сказани при всех:

— Ну, попадись мне где-нибудь этот Хайду, право слово, горло ему перерву!

Конечно, можно бы и мимо ушей пропустить—ну, ляпнул паренек для красного словца,—но Фабиан тут же, не задумываясь, закатил сыну пару хороших оплеух. Кто вокруг стоял, не очень и поняли—за что, все ведь тогда дурили, языку волю давали, никто и не заметил мальчишеской похвалы. Только оплеухи заметили.

— Спятели вы, дядя Фабиан. Нынче не в моде детей лупцевать.

Но Фабиан чувствовал: он поступил правильно. Правильно поступил, ради будущего, какое ждет сына.

Хай ду. Странно у меня как-то сложилось с парнишкой этим. Когда отца его посадили, явились ко мне их соседи: сынишка Фабиана, мол, на улице пропадает, не только среди дня, но и ночью домой не идет, потому как дома одни слезы и видит. И что я, мол, за это в ответе. Выпроводил я ходоков, а потом пораздумал немного да и пристроил мальчонку в интернат для сирот. (А что? Когда я сиротой был, уж как бы радовался в таком надежном пристанище оказаться! Да только в те времена подобного не бывало!) Если б не отдал я Габора Фабиана под суд, порубили бы в селе все деревья подчистую, это ж прямо эпидемия была в тот год! Уже и акации на улице срубать начали!

Больше я о мальчике ничего и не слышал, можно сказать, знал только, что жив и все с ним вроде в порядке. Удивился, когда отец его, выйдя на свободу, оставил паренька в интернате, как будто он сирота и вправду, да только ведь Фабиан и почище отмочил штуку — под именем жены жить стал: мертвый он, мол, нет его!

О том, про что беседовал малец дома с отцом-матерью, какие мысли высказывал, я только сейчас и узнал. Но теперь, поразмыслив, припоминаю, что в последний год, летом, паренек все вокруг меня крутился. И впрямь горло перервать хотел? Так и ходил за мной по угодьям нашим, набычившись; словом, когда надо мне было кого-то послать, передать что-нибудь, он всегда под рукой был.

А на суде, между прочим, один свидетель (потому как были свидетели, и не один!) рассказал про Габора Фабиана, что такой уж он человек, чуть до смерти не убил родного отца из-за куска солонины, тайком съеденного. Встарь на селе и вправду такое бывало: оставят его, старика голодного, дом сторожить, а он и не удержится. Так ведь это еще до нового летосчисления было! В старые времена.

Нет, такого опустошенного человека я в жизни не видел. Он словно потерял всякое желание способности свои к делу применить. Вообще-то он мужик башковитый, только скаред. Сердце скаредное! (В повести этой

он словно бы немного симпатичнее получается, чем в жизни.)

Опомнился Фабиан в ту минуту, как два голоса, и еще третий — Биге, выкрикнули в унисон:

— И после этого мы еще до рассвета ждать будем?!

— До рассвета?! Да для него каждого лишнего глотка воздуха жаль!

— Вот и я говорю, хватайте его, ребята, да поскорей!

Фабиан поднес стакан к губам, но не выпил, только отхлебнул.

— Что ж, пошли, коли так,— неуверенно взялся за свой автомат начальник, не спуская с Фабиана подозрительных глаз,— пошли, коли так, мать твою...

Настоящее и прошлое, страх и неодолимое желание расхохотаться им в лицо — все смешалось в душе Фабиана. И он, никогда и ни в чем не притворявшийся, сейчас притворился совсем пьяным. На большом черном подносе стояла лужа. Пустые стаканы на скатерти, вокруг подноса, как бы созерцали эти последние остатки вина. Фабиан задумчиво стал растягивать пальцем лужицу, придавая ей форму, и вот уже она напоминала дерево, дерево с пышной листвой и двумя свисавшими из-под листьев яблоками. Никогда не притворявшийся, он вдруг заплакал навзрыд, словно разбередил ему душу собственный рассказ.

Начальник смотрел на дерево, возникшее из лужи вина. Наконец положил руку на плечо Фабиана.

— Успокойтесь. Дальнейшее уж наша забота! — И, вскинув автомат на плечо, поспешил за остальными.

Собака, старая, ленивая легавая Биге, как будто боялась только начальника, скуля, поплелась за ним.

Фабиан двумя пальцами утер фальшивые слезы. И весь напрягся: что там сейчас происходит? И что будет потом? Может, самое лучшее дать немедленно тягу... Как знать...

Он не пошевелился. И напряженно прислушивался к звукам снаружи. Слушал каждое слово, каждый стук, пока отряд обыскивал двор, да и позже точно видел все, что там было...

Биге снял с дверного косяка огромный, в ладонь, ключ от мельницы.

(Слышит ли все это Хайду? Может, где-нибудь здесь и стоит, под прикрытием деревьев? Если есть у него голова на плечах, должен бы отойти подале. Ходы все он тут знает.)

Биге снял ключ и заковывал во тьму. Под ноги он не смотрел, но на середине двора шагнул пошире, переступил через поилку для уток. Остальные поочередно в нее вступили. Чей-то голос: «А, черт!»

Дальше гуськом к ветряной мельнице. Нетрудно следовать за ними одною лишь мыслью.

Ключ в руках у Биге сразу находит замок. Скрипит дверь, отворенная его рукой. Другой рукой он показывает вооруженным спутникам: в сторонку, мол, станьте. Потом, прочистив горло, говорит громко:

— Все в порядке!

Мельница не отвечает.

— Можно выходить,— опять кричит Биге и с издевкой заканчивает: — ...товарищ Хайду!

И, словно боясь, что издевки в голосе недостаточно, хватает и трясет руку стоящего за ним юнца: вот как мы его сейчас обманем!

Но напрасно они прислушиваются. Ничего не остается, как войти всем, один за другим, в еще более густую тьму.

— Видать, на самый верх забрался,— объясняет мельник. Тишайшим шепотом.

— Так как же?..— спрашивает начальник: кто, мол, наверх пойдет?

— Я и пойду,— секунду поколебавшись, предлагает Биге. И тут же начинает подыматься по лестнице.— Куда это вы забрались так высоко, товарищ Хайду?— Трещат, скрипят доски, мучная пыль стоит столбом—настил наверху совсем прогнил. Поскользнешься—пиши пропало!

Это уже не притворство, это страх. Почему страх? Так ведь пистолет у Хайду!

— Да спускайтесь уж, чего вы! Говорю же, ушли они!

Старый дощатый настил ощутимо качается, видно, раскачал его, прихрамывая, старый Биге. То здесь, то там потрескивают балки. Биге страшно, ужасно страшно: а ну как... Но он хочет во что бы то ни стало подняться на второй ярус, на третий, чтобы успеть шепнуть Хайду... Только что?

— Не все вместе,— шепчет там, внизу, начальник. Как отчетливо слышно здесь каждое слово. Любой звук так и взмывает сюда, даже самый слабый.

Нет, идти наверх нельзя! И тут, еще на первом пролете, нога спотыкается обо что-то. Он теряет равновесие, падает, трещит настил. Кричит:

— Напрасно прячетесь! И пистолет вам не поможет!

А сам машет руками, барахтается. И вдруг угадывает, нащупывает рукой собаку! Старая легавая поднималась по ступенькам за ним следом. Об нее-то он и споткнулся.

— Ах ты, дурная!—И они сплелись друг с дружкой, будто борются. Собака поначалу за игру приняла. Или, думает, хозяину поиграть захотелось—иначе зачем лежит в темноте на полу?

Те, внизу, не понимают, что происходит, один идет к лестнице, другой карабкается на ковш.

— Хайду! Пора кончать! А ты прочь отсюда!

Старик подымается на ноги, но тут же опять спотыкается о собаку, которая теперь-то, пожалуй, жметесь к старым коленям не для игры, а в наивной надежде меж ними спасти свою жизнь.

— Прочь! Пошла!

Внизу, на ступеньке плавным изгибом уходящей вверх лестницы, стоит носатый. Скорее на голос, нежели в контур мелькнувшей человеческой фигуры, выпускает он очередь.

Сверху ответом ей стон, скорей, вздох. Тело расплывается на полу. Оно знает: кричать уж не стоит...

И вдруг—тоскливый собачий вой. Собака обнюхивает хозяина со всех сторон, она чувствует в нем запах смерти. Откуда пришла смерть, она тоже видела. Носатый в страхе отступает.

Но сейчас он опять ничего не видит, поэтому замирает, стоит не шевелясь.

Остальные долго ждали чего-то. Толстый юнец, до сих пор державшийся снаружи, внезапно задрожал.

— Сдавайся! Все равно не убежишь!—Он стоял, размахивая руками (это чувствовалось по взвившемуся до фальцета голосу, хотя и не было видно), и вдруг на лицо ему упала теплая капля. На секунду он смолк, пальцем растер по коже липкую влагу—кровь!—и пулей ринулся было прочь, на воздух, однако ошибся направлением, с размаху ударился о стену, ощупывая, повел по ней рукой. Пальцы наткнулись на выключатель, он щелкнул. Внизу вспыхивают сразу две лампы, освещают оба верхних настила. Сквозь щель в настиле видно, что там, наверху, лежит человек. Один.

Собака и в темноте углядела, откуда пришла смерть. Доверясь былой силе прыжка, она без раздумья метнулась теперь на дуло автомата.

Носатый, защищаясь, быстро вскинул перед собой правую руку. Ему и в голову не пришло заставить свою «гитару» заговорить еще раз.

— Берегись! Не стреляйте!

Они оторвали собаку от носатого просто руками. Старые зубы едва прокусили одежду. Двое держали хрипящего, злобно оскалившегося зверя, третий нанес удар милосердия—прикончил его.

Убили легавую одним выстрелом. Тут же, на пороге мельницы.

Охотней всего они бы удрали отсюда. Но горел свет. Надо было подняться наверх, посмотреть. Начальник сделал знак и, выставив дуло автомата вперед, стал подниматься по лестнице. Через Биге просто перешагнул. Глянул вверх, теперь ему было ясно видно, что на третьем ярусе никого нет.

— Эгей!—крикнул он и, не дожидаясь ответа, опять переступил через Биге. Он был молод, то ли служащий, то ли студент, не мог он удержаться, не сказать по такому случаю что-нибудь злое, крепкое.—Ты это заслужил, свинья! Ты обманул нас!

И слегка пнул ногой тело, но оно лежало наискось, удар скользнул мимо.

О дверях, ключе они и не вспомнили; задышающиеся, взвинченные, представляя себя побывавшими в сражении воинами, вернулись они к Фабиану.

Хайду. Я тоже все это слышал, хотя видеть не видел, укрылся в темном саду, за яблонями. Потом-то подумал: правильнее было бы смыться оттуда. Да вот, любопытство. Если б они на меня вышли—верный конец! Особенно я опасался собаки.

Ну а когда раздалась две очереди и сразу потом вспыхнул свет, тут уж я и пошел. К железной дороге.

Фабиан? Да, это он отпер для меня дверь. Все верно. А только не нашлось у него для меня ни единого доброго слова! Пожалел он для меня доброе слово! Я и сейчас не знаю толком, почему он взялся отвести этих молоко-сосов на мельницу.

Поэтому, когда несколько дней спустя мне сказали: «Фабиан-то опять в тюрьме...», я мимо ушей пропустил.

И в самом деле, оставим уж это!

Они расселись за столом. Достали палинку, пили.

Фабиан опять думал о сыне, стакан с вином—половина там еще оставалась—отодвинул, впрочем, никто и не обращал на него внимания. Он думал о сыне, который спит сейчас у себя в интернате, сунув под подушку учебник. Он всегда представлял себе сына с книгой; упорно стремящимся к лучшей доле, чтоб оправдать отцовские надежды.

— А Биге?—неожиданно вскинул он голову. Но тотчас втянул ее в плечи.

Они не заметили, что Фабиан не спросил про Хайду. Зато сами «нашли» его так:

— Пронюхал что-то, подлец! Застрелил бедного старика—и ходу!

Фабиан прищурился.

Что-то не сходится. Автоматная очередь!

— Да, слышал, что мы подходим,—сказал и начальник.—Мы ему вслед, конечно, пустили очередь—да что толку!

Толстый юнец, тараща глаза, слушал, как складно врут его «братья». «Значит, вот как решили про это рассказывать»,—сообразил и Фабиан.

Небрежно, словно ему все досконально ясно, юнец сразу же пустился объяснять:

— Мы-то затаились сперва, чтобы у него никаких подозрений не возникло. Ну а они,—он ткнул пальцем в сторону двора, имея в виду Биге,—о чем-то посоветовались, да только старик, видно, плохо экзамен выдержал, потому что тот его заподозрил и—тр-р-р!

Остальные промолчали, не подхватили.

Издали, из пусты*, железнодорожная ветка послала вместе с лентой дыма паровозный свисток, и тотчас о стену дома забился перестук буферов товарного поезда—сильный паровозишко посылал торможение от вагона к вагону.

— Пассажирский когда пойдет?

— На рассвете.

Еще не занялась заря, а они уже были в пути; Фабиан, само собой, шел с ними. Они дороги не знали. А поскольку товарняк медленно уползал, наверное, заплутались бы, так и не вышли бы к станции.

Разговаривали мало, шли, спотыкаясь, сперва среди деревьев сада, потом через пашню. Фабиан думал о сыне. Мальчик встает рано, особенно в начале года, в эту пору надо особенно потрафлять учителям...

— Мы к какому же поезду идем?—неожиданно спросил он спутников.—Потому как пассажирских-то два. Один к нам идет, а другой—от нас.

Юнец обрадовался:

— А что? Здесь нам делать уже нечего!—Ему хотелось домой, он устал от бессонной ночи и хотел домой, хотел спать, как малое дитя.

— Нет,—помолчав, сказал начальник.—Пока что до-

* Пуста—степь с разбросанными далеко друг от друга хуторами.

мой не поедет, сперва надо здесь порядок навести.

До станции было еще далеко.

— Так оно и следует,—сказал толстому юнцу и Фабиан.—Надо же людям объяснить про беднягу этого, Биге.

Носатому почудилась в словах Фабиана угроза.

— Вот вы им и объясните! Если вам так уж хочется!

В посеревшей дали уже видна была станция.

— Нет!—оборвал все ребяческие надежды начальник.—Мы вернемся в село и уладим все сами. У нас там найдутся и другие дела.

Напротив станционного здания стоял без паровоза товарный состав.

Пассажирский еще не пришел. Билеты здесь полагалось брать в вагоне, у проводника. Фабиана никто ни к чему не принуждал. Но он все же чувствовал: они хотят, чтобы он непременно ехал с ними.

— Эх, нельзя мертвого оставлять одного.

— Это почему же нельзя?

Фабиан думал о сыне. А поезд из города тем временем прибыл. Пассажиров привез немного. Фабиан думал: если не сяду с ними вместе в вагон, они, пожалуй, и очередь в меня выпустят. Товарняк! Пока эти будут присматривать себе место в вагоне, можно перескочить на товарный...

Фабиану было страшно. Он выжидал.

Наконец пассажирский тронулся. Фабиан думал о Ферчи. Теперь-то сын точно уж встал, в книги свои зарылся. Ведь начало года!

И он решился: прыгнул.

Когда пассажирский увистал прочь, Фабиан соскочил с тормозной площадки товарняка и опять сел на скамейку у здания станции. Думать о мертвом не хотелось. И он опять стал думать о сыне. Но такая стылая тишина накрыла округу, что тревога не унималась. Фабиану захотелось своими глазами увидеть сына в интернате, над книгами. Очень захотелось увидеть его. До сих пор ни разу в город к нему не ездил, не хотел. Жалел два часа на дорогу потратить, но сейчас уже не мог не поехать. Раньше жалел время, а теперь вот нет. Счастье еще, что деньги с собою случились. Как раз хватит туда и обратно. Лучше уж на еду не потратиться. Да это и ни к чему, Ферчи сам угостит его. Разделят школьный его обед на двоих! Фабиан так и представлял себе свой первый приезд в интернат: они с сыном будут есть из одной тарелки.

Полчаса спустя прибыл обратный поезд. В самое время, сидеть-то было холодно. Не привык Фабиан вот так рассиживаться на рассвете.

Он поспешно взобрался в вагон и решил пройти по

составу, до тех пор пока не найдет такое местечко, где бы поменьше было народу: он по горло был сыт никчемной болтовней, ни знакомиться, ни в разговоры вступать ни с кем не хотел. Но за первой же дверью обнаружил, что здесь никто не будет капать ему на мозги. Радуюсь полному одиночеству, Фабиан сел.

И снова стал раздумывать так и эдак о будущем сына.

Немного спустя пришел проводник, дал билет, сел рядом.

— Одни мы с вами едем!

— Как так?

— Во всем составе нас только двое!—Проводник хлопнул по коленям руками.—Вы и я. Всего и разницы, что вы за это платите, а я зарплату получаю!

У этого человека, видно, такая привычка—что ни скажет, тотчас руками по коленям хлопнет. А если смешная мысль придет в голову, тут уж друг об дружку коленки стучает.

Но скоро он перестал шутить и посмеиваться, а только без конца говорил, говорил—словом, судачил, как судачат обычно на подобных железнодорожных ветках проводники, для которых умение быть в курсе самых последних новостей и распространять их важней всех иных способностей человека.

Фабиан не слушал его; он внезапно, как больной свою вдруг защемившую опухоль, ощутил родной край за окном, далеко растянувшуюся, взгорбленную холмами родную сторонку. Сверху, на вид она была недвижима, но под видимостью этой словно раскорячилась, расставила локти гнетущая тишина.

Фабиан знал все, ведь радио вещало непрерывно, да и люди добавляли каждый свое. Но только сейчас, в этом пустом поезде, он понял: происходит нечто серьезное, такое, что ставит на карту самую жизнь. И теперь решается, быть в ней чему-то важному или не быть.

Проводник никак не был вознагражден за пространные свои рассуждения. Все же он ждал хоть какого-то слова. И дождался. Фабиан сказал ему так:

— Орел или решка. Вот на что похоже все это, по-моему.

Проводник удивился такой оценке событий; в этих голосом судьбы прозвучавших словах переплелись приказ и игра, ведь именно их, именно так кричат подростки, играя в «орел или решку».

Не ответив, проводник встал и сошел на платформу, поезд как раз остановился на какой-то станции, и надо было дать машинисту сигнал—ни о чем. Ибо в поезд никто не сел. Однако продолжить разговор проводник не при-

шел. Теперь он боялся Фабиана.

Фабиан смотрел в окно. На убежавшие назад деревья, медленно кружившиеся хутора, сиротливые бахчи с дынями, напоминавшие поля битвы, обреченные на запустение, усеянные зелеными черепами, беззащитными обитателями бахчей; вон как расстреляла их эта злая осень, покрыв смертной паршой.

И стало ему от всего этого беспокойно. И страшно.

Одинокий человек в дневном поезде. Страшно было Фабиану, и он неотступно думал о сыне.

Улицы города кишели людьми.

Тревога чуть-чуть отпустила Фабиана. Но зато теперь он понял: у беспокойства его — две причины.

По улицам сновали вооруженные штатские. И все они что-то объясняли друг другу, бесконечно что-то втолковывали, и казалось, что это совсем невозможное дело — до конца понять человека. Некоторые явно спешили, но при этом вроде бы хотели скрыть, куда спешат. На рукавах трехцветные повязки*. Кое у кого и на груди красовалась трехцветная лента.

Отцовская тревога внезапно притупилась, уступая место другой тревоге.

Ноги понесли Фабиана не к школе, не к интернату, а прежде всего к тюрьме. Туда, где похоронены его два года. Откуда не видно ему было ни неба, ни улицы.

Вокруг тюрьмы собрался, кажется, весь город, народу здесь было больше, чем где-либо. Фабиан приближаться не стал, смотрел издали. У него вдруг пропало желание идти туда. А ведь сейчас, пожалуй, его и внутрь пропустили бы, и мог бы он без помехи обойти те коридоры и камеры, где провел столько времени. Нет! Нет. И он заторопился уйти, уйти как можно дальше, поспешно вернулся к мосту, чтобы перейти опять через реку, разделявшую город надвое. Сейчас по этому мосту, узкому мосту, соединявшему обе части города, едва можно было пройти; странно, идя по нему в первый раз, Фабиан даже не заметил толкучки. Потoki людей непрерывно двигались в обоих направлениях, медленно вокруг себя завиваясь и переплетаясь, словно черви. Но Фабиан, тоже медленно, как пловец среди множества твердых предметов, кружащихся в неожиданном разливе или в забитом сплавным лесом русле, медленно, но все-таки продвигался вперед.

Фабиан уже почти перешел мост, как вдруг — людская

* Трехцветные, национальных цветов, ленты в конце октября 1956 года носили мятежники-контрреволюционеры.

волна, быть может, даже приподняла его на миг, чтобы лучше было видно,— у противоположных перил в человеческом водовороте вдруг вынырнул Хайду. Хайду! Он тоже в общей круговерти, но за спиной у него автомат! Его ведут! Ведут? Но ведь и впереди и позади него топорщатся дула, только на конвой это не похоже! Да и невозможно в такой толпе спокойно вести кого-то! Автомат двигался с Хайду в лад, автомат был у него на плече!

Фабиан не мог оторвать глаз от Хайду и все оборачивался, чуть не задом наперед повернувшись в увлекавшей его толпе. Он мог подумать о Хайду все что угодно, только не это. Людской поток уносил его прочь, а он все выворачивал голову назад, все смотрел на Хайду. И ничего не понимал.

И тут Хайду тоже его заметил. Если бы мог Фабиан высвободить руку, он, наверно, помахал бы Хайду, ведь и тот хотел остановиться, и лицо его выражало куда больше, нежели просто удивление: он буквально остолебенел!

Но как знать, не прочел ли и Хайду на лице Фабиана скорее угрозу, чем дружелюбие...

«Эх, поверни он сейчас сюда, назад, уж я бы понял, что теперь между нами, кому кого бояться следует»,— одно и то же подумали оба.

Но ни тот, ни другой назад не повернул, не воспротивился неодолимому потоку.

Чем ближе подходил Фабиан к интернату, тем сильнее его била дрожь, а ведь легонький ветерок едва вздувал пыль на дороге да редко-редко попадавшие юбки. Да, нынче, видно, и бабы стали брюки носить... И что это за новая мода такая?

Вахтер в интернате поднял Фабиана на смех:

— Поздненько проснулись, дяденька! Господа учащиеся развеялись кто куда! Историю, слышь, творят...

И в тот же миг Фабиан увидел сына: лежит навзничь, желтый как воск, мертвый.

Где искать его? Одно Фабиан о себе знал: за Ферчи он не пойдет.

Надо вернуться домой, слушать радио.

Может, он и послал уже отцу весточку, да только слушать-то некому...

На том Фабиан ненадолго и успокоился. Но вскоре опять полезли в голову видения: лежит где-то сын, мертвый, а рядом с ним растеклась лужей вся его кровушка. Ох, почему, почему все мысли— об этом?!

Ага, на той стороне стреляют. Может, возле тюрьмы?

И чтобы прогнать страх, Фабиан опять стал думать о будущем сына, как думал, едучи сюда в поезде. Сейчас он

сядет на обратный поезд и будет думать о том же всю дорогу домой...

Хайду. Тут Фабиан ошибается, помешался он, что ли. Дни спутал. Из одного дня два делает, из двух — один. Я стоял у окна на полустанке нашем в пусте. Меня начальник полустанка спрятал (наш товарищ, партиец). Я смотрел, куда подадутся контрреволюционеры. Не хотел оказаться с ними, в тот же поезд сесть. Да и что уж мне было с одним пистолетом преследовать их! Ну да ничего, я ведь и в область дорогу знал. (Не успел прибыть в город, как и у меня уже был автомат!) Из окна полустанка я видел, как Фабиан сперва сел с ними в поезд, но в последнюю минуту перемахнул на товарняк. Это все верно. Но с обратным поездом уехал-то я. А он и дожидаться его не стал. Подался обратно, к садам, весь в себя погрузился, ничего не видел вокруг.

Но он не сразу поехал домой: вышел в пусте, на том же полустанке. Уже было за полдень, но на мельнице по-прежнему горели все лампы. И царившая вокруг тишина от этого не казалась мертвой, хотя и собака уже подошла там, где бросили ее, на пороге. Ее открытые глаза уставились на террасу. Туда, куда ушли вооруженные люди, где их поглотил дом. Как будто следствию помочь хотела этим последним свидетельством.

Да только не будет следствия. Почти наверное не будет сейчас никакого расследования.

Фабиан выключил лампы, ногой отодвинул с порога труп собаки. И собака была ему по сердцу, и Биге не вызывал ужаса. Спокойно поднялся он к нему, в проникавшем через оконце свете выглядело вполне естественно, что такой старый человек лежит себе здесь неподвижно. Его смерть казалась естественной. Может быть, потому, что, прикрыв глаза, так же увидел Фабиан и сына, так же реально! Но нет, та смерть была бы совсем не естественна.

Он обошел натекащую лужу крови. Запер мельницу, ключ сунул в карман.

Мертвеца он не боялся, но и видеть его больше не хотел. И при жизни-то его сторонился, с чего бы перемениться к нему после смерти?

Одно окошко внизу на мельнице всегда держали открытым, для проветривания, но сейчас он прикрыл его,

из-за кошек. Муторно было думать, что кошки примутся за старого мельника.

Собака, конечно, осталась снаружи. Отделил Фабиан человека от неразумной твари.

Он ждал. Знал наверное, что сюда приедут; и действительно, ближе к закату прикатила подвода. Поздновато, обратно в село доберутся лишь затемно. Впрочем, их было трое: возчик из кооператива, его свояк-полицейский и еще могильщик. Этот должен был официально освидетельствовать труп.

Фабиан отдал им ключ, но сам помогать не стал.

Его вдруг проняла безумная мысль: «Я другой веры, чем Биге!» Хотя понимал: помощь пришла бы им кстати.

— На-ка вот, покрой его этой попоной! Чтоб не тарашил глаза всю дорогу,—сказал кто-то из приехавших.

Положив на подводу немого пассажира, люди помыли у колодца руки, просто сполоснули, без мыла.

— Вы, дядя Фабиан, видели, как все было?

— Нет. Не видел.

— И даже ни о чем не ведали? Только после?

— Как так! Я же вот здесь, в доме, сидел. Все слышал.

— Вон оно что!

— Да...

— Поганая работенка.

— Поганая. Не надо бы так-то.

— Что ж, кому себя спасти приходится, тот уж ни на что не глядит...

Значит, этим уже сказали, что старика застрелил в упор Хайду; однако, и поднявшись на второй ярус и глядя тупо на лужу крови, они не очень представляли себе обстоятельства нападения и даже самую возможность его.

— Да, против пистолета встать — дело худое,—важно рассудил полицейский.

— Дело-то не совсем так было...

— Значит, вы все-таки видели?

— Не видел. Но слышать слышал.

— Что вы слышали?

— Выстрелы.

Это не было дознанием, они задавали вопросы просто из любопытства, даже полицейский: он тоже ни в чьи дела нос совать не хотел. Больше Фабиана и не расспрашивали, но перед тем, как отправиться в путь, постояли и еще раз посмотрели на старика. Откинули попону, покачали головами: «Поганая работенка».

И вот тут-то, по этой их присказке — «поганая работен-

ка», — Фабиану открылось, чьи слова они повторяют. Это либо толстый юнец, либо тот, носатый.

Однако его ни о чем уже не спросили, и он тоже не стал начинать все сначала: мол, не так было дело! Но и с собой его не позвали. Он, впрочем, не напрашивался: мельникова усадьба теперь сулила ему передышку. Да и собаку зарыть кому-то же надо...

Но ведь, пока они возились с мертвым, да-да, пока возились с мертвым, они о чем-то Фабиана спросили — о чем-то совсем другом! О сыне спросили. Коротко, словно бы между прочим. Чтобы чистое что-то вспомнить, а не только «поганую работенку». «А сынок-то ваш?» — «Ну, вот ужо ваш сын... уж он!..»

Да это же и не вопросы были, а просто сообщение, пояснительный вздох: «Ваш сын приехал! И мы тоже об этом знаем!»

На другой день выяснилось, что именно это они и подразумевали.

Утром, еще издали подняв грохот и клубы пыли, на узкую дорожку в саду свернул грузовик. Грузовик привез целый отряд зеленых юнцов. Одеты были все кто во что, только нарукавные повязки да автоматы и на этот раз были у всех одинаковы.

Фабиан вышел им навстречу. Ждал возле сортировочной.

Приехавшие торопливо спрыгивали наземь, неловко ступая одеревеневшими ногами, среди них был и Ферчи. Да почему-то среди них и остался.

А ведь следовало, следовало ему подойти к отцу! Пусть давно не в ходу между ними поцелуй и даже мужское рукопожатье, а все ж таки надо было ему подойти, чтобы глянули они друг на друга по-настоящему, глаза в глаза...

Но Ферчи, хотя и гордился отцом своим, все же остался с теми, с приезжими, окружавшими сейчас Фабиана.

— Ох, сынок, как же давно я тебя не видел!

Кроме начальника, знали Фабиана лишь двое, так что вроде бы следовало представиться, но они так шумели, кричали.

— С чем приехали? — спросил он, трезвея.

И тут почуял, что от всех них разит палинкой.

Приехавшие толпились без порядка, говорили все разом. Потом вдруг бросились по саду кто куда, издали перекликаясь с набитыми ртами.

Фабиану бы сейчас остаться с сыном один на один,

хоть ненадолго, лишь на несколько слов!.. Но начальник, думая обрадовать Фабиана, сказал:

— Будем перемеривать сады! Опять раздадим всем землю!

«Нет,—сразу подумал Фабиан,—разве ж этакому скопищу пришлых людей, чужаков, делать такое!» Он ничего не сказал, только кивнул, но даже не улыбнулся. Между тем приезжие уже уходили в глубь сада, он зашагал следом.

Хотя бы потому, что отряд вел Ферчи! Теперь уже пешим ходом. И вел он их прямо к старому наделу Фабиана, примерно туда, где и были те пять хольдов; оказывается, парнишка хорошо все помнил, да только и не так-то хорошо, потому что ему в голову не пришло искать то единственное персиковое дерево, единственный настоящий ориентир. Просто остановился вдруг, наугад, раскинул руки, и все прочие замерли вокруг, расчувствовались.

Потом, словно по команде, засуетились, наспех обламывали унизанные яблоками ветки и скопом—а было их добрых полдюжины—кинулись сажеными шагами вдоль и поперек мерять землю, нарезать Фабиану его пять хольдов.

— А все почему? Потому что заслужил!—назидательно вскинул указательный палец толстый юнец; ему очень хотелось показать, что он разделяет всеобщее одушевление, однако его не слушали. Как не слушали и увещеваний Фабиана:

— Никогда не бывало у меня такого сада, ребята! Я только два хольда засадил.

Долго твердил он свое, под конец начальник услышал его.

— Что это вы, право; сами же все про пять хольдов рассказывали.

— Да ведь из них три—голая пустошь.

— Здесь пустоши нет. И вообще, оставьте вы, какая разница!

Ферчи так ликовал, словно знал отцову землю как свою ладонь, о судьбе же тех двух хольдов и слыхом не слыхивал.

— Но я и те два хольда сам же повырубил!—отчаянно выкрикнул Фабиан, когда, крупно шагая, вернулись притомившиеся «землемеры», застолбив—триста шагов вдоль, триста поперек, а вернее сказать, наугад—углы бывшего надела.

Вся компания стала дружно обнимать хозяев—отца и сына. Теперь особенно было явно, что, едучи сюда, они завернули в корчму, подкрепились палинкой.

— Ну, с этим мы справились. Вот как надо дела делать!

Когда они гурьбой возвращались к грузовику, их путь случайно проходил мимо того самого персикового деревца, которое пощадил топор.

— Смотрите!—воскликнул Фабиан, против воли растроганный.—Мой сад здесь был!

— В машину, в машину!—закричали все разом.—И вы, дядя Фабиан, с нами в кузов.

Никто и не услышал про заветное дерево, только сын да носатый, с повязкой на рукаве.

— Не может быть!

— Отмерили, и кончено дело. Будет ворчать, старина!

Именно в этот миг представился случай отцу и сыну хоть ненадолго остаться наедине—пока они поспешали среди деревьев к грузовику.

— Нынче возможно все, отец!—попробовал Ферчи кратко суммировать голос дня.

— То, что сейчас тут было, никак невозможное дело,—с отцовской строгостью ответил ему Фабиан, но тут же голос его смягчился:—Как мать тебе обрадуется!

— Она уже порадовалась! А теперь вот плачет, что, мол, с вами будет, отец.

— Лучше бы она о тебе плакала.

С грузовика опять закричали:

— Живее, живее, братья!

Очень хотелось Фабиану, чтобы сын хоть в этой суматохе, пусть мельком, поцеловал его в щеку или просто обхватил за плечи. И парнишка по-своему уступил невысказанному желанию близости, да только способ избрал наихудший: схватив отца за рукав, он потащил его к машине. Старик едва поспевал за ним.

В кузове их еще ждали недопитые бутылки. Сперва и Фабиана посадили в кузов, хотя начальник ждал его в кабине, чтобы усадить рядом с шофером. Пришлось, однако, прежде выпить с молокососами наверху, в кузове.

— Мигом в село прикатим! А на похоронах вы и расскажете, как землю свою получили обратно.

В кабине втроем было тесновато, шофер с трудом вырулил на шоссе.

— На похоронах? Я?—удивился Фабиан и протестующе закрутил головой.

Однако на тряской дороге «нет» от «да» было не отличить, да и начальник думал уже о другом, о том, как бы поскорее узнать, что творится в мире.

— Ох и жаль, что на грузовике радио нет!

— Тьфу, экую вонючую палинку вы пили, отец,—сердито проворчал шофер, который либо не знал о

бутылках в кузове, либо и сейчас, по обычаю своему, решил воздержаться. И потому сердился на всех, кто пил.

На похороны собралось перед церковью много народу. Можно сказать, пришло все село, и грузовик попал в затор.

Вооруженный отряд, соскочив с грузовика, оказался в самой гуще толпы.

Фабиан неотступно следовал взглядом за сыном, все его мысли были о нем. А вот Ферчи было не до отца. Как и у остальных, у него поминутно находилось какое-нибудь дело. Один только начальник держался все время рядом с Фабианом.

Священник был уже наготове, он первым провожал Биге в последний путь. Чтобы все увидели старого мельника, чтобы хорошенько разглядели его залитое кровью лицо, труп накрыли саваном лишь здесь, перед церковью. Ждали только возвращения отряда, и теперь капеллан скороговоркой стал читать молитвы. После него говорил начальник.

— ...мы с вами дожили до таких дней, какие, быть может, однажды выпадают в столетие...

А Фабиан глазами сокрушенно искал в толпе сына. «Верно, все верно, ни единого раза не побывал я у него в школе, в интернате, не поговорил по-отцовски. Только вчера вот надумал, да и то опоздал. Но нет, еще и сейчас не поздно, Ферчи жив-невредим, и я тоже цел!»

Сойдя с импровизированной трибуны у изголовья гроба, начальник подошел прямо к Фабиану.

— Ну, отец,—шепнул он,—теперь ваш черед.

Фабиан отшатнулся с таким видом, словно вот сейчас убежит. И при этом он резко крутил головой: нет, нет, нет!

Начальник сквозь зубы гадко выругался, но терять времени не стал, приподнялся на носки, нашел взглядом Ферчи, повелительно махнул рукой: говори ты! В начальственном жесте слышался приказ: на трибуну!

Кровь бросилась парнишке в лицо, но он не колебался. Взобравшись на подмости, обхватил перильца руками.

— Друзья мои! Братья мои!—выкрикнул он.

Смотрит на него Фабиан, но видит не пятнадцатилетнего подростка, каков он сейчас,—видит крохотного мальчугана, малыш ежится под проливным дождем и жалостно хлюпает носом, руки у него замерзли, но на обоих ушах висят двойные черешенки. Видит Фабиан: малыш обвил ручонками ствол, а сам выплевывает изо рта черешневую косточку...

Сын говорит о событиях дня именно то, что надеялись услышать от его отца, начальник доволен, он легонько кивает, хотя все еще неодобрительно косится на Фабиана.

Но не может приказать думам своим Фабиан не видеть, что сын взрослеет. С каждым словом взрослеет он и в представлении слушателей своих. Но ведь это нельзя! И видит Фабиан (с укоризной в душе) другого Ферчи, нерешительно шепчущего на ухо матери вопросы свои — как иначе узнать ему то, что он твердо решил узнать во время каникул? Нет, не молчанием, а словами и наказанием надо отучать от такого!

И все же, все же... эх, самому, самому надо было разговаривать с ним всякий раз, как он приезжал на каникулы (а он приезжал, хоть на два дня отпустят — все равно приезжал!).

— ...и, как помнит земля след рук человеческих даже четыреста лет спустя...

Слышит Фабиан, слышит эти слова и вдруг вспоминает про Биге. Ведь это его хоронят! Кто все это измыслил? Нет, Биге такого никак не хотел! И эти четыреста лет... Никогда, никогда не говорил он Ферчи о желтой глине, которую нынче всякий раз вываливает наверх трактор при глубокой вспашке. Да и другим не говорил никому...

У самого гроба стоит гробовщик, который сказал еще там, возле мельницы: «Поганая работенка!» Ишь, как сердито моргает. А Фабиан ему: «Не так ведь все было, как вам рассказали!»

Что, и столько-то говорить не следовало, пока они труп на его подводу укладывали?!

— ...нет, не только земля помнит человека, но и человек помнит о...

Много раз думал так о земле Фабиан, но только однажды услышал, как кто-то другой выговорил это вслух. Нашел слова, чтобы выразить мысли.

Начальник стоял с ним рядом. Чуть заметные кивки в лад словам Ферчи шевелили его горло. Фабиан, забывшись, сунул руку в карман, чтобы вытащить пачку сигарет. Он явственно собрался закурить, но другая его рука, нащупавшая зажигалку, опомнилась: утонули в кармане и сигареты. С самой тюрьмы сигаретный дым ушел из его жизни.

Шутить Фабиан был не мастер и сейчас не в шутку, а от того, что пересохло в горле, сказал, словно пожаловался:

— Не найдется выпить чего-нибудь, хоть глотка?

Просто почувствовал, что должен заговорить с ним, вынужден. Вынужден?

Что это? Воспоминание о минувшей ночи? Или о

палинке, выпитой в кузове грузовика?

— Не болтайте глупостей!

Такого Фабиану еще не говорили.

— Я глупости не болтаю! Не привычен!

На них уже оборачивались, прислушивались.

Начальник понял, что дал маху; он приставил палец к губам, а другой рукой указал на трибуну, где Ферчи все еще не выпутался из кольцом закрутившейся фразы:

— ...который и я, вот этими двумя руками... каждое деревце по отдельности...

Во внезапном порыве Фабиан одним махом оказался на трибуне, рядом с сыном. Словно решился прервать его речь: то ли шепнуть ему что-то, то ли ударить. Как знал мальчишка это его движение! Две пощечины прозвучали почти одновременно. Хотя было их все же две — и первая, и вторая. После второй и парнишка тоже взмахнул рукой, обороняясь, и покачнулся. Покачнулся и Фабиан, уцепился за того, кого бил, но поздно — он упал вниз, на землю, прямо навзничь. И вместе с собой стащил сына, хотя тот, вырываясь, защищался. Неистовая ярость захватила Фабиана, смертная ярость, как в тот день, когда дедушка Фабиан съел припрятанную на жатву солонину. Ферчи защищался! Защищался? Нет! Две нескончаемо долгие недели припоминал потом Фабиан, как все было, и знал: это была не просто самозащита, мальчик толкнул его, ударил — отца! — кулаком!

Церемония нарушилась. У гроба началась толкотня. Уже над Фабианом.

Ферчи вскочил мгновенно. Едва раздалась толпа. Но Фабиан остался лежать на земле. Навзничь, без сознания.

Испугались сельчане: вдруг он тут же и кончится (хотя сын-то вон уже побежал!)! Люди стыли в траурном молчании. Что, как испустит он дух! И будет им хлопот с двумя покойниками сразу — Фабианом и Биге. Фабиана подняли на платформу грузовика, ожидавшего Биге. Теперь грузовик поглотил Фабиана, чтобы везти его в больницу. С ним укатил и почетный караул с автоматами: четыре юнца в нарукавных повязках. Но Ферчи исчез. (Может, бросился за врачом?)

А может, он убежал потому, что не смел предстать перед невидяще распахнутыми глазами отца!

Хайду. Похороны были на второй день. Фабиан ошибался дважды, но тут опять попал в точку. Сперва-то он потерял один день, потом один день прибавил.

Люди позже рассказывали: глядел он очень уж расте-

рянно, словно сомневался, как на самом деле умер, как погиб Биге. Многие поверили, что я его застрелил, другие не поверили. Возбуждение, подозрение сильно всех разделили, к тому же и полицейский (тоже товарищ наш) рассказал, что это Биге сообщил в совет, где я скрываюсь. Через кого? Вот об этом писатель забыл начисто. По телефону он сообщил! Мы ведь в сортировочной телефон поставили, чтобы легче было работами в садах руководить. И Биге не один раз, а трижды звонил в совет, пока не напал на нужного человека.

Все это я узнал только теперь.

Впрочем, весь этот цирк с похоронами не многие приняли всерьез. Может, один только Фабиан. Над речью молодого Фабиана люди, говорят, просто посмеивались. И надо было позволить ему поговорить, пусть бы немножко пары-то повыпустил. Да только отец не позволил. Такие оплеухи отвесил, чуть насмерть не пришиб. Ферчи так и ушел шатаясь. Но не за врачом, как отец его себе напридумывает. Парнишка ведь только поначалу поддался, но после защищаться стал. Может, и сам ударил отца. Одного понять не могу: как же все-таки до этого дело дошло, посреди такой толпищи... Только так, думаю: для села все это было делом сторонним, которое прикатившие вооруженные сопляки затеяли. А те, видно, не ожидали, что соберется такая огромная толпа и будет стоять молча, неподвижно, окружив их кольцом, ну и перетрусили малость. Поэтому, как только представился случай (несчастье с Фабианом тут было им только на руку), они, кто поспел, вскочили на грузовик и дали деру... А Фабиан-то, говорят, вовсе и не терял сознания, только вид сделал. Может, и так, только я этому не верю.

Фабиан очнулся. Он лежал на спине в кузове грузовика. Трясая дорога будто задумала вышибить из него душу. Как раз в эту минуту над ним склонился один из подростков с автоматом, и в голове у Фабиана сверкнуло: «Они вооружены и куда-то везут меня! Куда могут везти с оружием в руках? Ясное дело, в тюрьму! Да неужто мало было тех двух лет, и еще трех недель к ним в придачу? Этому учат вас в школе?»

«Чтобы меня спасти, у сына иного способа нет, как напасть на грузовик сбоку!» — лихорадочно думал Фабиан (опасность он понимал, но так бы хотел спасти в глазах своих сына!). «Да, только так и можно ему освободить меня: обогнать грузовик и дать очередь по колесам. Ведь

и у него автомат!» Сейчас он гордился сыном, верил в его ловкость, умение.

Но вот сознание прояснилось окончательно, и Фабиан понял свое положение: Ферчи опоздал! Надо прыгать!

Он с трудом разодрал глаза и кулаком — подросток как раз к нему наклонился — ударил прямо в лицо.

Ребят оказалось не трое, больше. Его связали. И везли — везли теперь уже не в больницу — в тюрьму. Так ему и сказали.

— А мы-то еще хотели в больницу тебя везти! Дерьмо!

Но он не поверил им. И когда они потащили его за ремень с грузовика, подумал: «А ведь эти щенки и пристрелить могли бы!»

Его бросили в камеру; когда он поднялся на ноги, другим арестованным стало ясно, что он не из разговорчивых. А Фабиан опять и опять прокручивал в голове последнюю возможность для сына сбоку, из кустов, все же дать автоматную очередь по колесам грузовика.

Должен сын столько-то любить отца своего! Должен быть благодарен ему, должен за ним последовать и, пусть один, слепо, отчаянно, открыть огонь с опушки, как только из-за поворота покажется грузовик... А если из машины откроют ответный огонь? Что ж, стольким-то обязан отцу сын!

Много раз возвращался он мыслями туда, на шоссе, надеясь все же придумать, как это нападение могло бы удалиться парнишке; на заре и в полдень, во время ужина, утром, в обед, вечером и опять на рассвете, в начале дня и в предвечерних сумерках Фабиан неотступно думал свою думу: что, что случилось с Ферчи на самом деле? Может, в него тоже стреляли?

Тюрьма была такая же, как и раньше. Только охранники оказались другие. Но ведь и коридор был другой!

Случалось все же, что мимо двери проходил знакомый охранник. Фабиан тотчас просыпался, стучал, кричал. Но дверь отпирал другой, и Фабиану становилось стыдно за бесцельно поднятый шум.

Так минуло две недели, но оттого, что неизвестно было, сколько еще придется сидеть, они показались ему куда длиннее тех двух лет, которые были законно обозначены в приговоре и которые он мог, на манер пастухов, зарубками отмечать на припрятанной палочке день за днем, чтобы время не утекало бесследно.

Когда в последний раз сын собирался освободить его, он погиб в рукопашной схватке. Да, две нескончаемые недели, каждую ночь, корчился Ферчи на опушке у поворота дороги. Весь израненный, он истекал там кровью. И грузовик останавливался. И щенки с автомата-

ми шли посмотреть, кто ж это был, что стрелял им в колеса.

А Фабиан приподымался на локте и видел его!

Между тем вокруг тюрьмы не слышно было ни выстрела. Ночи проходили спокойно. Радио и газеты не тревожили их и днем. (Впрочем, прислушавшись, прислонив ухо к трубам центрального отопления, желающие могли кое-что услышать.)

Поскольку сын погиб, Фабиан больше не верил в свое освобождение. Но две недели прошли, и его все же вызвали. Даже не дали времени вернуться в камеру попрощаться.

— Кто меня вызволил? Кто заступился?— у всех подряд выпытывал Фабиан.

Хотя у дежурного офицера в ту пору дел было сверх головы, он все-таки полистал документы.

— Некий Хайду. Односельчанин ваш?

— Нет! Он мой враг! Палач мой!

Дежурный офицер посмотрел на Фабиана как-то странно, и от этого Фабиан разъярился. Он шел к станции по узкому мосту (где они с Хайду последний раз увидели друг друга) и кипел от злости.

— А две недели-то зачем выжидал? Кто ж он тогда, как не палач мой?

Потому и не пошел он к Хайду, вернувшись домой. Ворота заложил изнутри, запер. И жене наказал выходить только через сад.

Но немного времени спустя выйти ему все же пришлось: позвали и его на собрание по учреждению кооператива. В этот день впервые вновь ожил громкоговоритель: «Люди, все в кинотеатр!»

Только тут узнал Фабиан, что кооператив распался. Из сообщения о том, что он учреждается вновь. Жена даже этого не посмела ему сказать, так боялась его. Не сказала, что разбежался народ. Осталась только земля, только строения да деревья—сады.

Он должен был пойти на собрание, чтобы, сев самым последним, ждать, загудит ли народ или подожжет кинотеатр...

В большом зале возле стола сидел один Хайду. Ряды стульев были пусты. Фабиан сел на самую заднюю скамью. Не поздоровался. Хайду вздрогнул. Его вдруг пробрал холод. При виде Фабиана? Фабиан пыхнул зажигалкой, хотя был некурящий.

— Не думал я, что вот так...— вздохнул Хайду.— Эх, черт возьми...

Фабиан молчал. Загасил зажигалку. «Только двое нас»,— подумал понуро.

Прошли долгие четверть часа (Фабиан и зажигалкой больше не чиркал), наконец дверь вновь отворилась.

Теперь хоть было кому здороваться.

— Сын у вас славный.

Фабиан глубоко вздохнул.

— Где он? Что с ним?—упорствовал Хайду.

Фабиан прохрипел почти безголосо:

— Помер. Когда спасти меня пытался. Из ваших рук!

Лишь много позже в зал потянулись люди. Может, прослышали, что пришел Фабиан.

Хайду. Прождал я тогда целый час понапрасну—да и заплакал, прямо там, в большом зале, за столом сидя. Людей оплакивал, то, какие они слабые в победе своей, какие грешные, какие себе враги.

Должно быть, и даже наверное, они за мною подсматривали. А я еще и тогда плакал, когда Фабиан вошел... вошел и сел в самом последнем ряду, чтобы и этим меня унижить: он, мол, самым последним себя считает из всех, кто собрался кооператив возродить, хотя и нет в этом зале, на собрании этом, никого, кроме меня.

А люди-то следили, подглядывали... может, как раз те слезы мои и принесли кооперативу успех. Фабиан? Нет больше у него авторитета. Такого, чтоб люди за ним пошли. Он словно свихнулся немного, не знаю. Но работать он может, это надо признать. А вообще-то даже бригадиром не потянул бы. Он, понимаете, и жизнь уж не любит. И нет у него ни друзей, ни врагов.

Это было еще перед рождеством. А на пасху пришло письмо. На конверте—почерк сына. Узнала мать его почерк. Нельзя его спутать ни с чьим! Но конверт так и остался невскрытым на долгие дни, потому что с него говорила им что-то иностранная марка. А они не понимали ее.

Письмо пришло самолетом, и марка была синей, как море.

Впрочем, жена Фабиана все равно обрадовалась, поняла, что сын ее жив. И на радостях плакала. Всхлипывала и ночами—может быть, все же подымется Фабиан с

постели, вскрыет конверт, прочитает, о чем сынок пишет.

Но слезы не помогли, тогда жена Фабиана убрала конверт с глаз и потом, в тихий час, одна, вскрыла его сама.

1959

рассказы



Рассказы из сборников:

«СЫН И ВРАГ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ»

Будапешт, 1967

«И ЗДЕСЬ, НА ЗЕМЛЕ»

Будапешт, 1973

«ОБРАЗЫ УТЕРЯННЫЕ И ХРАНИМЫЕ»

Будапешт, 1978

«Ember fia és farkasa» — © Cseres Tibor, 1967.

«Itt a földön is» — © Cseres Tibor, 1973.

«Elveszített és megőrzött képek» — © Cseres Tibor, 1978.

РОЗИКА

Спасение души

Занемевшими после ночного бдения пальцами старуха закрыла еще теплые веки молодой покойницы.

Такое уж ремесло было у вдовы кузнеца—глаза закрывать покойникам. Случалось их в месяц по нескольку, так что отвыкла вдова от жалости. Но Рози, молодку эту, было все-таки жалко. Из-за детей ее малых.

Жаль было ей закрывать глаза Рози—больше им не смотреть уж на тех, кто был люб их взору.

С этим завершающим движением стало ясно: смерть, ожидаемая уже которую неделю, пришла. Вторая старуха, мать покойницы, все это время по-рысьи внимавшая каждому шороху, вдруг заголосила.

— Рози, Розика ты моя!—взывала живая к умершей.

В душевной комнате их осталось двое. Третья, бездыханная, теперь уж не в счет. Как кровать, на которой она лежит, или разошедшийся шкаф, хотя и повидал он здесь многое за свои полвека.

Старуха мать сидит у печи на краешке лежанки; она, всхлипывая, отворачивает и прячет в платок лицо, однако же все примечает, за всем зорко следит—даже тайная мысль, мнится ей, не укроется от ее внимания. Еще в полночь запало ей в душу подозрение, что задумала вдова кузнеца к рукам прибрать ее Розику.

Потому и не помогает ей старуха ни в чем, чтоб в грехе не участвовать...

Вдова же, словно помолодевшая от прохладного ветерка, вернулась уже со двора и возится у печи, раздувает огонь.

Сноровистая женщина эта деревенская обряжалница, решительная. И по решительности своей, да из жалости к отходящей не допустила до нее попа, душу ей надрывать. Пускай, думала, верует бедняжка до последнего, что оправится еще от хвори. Та и верила до конца и умерла, не испытав ужаса, что охватывает сердца умирающих при последнем напутствии.

Старуха, следившая за происходящим с лежанки, рассудила по-своему: занадобилась, значит, «колдунье» дочь ее, коли соборовать не дала. «Тело-то земле достанется, да что с того, если душу себе заберет ведьма эта. Горе, горе тебе, Розика, горе нам всем!»

И решила она не участвовать в погублении души Розики.

Заполыхал в печи огонь, оглянулась сноровистая вдова, куда бы воды налить, в чем обмыть беднягу усопшую. Сидевшая у печи молчала. Пришлось обряжальнице самой посудину разыскивать. Корыто для стирки оказалось в хлеву у поросят—худуших, будто псы бездомные. И зачем бедноте поросята? Чтоб и корыта чистого не нашлось, ежели помрет кто в доме? Другое корыто, для теста, стояло в чулане. «Ну не в нем же устраивать последнюю купель! Может, хоть корчага найдется? Из нее и обмою. Все хоть возни поменьше. Платы-то ведь здесь не скоро дождешься».

Рано, как никогда, в задней комнате проснулись дети, две девочки. Хотели они поздороваться с матерью, похвалиться, каких смастерили себе детишек из кукурузных початков; детишек у каждой по двое—как у матери, и кашляют обе точь-в-точь как мать, во всем стараются походить на нее.

— Умывается ваша матушка, нельзя к ней сейчас,—останавливает их вдова. И укоризненно говорит старухе:

— Дала бы поесть сиротам да приголубила их хоть словом!

Но не добиться от бабки помощи—молчит как немая.

Приходится ей самой—только что от покойницы—браться за хлеб, доставать жир из бидона, лезть в солонку и в плошку с молотой паприкой.

Покормив, она выпроваживает детей и велит им играть на задах, у цветника...

Когда обряжальница внесла в комнату корчагу с нагретой водой—словно и впрямь собиралась молодка умыться,—старуха на лежанке встрепенулась, будто пробудившись от дремы. А может, так оно и есть? Может, и дочь ее, вздрогнув на ветхой кровати, проснется сейчас с облегченным вздохом?

Бывало уж у вдовы такое: оставит на минутку покойника, а он вдруг сядет да спросит напиться. Но Розика уж напиться не спросит.

— Приснилось чего?—повернулась вдова к печи.

— Там, где ты, лучше снов не видеть, не то выведаешь все,—сорвалось с губ скорбящей. Это был вызов хлопочущей в комнате вдове.

На смуглом лице обряжальницы не дрогнул ни мускул. Слышала она, какие о ней разговоры идут в деревне, и давно уж боялась обвинения, только не думала, что здесь оно ее и настигнет.

Похолодевшее тело покойницы не слушалось. Согнутые руки, ноги, шея вновь распрямлялись. Сначала нужно

было стащить с нее рубашку, в которой она умирала,— липкую, пропотевшую,— а потом обрядить, как подобает умершей молодке— в подвенечное платье. Только ведь нет его поди, и было ли? Ну да ладно уж...

— Коли нет подвенечного, так давай хоть холщовое, что ли, в нем и проводим. Только чтоб чистое!

— Чего каркаешь! Подвенечного нету? Да я не ела, не пила, а наряд подвенечный для дочери справила. И сбережь сумела.

Она подхватила с лежанки и в сердцах рванула дверцу обветшалого шкафа. Свадебный наряд, белый и невесомый, покачивался в нем, будто душа, покинутая бранным телом. Старуха сдернула его и швырнула вдове на руки, отчего лицо ее так просветлело, что теперь уж нельзя было ей не повиноваться.

— Поддержи-ка ее со спины, пока обряжу!

И старуха увидела дочь обнаженной, какой не видала ни разу, ведь купала она ее только в детстве, когда на ребенке не было еще печати ни жизни, ни смерти, ни худа, ни добра, ни женской красоты. По лицу ее потекли слезы: впервые в жизни увидела она нагое тело. Розика, хотя руки ее были скованы смертью, ноги за время болезни исхудали, казалась такой красивой, что на минуту старуха простила чернявой вдове кузнеца все ее премудрости, всю науку ее, таинственную и непостижимую.

Старуха, покоровшись обряжальнице, безропотно выполняла все ее приказания. Но когда «невеста» была уже готова, она вздрогнула, словно отряхивая с себя чары, и, обессиленная, рухнула на лежанку. Там она, верно, и уснула бы, не заскрипи вдруг калитка, будто спасительный глас, возвестивший второе пришествие.

Отирая со лба холодную испарину, старуха сползла с лежанки, решив хоть на четвереньках выбраться на свет божий. Но ноги удержали ее, и она, пошатываясь, дотащила до крыльца, залитого солнечным светом; длинные тени показывали, что наступило утро.

В узком проеме калитки показалась линиялая черная кофта, над нею платочек с парой живых глаз, спросивших: «Отмучилась?»

Скорбящая ответила кивком, и только теперь, когда горестная весть выпорхнула за ворота, пронзило ее чувство вины: выходит, что предала она дочь.

Соседка в линиялой кофте откашлялась, собирая слова утешения, чтобы пролить их живительной влагой на убитое горем сердце, на сжатые в морщинистые кулачки материнские руки, но не успела принять скорбное выражение, как явились и другие соседи— посочувствовать да полюбопытствовать.

Не поднимая головы, сотрясалась мать в рыданиях, уверенная, что Розика ловит теперь каждое ее слово—ведь умершая еще не покинула дома и находится где-то поблизости: может, на крыше, но скорее в воротах, в каждом скрипе которых это чувствовалось, только от ее руки они так поскрипывали. И покуда чернявая в доме занята, поступит безвинная душа, как мать ей подскажет.

А калитка все скрипела и скрипела, открываясь. Женщин собралась уже целая стайка, пришли подружки усопшей молодки, иные с детьми,—проведать, куда же это отправилась их верная подруженька.

Молчаливо обступили они обессиленную родительницу, шептали что-то утешительное, боясь потревожить ту, что осталась лежать в доме. И не знали они, что, берясь за ручку калитки, пожимали руку Розики, ее голос слышали, не ведали, что тут она, у ворот, ждет, не может с места двинуться, пока не получит материнского напутствия. А не найдется у матери слов, так отыщет путь свой по слову того, кто сильнее окажется.

— Славная была девушка!

— Да и жены такой поискать.

— И собой пригожая.

— И хозяйка добрая.

— Жалко, в такие годы.

— Хорошие-то люди не заживаются.

— На то, видно, воля божия!..

— Да и ей, бедняжке, облегчение.

Но все, что шептали они, прерывая горестное молчание,—все это были слова. И добра, и красы—всего лишил бедную Розiku тяжкий недуг. И подружек прежних, которые давно уж избегали ее, боясь хвори и сглаза.

Но сердце старухи, сотрясающейся в рыданиях, отогрелось теплом утешительных слов и сочувствующих ладоней, и она, хоть и знала по голосу всех, кто открыл в этот день их калитку, обвела их глазами.

— Вечор-то приподнялась моя касатка на постели и села—светла как снег, а потом возвела глаза к небу и попросила испить молока. Да и чего иного могла она попросить, ежели не молока—белого, как душа ее непорочная. Ну я старшой-то и говорю: беги, детка, принеси молока кринку своей матушке. А Розика-то упрямится, вы уж сами мне принесите, матушка, из ваших рук хочу напоследок напиться, ведь и первый глоток я из вашей груди приняла, когда на свет народилась. А когда принесла я ей молока, то она уж, голубушка, только воды просила, воды, мол, мне дайте, воды.

Никто из слушателей не шелохнулся. Спрашивать было не о чем, ведь они все слышали и теперь представля-

ли себе, как бледнеет лицо Розики от выпитой воды, как угасает она с последней каплей. Вот не отступись она от молока да выпей его вместо воды, так, может, и жива осталась бы.

В цветнике, разбитом еще руками Розики, играют четверо ребятшек. Пеленают кукол, настоящих, с косичками, сложив самодельных уродцев из кукурузных початков под лопухом. Двое из них—соседские—серьезные. Они почти не притрагиваются к кукольным одежкам, хотя куклы, те, что с косичками, принадлежат им. Они уже прослышали от матери о случившемся и не мешают девочкам—пусть играют, сколько им хочется, сами же удивляются: неужто так просто может умереть мама?

Тем временем смуглая вдова неумолимо наводит порядок в четырех стенах, застывших вокруг неподвижной невесты. Знает она: каждое слово, звучащее во дворе, ей в ущерб молвится. И все меньше остается надежды, что ночные труды ее будут хоть как-то вознаграждены, ведь за что ни возьмется она—все тут хлам, все старье. Но, повинувшись долгу, она проворно освобождает комнату от ненужных сейчас вещей, чтобы вошедший видел только невесту.

— А за полночь снова приподнялась она, сердечная, на постели и спрашивает: «Слышите ль меня, матушка?» — «Слышу, дочка моя единственная», — отвечаю. «Дозвольте сказать вам мое последнее желание». — «Скажи, моя доченька, облегчи душу», — а сама уж вижу, что и впрямь последнее слово готовится молвить моя касатушка. «Простите, — говорит, — матушка, коли согрешила когда против вас». — «А и согрешила, — говорю, — так я уж того не помню». — «Хорошо, что не помните, только этого не довольно, вы и словом простите меня, матушка». — «Прощаю тебе и словом, коли слышать желаешь». — «Правда ли, прощают мне все?» — «Все, все тебе прощают, кто знает о каком грехе твоём или думает что». Тут уж она поверила и поцеловала вот эти сморщенные руки мои...

Еще дважды приподнимается на постели умирающая молодка и дважды молит свою матушку о прощении, и та снова прощает ей все грехи, снова протягивает морщинистые руки, чтобы единственная дочь ее могла покрыть их благодарными поцелуями.

И скорбящая мать воздевает руки к небу, как бы в подтверждение, что все происходило именно так, как она рассказывает.

Из дома же всякий раз слышатся приглушенные шорохи, будто кто-то тщетно пытается покорить своей воле бездыханное тело Розики.

А мать во дворе борется за нее, не отступает.

— И вот, когда в третий раз обещала я ей от родни всей, подружек ее и приятельниц, что ни единого греха не осталось непощенного, тут уж она поверила, успокоилась. «Покидаю я вас, матушка,—говорит она мне,—чтоб отправиться в края райские, в царствие небесное. А вы по мне не плачьте. Сами не убивайтесь, и детки мои пусть не печалются, ведь, коли простили мне все мои прегрешения, попаду я в хорошее место, не туда, где злодеи да грешники земные пребывают». И так она тихо это проговорила, что конец я едва уж разобрала. Но все же чутьем материнским расслышала, как сказала она напоследок: «Поцелуйте лицо мое мокрое и передайте поцелуй этот моим деткам, чтоб запомнили, как любила их мать». И больше уж, бог свидетель, не вымолвила ни словечка — скончалася.

Тут, покончив с делами, на крыльце показалась обряжальница. Она и виду не подавала, что слышала все. Будто ничто больше не удерживало ее в этом доме, собралась уходить.

— Пойду сготовлю себе чего, а то со вчерашнего обеда росинки маковой во рту не было.

Она никого не хотела обидеть, но все же говорить о еде, когда у всех на глазах слезы...

Так ведь в других-то домах хоть накормят, раз уж возится человек с их покойником. А тут мало, что смерть встречаешь, как ни страшно, когда холодеет под рукой испарина отошедшей, так еще и оговорят того и гляди.

— Ну, пойду стряпать, а то помру еще с голоду, как вы тогда без меня?

Она хотела пошутить, да только шутка эта как раз и убедила всех. И прежде всего скорбящую мать, которая поняла, что опасность покидает их дом и белая невеста может трогаться в путь.

Вдова кузнеца попрощалась и отправилась домой. Несколько женщин последовали за ней. Решили, наверно, проверить, не прихватила ли чего. И вообще, все, что можно было услышать в доме усопшей, они уже слышали.

Они остановились у перекрестка, откуда их голосов было уже не разобрать.

— Славная была женщина!

— А как померла-то красиво! Господи, как померла!

Женщины стояли, кивали головами. Вдова обернулась к ним и с ангельским спокойствием на лице сказала:

— Да уж и впрямь красиво померла. И сама не почувствовала, как пришла за ней смерть. Под конец-то, бедняжка, и не страдала уж. За всю ночь ни единого

слова не вымолвила. Только хрипела, стонала, сердечная, когда горло совсем пересыхало, и некому было воды ей подать — я-то из сил выбилась, устала ей губы смачивать.

1937

НА РАДОСТЯХ

Рождается ребенок

Мне только-только исполнилось двадцать лет, и я, конечно, стеснялся, что моя жена беременна. Еще за день до родов я со смущением раздумывал, как мне себя держать, когда окажусь отцом.

Дитя появилось в морозный январский день на рассвете, мальчик, и я разом забыл про всякое смущение.

Меня распирало от гордости, я даже решил раздобыть крепкой палинки для повитухи, тещи и Эржи, которая выстрадала такого горластого пацана, чтоб запомнили они этот рассвет. Да и мне тоже причиталось, ведь я-то больше всех маялся, и сколько уж месяцев, — надо же было готовиться, но, кроме рытья канав, другой работы не было, а в батраки идти я не хотел.

Хотя ночь была бессонная, я вышел на улицу бодро и с таким гордым видом, словно только что занял первое место в районе на соревнованиях по какому-нибудь виду спорта.

Мне же полагалось у левентовцев заниматься, оттого и мысли у меня были такие.

В кармане у меня притаилась бутылка для палинки, денег же не было — ни пенге, ни детишек его. Ни больших, ни малых.

По ту сторону мощенки, чуть поодаль, раскинулась корчма. Издали я приметил: дверь корчмы еще заперта и широкая железная полоса с навесным замком надежно ее охраняет. «Может, не будить корчмаря, — подумал я, — если проснется, вот уж взбесится и потом будет злиться. Так я и уйду несолоно хлебавши».

Палинку-то я мог раздобыть только в долг. И поэтому с каждым шагом вроде бы сдавался, даже в мыслях уже пошел на попятный. Но мне недолго пришлось колебаться, от намерения своего отступать. По мощенке к деревне катила телега, груженная мешками с зерном.

Возница был коренастый, плечи широченные, руки как лопаты, лицо багровое, словно осенний лист, и так же, как лист, сплошь в прожилках.

— Вставайте, дядя Шади, — крикнул он зычно, —

погреться бы чем-нибудь! Подкрепиться душой!

За дверью послышалось бормотанье. Вскоре из боковой калитки вышел корчмарь. Он возился с подтяжками. Видно, он уже не спал, и потревожили его, когда он одевался. Уже и короткая куртка была на нем.

Корчмарь откинул железную полосу на двери, прошел вперед и кивнул гостю, мол, заходите.

Я расхрабрился и тоже вошел.

«Дядя Шандор» отмерил вознице в маленькую бутылку с высоким горлом пятьдесят граммов палинки. Тот взял бутылочку в замерзшие руки и начал из нее потягивать.

Я склонился над стойкой и тихо сказал:

— У меня сын родился.

Корчмарь, которого я только про себя осмеливался называть дядей Шади, все понял по моему лицу. Будто затем, чтоб помыть стаканы, он отвернулся к надписи «В долг не отпускаем» — это был ответ на все мои намерения и разгаданную просьбу.

— Что случилось? — поинтересовался возница в перерыве между двумя глотками.

— Да вот, сын, говорит, родился, — бросил дядюшка Шади из-под надписи «В долг не отпускаем».

— Сын родился? — спросил возница. — В этакый холод?

Я кивнул.

— Мальчишка что надо, красивый, — продолжал я, потому что чувствовал: не могу больше молчать, — здоровый, кило пять, не меньше.

От палинки возница разогрелся, лицо его уже не казалось угрюмым, у меня же слюнки потекли, когда я увидел, как и последний глоток исчез у него в горле.

— Такое дело надо обмыть! С тебя причитается, — сказал возница с укоризной. Мой вздох и безнадежный жест корчмаря почти совпали, и он замолк. Надолго.

Возница оглядел меня с головы до ног. По одежде понял: денег у меня не водится.

Подумав, наконец сказал:

— Коли пять кило, надо обмыть! — И по его тону было ясно, что заплатит он сам.

Каждое движение дяди Шади, когда он разливал палинку, казалось мне священнодействием, что твоя месса в церкви.

Я медленно пил палинку, с каждой каплей мои окочевшие пальцы потихоньку согревались.

Корчмарь раскурил трубку, облокотился на стойку и спросил, теперь уже дружелюбно:

— Когда жена родила-то?

— Только что, — ответил я и почувствовал, что мой

голос крепнет.—Только что разрешилась.

Я засмеялся. Но тут меня перебил возница, мол, погоди, он заказывает еще по одной, но с тем, чтобы и дядя Шади выпил.

Корчмарь отнекивался, мол, сегодня утром он уже выпил свое. Отнекивался и я.

Но потом мы уступили, пусть платит, раз ему так хочется.

Мы помаленьку пропускали палинку, торжественно молчали. Последнее уж допивали, когда услышали, как лошади во дворе трягнули сбруей и заржали.

— Подождете!—прикрикнул строго возница и задумчиво продолжал:—У меня дома тоже трое пацанов, но они все народились весной и летом. Их вообще-то четверо было, да первый мальчонка двух месяцев помер от каких-то колик.

Лицо возницы было невесело, однако мы видели, что о сынишке он уже не горюет.

От крепкой палинки меня понемногу отпускало: разгладились морщины на лбу, уже не хотелось лезть со своим, ничто не мешало ворошить старое и надеяться на будущее. Вдруг меня осенило: я ведь знаю человека, который меня угощал.

На третьем проселке, слева,—поместье в тридцать хольдов, там у него хутор.

Корчмарь и я будто верили, что на палинку он заработал честным путем, хотя ясно было: угостил он себя (и нас) из денег за зерно.

Корчмарь поглядел на меня как-то так, будто его и впрямь самую малость заинтересовали мои дела. Я облизнул губы и только было хотел рассказать ночную историю, как вдруг возница покрутил усы и, не обратив внимания на мои приготовления, заговорил о том, как рождались его дети.

Про роды рассказывал так подробно, словно мы были врачи.

Он заказал нам всем еще по маленькой, заплатил, торопливо выпил свое и начал рассказывать про детские болезни.

Говорил про несчастья и беды, про то, сколько они натерпелись лиха, с каким трудом перебивались.

Возница платил, и право рассказывать, понятное дело, было за ним, но в душе я еще долго злился. «Пусть говорят либо о моем сыне, либо ни о ком»,—кипела во мне обида.

Но потом я невольно стал слушать. За постоянно повторяющимся «ну вот, значит» проступало что-то такое, что крепко-накрепко связывало хуторянина с женой и

троими подрастающими детьми. Какая-то отчаянная любовь и преданность слышались в каждом его слове.

Он говорил, а руки его двигались, не знаю, то ли вслед мыслям, то ли от палинки, но они на глазах становились все выразительнее: скажет слово—и тут же на пальцах показывает.

Возница рассказывал, что первого ребенка они предали земле раньше, чем он начал ходить, чем ступил на нее. А недавно, когда у самого младшенького три с половиной недели был страшный жар, он и ночами нянчил его, носил на руках. Поспать-то он очень любит, да все некогда.

Старшему сейчас девять годков. А поглядели бы, как прыгает—что в длину, что в высоту. Вот станет левентовцем, и все увидят, какой он ловкий. А руки? Руки-то у него золотые! Корзины плетет из ивовых прутьев—любо поглядеть! Среднему этой осенью в школу пора. Надо бы подумать о сапогах для него. Вот, еще только семь годков, а уж такой умелец... Возница все говорил, но ни словечка о том, чему дети в школе научились,—вроде бы то науки девчачьи! Он все рассказывал, какие они умельцы. Дошла очередь и до третьего сына, того, что недавно так сильно болел. Он тоже паренек крепкий и складный... Так стоял возле стойки возница, лицо которого было похоже на осенний лист, и ждал, очень ждал ободряющего кивка: мол, у кого такие сыновья, тому и горя мало! Корчмарь кивал. «Вот это да! Э, черт возьми!»—дивился он и за меня тоже этой небывалой отцовской гордости.

К концу рассказа возницы и мое лицо помаленьку прояснилось. А когда он умолк, у меня уж и в мыслях не было говорить о своем сыне. Он рассказал обо всем, что было здесь к месту.

Возница пожал корчмарю руку и снова назвал его—вроде как и за меня—«дядей Шади». Потом протянул руку и мне. Видно, сейчас ему почему-то хотелось кому-то руку пожать.

Лошади снова заржали. Замерзли, конечно, попоны-то на них не было.

В дверях возница обернулся. Приветливо, но все же больше как бы для себя, с гордостью спросил:

— Ну, теперь-то поняли, почему я за вас платил?

Я коротко кивнул, мне казалось—понял.

С этим он и вышел. Потрепал лошадей по крупу, забрался на сиденье, и, тихо скрипнув, телега тронулась.

Мы остались вдвоем. Корчмарь перевел взгляд на меня, но без любопытства. Видно было, ему не очень хочется меня слушать.

Но он все глядел на меня. Что мне было делать? Я

спросил еще стопку, осушил ее в два приема. Стопка звякнула о стол. Я задумался над словами возницы.

Думал об этом и корчмарь.

— Заметили?

— Да,—ответил я с готовностью.— А что?

— Что он все время говорил, какие они умельцы, а об их уме, о том, чтоб они что-нибудь говорили,—ни слова. Верно-то верно, но я не знал, к чему он мне это...

— Знаете, какие у него дети?

Я с удивлением глядел на корчмаря, ждал, что он скажет.

— Немые они, все трое, с самого рождения. И в школу не ходят. Ни один не ходит.

В голове у меня все смешалось. О вознице, о его любви к семье, я поверил бы чему угодно, но только не этому.

— Может, потому что весной и летом родились,—пролепетал я с дрожью в голосе. Мне стало страшно, ноги подкосились. Господи! Не дай бог, и мой сын...

Я почувствовал слабость и испугался, ведь если сейчас я стану удивляться немым этим детям, то «гордый» замысел мой так и останется замыслом!

Я решил, оперся локтями на стойку.

— Дядя,—начал я тихо,—на следующей неделе у меня будет работа. Сейчас у меня туго с деньгами. А хотелось бы и жену порадовать. Дайте мне грамм двести в долг. На той неделе я буду работать, мне обещали... я отдам... Тут уж будьте спокойны.

Я покраснел: право же, никому еще не отпускали палинку под более неверный залог!

Я зажмурил глаза. Прошло секунд десять-пятнадцать, и вдруг слышу—в руках корчмаря звякает бутылка и воронка. Открыл я глаза, взял в руки свою бутылку с палинкой и сразу понял, какой хороший человек корчмарь, и почувствовал, что теперь во всем мне будет удача.

— Могли б вы подумать такое?—удивлялся дядя Шандор.

— Ни за что бы не мог,—ответил я честно и видел: ему это нравится.

Полную бутылку я сунул в карман.

Корчмарь записал долг в книгу и попросил расписаться. Пока расписывался, я подглядел—он записал двести граммов. Только. Стопку не посчитал.

— Вы бы поверили, что все трое?—продолжал вполголоса дядя Шандор.—Представить себе невозможно, почему, господи, почему все трое?

Я поглубже засунул бутылку в карман, но не хотел

казаться неблагодарным.

— Почему? А вы представьте-ка,— у меня вдруг тоже появилось свое мнение,— что, если хоть один из них мог бы говорить! Что тогда было бы? Тех двоих он бы и не поминал. Только о нем бы и рассказывал... Или наоборот... может, как раз тот стал бы плохим, который говорить умеет...

Я сказал это, чтоб корчмарь как следует призадумался, почему он вначале ради моего дитяти не хотел отпускать в долг.

Когда я пришел домой, как раз задули лампу. Две старухи все еще не давали Эржи заснуть. С бутылкой в руках я подошел к кровати. Ребенок кричал во все горло, изо всех сил работал маленький язычок-говорун.

Так и стоял я с бутылкой палинки, словно и правда победу одержал по району в каком-нибудь виде спорта.

1937

ПОШЕЛ ПРОЧЬ, ВИТЯЗЬ!

Собачий укус поболит — заживет, а обидное слово сердце гнетет.

В прошлом году огород площадью в половину хольда принес добрый урожай, так что и теперь по весне его вскопали, взрыхлили землю граблями и собираются засеять. Дом с просторным двором и фруктовым садом пришелся как нельзя кстати: Кочишам выделили его в позапрошлом году, во время национализации. И лишь одно обстоятельство отравляло их радость: домик этот с садом отобрали у семьи Банхиди — управляющего имением, — давних и добрых знакомых. Правда, Банхиди держали там свою повариху, а сами как прежде жили, так и посейчас живут в доме из трех покоев по соседству. Верно и то, что Кочиши три года ютились впятером в одной комнатенке... И все-таки, чтобы не вызвать раздора, Кочиши вносили плату за пользование домом и бывшему владельцу тоже. Оно вроде бы и не обязательно, да уж слишком мизерна та сумма, какую следовало вносить в сельский совет. Ну а с тех пор, как село заделалось районным центром, счастливымчиком мог считать себя каждый, кому удалось арендовать хотя бы крестьянскую хату.

И вот уже неделя, как оба они — и муж, и жена — после школьных занятий сразу же спешат домой. Картошка, кукуруза и мак уже посеяны, а сегодня хозяйева

намеревались посадить овощи. Земля пересыхает, да и рассада — помидоры, паприка, — купленная нынче утром на базаре, как бы не завяла.

Учитель Дюла Кочиш наскоро переодевается. Натягивает старые, потрепанные штаны, в каких привык задавать корм поросенку, сбрасывает башмаки, а рубаху можно и не менять, ее не жалко: перед и воротник из полосатого поплина выглядят вполне прилично, зато полотняные спина и рукава порядком износились, только и надевать разве что под пиджак. Учитель Кочиш лыс ото лба и до самой макушки, босой, неказистый — так, ни дать ни взять сапожник какой-нибудь.

Жена его смуглая от загара и даром что учительница, а, судя по всему, очень даже пригодна к садовым работам.

Кочиши надежно запирают калитку, чтобы их ненароком не застали за работой.

Полтора часа трудов — и вся рассада паприки высажена.

Под конец женщина тоже решает разуться: комочки земли насыпаются в туфли, и босиком оно сподручнее.

Муж и жена распрямляют спину, чтоб малость передохнуть. Тяжело с непривычки, в особенности если другая работа уже измотала.

— Надо было бы и капустной рассады взять, — говорит муж.

— Да, жаль, что мы не сообразили, — соглашается жена и смотрит на небо. — Только дождичком чуть прихватит, и вся рассада в рост пойдет.

Оба озабоченно смотрят на небо, пытаясь определить, сулит ли оно дождь.

У калитки раздается стук.

— Слышишь?

— Конечно, слышу! Кто бы это мог быть?

С минуту оба стоят в нерешительности: может, и не открывать.

Стук раздается еще громче. Кочиш направляется к калитке, однако тот, кто стоит по ту сторону, не видит его и принимается колотить еще настойчивее.

— Иду, иду, — не без раздражения бросает учитель, и стук прекращается.

Лишь когда Кочиш поворачивает ключ в замке, его пронзает мысль: «Неизвестно, кто там пришел, а я в таком виде». Но теперь уже отступать некуда.

В калитку сперва проскальзывает гончий пес, а за ним входит госпожа Банхиди под зонтиком от солнца.

— Целую ручки... — Учитель заливается краской. — Прошу прощения, что встречаю в таком неприглядном

виде. Мы тут возимся в саду... вроде как в спорте упражняемся.

Барыня понимающе кивает: «Мужицкая кровь дает себя знать».

— Пожалуйста, пожалуйста.

«Ты тоже могла бы выбрать другое время»,— думает Кочиш. Но госпожа Банхиди, не дожидаясь приглашения, проходит к крыльцу, попутно окликая собаку, и от взгляда ее не укрывается ни одна мелочь, словно бы она намеревалась проверить, что тут изрыто-испорчено.

Кочиш медленным жестом закрывает калитку—теперь уже нет смысла запираяться.

— Этушка, иди сюда,—кричит он, обернувшись к саду.—Смотри, какая гостья дорогая к нам пожаловала!— А сам со стыда готов провалиться за свой босяцкий вид.

Кочиш начал учительствовать двадцать пять лет назад в школе при барской усадьбе, тогда-то, смолоду, и усвоил он почтительное отношение к госпоже Банхиди. Ведь управляющий и его супруга были самыми большими господами, с кем доводилось вступать в разговор скромному сельскому учителю.

Кочиши считают: им надо бы радоваться, что госпожа Банхиди не держит на них зла из-за предоставленного им жилья. Вот только бы знать, с чем она пожаловала и куда метит: без цели-причины барыня сроду к ним не заглядывала.

Навстречу гостье выходит и жена Кочиша, вытирая перепачканные в земле руки об выгоревшее на солнце ситцевое платишко.

— Целую, милая Этушка!..

— Добро пожаловать...—отзывается учительница, а про себя думает: «Что б тебе прийти попозже, тогда мы и с помидорной рассадой управились бы».

Полдюжины утят пробираются с птичьего двора в палисадник, поскольку кирпичный цоколь на довольно большом участке под проволоочной изгородью бог весть куда подевался. Белокурая барыня, расположившись в плетеном кресле, неодобрительно взирает на желтых птенцов, оживленно копошащихся среди цветочной зелени.

«Вот зачем она явилась»,—подрагивает уголок рта у учителя, и он едва сдерживает улыбку при мысли: желтизна утиного пушка первозданна, чего не скажешь про волосы госпожи Банхиди. Откуда только берутся у старухи средства на краску для волос? Кочиш уходит в дом.

Белокурая барыня разражается смехом: пес вдруг припадает брюхом к садовой тропинке, а в следующий момент, зажатый в его пасти, отчаянно трепыхается крохотный утенок. Заслышав смех хозяйки, пес выпускает свою забаву, весело тявкает и тут же тянется к следующему утенку. Витязь одного за другим опрокидывает навзничь и обнюхивает насмерть перепуганных птенцов, а госпожа Банхиди не нарадуется потешному зрелищу.

Но вот взгляд ее падает на учительницу.

— Чего ты так всполошилась, дорогая? Не бойся, он не причинит им вреда, просто поиграет немножко. Витязь, а ну, пошел прочь!

Пес тотчас оставляет в покое утят, а те, тесня и отталкивая друг дружку, протискиваются в щель под изгородью к спасительному птичьему двору.

Кочиш, пройдя в дом, обул сандалии и облачился в синий полосатый купальный халат. Вещь эта была приобретена давно, в надежде, что когда-нибудь они всем семейством, может, станут ходить на пляж... Учитель опускается в плетеное кресло, угощает гостью сигаретой и заводит разговор о погоде, о ценах.

Госпожа Банхиди отвечает нехотя; нахмурив лоб, вставляет сигарету в длинный мундштук — словно сердится на что-то. Неожиданно резко одергивает она собаку, которая взволнованно обнюхивает проволочную изгородь, будто учуяв запах еще более соблазнительной добычи.

— Витязь! А ну, пошел прочь!

Гончий пес, поскуливая, уходит с глаз долой, подальше от вскопанной клумбы.

Тем временем и жена Кочиша успела переодеться. Разговор переходит на тему о дороговизне. Все оно ничего, вот только бы вопрос о жалованье учителям наконец урегулировали.

— Как же, держите карман шире! — презрительно отмахивается гостья. — Но тебе, Этушка, конечно, следовало бы нанять прислугу в помощь.

— Еще бы! — вздыхает учительница. — Трое ребят, да все хозяйство на моих плечах: и стирка, и свиньи, и мелкая живность! Хотя грех жаловаться — вставать к ним я и за труд не считаю. Подсвинок да два поросенка, растут не по дням, а по часам. Тысчонки две за них можно будет выручить... Хочешь взглянуть?

Гостья отрицательно качает головой.

— Надорвешься ты раньше времени.

— Счастье еще, что удастся столоваться при школе: за четырнадцать форинтов можно впятером пообедать.

Гостья выпускает густую струю дыма.

— Я бы этот «обед» и в рот не взяла. Жаль мне тебя, милочка.

— Зато я от стряпни избавлена,—с расстроенным видом оправдывается учительница.

— Все равно. По мне, уж лучше с голоду умереть, чем к такой стряпне притронуться.— Госпожа Банхиди внезапно обращается к мужчине: — Правда, что вас снова прочат на место директора, Дюла?

Кочиш удивлен. Ему на этот счет ничего не известно. Для него это давняя обида: по его мнению, нынешний директор получил свой пост не по заслугам.

— Откуда вы об этом прослышали, ваша милость? — оживленно интересуется он.

Госпожа Банхиди, опустив веки, качает головой, словно давая понять, что ее не проведешь.

— Я слышала, вы теперь и русский преподаете.

«Так вот чего она заявила!» — осеняет хозяев дома. Несколько недель назад преподавателя русского языка увезли в больницу, а Кочиш во время плена научился довольно сносно изъясняться по-русски. За уроки ему посулили дополнительную плату, и у Кочишей даже в мыслях не было отказываться от этой возможности.

— Ведь ваша специальность — история и венгерский язык, не так ли?

Госпожа Банхиди отлично помнит, что Кочиш окончил педагогический институт, а иначе она бы и не заходила к соседям.

Кочиш и его жена подавленно молчат: от этой нескроешь, она все видит-примечает!

— Я полагала, вы решились на это карьеры ради! И все же нельзя до такой степени идти у них на поводу!

— Мы не думали, что тут можно усмотреть дурное...

Учительница со стыда опускает голову. Ее муж пытается пробормотать что-то в свое оправдание, но затем, чувствуя себя загнанным в угол, переходит в нападение. И обрушивается на барыню под статью босяку:

— Я ведь тоже мог бы задать вопрос вашей милости, почему господин управляющий выполняет поставки урожая со своей земли или сдает вино с каждого хольда виноградника. Или, может, он не выполняет поставки?

Гостя обиженно поджимает губы.

— Это совсем другое дело! Поставки выполнять мы обязаны, иначе нас обоих могут забрать.— Она глубоко затягивается сигаретой.— А перевыполнять — нет уж, дудки! Ни на зернышко! Ни на единый грамм, ни на литр!

И тут у Кочиша срывается дерзкий вопрос:

— Выходит, ежели обстоятельства переменятся, то человека могут призвать к ответу за то, что он преподавал

русский? А почему он это делал — тоже с него спросится?

— Еще как спросится!

— А почему он научился русскому, тоже поинтересуются?

— Разумеется!

— Глядишь, и за четыре года, проведенные в плену, мне тоже отвечать придется?

На столь беззастенчивую наглость госпожа Банхиди даже не считает нужным ответить, знай себе дымит сигаретой, пока не заходится жестоким кашлем.

Учительница испытывает все большую неловкость за поведение мужа.

— У Дюлы этого и в мыслях не было... — старается она задобрить супругу управляющего: как-никак, а соседка и домовладелица.

А учитель молчит, упорно думая о своем. И вдруг снова заговаривает:

— Ну, а за карточной партией вам не доводилось поинтересоваться у господина судьи, почему он на судебных процессах выносит приговоры кулакам?

Белокурая госпожа не отвечает и на этот вопрос. Побагровев от гнева, она поднимается с места и подзывает к себе собаку.

Учительница забывает обо всех попытках оправдать мужа, поскольку в этот момент замечает, что Витязь растерзал в клочья разложенное для просушки лучшее ее кухонное полотенце.

Нужный ответ приходит на ум госпоже Банхиди лишь у калитки:

— У господина судьи совсем другая ситуация! Однако смею вас заверить, он в чем только может помогает людям.

Вечереет. Возвращаются домой ребятишки. Старшая, четырнадцатилетняя девочка, ведет младшенькую, семилетнюю. Мальчику десять лет, он сжимает в руках самодельный лук, над которым трудился в роще до самого вечера: вырезал, строгал, отделывал.

На ужин каждому по кружочку колбасы да по кружке молока — и на том спасибо. А после ужина — на боковую.

В спальне две кровати сдвинуты вплотную: одна — отцовская, другая для матери, а на гладильной доске, положенной меж двух родительских кроватей, стелют младшенькой. На кушетке у изголовья кроватей спит старшая дочь (отец преподает историю у нее в классе). В углу — детская кроватка, мальчик пока что помещается в ней. Старшие молятся перед сном — чтобы подать пример малышке. Последней добирается до постели мать. Младшенькая девочка к тому времени уже спит. У отца на

тумбочке горит лампа, а подле лампы лежит объемистая книга, один из томов истории Хомана—Секфю: Кочиш каждый вечер черпает отсюда материал для очередного урока.

Он бы читал про себя, но жене тоже интересно, да и старшей девочке не помешает: ведь в классе она этого не услышит.

Мальчик, пока его не сморит сон, тоже прислушивается к чтению.

Иной раз чтение затягивается на целый час, но вопросы задает только дочка. Мать ровно посапывает во сне.

Когда и дочка перестает приставать с расспросами, отец громко заключает:

— Ну, пора спать.

Девочка, вздрогнув, сонно бормочет:

— Спокойной ночи.

В половине пятого хозяйка пробуждается от глубокого сна. Не тратя времени на умывание, по утреннему холодку спешит она к птичнику. Выпускает на волю кур, бросает им горстку зерна.

Хорошо, что поросята пока еще не проснулись, можно сперва замочить, а потом уж и размешать для них корм.

Хозяйка поворачивает было к летней кухне и вдруг вздрагивает от испуга: подумать только—собака! Наткнешься в потемках на эдакое чудище, так нехитро и закричать с перепугу.

— Витязь, а ну пошел прочь!— Собака облизывается и скалит зубы будто в ухмылке.— Пошел вон, Витязь!— При этом резком окрике пес, прижав уши, одним прыжком перемахивает через забор.

Корм поросятам Этушка замочила. Черт бы побрал этого мерзкого пса, не иначе как утят выслеживает.

Тут ей вдруг приходит на ум помидорная рассада. Женщина поспешно направляется в огород и высаживает ее. По пути с огорода она проходит мимо свиного хлева.

На звук ее шагов один из поросят отзывается тихим хрюканьем, однако не из хлева, а из загончика... Женщина вынуждена ухватиться за загородку, чтобы не упасть без памяти: один из поросят недвижно застыл, уткнувшись окровавленным пяточком в дверцу загона.

Хозяйка поспешно распахивает дверцу, пытается было поднять неподвижную тушку, но стоило только ей протянуть руку под шею поросенка, как пальцы ее натыкаются на зияющую рану. Песок под несчастным животным весь пропитан кровью.

В ужасе поднимает женщина свои окровавленные руки, у нее нет сил даже обтереть их.

— Хрюшки мои, хрюшеньки! — Она зазывно склоняется к дверце хлева.

На зов ее отвечает подсвинок — жалобным похрюкиванием. Его долго приходится выманивать, упрасывая ласковым тоном. Наконец показывается поросычье рыльце, и хозяйка не в силах сдержать слез.

Животное как бы жалуется хозяйке, не решаясь выйти из укрытия: ухо у него висит на лоскутке кожи, вдоль пятачка глубокая царапина, а на хребте сплошная рана.

— Больно тебе? — с состраданием повторяет женщина.

Затем она принимается искать второго поросенка. Болезненным, приглушенным хрипом отвечает он из хлева на ее зов.

Судя по всему, поросенок еще жив, но до того страшно к нему притронуться!

Что же делать, как быть? Слезы у женщины струятся неудержимо. Она поднимает со сна мужа. Кочиш, натянув брюки поверх ночного белья, спросонок бредет во двор и даже на месте происшествия не может взять в толк, что же, собственно, случилось. На него вдруг накатывает приступ кашля: «Видать, перенял у госпожи Банхиди!» И следующая мысль: «Нельзя было помещать подсвинка в одном загоне с поросятами!»

Кочиш поднимает поросенка, чтобы вынести его наружу, и прямо на руки ему вываливаются теплые поросычьи внутренности. Не похоже, чтобы животные сами поранили друг дружку. Тогда в чем же дело?

Женщина, уткнувшись лицом в передник, оплакивает свою потерю. Купить других поросят? Нет, такие траты им не осилить.

— Полно тебе убиваться, пока что все трое живы. Сбегаю-ка я за ветеринаром.

Однако, пока он одевается да собирается, поросенок с разорванным горлом успевает испустить дух.

Ветеринара Кочиш не застал дома, того вызвали на хутор. Жена ветеринара обещает прислать его к Кочишам, как только он вернется.

Учительница сегодня все равно была бы не в состоянии проводить уроки, так что она остается дома присмотреть за хозяйством. Однако ей не до хозяйственных забот-хлопот, она знай себе плачет...

В полдень запыхавшись прибегает домой Кочиш. Приходил ветеринар? Да, приходил, велел обрабатывать раны дезинфицирующим раствором. Пока промазывали раны, поросенок несколько раз вскрикнул; визжать, как и положено поросенку, у него не было сил. Вечером, перед

тем как ложиться, Кочиши, прихватив фонарь, наведались в хлев. К тому времени поросенок лежал бездыханный.

Господи, только бы подсвинка уберечь! Наутро тот ел с прежним аппетитом, а у хозяев все думы только о нем. Они навещают его и днем, и вечером в течение двух суток. А на второй день ввечеру подсвинок отказывается хлебать помой. С наступлением темноты Кочиш бежит за ветеринаром. Тот приходит поутру, делает противостолбнячную прививку. А на следующий день и подсвинка уносит хворь.

Хоть бы госпожа Банхиди пожаловала... Но она теперь к соседям и глаз не кажет. Как ни кинь, а придется Кочишам самим идти к Банхиди. Такой оборот дела им не по нутру, тем более что Кочиши сроду ни с кем не судились: на кривую дорожку никогда не сворачивали, никаких уступок да поблажек ни у кого не просили. Ежели что по закону положено—какое продвижение по общественной лестнице,—никуда не денется; бывает, конечно, что со вчерашнего дня блага причитаются, а до Кочишей лишь завтра дойдут, но домогаться своего сегодня же—заворотно. Если же твое законное перепадает другому, то—на этот счет у Кочишей опыт кое-какой имеется—хлопотать да пороги обивать и еще того заворнее.

Делать нечего: приходится Кочишам смирить гордыню и идти к «домовладельцам».

Идут они оба—ведь Этушка выступает свидетельницей. Однако принимает их один Банхиди, хотя присутствие его супруги угадывается (да и куда ей подеваться в эту пору?). Для Этушки такой прием—кровное оскорбление.

Кочишам вскорости пришлось выложить все начистоту: неумолимая строгость голой, как бильярдный шар, головы и внушительных бакенбард управляющего исключала возможность какого бы то ни было запирательства.

Банхиди с преувеличенным изумлением всплескивает руками:

— Боже милостивый! Неужто и вы, господин учитель, решили нас по миру пустить?

А ведь прежде соседи были на «ты».

— И надо же такое придумать! А еще взрослые, образованные люди! Ну посудите сами: что мне за дело до этой грязной падали, до ваших поросят? Я, видите ли, должен возместить вам убыток хотя бы наполовину! Да это сущий заговор против меня! И с какой стати платить, господи боже мой? Выходит, полное разложение правопо-

рядка неизбежно вызывает у людей полную атрофию чувства справедливости?

— Вы не о том изволите говорить.— Кочиш невольно снова впадает в тон сельского учителяшки.

— Как это «не о том»? Кто видел нашу безвинную собаку? Может, у вас есть свидетели?

— Я,—робко пролепетала Этушка.

— Полно вам!—отнюдь не по-рыцарски обрывает ее лысый.— Да наша собака сроду не покусилась даже на беззащитного куренка! Она у нас отварной телячьей печенкой питается, каждую неделю для нее из Сегеда выписываем.

Кочиш понимает, что их пытаются обвести вокруг пальца. Однако уйти им пока еще не дозволено.

— Вам ведь известно, что у нас два поросенка, не так ли?

— Да.

— Значит, вы желаете получить половину? Вбили себе в голову какую-то чушь, а мы своей собственностью расплачивайся?

Меж тем Кочиши и намека не делали на соседских поросят.

— Вижу, вижу, к чему вы клоните! Ну, знаете ли, это просто... возмутительно!

Кочиши бредут домой, приниженные и несколько поколебленные в своей уверенности, будто бы соседский пес — виновник их беды.

Паприка подросла настолько, что ее уже можно было окапывать, а помидорная рассада так и не принялась.

Горечь отравляет все вечера в учительском доме: нет ни радости, ни покоя. Всему виною собака—кроме нее, некому: в этой мысли все больше утверждается и сам Кочиш по мере того, как жена вспоминает все новые и новые подробности.

Теперь уж Кочишам не до стыдливости, надобно требовать возмещения. Но пока Дюла медлит да колеблется, проходит еще два дня. Получается, что сейчас, когда управляющему и без того худо приходится, вроде бы и они выступают против Банхиди.

Кочиш обращается в сельский совет—но это уголовное дело.

Кочиш идет в милицию: милиция могла бы провести следствие, однако выкапывать свиней из земли никому неохота; вот разве что за счет учителя.

На это и Кочиши не согласны; да и следствием ничего не установишь. Зато можно обратиться в суд. Ведь и

свидетели имеются, кто видел израненных поросят: ветеринар, кое-кто из соседей и живодер.

Однако районный судья дает им отсрочку—может, одумаются или попробуют уладить конфликт. Ну а уж если по-другому не получится, тогда придется дело возбудить.

До суда пока что не дошло, однако Банхиди уже прознали о намерении соседей не давать им спуска и при встрече испепеляют Кочишей взглядами.

Но Кочиш зашел так далеко, что отступать ему теперь некуда. Он подает заявление в суд, даже не пытаясь прийти к какому-либо соглашению с хозяевами Витязя.

Пса иногда видно на улице. Он, словно в улыбке, скалит зубы и очень дружелюбен со всеми, вот разве что порезвиться не прочь. При разбирательстве дела и его можно бы привлечь к дознанию. Правда, для этого понадобился бы подопытный поросенок, а это лишние траты.

В районном суде дело разбирается в ходе одного-единственного заседания. За неимением улик просьбу истца решено отклонить.

Для Кочишей только всего и проку, что теперь, наконец рассорясь с соседями, они перестают вносить им плату за дом.

Но ни счастья, ни покоя семье нет.

Конец вечерним чтениям вслух, конец смеху и шуткам, прежде скрашивавшим дни. Хозяйка с тоски убивается: «Наших поросят закопали как падаль, а я должна изо дня в день слушать, как этот мерзкий пес брешет за забором!»

Вот уж и август на исходе, солнце ласкает и греет—погодка собаке на радость, а Кочишам никакого облегчения.

— С ума спятить можно,—хватается за голову учитель; у него теперь одна забота: женина кручина. Ему уж и убытка не жаль, вот только из-за напрасных мучений досада берет. Но горе жены отзывается в нем болью.

Мужчина, который отродясь мухи не обидел, детишек своих пальцем не тронул и, провоевав два года на фронте, ухитрился не пустить в ход оружие, не в силах видеть эту иссушающую тоску.

Долго ломал голову Кочиш, пока не вспомнил о телячьей печенке.

Пришлось приглядываться к мясникам, когда те управятся со свиньями-мангалицами. На эту субботу выпал черед теленка резать. Половина телячьей печени досталась Кочишу; погруженный в холодную воду, отлеживается лакомый кусочек в прохладной кладовке. А иначе и не сбережешь: опять жара наступила, в понедельник уже с

рассвета дышать было нечем.

После обеда вся улица точно вымерла, и соседний двор погрузился в сон крепче обычного.

Действиями Кочиша руководит опыт, волей-неволей накопленный за то лето.

Крохотный кусочек печенки зажат в пальцах.

— Шш-ш, Витязь, тише!

Пес выходит из укрытия, потягиваясь спросонок. Учувя запах, подступает ближе. Один кусок ему достается по ту сторону ограды, а второй — уже по эту.

— На, Витязь, на! — Сквозь холщовый мешочек бьет в нос запах свежей крови.

Витязь радостно тявкает.

И вот уже пес на улице. Время от времени совесть напоминает ему о брошенном без надзора доме, но телячья печенка так соблазнительно пахнет! Человек и собака быстро идут по улице и вскоре скрываются, удаляясь к саманным ямам.

Этушка просыпается со словами:

— Этот треклятый пес опять разбудил меня своим лаем.

— Не может этого быть, родная.

— А я говорю — Витязь лаял.

— Нет больше Витязя.

Женщина не верит своим ушам, и Кочиш вынужден рассказать ей, что произошло в самый зной, пополудни: он застрелил соседскую гончую из пистолета.

— Где тебе, ты и букашки-то не раздавишь!

— А на этот раз пришлось...

Жена встает с постели, направляется в кладовку, ищет оставленный там кусок печени.

— Ведь ты сам просил ко вторнику обжарить ее в сухарях.

— Не мог же я сказать тебе правду.

— Полно дурачиться! Ты и в солдатах-то не умел стрелять в цель!

— Тут не надо было целиться.

— И шума никакого не было слышно.

— Я тихонько позвал его.

Женщину передергивает от омерзения, и она сердится на мужа за неуместный розыгрыш.

— У нас даже и пистолета нет.

Дюла вытаскивает какую-то кобуру — ее прежде не было в доме. Дуло пистолета еще хранит тепло.

— Зачем, по-твоему, я ездил вчера в Сегед?

И — слово за слово — он рассказывает, как пес, заглотнув кусок печенки и дожидаясь следующего, схлопотал пулю в лоб. За околицей, у саманных ям.

Этушка дышит глубоко, полной грудью.

Больше они не говорят о собаке.

Прислушиваются к тому, что происходит на соседнем дворе.

Вскоре там начинают звать Витязя. Зовут все громче: «Ви-и-тязь!» И надрывный зов этот длится не умолкая до самой темноты.

Этушка лежит улыбаясь. Улыбка на ее лице не видна, но Дюла знает, что жена улыбается.

— Красивый пес был, поневоле пожалеешь,—говорит учитель уже в постели.

И чуть погода спрашивает:

— Почитать вам, девочки?—от полноты чувств причисляя к «девочкам» не только дочку, но и жену.

— Почитай!

— Читай, папа!

Раскрыт том истории.

Сынишка тоже слушает, пока его не одолевает сон.

Дочка оживленно задает вопросы. Мать посреди третьей страницы начинает равномерно посапывать носом. Но вот и дочка умолкает.

— Ну, ладно, пора на покой,—вспугивает ее оклик отца.

— Целую руки,—спросонок бормочет девочка.

Кочиш вглядывается в лицо жены. На нем и следа бывшей тоски не осталось.

1953

КОРНИ ЗОЛОТОБОРОДНИКА

Ковыль-трава кольшется...

Уж два года, как пристрадались в Кереки к сбору корней. Поначалу их собирали школьники во время каникул да несколько стариков-пенсионеров. Но уже прошлым летом сборщиков прибавилось. Целыми ватагами отправлялись они по утрам в Нир, точнее, в лес, что находится неподалеку от Нира. Одни работали артельно: выбирали себе поляну и наваливались на нее всем скопом. Другие предпочитали ковыряться в одиночку—никто не мешал им.

За килограмм корней фабрика платит восемнадцать форинтов. Хорошие это деньги. Правда, с прошлого года сырье принимают только отборное—щеточники взбунтовались: потребовали от дирекции или норму им убавить,

или корни давать длинные и без мусора. Мол, из грязи да мусора не только коврижек — и швабры не сделаешь. Вот и стали приемщики строже глядеть, на что государственные денежки расходуют. У детей корни больше не принимали, а только у их родителей, и школьники быстро утратили интерес к золотобороднику. К тому же, как стали поговаривать еще прошлым летом, не очень-то и выгоден этот промысел, оскудел нирский лес.

Нет больше там золотобородника на полянах. Так, по кусту кое-где.

Дневная добыча стариков редко когда превышает четыре-пять килограммов. Иной полдня проползает по лесу, покуда наткнется на лужайку золотобородника — растения с характерными волнистыми листьями и жесткими, как щетина, корнями. Поэтому к находкам друг друга относятся уважительно. Свои места каждый помечает вешками с особыми зарубками — чтобы не вышло недоразумения.

А если случится, что кто-то, несмотря на запретные знаки, посягнет на чужие владения, то за справедливостью, по общему согласию, обращаются к его превосходительству Тихамеру Камути. Он внушает доверие даже самым старым из сборщиков, ходившим, бывало, в имение на поденку. Еще бы, ведь во время войны он возглавлял управление в министерстве. Но Камути не просто старорежимный сановник. После войны, когда делили господские земли, ему оставили часть поместья — сто хольдов. Оставили потому, что в сорок третьем, вовремя выйдя на пенсию и поселившись в имении, он в один голос с крестьянами поносил Юрчека* и все правительство. А в сорок девятом, как началось на селе кооперирование, успел предложить государству и эти сто хольдов, избежав таким образом раскулачивания. За ним не осталось ничего, кроме личного имущества, барских манер да титула «его превосходительство», как кое-кто еще величает Тихамера Камути. Но вид у него такой, будто ему и этого вполне достаточно. Однако ж, в последнее время, похоже, он стал нуждаться в заработке. Берется то за одно, то за другое. Теперь вот пытается счастья в сборе золотобородника.

Работа эта не трудная, но все же крестьян, особенно молодежь, она не прельщает. Стыдятся.

Молодых на промысле двое: трубочист Жугонич и бывший лавочник Тарци. Они держатся особняком.

* Юрчек, Бела — министр ряда венгерских правительств в годы второй мировой войны, инициатор введения принудительных сельскохозяйственных поставок.

В первый раз Жугонич отправился за корнями осенью—нужно было поправить метлу, которой он чистил дымоходы и печные трубы (прежде ему это и в голову не пришло бы, но, с тех пор как лишился привилегий вольного трубочиста, он при заработке в шестьсот форинтов уже не покупал инструмент в магазине). За полдня трубочист набрал килограммов десять, так что не только свой инструмент привел в порядок, но и с приятелем своим, тоже трубочистом, поделился и дома еще осталось столько, что кухня с неделю была завалена корнями, пока жена с тещей (в ту пору он с ними был уже на ножах) не выбросили их за порог. Из-за этого они снова повздорили, что было у них, повторяю, явлением обыденным. Ведь жена выходила за него, когда он был кустарем с приличным заработком (и теще был по душе), а что он имеет теперь? Каких-то шесть сотен. И так они поругались, что Имре вернулся к родителям. За вещами он послал старика отца, велел забрать одежонку да плетеную корзинку. Тот забрал, потом сходил еще раз и приволок выброшенные корни. Осерчал на него Имре. Однако ж, когда сдал их старик на фабрику, выручив чуть ли не полторы сотни форинтов, диву дался.

С тех пор, забросив свое ремесло, промышленяет он корни золотобородника.

По лесной поляне шагах в двадцати друг от друга ползают двое мужчин. Имре Жугонич, молодой трубочист, передвигается от кустика к кусту на коленях; почти не поднимая головы, выкапывает он из мягкой песчаной земли корни вместе с зеленым стеблем. Колени у него обмотаны мешковиной—бережет брюки. Бывший лавочник Тарци одет в бриджи, у него на коленях с той же целью нашиты кожаные заплатки.

Этот Тарци! Уж он-то, считает молва, мог бы и постыдиться такого занятия. Да и зачем ему работать? Мало он на своей лавке нажил?!

Нынче они собирают не золотобородник, а корни ковыля. Работа кропотливая, требующая сноровки, зато за нее полагается надбавка. На эту широкую поляну в глубине леса наткнулся вчера Жугонич. И тут же показал ее Тарци. Без особого умысла, просто так. Пускай полюбуется да похвалит: мол, ну и местечко вы себе приглядели! Тарци помог ему обозначить лужайку, обставить вешками—чтобы кто руку не наложил. Конечно, он и сам не прочь был заняться ею. Его мучила зависть. «Ведь мог же и я ее обнаружить!»—озлобленно думал Тарци, выпшагивая по лужайке. И вдруг радостно завопил: за кустами, у самой опушки, шелестела ковылем еще одна поляна.

Все хоть какая-то польза от того, что он ходит с этим олухом Жугоничем.

Тарци, собравший вчера всего-навсего пять кило золотобородника, и домой не хотел уходить, да харчи у него кончились.

И вот сегодня они вместе отправились в нирский лес. По дороге Жугонич зябко ежился и жаловался напарнику, что спал этой ночью скверно, видел во сне жену, которая резала молоденьких курочек; а его от крови, даже цыплячьей, всегда мутит... Думал, расскажет — согреется. Потом он завел разговор о ковыле, о своих видах насчет роскошной поляны.

— Она-то меня и выручит! Спыхватится тогда жена, поймет, что я тоже не лыком шит! Да я... — Он замаялся, бормоча что-то под нос, будто не решаясь открыть какую-то тайну, но все же не выдержал, заговорил: — Сосед дом продает за девять тысяч, рядом с тещиным. Но мне полтыщонки скинул. И согласился недельку еще обождать, хотя покупатели вроде нашлись... Двух тысяч всего не хватает, да уж теперь-то, я думаю, будут и они. Там при желании за день кило двадцать пять собрать можно.

Жугонич зашагал веселее; его спутник молчал, занятый примерно теми же мыслями, что и трубочист.

Все они, словно охотники, думали по утрам об одном: какая будет добыча? Только охота эта была не настоящая: ведь «охотились» они не из страсти, а корысти ради.

Старики поспешали по двое, по трое. Чутье вело их в другую сторону, туда, где рос золотобородник. Они еще не знали о россыпях ковыля.

Добравшись до поляны, Жугонич и Тарци, молча махнув друг другу, разошлись и достали инструменты для рытья и резки.

Лаци Тарци работает за кустами золингенским* ножом с кривым, длиной в пядь, лезвием. Инструмент остался еще от лавки. Надежный, и рукоять у него по руке. Одно плохо: если корни уходят слишком глубоко, приходится вонзать его в землю повторно. Но Лаци делает второй подкоп с удовольствием, понимая, что таким образом удваивается и количество тонких ковыльных корешков.

А корешки попадают все отменные. Пойдут на щеточки для ногтей, а может, на зубные щетки. Сырье ходовое, не то что золотобородник, который годится разве что на швабры.

* Золинген — немецкий город (ныне в ФРГ), старинный центр металлообработки.

За работой из головы у него не выходит Кати Шерфёзе. В прошлом году они с ней выиграли соревнования по настольному теннису. Отец Кати—секретарь сельского совета. А ведь не так давно их и за людей-то не почитали. Помнится, лет десять назад приходила она в каких-то обносках—клянчить в долг для родителей соли, сахару, керосину. Теперь же, когда лавки нет и в помине (вовремя он от нее избавился), а Кати стала настоящей красавицей, они вместе выступали на соревнованиях, в смешанных парах. Сперва оба стали победителями в одиночных турнирах, потому и оказались в одной паре на районном чемпионате. Чем это кончилось? Они, кажется, влюбились друг в друга... Но о женитьбе пока думать рано. Кати—в Пеште, учится на подготовительных курсах.

Вырытые корни Тарци очищает от сыпучей песчаной земли и складывает в кучки граммов по пятьсот. К десяти утра их было уже пятнадцать. «За сто форинтов перевалило!—радостно прикинул он.—А еще только начало». На выручку от корней он собирается поехать зимой в Пешт, ведь Кати наверняка останется там: закончив курсы, поступит в университет. А денег, нажитых на торговле, как ни много их было даже по его понятиям, давно уж нет—он спустил их за год. Увы!..

Тарци достает из рюкзака два мотка проволоки, что припасена для связывания корней, и задумывается, стоит ли резать ее. Или сделать две большие связки? Наконец он решает проволоку не портить, а, объединив корни в две кучи, перетянуть каждую целым куском. Связки получатся килограмма по три—любо-дорого посмотреть будет! Как вязанки поленьев, что продаются на дровяном складе!

Но вот он снова берется за работу, надо поторапливаться, каждая секунда дорога. Погода стоит подходящая, весь товар пойдет первым сортом.

Кати этим летом отдыхала в каком-то лагере и на днях должна приехать домой. Ну и удивится она! Ведь он не писал ей (в письме разве объяснишь), что прошлой осенью отказался от заманчивого предложения—заведовать секцией в городском продмаге. А ведь это Кати устроила через своего старика. Тот и не вспомнил, что в лавке у Тарци работало иногда по трое подручных. Правда, давно это было!..

Для начала ему предложили полторы тысячи в месяц.

Ну уж дудки! За такие гроши он служить не пойдет. Да он в худшие времена имел втрое, вчетверо против этого. И теперь докажет, на что способен.

Он посмеивается за работой, улыбается своим мыслям. Соседа ему не видно—Жугонича закрывают кусты. «Ну и

болван этот трубочист,—презрительно думает Тарци.— Ума у него—что у моей задницы! Надо бы его, дурака, использовать как-нибудь. Только вот как? Может, нанять за поденную плату, пускай на меня пашет? Хм! А какой ему резон соглашаться? Лучше дать ему денег в долг, чтобы дом тот купил. Это мысль! Ведь за неделю, какой бы он ни был мастак, не заработает на корнях две тыщи. Надо дать ему, а там пусть вкалывает... и за себя, и за меня. Что-что, а вкалывать он умеет!»

Жугонич работает обломком косы, который мелькает, точно бойкая мысль. Впрочем, мысли не очень-то озаряют его голову—больше сверкает примитивный инструмент, затупленный с одного конца и обмотанный тряпкой, будто пораненный палец. Рукоять неудобная, но все же обломок косы так и летает, не давая пощады ни единому корешку.

Порядок у Жугонича такой: до наступления темноты он обычно роет не останавливаясь, а вечером, когда земля на корнях подсыхает, легко отряхивает их и делает вязанки. Конечно, в течение дня, бросая корни за спину, он следит, чтобы ложились они не как попало, а ровными рядками.

«Эх, как услышит жена-то, что дом покупаю, что девять тыщ заработал, точнее, восемь с половиною...» — единственная мысль, всплывающая время от времени в голове Жугонича, внимание которого полностью приковано к работе. Не разгибаясь, спиной, которую припекает солнце, он чувствует; скоро полдень—самое время перекусить. Но он обедать не будет, нарочно не взял ничего с собой. Поест вечером дома. Чего мать приготовит.

И упрямо, почти что с ненавистью продолжает кромсать землю обломком косы, с треском подрезая корни ковыля.

Лаци Тарци, как только наступает полдень, расстилает на траве скатерть и достает съестные припасы: перченую салями, хлеб, паприку. Пожалуй, сейчас можно было бы подойти к соседу, но тот не обедает, и пришлось бы его угостить, а если не угостишь, то разговаривать с ним будет не о чем, а молчать скучно.

Паприки он взял с собой только два стручка; и чего не прихватил побольше—есть хочется, а салями еще осталась. Лаци жует колбасу с хлебом, с трудом двигая челюстями. Во рту у него пересохло. Надо было и воды загодя принести. Справившись наконец с едой, Тарци идет к источнику, что находится неподалеку, километрах в полутора. Корни, нож и все остальное он бросает как было перед обедом.

А неугомимый Жугонич продолжает сражаться с корнями. Солнце уже перешло зенит и, скользя вниз,

подкрадывается к нему спереди. На краю поляны в это время появляется человек в мягкой шапочке с козырьком и коротких брюках. Он не молод, о чем говорят не только стеклышки пенсне, но и походка — шаркающая, хотя и барственная.

Его превосходительство господин Камути! Он выходит из-за деревьев в дальнем конце поляны и поначалу никого не видит. Только выглянув из-за кустов, что отделяют владения Тарци от территории Жугонича, замечает он трубочиста. Приблизившись, Камути вежливо здоровается. Жугонич — неотесанный он человек — отвечает на приветствие, не вставая с колен, хотя и с некоторым почтением, и продолжает ковырять землю обломком косы.

Камути что-то понадобилось, это видно сразу. Но, прежде чем приступить к делу, его превосходительство вынимает из заднего кармана плоскую бутылочку, которая, если присмотреться, не такая и маленькая — граммов на триста.

— Не погнушайтесь отведать, — с принятыми в этих местах словами угощает он трубочиста.

«Неужто ром?» — распрямляется Жугонич. Но бутылочку не берет.

— Возьмите, возьмите, — уговаривает его барин. — Отлично утоляет жажду! — И добавляет с улыбкой: — Это вино.

— А, пятипочаточное? — расплывается Жугонич. Бутылочка уже у него в руке. — Лущеный рислинг? — поясняет он слышанное недавно шутливое словцо, которое своим возникновением обязано женской находчивости: ввиду неурожая винограда кое-кто из крестьянок умудряется делать «вино» из кукурузы.

Его превосходительство господин Камути в политику нос не сует, однако ж не может сдержаться, чтобы не заметить:

— Нет, нет. Это винцо заграничного производства. — И с довольным хихиканьем добавляет: — Происхождение у него благородное — от лозы...

Жугонич, оторвавшись от склянки, смеется. Вина осталось лишь несколько глотков, на самом доньшке.

Наконец выясняется, зачем пожаловал барин: у него затупился нож, не подрезает как следует золотобородник. Надо бы заточить.

Вот, значит, какая плата за угощение. Делать нечего, приходится Жугоничу достать свои инструменты — наковаленку, молоточек, напильник и оселок — и взяться за огромный кухонный нож.

Тем временем Камути развлекает его разговором. Нахваливает роскошную поляну и, чтобы показать уче-

ность, объясняет (хотя для трубочиста это ровно китайская грамота), что произрастает здесь не что иное, как *Stipa capillata*, это ковыль так зовется по-латыни. И что, собственно говоря, надо бы собирать не только корни, но и стебли — большой на них спрос был в прежние-то времена, когда сам он еще не в земле ковырялся, а... Нет, там, где они работают, растет только золотобородник, корни у него грубые, но он уж не будет уходить оттуда. Собрал уже килограмма четыре, хотя мог бы и больше, если бы не ломило так поясницу. Внаклонку-то тяжело, да и не в его годы учиться этому ремеслу.

— А у вас, мой друг, верно, за десять кило перевалило! — звонко восклицает он. — Ума не приложу, куда вы деньги девать будете, когда сладите все это. Ведь за ковыль, говорят, надбавку платят.

Упоминание о деньгах, о которых он нынче только и думает, забирает трубочиста за живое, и он нарушает молчание:

— Да уж найдется, куда их пристроить. Теща с женой моей, изволите знать, выжили меня из дому, потому как я бедняком к ним пришел, хотя ремесло у меня неплохое. Да что говорить — как ввели у нас норму, невыгодно стало работать. Попробуй-ка вычисти в день сорок труб! А платят — шестьсот форинтов. Вот меня из дому и турнули. Конечно, что это за деньги?! А норму, ее и в селе не так просто выполнить, а уж попадешь на хутора, там, хоть локти сотри, с сорока трубами не справишься.

Он рассказывает о предстоящей покупке, потом умоляет, чтобы прикончить бутылочку, и снова заводит речь о своем ремесле.

Камути терпеливо слушает разговорившегося трубочиста.

Наконец — наверное, чтобы перебить Жугонича, который возвращается то к покупке дома, то опять к нормам, — спрашивает его:

— А как вы, господин мастер, связываете корни, да еще такие тоненькие? Мне даже золотобородник не удастся достаточно плотно увязать, чтобы сразу нести на фабрику.

Нож уже заточен. Чтобы продемонстрировать, как нужно связывать корни, Жугонич очищает те, что уже подсохли, выуживает из солдатского вещмешка проволоку и раскладывает ее на земле. На проволоку он охапками набрасывает корни и, когда видит, что их достаточно, обхватывает руками и перетягивает. Вязанка удается на славу — корни не рассыпаются, все прихвачены петлей, но ни один при этом не повредился, и нести их удобно, пальцы легко проходят под проволоку.

С одного раза такому не научишь, поэтому Имре достаёт еще кусок проволоки и делает вторую вязанку.

— Следите внимательно,—показывает он.—Чуть-чуть придерживаю коленом, чтобы затягивать обеими руками, потом...

Его превосходительству в общем-то все понятно. Он благодарит Жугонича за науку, обещает, что завтра непременно попробует сам, и с извинениями за беспокойство протягивает трубочисту руку.

Оставшись один, тот опускается на колени перед зарослями ковыля и снова впрягается в работу.

Тарци тем временем не торопится. У источника он пробыл недолго—ровно столько, чтобы умыться и как следует прополоскать пересохшее горло. Но на обратном пути набрел на малинник, нетронутый, сплошь усыпанный ароматными ягодами. Лучшего десерта и не пожелать после сытного обеда. «Эх, Кати, Каталин, Като! Жаль; что нет тебя рядом!» В эту минуту ему не хватает только ее, непоседливой говоруньи, которая так старалась устроить для него местечко потеплее. «Погоди, доберусь я до тебя в Пеште!»—мечтательно думает Тарци и уже не сомневается, что влюблен.

Наевшись всласть, он в приподнятом настроении возвращается на поляну.

Пора и за дело. Тарци берет раскалившийся на солнце нож—на лезвии видны следы засохшей земли—и, прежде чем пустить его в ход, осматривается.

Неочищенные корни, как были, грудой валяются там, где он оставил их час назад, а двух вязанок—не видно.

Тарци бросается искать их, хотя хорошо помнит, где они лежали. Он удивляется, досадует, потом в полном недоумении идет было к Жугоничу—узнать у него. «Но как его спросить?»—теряется он, заведя широкую спину трубочиста, который трудится как заведенный, азартно, с животным упорством. «Разве с ним, дикарем, поспоришь?»—думает он.

И тут замечает две вязанки корней. Его вязанки!

Они лежат между кучками ковыльных корней, которые Жугонич не успел еще отряхнуть от песка и грязи.

Досада тут же сменяется странной радостью. «Ну и псих!—веселится он про себя.—Хоть бы хворостом, что ли, прикрыл или оттащил подальше! Ну, рассылал бы наконец! Так нет же—ему, идиоту, надо обязательно рядышком со своими, неочищенными, положить... Неужто не соображает, тупица, что вязанки-то за версту узнать можно?..»

Насвистывая, он приседает рядом с трубочистом и, не отрывая его от работы, заводит посторонний разговор.

Потом переводит вдруг речь на ковыль. Почем, мол, берут на фабрике корешки? Жугонич вроде бы вздрагивает.

— За такой-то товар,—говорит он,—непременно должна быть надбавка. Хоть форинт-другой.

По тому, как косо поглядывает трубочист, бросая слова, Тарци видит, что совесть у него не чиста. Иначе чего бы ему вздрагивать? Да и щурится он как-то странно... «Самое время его припугнуть, а там и нанять можно,—вспоминает Тарци о своем утреннем плане.—Это уж просто будет».

— Сколько вы получали, Имре, до того как ввели эту норму в сорок труб?—спрашивает он.

Обломок косы повисает в воздухе. Жугонич удивлен.

— Шестьсот, но с приработком и до тысячи выходило.

— Ну а если б по-старому все осталось, вернулись бы?

— Конечно,—не задумываясь, отвечает Жугонич.

— Тогда все в порядке, закуривайте,—весело говорит Тарци, протягивая ему портсигар.

— Шутите?! Кто мне тыщу положит без нормы!

Тарци становится вдруг серьезным.

— Я положу!

— Это как же?—От изумления Жугонич садится на пятки.

— Я вам здесь,—Тарци обводит глазами поляну,—гарантирую тысячу.

— Что-то я не пойму,—недоумевает трубочист.

— Всю зиму буду платить по тысяче в месяц, а отработывать только в сезон, от весны до осени.

Тот берет наконец сигарету. Вид у него—или это лишь кажется—все еще изумленный. Тарци же улыбается про себя: «Не может поверить, дурень, что я прощаю ему эти две вязанки, только о них и думает. А ежели разобраться, так мне еще подфартило с ними...»

— И зимой платили бы, когда нет копки?—спрашивает вдруг Жугонич, поднося ко рту незажженную сигарету, и долгим мечтательным взглядом смотрит вдаль.

Тарци кивает и, посмеиваясь, уходит. Пусть, думает, зреет в голове трубочиста решение.

Но, дойдя до своей лужайки, он омрачается. Солнце скрылось за облаками, небо у горизонта темнеет. Душно. Того и гляди грянет ливень, намочит товар. Взгляд его падает на остатки собранных им корней. «Килограмма три, не больше. А остальное? Где остальное?!» И он в непонятном возбуждении снова бросается искать вязанки, будто не видел их только что собственными глазами.

«Как же это я на проволоку-то не взглянул, чтобы удостовериться, ведь свою и по ржавчине узнал бы».

Он смотрит на соседнюю поляну. «Ну конечно, те самые, и так видно, по форме!» Трубочист работает теперь по-черепаши. Подолгу отдыхает, стоя на коленях, о чем-то раздумывает.

«Вот злодей! Ведь мои эти две вязанки, мои!—негодует Тарци.—Погоди, я с тобой разберусь!»

Он берет кривой нож, решив все же собрать еще хоть килограмм. Но с удивлением замечает, что луг на исходе, ковыля почти не осталось, дальше шелестит лишь овсюг, шуршит сухое былье.

Как ни старается Тарци, руки его не слушаются, вырывают корни на половину, а то и на треть. Приходится их выбрасывать, они ни на что не годятся.

Не спорится работа и у соседа, пока он раздумывает. Но вот трубочист наконец уясняет смысл разговора: «Да ведь он хочет, чтоб я на него работал!» И обломок косы снова приходит в движение. Жугонич оглядывается—корней уже форинтов на двести, даже больше. Это его будто прищипывает. «Ишака из меня хочет сделать!»—в ярости думает он.

Через полчаса к нему снова подходит Тарци, удобно располагается на траве и сует под нос трубочисту портсигар.

— Закуривайте, Имре!..

— Пошел прочь!—не своим голосом ревет Имре и выбивает у него портсигар.

— Но-но,—вскакивает Тарци.—Не горячись так, дубина!

— Что-о?—Жугонич угрожающе распрямляется.—Меня, мастера, вздумал нанять в батраки! Да еще обзываешься?!

Тарци с испугу заливается нервным смехом. И этим обескураживает трубочиста—не ждал он такого продолжения.

— Шутки вы, Имре, не понимаете!—натянута улыбается бывший лавочник.—Да и я-то хорош—толком не мог объяснить вам, о чем речь идет. Разве я в батраки вас приглашал! Вы ведь сами говорили утром, да и раньше жаловались, что не ладите с женой и тещей, потому как заработка у вас нет надежного. Вот я и думал облегчить ваше примирение.

Жугонич недоверчиво щурится, но через некоторое время как будто успокаивается и снова берется за работу.

— Вы бы лучше о себе позаботились,—ворчит он,—а то вон не накопили ничего, как бы не пришлось у меня просить...

Тарци от этой по-детски наивной наглости замирает как вкопанный.

Становится ясно—добром от Жугонича ничего не добиться.

На него накатывает неистовая, слепая злоба.

— А я вам скажу: вы бы лучше вернули мои вязанки.

— Чего-о?

— Могли бы сообразить, прежде чем воровать, что я все равно их узнаю.

Трубочист молчит как парализованный, а Тарци, подхватив вязанки за проволоку, направляется с ними к кустам.

Молчание Жугонича доказывает лавочнику его правоту, и он, не оборачиваясь, победно бросает на ходу:

— Уж коли мастер, так не воруй!

Не приподними он в этот момент одну из вязанок, обломок косы вонзился бы ему под ребра. Но так он, прорезав вязанку, только касается парусиновой штанины.

Мгновенно сообразив, что произошло, Тарци бежит к своей поляне. Но и там он не чувствует себя в безопасности—Жугонич тяжелыми размашистыми шагами преследует его по пятам. Тогда он бросает вязанки, поворачивается и, глядя в упор на трубочиста, медленно отступает. Обломок косы, застрявший в корнях, он незаметно вытащил и прячет теперь за спиной.

Жугонич тоже переходит на шаг, будто решает прекратить преследование, и, размахивая руками, приближается к противнику. Но что он собирается сделать—отвесить тому оплеуху или единым ударом отправить на тот свет,—трудно сказать.

Тарци действует не раздумывая. Вся эта история, тупая наглость Жугонича и чувство опасности так взбесили его, что, как только трубочист приближается на расстояние вытянутой руки, он, целясь в расстегнутый ворот рубахи, вонзает обломок косы ему под ключицу.

Слышится тихий хруст, и рубаху заливают кровь.

Жугонич какое-то время тупо разглядывает окровавленный перед рубахи, потом, ища руками опору, медленно опускается на землю, зажимает бьющую ключом рану и падает навзничь. Даже не взглянув на Тарци, он поворачивается на бок и вытягивается.

То, что Жугонич мертв, Тарци понимает сразу. Он и не пытается сделать что-нибудь с раной, остановить кровотечение.

Теперь его волнует одно: как сделать, чтобы о происшествии не узнали раньше времени. Если тело спрятать, то хватятся трубочиста, наверное, только через несколько дней. Он подхватывает убитого под мышки и тащит в заросли на опушку. Там лихорадочно ломает

зеленые ветки и забрасывает ими неподвижного Жугонича.

«Кровь!» — ужасается он, вернувшись на заваленную корнями поляну: по траве тянется кровавая дорожка. Нужно что-то предпринимать. Первым делом он очищает обломок косы, вонзая его в землю.

И вдруг чувствует, как на руку падает теплая капля. «Я и себя поранил», — вздрагивает он, но тут же раздражается радостным воплем: «Дождь!» На землю падают крупные капли, припускает теплый дождик. Теперь Тарци важно другое: нужно укрыть поскорее корни, не пропадать же добру. Он бежит за своими вязанками, укрывает их под деревом, а на оставшиеся кучи корней бросает рюкзаки, присыпает их листьями, ветками.

Он вспоминает, сколько корней мокнет под дождем на соседней поляне. Надо позаботиться и о них — это кажется ему совершенно естественным, ведь сдавать-то, наверно, придется ему... Тарци впопыхах сгребает не очищенные от песка и грязи корни Жугонича и охапками перетаскивает под ближайшие деревья. Одежда на нем вымокает до нитки, но это ему нипочем. Только молния, ударившая поблизости, приводит его в себя, заставляя забыть об усердии.

Тарци приседает на корточки подальше от деревьев, в которые, чего доброго, может угодить молния (живое дерево не безопасно!), и смотрит сквозь нити дождя, хлопая мокрыми ресницами.

Смотрит на противоположный край поляны, туда, где лежит тело убитого им человека.

Эта мысль, «я убил», обжигает его. «Не убивал я! — протестует он. — Я только защищался!» Однако, представив себе еще раз все, что произошло за последние четверть часа, Тарци приходит в ужас и сломя голову бросается в лес. Выбежав из леса, он несется дальше, но не к селу, а в другую сторону.

Старики, сборщики золотобородника, укрылись от непогоды в домике лесника. Лесничья собака поначалу не придавала дождю никакого значения, но, когда по спине застучал град, отряхнула намокшую шубу и шмыгнула в избушку. Крохотное помещение, до отказа набитое людьми, наполнилось запахом мокрой собачьей шерсти. Но запах этот казался благоуханием: ведь вокруг сверкали молнии, с шипением горели поблизости верхушки деревьев. К тому же он, этот в общем-то малоприятный запах, смешался с распространившимся по избушке озоном.

Корни золотобородника, брошенные как попало, мок-

ли под дождем. Не очень заботились старики о качестве. А может быть, втайне некоторые даже подумывали, что корень от дождя станет тяжелей и за него больше дадут.

Через четверть часа ливень поутих, перешел в ровный густой дождь, однако и под такой подставляться никому не хотелось.

Вдали проглянула синева вечернего неба, его облачная подкладка отгибалась все больше. Непогода стихала.

И вдруг послышался стон. Собака выскочила на этот странный, чужой звук и с лаем бросилась туда, откуда он доносился,— за избушку.

Те, кто стоял у входа, вышли взглянуть, что случилось.

На их удивленные, полные ужаса возгласы высыпали и все остальные.

По траве полз вымокший до нитки Жугонич. Собака, скуля, попятилась.

Люди засуетились, понесли его в дом. Все решили, что его ударила молния, но Тихамер Камути по ране сразу установил: молния тут ни при чем.

Кому, как не Камути, взять под свою опеку теряющего сознание бедолагу?

У того сквозь рубашку сочится кровь. Нужно прислонить его спиной к чему-нибудь жесткому и скорей наложить повязку!

Хотя дождь еще накрапывает, домик пустеет, над раненым склоняются лишь его превосходительство господин Камути и несколько человек, которым он строгим шепотом отдает распоряжения. Нужна повязка, ведь истечет человек кровью, будь у него ее хоть столько же, что у буйвола.

Только вот беда—аптечки здесь нет, она может быть только в Нире, на станции. Но это—даже если бегом—полтора часа! Камути тем не менее посылает обходчика за аптечкой, который, как это ни странно, ему повинуется. Наверное, голос у него такой. Ведь обычно обходчик и с его превосходительством не церемонится, не то что с другими стариками сборщиками. Тем временем нужно что-то предпринимать.

— У кого есть чистая тряпка? Или платок на худой конец?

У кого же им быть? Конечно, ни у кого. Ведь стоит Камути взглянуть даже на собственный носовой платок, он видит, что на нем не только следы пота, но и другие отметки—от носа и грязных рук. На рану его накладывать нельзя.

— Может, пожертвует кто рубахой?

Старики смотрят себе на грудь. Порвать ради трубочи-

ста добрую рубаху? Кое на ком рубахи действительно добрые, хотя и ветхие, но чистой—ни одной. Все глаза устремляются на его превосходительство: под пиджаком у него белеет рубашка, надетая, похоже, только сегодня. К тому же и пиджак у него приличный! Можно в случае чего и без рубашки до дому добраться. Но все это говорят только глаза. А их господин Тихамер не слышит, хотя чутье у него в эти минуты необычно обострено.

Жугонич впадает в бред. Его лихорадит. С губ срывается какое-то имя—вроде бы Тарци, а еще поминает он корни, вязанки, чье-то воровство и снова и снова Тарци.

В избушку время от времени заглядывают старики—лица спокойные, равнодушные. Камути ни с того ни с сего вдруг взрывается:

— А ну отойдите подальше, раз уж помочь не можете! Задохнешься тут из-за вас!

Он снова пытается помочь трубочисту, усаживает его—может, хоть так приостановится кровотечение. Но все его усилия напрасны. Рубаха, вымоченная дождем, снова окрашивается кровью, кровь запекается, чернеет.

Камути сбрасывает пиджак и в ярости надвое раздирает на себе рубашку. Полуобнаженный, он приседает на корточки и начинает перевязывать рану.

Жугонич приходит в сознание, испуганно озирается и наконец понимает, что происходит вокруг.

— Жить буду, ваше превосходительство?—спрашивает он с ужасом в цепенеющем взгляде.

— Еще как будешь!—неожиданно весело, почти с визгом, кричит господин Тихамер. В его голосе, кроме страха, вызванного отвращением к крови, вибрирует какой-то иной страх.

Жугонич глазами, полными огромной, горячей благодарности, смотрит на исцеляющие его руки.

Камути поправляет за спиной раненого упор, сделанный наспех из нескольких охапок золотобородника и... двух вязанок тонких ковыльных корешков. Прикоснувшись к вязанкам, он вдруг отдергивает руку. На кончике пальца выступает кровь. Забыв о приличиях, он сует палец в рот и, отсасывая кровь, мысленно восклицает: «Уж не ржавая ли она, эта чертова проволока?!»

Он дважды сплевывает на пол и задумывается: «Что же делать с этими вязанками? Не вышло бы неприятности».

ЛЕДЯНОЙ МИР

За «ботондами»

Балатон был в те дни ничейной территорией: ничейный лед, ничейная вода.

На лед, еще вполне крепкий, можно было ступать без опаски, но на озере и по берегам вот уж которую неделю стояло затишье. Лишь изредка южный ветер доносил звуки орудийной стрельбы, а гора Фюлёп глухо отражала мощные разрывы: к северу от Балатона, похоже, начиналось крупное сражение.

Ночь над озером, как обычно в последнее время, выдалась пасмурная, беззвездная, только снег чуть белел, но этого света было как раз достаточно.

Около двадцати бойцов разведывательного дозора развернулись в широкую цепь и по команде старшего лейтенанта, отданной вполголоса, двинулись на юг, туда, где, по их расчетам, находился Боглар.

Перед вылазкой они получили белые простыни, которые скололи булавками у ворота. Шестеро были с автоматами, остальные — кто с винтовкой за плечом, кто с пистолетом на поясе. Лыжи достались только четверым, тем, что шли в середине. Хотя для выполнения задания, как казалось, и эти четыре пары были ни к чему.

А дело заключалось в следующем: неподалеку от Боглара в сарае стояли десять казенных «ботондов» — военных грузовиков, брошенных в декабре во время внезапного налета противника; нужно было их тихонько вывезти, а если не удастся, забрать силой и, прорвавшись по шоссе в направлении Фоньода, вернуться в объезд, берегом.

Четверо лыжников во главе со старшим лейтенантом могли бы пересечь озеро за каких-нибудь полчаса, но им то и дело приходилось останавливаться и поджидать остальных. Шикая пешим, фельдфебель пытался их подгонять.

Двое других лыжников званий, как видно, не имели — старший лейтенант Поца обращался к ним по фамилиям. Того, кто шел справа, он шепотом называл Шюкёшди, второго — Балогом, причем к последнему держался поближе: тот был из Боглара и, стало быть, этой ночью лучше всех ориентировался в обстановке.

Что касается Шюкёшди — не успели дойти они и до середины озера, как офицер уже пожалел, что из карцера, где наткнулся на богларца, прихватил с собой и этого — «отличного водителя»: Шюкёшди за все время не проронил ни слова — не иначе задумал что.

Под солдатскими башмаками поскрипывал снег.

Берег встретил их безмолвием. Наконец-то они добрались до него. Фельдфебель, как условились, взял с собой несколько человек и двинулся в сторону пляжа, оттуда нужно было прокрасться к шлагбауму, где железная дорога пересекалась с шоссе.

Вторая группа отправилась к дороге на Фоньод.

Встреча—через час, на станции.

Всем быть настороже! Шума не поднимать, пока не запустят моторы.

Какая надобность была в этом ожидании, во всей этой осторожности, толком фельдфебель не знал, но, раз приказали, пришлось выполнять.

Офицер и двое с ним перебегали от виллы к вилле, от дерева к дереву.

«Сарай», где они нашли грузовики, скорее всего, был летним рестораном. Балог эти места знал, поэтому на пути им не встретилось ни души.

Похолодало, но им было не до мороза.

— Проверь, сколько из них на ходу,—приказал старший лейтенант, обращаясь к Шюкёшди на «ты», сам же, взяв Балоба в проводники, отправился к вилле некоего Франка, где...

Впрочем, кто да что там, на этой вилле, он Балобу не сказал. Вилла, как он догадывался, шагая в темноте, была в стороне от поселка, ближе к берегу.

— Что за человек?—услышал вдруг Балог его вопрос.—Вы его знаете? За что в карцере?

Балог понял—о Шюкёшди.

— Трибунал его ждет. О немцах болтал и вроде пытался дезертировать.

Тем временем добрались до цели.

Вот она, вилла Франка. Железная ограда, за ней сад. Наружные жалюзи на окнах опущены. Но стоило трижды стукнуть в крайнее окно, как тут же откликнулся мужской голос.

Балог проследовал за старшим лейтенантом на крытую террасу и остался там. Офицер и его собеседник, не тратя лишних слов, принялись что-то деловито обсуждать. Правда, начали они почти шепотом, и ничего было не разобрать, только потом уж, когда оба разгорячились, Балог стал кое-что улавливать. Спор, завязавшийся за дверью, напоминал уже перебранку.

Собеседник старшего лейтенанта не хотел отправляться на машине ни к Фоньоду, ни по льду через озеро, а настаивал на том, чтобы раздать все солдатам и как можно скорей уходить пешком. Что нужно было раздать—этого Балог не понял, но вот они вышли, продол-

жая спорить, только уже тише. Незнакомец—штатский, очень нервный человек в коротком, с меховым воротником пальто,—открыл ворота сарая.

— Мотор промерз, да и бензина, чтобы хватило на прорыв, не сыщешь во всем поселке—не с боем же брать,—торопливо бормотал он. В сарае виднелась маленькая «ДКВ»*, рядом стояла канистра.

— Если даже и прорвемся, у Фоньода нас расстреляют из бронетанковых орудий,—сказал старший лейтенант и замолчал, а штатский продолжал свое:

— Нет, по льду я не поеду!

— Да будет тебе, ведь перевозят же зимой гравий из томайского карьера!

Но тот ни в какую не соглашался. Он настаивал, чтобы лейтенант позвал солдат и приказал им распаковать ящики.

— Ты что, рехнулся?!—рявкнул на него Поца.

Где-то у фоньодского шоссе прогремели три выстрела, следом рванула граната.

— Ну, началось,—нахмурился офицер.

Барина в штатском бросило в дрожь. Наверно, оттого и сообразил, как им быть. Они отошли к веранде и, пошептавшись, видимо, обо всем договорились.

Балог, найдя в сарае паяльную лампу, принялся отогревать мотор. Немного спустя он огляделся: у стены—невысокий кованый ящик с висячим замком. Машина была загружена доверху, только у руля оставалось немного места. Дверцы не открывались, так что даже и захоти он поехать, не удалось бы. Снова пальба! Уже ближе. Ну и дела!

Он и не заметил, как перед виллой остановился «ботонд». Классный все же водитель этот Шюкёшди... На землю прыгивают старший лейтенант и штатский. Ящик, скорее! На грузовик! Господин офицер, кряхтя под тяжестью, помогает грузить. Через плечо у него висит ремень с кобурой. Откуда у старшего лейтенанта второй пистолет?! Но вот заурчал мотор легковушки.

— В кабину! Трогай! На первой скорости, прямо...—слышит Балог команды. Он садится рядом с Шюкёшди, и только тут его охватывает страх.

— Без остановок!

Где-то у станции застрочил пулемет. Мотор легковушки испуганно чихает.

— Ну, езжай!

— Хотят нас впереди пустить!..—сквозь зубы бормо-

* «ДКВ» (от нем. Das kleine Wunder—«маленькое чудо») — марка легкового автомобиля немецкого производства.

чет Шюкёшди.— Если проломится лед, так чтоб под нами.

К грузовику подскакивает старший лейтенант.

— Я тебя, негодяй, из твоего же пистолета пристрелю!— вопит он.

Мощный мотор покорно заводится, они трогаются.

Подъехав к берегу, оба, не сговариваясь, оборачиваются: маленькая «ДКВ» следует за ними по пятам.

— Эх, мать твою!— горько вздыхает Шюкёшди.— И надо же было мне у машин задержаться!— Он поворачивается к Балогу:— Тебя дожидался, дьявола!

И сбавляет газ, будто хочет остановиться. Перестрелку на мгновение заглушает взрыв гранаты. Потом второй, третий, четвертый.

Грузовик скатывается на лед и, взревев мотором, тяжело отталкивается от берега.

— Твой на месте?

— Что?

— Пистолет.

— На месте.

— Дай-ка мне!

— Ему и здесь хорошо,— хлопает по кобуре Балог,— ты машину веди.

Они умолкают. Стрельбы уже не слышать. Легковушка все время держится метрах в пятидесяти.

— Боятся поближе-то подойти...

Снова молчание.

— А что в том ящике?

— Почему я знаю! Ты давай веди. Какая тебе забота!

— Похоже, затихла стрельба. Надо было дожидаться остальных.

— Тогда и нас бы ухлопали. Заодно с ними.

Шюкёшди качает головой. Он так не думает.

Сзади чуть слышно сигналит легковушка.

— Обгоняют, что ли?

— Кой черт! Поторапливают, нажми на газ.

Грузовик прибавляет скорость. Снег под колесами подозрительно похрустывает.

— Не провалимся?

— Да ну,— отмахивается Балог, но тоже прислушивается.— Вроде охнуло что!— вскрикивает он вдруг.— Ты слышал?

— Молчи-ка!

— Шюкёшди, друг, никак лед трещит! Тонкий он!

Шофер приглушает мотор. Теперь отчетливо слышно: передние колеса скрипят по снегу, а под задними трещит оседающий лед. Лоб у Шюкёшди покрывается испариной.

— Какая тут может быть глубина?

— Глубина! Сколько точно, не знаю, но не глубоко

еще. Глубина дальше будет!

Шюкёшди дергает баранку влево и разворачивается. В поле зрения попадает легковушка. Она сигналист, останавливается, на лед выскакивает старший лейтенант.

— Дай пистолет!— умоляет Шюкёшди и, так как раздумывать некогда, бросается на товарища. Мотор замирает. Воцаряется жуткая тишина.

В пяти шагах от «ботонда», сжимая в каждой руке по пистолету, стоит офицер.

— Изрешечу, мерзавец!

Распахивается дверца, и из кабины вываливается водитель, а у капота уже стоит навытяжку дрожащий Балог.

— Осмелюсь доложить, господин старший...— начинает он, ощупывая и поправляя кобуру.

Гремят выстрелы, под ногами у него взлетает ледяная пыль.

— Отстегнуть поясной ремень!

Балог снимает ремень и вместе с кобурой кладет на снег.

— Руки вверх!

— Лед трещит!.. осмелюсь доложить...— с дрожью в голосе выговаривает он наконец.

Пистолеты направлены в цель так неподвижно, словно тот, кто за ними стоит, и не человек вовсе, а безжизненный истукан. Произнеси сейчас шофер хоть слово, быть бы ему покойником!

— Направление прежнее!— лают из-за пистолетов.— Скорость— третья! Повернешь— пристрелю как собаку... как зайца!

Пробуксовывая задними колесами, «ботонд» разворачивается. На снегу остается шапка Балоба. Офицер поднимает ремень с кобурой и делает знак легковушке.

Дистанция в пятьдесят метров кажется теперь ее пассажирам слишком большой; чтобы шум и вибрация двух моторов слились, они подъезжают ближе к грузовику. В случае чего и стрелять удобней.

— Шапка!— уже сидя в кабине, спохватывается Балог.

Но Шюкёшди молчит, ему не до этого. По пятам их преследует смерть. Достаточно поворота руля, и обоих пристрелят.

Чтобы не слышать другой машины, он заставляет мотор реветь. Даже зеркало вниз повернул.

— Эх, шапка,— снова вздыхает Балог, но тут же хватается за сиденье— машина на ровном льду плавно ныряет.

— Что это?

Взглянуть в окно у него не хватает духу. Конечно, проваливается лед.

Балог бросает взгляд на водителя и видит, что тот обезумевшими глазами смотрит вниз. По кабине распространяется крепкий, по-летнему резкий запах пота.

Оба наблюдают за педалью акселератора, точнее, за башмаком Шюкёшди. Этот башмак Балогу хочется погладить, сказать ему что-нибудь ободряющее.

Но если он сейчас заговорит, хоть на одно мгновение отвлечет башмак от педали, не миновать им гибели. Убавится газ, а с ним скорость, и топкий лед их проглотит.

Мотор надрывается на полных оборотах. Руль неподвижен. Непрерывный треск льда им не слышен, но они ощущают, как покачиваются на воде льдины.

Машина теперь мчится со скоростью не меньше шестидесяти километров в час. Они уже не потеют. Одежда промокла насквозь. Во рту пересохло. Горло перехватило. «Какая здесь глубина?» Они боятся поднять глаза, оторвать их от педали акселератора и нажимающего на нее башмака. От него зависит их жизнь. От этого башмака на ноге Шюкёшди. «Какая здесь глубина?» — «Метров пять». — «Всего лишь?» — «И этого хватит!»

Коли уж умирать, так... невыносимо медленно тянется время... поспать в постели, на мягкой подушке — эх! — наверно, уж не придется...

Но вот толчок, машина на полном ходу подпрыгивает и останавливается. Мотор! Он не тянет. Заглох. Это конец!

Не успевают они взяться ледяными руками за ручки дверец, как вода им уже по пояс.

Первые глотки ее освежают, однако инстинкт диктует: скорее забраться хотя бы на сиденье!

Но что это?

Перед ними берег. Грузовик замирает, он стоит, он больше не погружается.

Сзади — мертвая тишина. По пояс в воде, они догадываются наконец оглянуться. На белом бескрайнем поле темнеет широкая полоса, след шириной в улицу, черная вода. И не видно ей конца, и не видать, где костлявая затонула.

1954

РИКА ВЕРНЕТСЯ

Созвездие местного значения

В позапрошлом году пустили в нашем захолустье узкоколейку — ну и радости было в округе, такая вдруг объявилась охота к путешествиям!

По ржавым неровным рельсам, проложенным некогда через господские угодья, состав бежит с тряской и дребезгом, а мимо деревенок по новым насыпям проносится лихо, по-молодецки. Извилистые ветки узкоколейки расходятся из одной точки в трех направлениях и по форме напоминают созвездие. В одном его конце ждут прибытия и отправления «кукушки» жители Баттони, в другом — Аготы, в третьем — Лёкёша. Но самая главная станция — наша, всякий, кто садится в этот веселый поезд, через нее проезжает.

Паровозик же на целое «созвездие» — один, и машинистом на нем Лаци Кашкётё.

Казалось, в дом Кашкётё при новой власти больше всего радости принесла узкоколейка. А не раздел земли или другое что. Ведь к прежним четырем ни единого хольда не позволила приписать мамаша Кашкётё: мол, пока ее пальцы держат иглу, им чужого не надо!

Теперь Ласло мог и жениться. Не нужно было ни перед кооперативом голову преклонять, ни в госхоз устраиваться: он стал машинистом на этом «самоваре».

Не то, может, пришлось бы Лаци в поисках заработка податься куда-нибудь на завод, а матери — годами вздыхать о сыне. Он в свое время выучился на механика, но так и остался под ее крылышком. Пока не познакомился на узкоколейке с теперешней своей женой. Поначалу он знал о ней не больше, чем о других пассажирах. Жила она в Домбхедьхазе и частенько ездила по делам в Чабу. Девушка была хорошенькая, полненькая от рожденья, звали ее Шарой.

Как-то на станции в Лёкёше скопилось столько народу, что три допотопных вагончика не могли забрать всех желающих; тогда Лаци, сжавшись над Шарой, в нарушение всех инструкций, взял ее к себе на паровоз. Впрочем, дело было вечером, кто мог увидеть?

За дорогой можно было следить вполглаза, и они — не было ни споров, ни сопротивления — так здорово провели время, что потом уж, когда Шаре нужно было ехать, она садилась на паровоз.

До сих пор стыдится мамаша Кашкётё, что внук ее родился на четвертый месяц после свадьбы.

Но в ту пору молодые давно уже жили на краю деревни: там, неподалеку от мельницы, получили они жилье в квартире бывшего старшего мельника. Было у них две комнаты и кухня, поскольку нынешний мельник, пухлолицый и весь перепачканный в муке холостяк, удовольствовался скромным садовым домиком с окнами на мельницу.

Вторая свадьба тоже не состоялась бы без узкоколей-

ки: если б не она, не отпустила бы мамаша Кашкётё дочь свою Маргит замуж за парня из Алмаша. Ведь стоит ей только захотеть—и за какой-нибудь час домчит ее «ку-кушка» к дочери. Или дочь к ней.

Потому и не стала удерживать. Но шли месяцы, а они с дочерью так и не виделись.

Да и Ласло хорош: как женился, и глаз домой не кажет, раза два только был. Поначалу, если хотелось взглянуть на сына, она поджидала его на станции; болела душа за него: такой был ласковый, послушный парень, а тут угрюмый стал, в глазах тоска.

К невестке она не ходила: даже ради девочки, внучки своей, не смогла ее полюбить. Винула ее мамаша Кашкётё в том, что Ласло затосковал. А уж как пошли о Шаре нехорошие разговоры, не то что видеть ее—слышать о ней не хотела.

Как-то, когда все же встретились они с дочерью, посетовала мать на Ласло.

Маргит вздохами, взглядами да намеками защищала брата:

— Вы ведь, мама, сами того хотели... Чтоб венгеркой была невестка... А здесь даже стены напоминают ему, Лаи, о Рике... Разве потянет его домой?..

Трудно было понять что-нибудь в этих словах. Но мамаша Кашкётё поняла.

И сокрушенно вздохнула: знает она, не хуже сына знает, что прошлого не вернуть.

Ночь паровозик с игрушечными вагончиками проводил на нашей станции. В четыре утра, по расписанию, впрягался Ласло в работу. Сначала в один конец: одна нога здесь, другая там—не проходило и двух часов, а он уже вез народ; потом вниз, по другой ветке,—и к девяти уж опять возвращался с живым грузом, а там, с набитыми до отказа вагонами, быстрее в Лёкёш, к скорому поезду. Обедал он в Лёкёше, ел всухомятку, что с вечера заворачивала в газету Шара. (Она была женщина не то чтобы ленивая, а как бы это сказать: на худое дело сметлива, а на доброе нерадива...)

Отправление из Лёкёша зависело от скорых, которые частенько опаздывали; дождавшись одного, потом другого, встречного, Ласло выезжал обычно далеко за полдень. Если все было благополучно, то, развезя народ по деревням—сперва в Аготу, потом по южной ветке, в Баттону,—уже в восемь он ставил свой паровозик на отдых. Летом-то в эту пору еще светло!

Но если ночь застигала состав в пути, тут уж ругался

он почем зря заодно с пассажирами. Сердито гудел, надрывался его паровоз, проносясь темными полями.

Праздники и выходные бывали у Ласло, только если из Чабы присылали другого машиниста. Случалось это не часто. Чтобы взять выходной, приходилось неделями договариваться.

Да он и не брал, потому что на паровозе было все ж веселее, чем дома. По голосу жены, по необычному запаху, исходившему ночью от ее волос, и по завернутой в газету еде, которая делалась все безвкусней, чуял Ласло недоброе. Днем, проезжая мимо деревни, все холоднее смотрел он в сторону дома, что угадывался где-то неподалеку от мельничной трубы. А то и вовсе не смотрел.

Как-то в октябре, как раз когда поезда перешли на зимнее расписание, вечерние скорые прибыли без опоздания, поэтому и паровозик вовремя отправился на покой, почти часом раньше, чем накануне. Приходит Ласло домой и видит—в кухне на табурете сидит мельник за чашкой дымящегося чая, лицо умыто, только одежда в муке, поленился, видать, отряхнуть. На другом табурете—Шара, тоже с чашкой, которую едва не выронила, увидев мужа.

Радио было включено на всю громкость. Девочки не было, она спала в комнате. Из кухни через полуоткрытую дверь густо пахло на Ласло запахом разогретого рома.

Чай в этот вечер он тоже пил с ромом. Радио, чтобы не нужно было разговаривать, не выключали, и оно надрывалось и трещало, пока они не легли.

На следующий день из-за сущего пустяка он так сцепился в Лёкёше с каким-то кондуктором, что едва не проломил тому голову. А ведь по натуре он был не задиристый. Но и не тряпка, конечно.

Сцены в кухне больше не повторялись, а чаепитие разве грех, пробовал успокоить себя Ласло. Но в воскресенье на алмашской станции к нему подошла Маргит и, окинув сочувственным взглядом, спросила:

— Что, не весело тебе, братец?

— Будь моя воля, так начал бы эти восемь лет заново,—только и сказал он.

Маргит же поняла, что ему хотелось бы снова оказаться в сорок шестом и что все это из-за Шары да из-за Рики.

— А ты знаешь,—говорит она вдруг,—что бабка-то их не уехала, так и живет в старом доме, в чулане.

Удивился Ласло. Как это ей удалось остаться? Но сестра уверяла его, правда это: ведь старая тетя Шён в

бунде* не состояла... Ласло вспыхнул, глаза его затуманились. А Маргит растерянно замолчала — будто человек, который только что разобрал часы, а как собрать их, не знает. Кто мог подумать, что брату ее так запомнилось то лето.

Много народу перевозил в эти дни Ласло, а сахарной свеклы и того больше. Вечерние рейсы затягивались до полуночи. Устал он от паровоза и телом и душой. Если днем мелькающие мимо поля и люди, провожавшие поезд взглядами, его даже развлекали, то с наступлением темноты отделаться от мрачных мыслей было невозможно. Пучок света от обыкновенной лампочки, что освещала путь, выхватывал из тьмы один и тот же вопрос: было ли между ними что, кроме чая, и продолжают ли чаепития? Ему хотелось верить, что не было, не было ничего... Но, приближаясь к дому, он все же давал тревожный гудок: боялся, как бы снова не застать на кухне этот мучной мешок.

Вся деревня знает, только муж не ведает! Жег его позор, воображаемый, но от этого не менее мучительный, и в голову лезли дурные мысли. Чтобы не надеть глупостей, он думал о девочке, своей дочери. Так и терзался, не зная, что предпринять.

А в середине той же недели, отправившись под вечер с алмашской станции и набрав уже скорость, Ласло увидел вдруг сестру. Она бежала вдоль насыпи за поездом, но видно было, что садиться не собиралась. Маргит дважды окликнула брата, будто хотела сообщить что-то важное.

Он высунулся из кабины, не прибавляя скорости, но и не останавливая состав.

На бегу она дважды начинала что-то говорить, но умолкала, надеясь, видимо, подбежать поближе, но потом, приложив ладонь ко рту, все же прокричала: «Рика... Рика просит тебе передать...» Ласло, как ни прислушивался, разобрал только одно: «Рика!»

Маргит остановилась и, приложив уже обе ладони ко рту, кричала что-то про Рiku, при этом лицо ее так светилось, что ясно было — она могла сказать только: «Рика вернулась! Рика вернется!»

Лицо Ласло тоже засияло, он кивал сестре: понял, мол, он все понял и в один из ближайших дней сойдет с паровоза, чтобы разобраться в прошлом, теперь же надо спешить! Разве при таком известии удержишься на месте! Он в упоении поддал пару, и маленький локомотив лихо рванул за собой состав.

* Здесь: фольксбунд — во время второй мировой войны фашистская организация немецкого населения Венгрии.

Рика вернулась!

Радостной волной накатились воспоминания, казалось, навсегда похороненные. Все теперь можно поправить, все образуется!

Рика вернется!

Даже паровозик бежал веселее! Проворнее делал он повороты, устремляясь к будущим дням, обещавшим счастье его хозяину.

Тот, улыбаясь, уверенно держал в чутких руках рычаги управления и, не замечая по сторонам ни пустых кукурузных полей, ни жирной зяби, ни зеленеющих озимей, глядел только вперед.

Восемь лет миновало!

О том, что всех, кто в свое время подписал бумагу о вступлении в бунд, вместе с семьями будут переселять в Германию, в Алмаше узнали за несколько недель. Но прослышали и другое: если у кого сын женат на венгерке или дочь за венгром, те могут оставаться, и хозяйство свое сохраняют.

У Шёнов сына унесла война, дочери же как раз исполнилось шестнадцать. Маргит еще в войну ходила к ним шить, так что знали они о семье Кашкётё. И решили: раз уж ехать, так хоть приодеться надо бы. И главное, чтобы у дочери все готово было, как знать, что их там ожидает. Маргит с матерью чего только им не шили — целое приданое готовили. Только теперь уже Шёны к ним приезжали, и Рика с ними. Девушки, да и женщины, стали чуть ли не подругами. А Рика с матерью — даже между собой — разговаривали по-венгерски.

Рика приезжала помогать каждый день, будто иных забот у нее и не было.

Поначалу она только с наметкой возилась, потом как-то и обед живехонько состряпала — уж больно проголодались все трое. А там и во дворе освоилась, стала за скотом приглядывать, будто показывая, какая она хозяйка. Когда она приготовила во второй раз, теперь уже ужин, отведал его и Ласло. Маргит, конечно, проговорила, чья это готовка на столе, — то-то прикрывалась смущенная Рика подвернувшимся под руку полотном.

Если засиживались допоздна, Рика спала вместе с Маргит, в одной кровати. Хотя на велосипеде-то могла бы и засветло поспевать домой, помни она о времени. Но о времени Рика частенько забывала.

Маргит это забавляло, да и у Ласло присутствие в доме чужой девушки, да еще ночью, рождало приятные и вместе с тем странные ощущения. Рика страшно смуща-

лась (она или умолкала надолго, или, напротив, по-детски лопоча, сокрушалась, как быстро за вечерело) и, пока парень крутился поблизости, стояла у разобранной постели, не расстегивая ни одной пуговицы, ни одного крючка на одежде. Разве что волосы, венчиком уложенные на голове, распускала, чтобы снова заплести их над маленькой упругой грудью в две каштановые косы.

Мамаша Кашкётё не заметила ничего особенного, даже когда мать Рики пообещала — не в плату за шитье, а просто под дружбе — расписать стены их комнаты и прихожей. Мол, хоть и чистые они, но голые — смотреть неприятно.

— Пусть хоть такая память о нас останется, — грустно говорила она, но с каким-то ожиданием в глазах, которые останавливались то на дочери, то на Ласло.

Весь понедельник провозилась она с побелкой, готовя основу для росписи. А рисовать и раскрашивать поручили Рике — ведь затем и взялась она за эту работу, чтоб увидели, какая умелица ее дочка!

Сама же только глядела, как расцветала подсыхшая стена под рукой Рики, как выходили из-под ее кисточки цветы и забавные зверушки. Сидела на табурете и, радуясь похвалам, грустно вздыхала: мол, тяжело покидать двадцать хольдов земли с фруктовым садом, деревню, памятные с детства места и родные могилы...

— Пусть хоть это останется вам на память, хоть это, — все повторяла она.

Уж и немка ушла, и ночь миновала, а мамаша Кашкётё так и не сомкнула глаз: заподозрила она что-то.

Сперва призвала к ответу дочь, потом и у сына выспросила:

— Тебе мать ее ничего не говорила? Не липла к тебе эта... Рика?

И только недоверчиво качала головой. Ласло же эти расспросы так понравились, что ему из дому не хотелось уходить. Он и верил, и сомневался в догадках матери: даже дух захватывало от одной только мысли, что стоит ему захотеть, и эта румяная, с нежными руками девушка...

Однажды, когда мать и сестра гладили белье, он подслушал их разговор:

— Что вы, мама, — говорила Маргит, — разве можно так рассуждать в наше время! Да наш Ласло просто счастливчик! Лучшей ему и вовек не найти, пусть хоть ноги до колен стопчет!

Мать такхватила по столу утюгом, что затрещали доски.

Но Рике они и словом ни о чем не обмолвились, хотя

стены были уже расписаны. И приданое почти готово. Мать с дочерью ломали уж голову, сколько запросить им за огромные свои труды. Но так ни к чему и не пришли: тогдашние пенге не стоили и бумаги, на которой их печатали. Брать стоило только продуктами. Или вещами какими, если предложат. Пожалуй, это было бы лучше всего. Но Маргит тут воспротивилась. Как она после этого подруге в глаза глянет? Рiku она уже считала подругой.

Однажды Рика взяла на себя дневную дойку—чтоб шитье без помех шло!

Дождался Ласло момента и, когда молоко было уже в подойнике, подкрался сзади, присел на корточки и обнял за талию застигнутую врасплох девушку.

— Ох, как бы подойник не опрокинулся!—озабоченно прошептал он, и Рика, перепуганная, замерла на скамеечке: в самом деле, что она скажет, ежели разольется невзначай молоко; пришлось сносить поцелуи, которые посыпались ей на шею, в волосы, а один—так вертела она головой—угодил даже в губы.

— Ой, корова его поддаст!—вскрикнула она наконец.

Ласло от неожиданности разжал руки, дал ей встать, чтобы целовать уже в лицо. Но подойник оказался между ними, и Рика, отступив во двор, скрылась в доме.

С неделю ходил после этого Ласло, ощущая себя строгим вершителем судеб, но строгость строгостью, а все же судить он решил по любви. Рика, краснея, пряталась от него. Он находил это правильным и вполне подобающим их положению.

Все кончилось бы благополучно, если б любви дали срок!

Но мать Рики любовь поторапливала, ведь и ее подгоняло переселение.

И все же о плате за шитье первой заговорила в воскресенье не она, а мамаша Кашкётё.

— Уж я и ума не приложу, милая,—сказала она,—что нам за наши труды спросить.

Та с ответом чуть помедлила.

— Да ведь мы бы и все вас отдали,—от сильного волнения немка оговорилась,—даже самое дорогое наше...

Рика, хотя и должна была знать, что разговору этому быть, с плачем бросилась на грудь Маргит.

Мать к ней даже не обернулась—выжидающе смотрела на швею: что у нее под очками, ожгут ли глаза ее холодом или осветятся улыбкой будущей свекрови.

Мамаша Кашкётё изобразила на лице равнодушное спокойствие. Перебирая в руках наволочку, она делала вид, будто не понимает, о чем речь. Но разве можно было

не понять всхлипывания Рики?

— Это только сын мой принять может. Эту плату.

Голос ее был не строгим, но и не слишком любезным.

Чтобы покончить с разговором о плате за шитье, пришлось вмешаться Маргит.

— Подождем еще неделю, а там видно будет,— рассудила она.

Ласло узнал обо всем только вечером от сестры.

— Хоть сто лет проживи, а другой такой не найдешь! Уж можешь мне поверить,— решительно сказала она изумленному брату.

Хотя он и словом еще не обмолвился, по душе ему это или нет.

В понедельник Рика не приехала.

Было время у матери побрюзжать.

— Я тебе не советчица, дело твое! Только девка-то, ехидна длиннокобая, поступает по родительскому наущению. Не ты ей нужен, а двадцать хольдов их в Алмаше да хоромы с высоким крыльцом, вот что им надобно. А останется все, так и ты ко двору придешься— работником.

Засомневался Ласло: если вдуматься, мать права... Но ведь Рика-то вроде всерьез...

— Ловко они это придумали. Затем и шитье затеяли, и стены мазали!— целый день брюзжала мать.— А Рика-то, ишь актриса какая, даже слезу пустить умеет. Когда надо, тогда и ревет!

Маргит знала наверняка, что Рика у них больше не появится. И шепотком подбивала брата поехать к ней вместе, утешить и пригласить.

Что им стоило съездить? И ни к чему это их не обязывало бы.

Но во вторник рано утром немка с дочерью все же явились. Повод у них был, ведь приданое еще шилось. И Маргит теперь уже встретила их как будто разочарованно.

Уехали они с пристыженным видом.

А когда на третий день Рика одна завернула к ним на часок на велосипеде, Маргит высказала ей все, что думает. Та глядела на подругу полными слез глазами, не понимая, в чем ее вина.

И больше не приезжала— ждала Ласло (но об этом Маргит узнала только впоследствии).

Однако теперь уже он не мог к ней поехать.

Поговаривали, что со дня на день ожидается состав, который заберет алмашцев. Как-то дождливым вечером перед домом Кашкётё остановилась подвода Шёнов. Отец остался, а мать с дочерью вошли в дом.

Приехали они за приданым и с порога заговорили о

плате, мол, как бы в долгу не остаться, в любой момент отправления ожидают.

На этот раз лицо у немки было строгое, не просительное. Рика потупленно глядела в пол.

(Позднее Маргит поняла, что они и тогда еще ждали решения Ласло. Ну что б ему в комнату заглянуть!)

Мать Рики предложила за шитье мебель на целую комнату, бидон жира, теленка.

Швея сдернула с носа очки и стала их протирать, хотя затуманились-то от слез глаза. Чтобы скрыть охватившее ее волнение, она быстро надела очки, но слезы уже катились у нее по лицу.

— Да ведь мы шитьем этим просто так занимались, по дружбе, — твердила она, — не правда ли, Маргитка?

Тут зарыдали и остальные трое.

О мебели больше не было сказано ни слова. Шитье стали выносить, много шитья. Бидон с жиром стоял на телеге. Хотела было немка его на землю поставить, да ей не позволили. Напрасно она лопотала что-то мужу по-немецки, тот, сгорбившись, сидел на козлах с вожжами в руках, видно, не до того ему было — все за бунд себя корил.

Тогда Рика отвязала от задка телеги бурую телушку и, никем не задерживаемая, повела ее во двор, в самый конец; место в хлеву нашлось, она привязала телушку к яслям.

— Это что ж такое? — удивился подоспевший Ласло.

Рика посмотрела на него, теперь уже не пряча глаза.

— Это теперь ваше. — Она задержалась на минутку, глаза были грустные, без слез. — Вы уж о ней позаботьтесь, молоденькая еще...

Потом уж, спустя много времени, Ласло подумал, что и тогда было еще не поздно.

Восемь лет! И вот теперь Ласло снова улыбается, вспоминая об этом. Быстро бегают по рельсам его паровозик, весело гудит целый день. Потом вдруг переходит на шепот, как человек, накричавшийся до хрипоты. Вечером он мчит уже без гудков, тишком, будто жених, отправившийся умыкать невесту.

Ласло шагает уже к мельнице, когда в голову вдруг приходит: как же освободится он от Шары? А девочка как же? Бедняжка. Он тяжело вздыхает. Ну да ладно, авось, бог поможет.

Осторожно открывает он калитку и чуть ли не на цыпочках поднимается по ступенькам к двери, ведущей в кухню. Входит. Встречает его только взгляд сиротливо

свисающей с потолка лампочки. В комнате постель разобрана. Ребенок спит. Сняв пиджак, он закатывает рукава рубашки—мыть руки. Потом передумывает, выходит во двор—и к мельнице. В окне холостяцкой квартиры горит свет, у мельника вокруг пояса что-то вроде белой скатерти—будто тесто собрался замешивать.

Ласло достаточно нескольких мгновений, чтобы во всем убедиться. В комнате двое, и одна из этих двоих—его жена.

Ждут, видать, пока прогудит поезд. Долго ждать придется!

Он и сам удивлен, что нисколько не опечален. Только стыдно, что терпел до сих пор. А может, и к счастью, что так обернулось все.

Он тихонько бредет домой и, поужинав, ложится спать.

Шара возвращается около полуночи. Ничего не подозревая, она зажигает в комнате свет и тут же испуганно гасит его.

— Что, засиделась у мельника?—спокойно интересуется Ласло.

Жена, цепenea, молчит. Проходит минут пятнадцать—только тогда начинает она раздеваться.

Следующие два дня Ласло ведет себя, как посторонний: утром ушел, вечером пришел, молча все. Шара расценивает это безмолвное спокойствие как полное смирение, мельник—как признание его физического превосходства, и так он сжимает и тискает ее в объятиях, что в это верит и Шара: по жилам ее растекается счастье: ух, и вольготно им заживется!

А Ласло все эти дни охвачен таким возбуждением, что совсем теряет голову: часа свободного не может для себя выкроить, а уж посмотреть на него—кожа да кости. Но он не жалеет об этом! Наконец из Лёкёша присылают на один вечер сменщика. Осунувшееся лицо Ласло светится надеждой: наверно, Рика уже приехала.

— А вдруг она не пойдет за меня теперь?—озадаченно останавливается он посреди улицы, уже в Алмаше, но тут же заливается смехом:—Как это не пойдет, да ведь она затем и вернулась, а если еще не вернулась, так собирается.

Сестры дома не оказывается. Хотя Маргит—швея и хотя накрапывает дождик, она вместе со всеми на уборке свеклы. Ласло—по скользкому проселку—за ней! Искать Рику где-нибудь в другом месте он не решает-ся...

Положив руки на плечи Маргит, он в ожидании улыбается. Но сестра почему-то недоумевает. Неужто

турнули его с железной дороги, что заявился в такую пору?

— Рика? Что Рика?—не может сообразить Маргит, хотя с тех пор, как она бежала за поездом, пытаюсь что-то сообщить брату о Рике, не прошло и недели.

— Так что же, неправда все?

— Нет, нет... Правда это... бабка получила от Рики письмо. По-немецки написано, пишет, что все у них хорошо, очень скучает и как-нибудь, если жива будет, придет навестить. И про тебя вспомнила: мол, хотела бы, если это возможно, чтобы в доме их ты поселился. Очень рада была бы она тому.

И это все? Все?

Маргит уже жалеет, что вообще сказала о письме.

Сеется дождь, упорно, без остановки.

Лучше всего сейчас было бы кинуться куда глаза глядят, а потом—рухнув на землю, захлебнуться в грязи. Так он и делает: отправляется по бездорожью через пашню; кустарник. К заходу солнца доходит до околицы. Идет домой, в голове—пустота. Руки тяжелые, будто каменные, в ногах чугун, на сердце свинцовая тяжесть.

Пустые глаза Ласло оживают, только когда он входит в кухню. Шара, которая и в жизни, наверно, не пекла сдобы, замешивает на столе тесто. Она поднимает глаза и какое-то время словно бы не узнает костлявое, изможденное лицо нежданно явившегося мужа. Оба молчат, не здороваются.

В печи полыхает огонь, от нее веет жаром.

Из комнаты—голоса, мельник возится с девочкой.

Ужас охватывает Шару, когда она видит, как муж, сперва расстегнув, потом застегнув пальто, страшно тяжелыми шагами направляется в комнату.

Мельник в белой майке, задрав голые ноги, валяется на кушетке. Верхом на животе у него скачет девочка и залиисто смеется...

Заметив отца, она умолкает.

Тот подходит ближе, властно поднимает ребенка и ставит в сторонке на пол. Мельник тем временем садится.

— А что? Который час?—спрашивает он в полном недоумении.

В ответ на него обрушивается удар. Как будто бы чем-то металлическим. Мельник падает навзничь, под тяжестью второго удара, нанесенного кулаком, у него с хрустом ломается переносица.

В кухне пусто. А ведь нужно еще покончить с женой, это она во всем виновата! Она! Она одна!

По-прежнему моросит дождь.

Готовый броситься на нее и бить смертным боем, он

прислушивается, не шевельнется ли что у сарая, у двери остекленной кухни или около хлева. Но так и не может понять, куда она подевалась.

В доме раздается детский плач—Ласло слышит его через распахнутую дверь.

Он вдруг понимает, как жестоко—оставить ни в чем не повинную малышку сиротой.

Не прощаясь, отправляется Ласло к вечернему поезду.

Будто ему заступать на службу, будто в поезде том все его спасение, а ведь он, этот маленький поезд, как раз и виноват во всем.

1954

ПЛАЧ

Письмо венгерского этнографа из Африки

Где еще в наши дни могла бы произойти со мной столь прискорбная история?

Исследованием Черного континента я занимаюсь уже около двадцати лет и в последнее время бываю лишь там, где прежде доводилось собирать материал. Поэтому язык обитателей этих мест мне знаком, а если что и забылось в странствиях по иным краям, достаточно нескольких дней, чтобы я снова на нем заговорил.

Кое в чем мне удалось расширить собранные по крупицам моими предшественниками познания о происхождении многих племен, их языках и мифах. Об итогах моих изысканий свидетельствуют два увесистых тома, изданные международным научным обществом исследователей народного творчества. Оно же и финансирует мои путешествия. Словом, в научном мире имя мое пользуется известностью и уважением.

Но речь здесь пойдет вовсе не обо мне, а о добрых моих знакомых, полунагих африканских аборигенах, столь полюбившихся мне своими простыми и благородными нравами. И о том, что с ними произошло.

Если бы вы только знали, что за счастливый народ—обитатели этих лесов, непроходимых зарослей и высоких речных берегов! Какую гордость испытываю я, когда, появляясь на дряхлом, груженном аппаратурой джипе в местах бывлых экспедиций, встречаю радушный прием и старейшины племен призывают детей оказывать мне родственное доверие—ведь самые младшие из них еще не знакомы с «хозяином говорящих машин».

Каждый удар по клавишам машинки отзывается резкой болью в плече. Но если бы только в плече! Я пишу о том — и ни о чем другом теперь писать не в состоянии, — отчего болит, нестерпимо болит мое сердце.

Сердце? Да, именно. Быть может, как ученый я вел себя неблагоприятно, но, прислушиваясь к голосу сердца, не мог поступать иначе.

А случилось все, когда в разгар своих странствий по Африке я впервые оказался на берегу реки Танати, в селении по имени Нгей.

Деревенька эта была не одна (говорю «была», будто их нет уже, этих двух селений) — напротив, на другой стороне реки, был у нее близнец, селение Нгон.

По обычаю племени, о котором идет речь, молодые из одной деревни не могут вступить в брак друг с другом — такой брак считается у них кровосмесительным, — вот они и устроили по соседству вторую деревню, чтобы молодежи было где выбрать пару. Я поселился в Нгей, собираясь пробыть там несколько месяцев. А вышло — три года.

Нигде, никогда не доводилось мне встречать такого обилия песен, обрядов и сказок. Я сдружился с певцами и знатоками обрядов. Больше всего меня покоряло то, что в их простодушных, лукавых сказках многое напоминало сказки моей родины, а их песни почти всегда прославляли веселье. Не могу привести их здесь, так как они, хоть и исполнены самой мягкой непосредственности и по-своему целомудренны, сплошь и рядом грешат против европейских приличий.

«Вышел я косить шелковый лужок» — начиналась, например, трудовая песня и в следующей же строке переходила к описанию женских прелестей. Впрочем, трудились они ровно столько, что и в песнях труд не казался им бременем.

Даже в траурных обрядах избегал этот народ заунывных и грустных мелодий, похоронное шествие сопровождалось у них не плачем, а лихими выкриками и гримасами.

Казалось, горя они не знали и знать не хотели.

Леса изобиловали плодами и зверем, река кишела рыбой. С соседями им делить было нечего, поэтому всякого гостя принимали у них с открытым сердцем. По-моему, знай они о существовании мира, то и весь мир полагали бы родным братом своим. Но, даже не зная о нем, они смогли выразить то, к чему веками стремились философы и основатели мировых религий:

Старуху любую я чту своей матерью.
Селенье любое я чту своей родиной...

Так как материала было в избытке, я остановил свой выбор на девушке из селенья-близнеца, которая выделялась среди сверстниц и красотой, и знанием песен, а может быть, я старался узнать от нее все, что только возможно, как раз потому, что приглянулась она мне больше других.

Девушку звали Окавой, и была она, пожалуй, чуть бледней своих подруг, носила не только набедренную повязку, но прикрывала и грудь, молодую, танцующую, собственноручно расшитым куском домотканого холста. (Шитью их я собирался посвятить специальное исследование.)

Одежда этого племени состоит из двух основных предметов: мушенше (травяной юбки) и рубугу (лубовой накидки), изготовленной из волокон смоковницы. Травяную юбку делают также из пальмовых листьев. Незамужние женщины красят их черной ягодной краской и до блеска натирают маслом. И когда во время своих празднеств в этих коротеньких, выше колен, юбочках они пускаются в общий танец, пальмовые листья колышутся элегантней балетных пачек. В холод и дождь они прикрываются рубугу, а все остальное время ходят почти нагие.

Собирателю фольклора следует помнить об осторожности. Либо он должен отправляться в экспедицию, будучи женатым, либо проявлять к прекрасным «предметам» своих интересов такую ученую холодность, будто мужские чувства им давно уж растрчены.

Ведь если народ хоть однажды обманется, то его доверие уже не вернуть.

Обман же в любви легко становится здесь делом общины, так как плотские радости не знают никаких ограничений, кроме дурных намерений.

Поэтому я и соблюдал осторожность. Окавой трудно было не восхищаться, и я просил ее вспоминать все новые и новые песни и сказки, слышанные от бабки и матери, чтобы в будущем в моем кабинете звучал с валиков фонографа ее голос. Но об этом она не знала. И все же, когда я расспрашивал других жителей Нгона, Окава старалась держаться поблизости.

Я делал вид, будто обращаюсь с ней наравне с остальными, она тоже делала вид, что я привлекаю ее внимание просто как доброе существо, как удивляющий ее своими причудами белый.

Каждый день я садился в лодку и отправлялся в Нгон. И вот однажды на середине кристально прозрачной реки старик лодочник вдруг сказал мне:

— Окава очень печалится.

— Отчего же? — с подобающим равнодушием спросил я.

— Хозяин машин не глядит на нее.

— Хозяин машин рад глядеть на всех.

Лодочник рассмеялся и покачал свой челнок.

Смущенный, я стал было объяснять, что как чужак... Но лодочник снова рассмеялся, хитро, по-плутовски: разве человек из Нгей чужой для дочери Нгона, напротив, тут все в порядке, все как должно быть, и по закону, и по обычаю. Здешний народ жив любовью, а любовь выбирают женщины.

Наше влечение друг к другу и моя нерешительность вскоре стали предметом молвы.

Мне нужно было выбирать: или срочно покинуть берег, или ввести Окаву в свой дом. Нарушив закон фольклористов, я после веселого ритуала ввел в свой дом лучшую девушку Нгона.

Случилось это на шестой месяц после моего приезда. И еще тридцать раз встречал я новую луну на берегу Танати.

Красота жены и тайные обряды, в которые я был посвящен не как ученый собиратель, а... Может быть, придет время, и я расскажу об этом, но пока не могу, не хватает сил. Слишком живы воспоминания...

Я был счастлив, как счастлив здешний народ.

И счастье это было столь безмерным, что даже рождение ребенка ничего не добавило к нему.

Как не повергла меня в уныние и последовавшая через год смерть нашей дочери. («Пусть не оставит радость дома твоего! О, не удерживай руку уходящего!»)

Окава научилась обращаться с аппаратурой, и благодаря ей мне удалось собрать в окрестных селениях немало легенд и песен, ведь она могла разговорить даже самых несловоохотливых.

Хозяйство она вела так, как ни одна из женщин племени, и в любви, хоть этого и не требуют их обычаи, хранила мне верность.

По своей воле я, пожалуй, так и не покинул бы хижину на речном берегу. Но щупальца войны протянулись и сюда: мои покровители, беспокоясь о сохранности материала, предложили мне вернуться. За вызовом последовал приказ. И так уж устроен европеец: на зов может не откликаться, но на приказ... Приказ для него святыня.

Я решил взять Окаву с собой, но в день отъезда она в паническом страхе убежала в лес.

Трижды мне приходилось переносить отъезд, и все три раза она пряталась в лесу. Наконец я пообещал Окаве, что вернусь, как только улажу свои дела в мире. Она с горем пополам успокоилась и не убежала от меня, когда пришло время прощаться.

Прошло шесть лет, и вот только нынче мне удалось вернуться в свою хижину.

Война!.. Через несколько дней на берегах, где стояли селенья-близнецы, уже кипели бои. С ужасом я отгонял от себя картины испепеленных лачуг. Но страхи стареют и мало-помалу развеиваются.

Наука тем временем, особенно в методах сбора материала, изрядно шагнула вперед. Мои покровители настаивали на том, чтобы лучшая часть моей коллекции была записана на магнитофон. Тем самым они не только хотели надежно и достоверно запечатлеть тексты и мелодии, хранившиеся на хрупких, недолговечных валиках (а то и просто записанные на бумаге после однократного прослушивания), но и рассчитывали прояснить, что приносит с собой и что разрушает в памяти не тронутых цивилизацией народов вечное и одновременно изменчивое течение жизни. Мужчины, рассказы которых я когда-то записывал, стали уже старцами, их дети—степенными родителями, отцами семейств, а многие и вовсе отправились к праотцам...

Как часто за эти годы я терзался вопросом: что случилось с красавицей Окавой?

Работа, а стало быть, и маршрут были строго расписаны по дням, и подгонять я мог разве что их бег. Наконец наступил момент, когда я смог вернуться в свои излюбленные места.

Я побаивался, что встретят меня с обидой, но то, что пришлось увидеть, не могло и сравниться с этими опасениями.

На другом берегу реки мир совершенно изменился.

Постройкам война не причинила почти никакого ущерба. Но со стороны Нгона берег был сплошь затянут колючей проволокой. За проволочной стеной чужого мира прохаживались вооруженные до зубов бледнолицые солдаты.

Почему им понадобился именно Нгон и почему не позарились на его близнеца? Наверное, деревни, ни та, ни другая, им были не нужны. Им понадобилась река.

И вот река, эта великая пособница в простодушном обмане древней традиции, теперь уже не объединяла, а, словно глубокая пропасть, разделяла людей.

Обо всем этом я должен был догадаться сам, так как желающих просветить меня не нашлось.

Пока я ходил по берегу, две просвистевшие рядом пули объяснили мне также, почему берега столь безлюдны. Стрельба прекратилась лишь после того, как я скрылся.

Моя хижина была пуста и заброшенна. Окава, если

была жива, то, по праву и долгу вдовы, жила, конечно, у родни на другом берегу.

Прежние мои знакомые делали вид, будто не узнают меня, будто я обращаюсь к ним на чужом языке, хотя прежде все, за исключением несмышленных детей, отлично меня понимали.

Благоразумие подсказывало мне, что нужно поскорее убраться. Но я не внял ему.

Сбором и проверкой материала заняться так и не удалось: как бы я ни прислушивался, не слышал ни песен их, ни разговоров. Петь, как я понял, они перестали. И свадеб почти не играли (ведь без Нгона любовь преступна!), хотя самые слабовольные все же не выдерживали искушения и виновато, будто вступая в кровосмесительный брак, выбирали себе пару в своей деревне. Но, боже, что за песни звучали на этих свадьбах!

Прежде-то даже похороны были у них веселее. На эти свадьбы меня не приглашали, но я тайком подбирался поближе к месту торжества и слушал, не веря ушам своим.

Всю жизнь свою в чужом мире безбрежном
Рыдать я буду, рыдать,
Гребец-пылинка, свой челн-соринку
Все ж к берегу править буду,
Чтоб в час последний, чтоб в час последний
Было мне где пристать.
Машу на прощанье левой рукой,
Правой союз любви заключаю
И песню пою — рыдаю, рыдаю.

Другая свадебная начиналась так:

О друг мой в усадях,
Когда меня ты покинешь,
Когда уйдешь от меня ты...

И это все из уст счастливой невесты и томимого сладостным ожиданием жениха? Или в исполнении свадебного хора?

Ошеломленный и разуверившийся в своей науке, сидел я в укрытии.

Я думал, может быть, мертвых они провожают веселее.

Погребальных шествий я видел и слышал больше, чем свадеб, и с более близкого расстояния. Тут мое присутствие им было безразлично.

И куда подевались насмешливые, будто бросаемые в лицо смерти дерзкие выкрики? Только скорбь и река.

Пойди, пойди, дочка, на реку!
Воды принеси матери!

Такой песней прощались они с умершей девушкой.

О отец, зачем плавал ты к другому берегу,
Сидел бы с нами в хижине, на ровном полу,
Не капала бы вода с волос, с рук твоих...

Так провожали отцов. А если умирал юноша, они пели:

Упало яблоко на́ берег, скатилось на́ воду, .
Поплыл по реке юноша, не догнать его,
Спешит он к отцам, не подстрелить его,
На тот берег спешит, не оглядывается.

Столь жестоких песен, какие сочиняли они теперь, мне слышать не доводилось. А может, все эти мертвые воды, без прощанья уносящие соплеменников, хранились до времени в подсознании стариков? Прежде смерть встречали они воинственно, готовые к мести за гибель возлюбленного, так как всякая смерть воспринималась как убийство, как следствие порчи и колдовства, как некое преступление против жизни, требующее возмездия. К ней, следовательно, относились как к чему-то временному, неокончательному.

Теперь же все изменилось—смерть стала бесповоротной.

Я жил в своей хижине, сам добывая все необходимое для существования. Помощников у меня не оказалось, и аппаратура стояла нераспакованная.

Но все же я решил не покидать берега, пока всего не узнаю.

В душе пробудилось и все более властно овладевало мною желание увидеть Окаву. Вернуть ее, если не навсегда, то хотя бы на мгновенье.

Я боялся и думать, как, наверно, состарилась она за эти годы.

Засветло и в сумерках присматривался я к течению в поисках переправы. Но всюду, где прежде можно было перейти реку по камням, охранники убрали их, и вода неслась теперь сплошным бурливым потоком. В проволочном ограждении на противоположном берегу не было ни единого просвета. В дулах же таились «зерна смерти».

Я думал, нельзя ли под покровом ночи угнать чью-

нибудь лодку—раз уж просить об одолжении бесполезно,—но лодок, как выяснилось, ни у кого не осталось.

И вот как-то ночью в прибрежных зарослях я наткнулся на человека, тайком ловившего рыбу. Это был мой лодочник, тот самый, но как постарел он за это время.

Я издал ночное приветствие мужчин.

Он, то ли от неожиданности, то ли сжалившись над моими терзаниями, ответил.

В крошечной тьме, в какой я не попал бы, пожалуй, и в собственную руку, он целился острой в плавающих у берега рыб.

С жадностью ловил я каждое его слово.

— Скажи, друг, что с вами произошло, расскажи обо всем!—просил я его.

И старик заговорил. Время от времени умолкая, он метал острогу, снимал с нее рыбину и, не отрывая глаз от воды, продолжал рассказывать.

— Бои были страшные, но бои прошли. Мертвых мы схоронили, только река осталась. Ее тоже убили, но трогать ее нельзя. Наши сородичи там, мы здесь. На берегу солдаты, палки у них железные—огнем жалят. А лодки у нас отняли. Нельзя через реку переправляться. Кто попытался, тех подстрелили. Унесла их на спине мертвая река. Никого не вернула. Страшно нам стало, но все же хотелось узнать, как они там. Женщина одна вот что придумала: спустилась на реку стирать и запела. Тогда еще берег тот не был колючками огорожен. Спустилась она и запела любимую песню дочери. Дочь ее замужем здесь. Мы песню услышали, побежали за дочерью. Бери, говорим, одежду, неси на реку стирать. И пой. Матери своей пой. Принесла молодая одежду и притворилась, будто стирает, а сама слушает, о чем мать поет. А та уж про жизнь их пела. Дочь ее не готова была сразу ответить, только что песню матери и запомнила. Помогли мы ей приготовиться, и на следующий день пошла она опять стирать и мать ее вышла. Теперь дочь пела, а мать ее слушала. Стали и другие матери да молодки на берег ходить и стирать и пели с усердием. Всю одежду немногую, какая только сыскалась в двух деревнях, перестирали, пока разрешалось на реке стирать и петь. Охранники-то пение не запрещали—видно, не было приказа такого, чтобы на реке не стирать и не петь. И стало у женщин привычкой каждый день тряпье свое ветхое стирать, и песни они выучились складывать, чтобы если кто узнать что захочет о близких своих, так не ждать всю ночь, пока стих сочинится. Сразу песней и

отвечали друг другу, что нового, грустного ли, веселого ли, произошло на том или этом берегу. Только больше-то грустные были новости, чаще стали наведываться к нам печали. Но пели о них все же весело, нельзя ведь стирать без веселья. Жизнь на обоих берегах остановилась, но мы хоть узнали, какая она. Дома по своей охоте почти никто уж не пел, зато на реке от зари до зари звенели песни. Одетые до подбородка, то есть солдаты, эти неразумные сыновья чужих племен, конечно, ни слова не понимали из пения наших женщин. И веселья их не понимали, но все же не вмешивались, потому что запрета на веселье не было.

И вот однажды на берегу побывал кто-то, кто понял или же догадался, что скрывается в песнях женщин. Наверно, то был сержант—начальник того берега и всемогущий повелитель всех нгонцев. И он спросил у тех, кто повелевают им, спросил, наверно, можно ли петь и стирать на берегу. И на его вопрос ответили. И этим ответом была заповедь безмолвия.

В один из дней женщины Нгона, матери наших дочерей и невесток, не пришли с утра стирать на реку. Не дождались их наши жены и невестки. Но каждый день продолжали они выходить на берег с застиранными одеждами и петь громко, что было мочи, и все меньше веселья оставалось в их песнях. Ведь на той стороне некому было их слушать. Угнали куда или, может, убили наших сородичей? Мы уж все передумали. Только одного не предполагали—что им попросту запретили появляться на берегу.

Вскоре стражникам, видать, надоело непрерывное пение голосистых женщин, и они выстрелили в них. Две сразу скончались, еще восемь были ранены, да и из раненых две женщины истекли кровью, не выжили. Все, кто мог, бросились бежать. Мертвых и тех, кого раны приковали к земле, мы, мужчины, забрали лишь после заката.

Страх постепенно прошел, и нами снова овладело любопытство, жажда узнать что-нибудь о судьбе нгонцев. Но как мы могли попасть туда?!

Одно лишь смогли мы узнать: беспощадно теснит их судьба. Как-то на рассвете в воду бросились семеро парней. То ли из-за притеснений решили они бежать, то ли чтоб пару себе найти, так как давно уж пришло их время. Только, пока они плыли, продырявили им головы. И унесла их на той заре река, та, что живых не глотает, но мертвых не отдает. С тех пор плачут у нас все девушки, каждая думает, что это ее жених сгинул навеки, что ее повел бы он в свой дом, если б достиг берега.

С тех пор не поют у нас веселых песен. Позабыли и как запевать их.

Лодочник умолк и стал напряженно вглядываться в волны, с монотонной скукой лизавшие прибрежный песок. Поблизости появилась, должно быть, большая рыба.

Я ощутил, как горе и тревоги двух деревень навалились мне на плечи. Передо мной снова ожила Окава, и захотелось во что бы то ни стало попасть на тот берег, чтобы увидеть ее.

— Скажи, можешь ты сделать лодку? — спросил я.

— Могу.

— Так прошу тебя, сделай мне.

Мой друг покачал головой:

— Нет, не сделаю ни тебе, ни другому. Я для смерти транспорт не делаю.

Тщетно умолял я его, соблазнял обещаниями.

Все сильнее болела душа моя за Окаву.

Тогда в отчаянии я спросил его:

— Что знаешь ты о моей жене?

Он молчал. По его молчанию я понял, что моя неверность, хоть она по сравнению с происшедшими здесь ужасами была просто маковым зернышком, не идет у него из головы.

Я потряс его за плечо:

— Говори мне о ней! Родила ли она нашего ребенка?

Глянув на меня, он смягчился.

— Да, она родила тебе сына.

— Еще тогда? — глупо спросил я.

— Да, вскоре после твоего отъезда.

— Что с ними теперь?

Мой лодочник только пожал плечами. Он долго ничего не говорил, высматривая цель для своей остроги.

— Когда женщины еще ходили стирать на берег, — нехотя начал он, — она тоже однажды вышла, чтобы спеть песню. В ней она прощалась с тобой. Целый день стирала она и пела одну и ту же песню, но никто ей не отвечал.

Я знал, что если мой друг прослушал эту песню хотя бы раз, то запомнил, о чем она; если же он слышал ее несколько раз, то знает ее так же хорошо, как свои собственные. Он и не отрицал, что смог бы ее исполнить. Но петь не хотел ни в какую, только тряс головой: мол, хоть кожу с него дери, не споешь. Может быть, он даже жалел, что рассказал мне об этом и обо всем остальном. Ведь чужой человек коварен.

Но я с такой дрожью вновь и вновь спрашивал его об Окаве, что он наконец сжалился.

— Вдову твою командир охранников вынудил...

— Вынудил?

Он сверкнул на меня глазами. Озлобленно.

— Другого не оставалось. Смерть или сержант.

— И до сих пор?

— До сих пор...

Боль моя была столь безумна, что я окончательно решился:

— Я хочу переправиться.

Лодочник от удивления опустил острогу и, оторвавшись от воды, воззрился на меня.

— В колючей ограде есть лаз,— сказал он.— Солдаты через него за водой ходят. Если ты до него доберешься, может быть, в тебя и не выстрелят. Ведь ты белый.

И он объяснил мне, как найти лаз в проволочном ограждении. Но мне, с моими глазами, чтобы пуститься вплавь, нужен был свет, хотя бы первые проблески зари.

Мы отправились вверх по течению, откуда река могла снести меня к нужному участку берега. Подошло время, и я разделся. Берег уже смутно вырисовывался, и где-то значительно ниже по течению угадывалось место, где солдаты черпали воду.

Я вошел без единого всплеска.

Пока доплыл до середины, совсем рассвело. Цель была хорошо видна; с каждым гребком все ближе казалась и другая цель, невидимая и манящая.

И тут на берегу что-то шевельнулось. Выстрела, которого я ожидал, слышно не было. Только позднее, когда плечо обожгла боль и вода вокруг меня окрасилась кровью, я все понял. Вместе с красным пятном течение поволокло меня вниз. Теперь я четко видел глазок дула и шевельнувшийся за ним палец. Ничего больше, только человеческий палец. «Человек всего-навсего шевельнул пальцем»,— думал я, отдаваясь течению подхватившей меня воды. Сознание мое помутилось, но тело не расслабилось, будто зная: горе мертвым, река оставляет их себе. Живых же выбрасывает на берег. Сознание оставило меня ровно настолько, чтобы вода понимала, что я еще жив.

Мои друзья уже ждали меня на берегу. Лишь после того, как они внесли меня в хижину, я расслабился.

Постарел я на месяцы, хотя пробыл в забвении только двадцать часов.

Целая жизнь прошла за это время.

Теперь со мной говорили и все остальные. Чуть ли не баловали меня.

Они так перетянули мне плечо, что я не мог шевельнуться. Правда, кровь все же проступила сквозь повязку.

Но случилось и что-то еще—об этом я догадался по лицам моих усердных санитаров.

Они не хотели от меня ничего скрывать, но все же дождались утра. Утром человек не так печален, чтобы захотеть своей смерти, какую бы злую весть он ни услышал.

— Твоя вдова узнала, что белый человек хотел переплыть реку,—сочувственно прошептал мне мой бывший лодочник.— Может, она знала, что ты здесь. Может, как раз спустилась за водой, ведь ей, наверное, не запрещается. А может, почувствовала что. Или сержант похвастался, как они тебя...

— Что с ней случилось?—Я вдруг почувствовал жгучую жажду.

— Вчера днем она столкнула на воду лодку и поплыла к нашему берегу. Лодку продырявили, а в голову Окавы целились до тех пор, пока она совсем не исчезла. Вода ее проглотила... и лодку тоже. Спеть она не успела, а ведь ей так хотелось, чтобы ты еще хоть раз услышал ее голос.

Ничего не спросив, я уснул, ведь всю ночь ожидал я, чтобы кто-нибудь рассказал мне об этом.

На следующую ночь ко мне снова пришел мой приятель. Он не смог ловить рыбу: плохо видел, какая-то едкая пелена застилала ему глаза, потому что он тоже любил Окаву.

С такими глазами он не попал бы своей острой ни в одну рыбу.

Вот он и сидел, дожидаясь, пока я проснусь, пока отыщу его взглядом из-под полуприкрытых век.

Меня мучил жар, в бреду я парил над хужиной и, бормоча, что-то объяснял облакам, а потом, обращаясь ко всей вселенной, запел вдруг окрепшим голосом:

Селенье любое я чту своей родиной,
Старуху любую я чту своей матерью...

Когда я умолк, мой друг обхватил ладонями мое лицо и, повернув к себе, сказал:

— Я знаю ту песню, что сложила твоя жена, когда женщины еще ходили на реку стирать.

Глаза мои широко раскрылись от ожидания.

Тоненьким голоском, наверно пытаюсь подражать голосу Окавы, он запел:

Вчера ушел ты, назавтра,
Быть может, уйду и я,
И не видать мне уж дом наш,
Не видеть родные края.

Птица, на берегу я стою,
Крылья свои расправляю,
Все подружки мои улетают,
Только я здесь чего-то жду,
Вдова я, вдова,
Живого человека вдова.
Пришли, пришли весточку,
Хоть словечко единое,
И в дом твой отправлюсь я,
В край родной вернусь я.
Горе, горе мне, горе!
Горе, горе нам, горе!

Я ничего не видел перед собой. Глаза ослепила соленая влага, и мир казался сплошным белесым облаком.

Утешительная мысль, что, быть может, на противоположном берегу у меня есть сын, не пришла мне тогда в голову. Я думал только о том, почему реки, ни в чем не повинные, должны пить кровь? И о том, что, если безвинные реки будут питаться телами безвинных людей, никто на свете не станет от этого счастливее.

1955

ЧТО ЗА ПТИЦА!

Петь? Порхать? Или помалкивать?

В крохотную, окруженную горами долину лес швырнул добрую охапку медвяного аромата. Железнодорожная станция в центре долины вяло принюхалась. Вытянутыми щупальцами рельсов она словно пыталась определить, откуда этот чудный запах.

Припекало солнце, на станции ждали поезда. Туристы и двое местных, делового вида люд—инженер из лесхоза, комендант психоневрологического диспансера,—укрывались в густой тени одиноко стоящего перед зданием дерева. Местные, должно быть, поджидали гостей.

В дверях станции появился голубоглазый узколицый парень в мятом пиджаке и таких же брюках, которые к тому же были ему коротки—то ли он вырос из них, то ли взял у кого поносить. Остановившись у выхода, он с жадным любопытством посмотрел по сторонам, но, заметив скучившихся под деревом людей, вздрогнул, будто наткнулся на неприятного знакомого, и смущенно попятился в зал ожидания.

Народу на станции прибывало. Пользуясь началом каникул, папаши—взяв, наверно, отпуска—с бледными

после учебного года сынишками совершали в эти дни загородные прогулки. Шумной ватагой подошли гимназисты постарше. На парня никто не обращал внимания.

Стоя у открытого окна, он зачарованно, как отыгравшийся картежник на вернувшееся к нему богатство, смотрел на горы, на бескрайний лес. И был счастлив, что в любую минуту может отправиться куда ему вздумается. Парень обрадованно нащупал в кармане железнодорожный билет. Радоваться в этот миг он мог чему угодно.

На оконный карниз, наверно с ближнего куста, с легким шлепком приземлился жук. С длинной шейкой, пузатый. Быстро оправившись от падения, он, подрагивая синей блестящей спинкой, заковылял к стене. С полминуты разглядывал юноша жука, пока наконец с радостью не сообразил: «Это же майка!» И не без удовольствия подумал: «Я человек осторожный: попадется мне на пути букашка — перешагну!»

Зал ожидания наполнился гомоном детворы. Шумели тетки с груженными корзинами, их пышные цветистые юбки невольно приковывали к себе взгляд. Он снова повернулся к пышно-зеленым кустам и синеющему вдаль лесу.

Жук дополз до конца карниза. Дальше была щель, и, как он ни тужился, как ни вытягивал лапки — даром что их у него шесть, — перебраться на стену ему не удавалось. Хотя для него это было, по-видимому, очень важно — он так старался, что едва не свалился с карниза. Чтобы помочь этому существу размером с ноготь, достаточно было бы подтолкнуть его кончиком пальца.

Но парень лишь улыбался с довольным видом. Он только что принял решение: ни во что не вмешиваться, ни с кем в разговор не вступать, а ежели спросят что, отвечать коротко, односложно.

Из кустов, что росли неподалеку под чахлыми деревьями, в этот момент выпорхнула птица. Такая коричневая, что на земле, тоже коричневой, ее бы и не заметить, если бы, снижаясь, она не пропела: «Ири-три-три». «А ты что за птаха? — удивился юноша. — Что-то я тебя не припомню». Птица качнула белым хвостиком. Брюшко у нее было тоже светлое — белое с желтым. «Иди ко мне, — шепнул он, — давай познакомимся». Та — видно, в поисках червяка — сделала несколько шажков в его сторону. «Кто ты? А ну, повернись! Хочу на тебя взглянуть».

Рядом из-за куста показалась фуражка, надвинутая на лоб мальчугана, осторожно ползущего на животе. «Что это он, птицу ловит? Голыми руками?» Нет, не голыми. Приподнявшись на локте, мальчишка прицелился из рогатки.

«Ух, я тебе, сорванец!»—хотел было выкрикнуть парень. Но сорванец опоздал: не успел камень вылететь из рогатки, как птица вспорхнула и с возмущенным «чив-чив-чив» нырнула в кусты.

«Жаворонок! Хохлатый жаворонок!»—обрадованно узнал парень птицу.—Этого подстрелить не просто». И тут же помрачнел, досадуя на себя. Чего ради он собирался закричать? Но вот ведь—смолчал. Кончились те времена, когда он, как тогда, два года назад, позволял себе необдуманные поступки... «И правильно сделал, что смолчал, правильно!»

Два года назад... Пештская улица сверкала под лучами весеннего солнца. Все, что произошло в тот час, врезалось в память до мелочей. Беззаботно прогуливаясь, он подолгу стоял у витрин букинистических магазинов. Улица, где они расположены, много раз виденная, манила, притягивала к себе, навевала мечты. Он и не заметил, как очутился в толпе. Все смотрели вверх, козырьком приложив ладони к глазам—над домом напротив пылало послеполуденное солнце, но стена, куда смотрели люди, оставалась в тени.

Не смотреть же было нельзя! В одном из окон четвертого этажа на карнизе стоял малыш годиков двух.

Вот-вот он мог сорваться на мостовую и превратиться в кровавое месиво.

Все смотрели, затаив дыхание.

А малыш, балансируя ручками, двинулся по карнизу, высоко над улицей. Дойдя до конца короткого пути, он сделал движение, будто хотел шагнуть еще раз, но, видимо, передумав, решил сесть. Жутко было смотреть, с каким спокойствием шлепнулся он на карниз. Свесив голую ножку, другую он подложил под себя.

Хотя на улице было оживленное движение, люди, которых скапливалось все больше, стояли без единого звука, боясь, что при первом же возгласе ребенок свалится вниз.

Но тот не свалился. Поежившись, он с содроганием глянул на мостовую. Ему было страшно! А забраться назад, в комнату, наверно, не мог. Было видно, однако, что, несмотря на испуг, малыш разглядывал грохочущие внизу трамваи.

Наконец трамваи ему надоели, и он, неуверенно хватаясь за край штукатуренной стены, встал, обнял ручонкой оконный переплет и заглянул в комнату, однако тут же испуганно отвернулся, убрал руки за спину и пошел по карнизу обратно. В каждом шажке ребенка ощущался смертельный страх, но краем глаза он все же опять наблюдал за трамваями.

Смотреть на это было невыносимо. Если другие не смели пошевелиться, то парень решил действовать. Не обращая внимания на движение, перебежал улицу, миновал подворотню и сломя голову кинулся на четвертый этаж...

Протяжным гудком возвестил о своем приближении поезд. Народ с гвалтом высыпал на перрон. Компания, что сидела в тени одинокого дерева на скамейке, поспешила к вагону первого класса. Парень бросился в другой конец поезда и, опередив остальных, занял место у окна. Он снова был у открытого окна. Через минуту купе заполнили пассажиры: тетki с корзинами, трое гимназистов со свежеструганными палками в руках... К тронувшемуся поезду какой-то папаша, отдуваясь, тащил щуплого сынишку, делая при этом отчаянные знаки дежурному по станции и выкрикивая: «Стойте, стойте!» За спиной у него болталось что-то завернутое в парусину. Они вскочили в вагон на ходу. Нашлось и для них местечко у прохода. Опустив к ногам свой легкий, похожий на коробку сверток, папаша принялся выговаривать сыну: «Вот видишь, чуть было не опоздали!» Мальчишка, тяжело дыша после пробежки, молчал.

За окном проплыло станционное здание, мелькнула путевая будка.

Парень снова погрузился в воспоминания.

О случае с ним газеты не сообщали — он был еще несовершеннолетний. Потому и получил лишь два года.

А, собственно, за что? Он подумал об этом так, будто ни в чем не раскаялся. Будто не пожалел он стократ о своем поступке! В самом деле, разве нормальные люди ведут себя так?!

Как угорелый взлетел он на четвертый этаж, позвонил в квартиру и, когда в двери открылась узкая щель — «Кто там?» — просунул в нее ногу, чтоб не захлопнули. Потом поддал дверь плечом и напрямик через темную прихожую ворвался, незванный-непрощенный, в комнату, что выходила на улицу. Открытое окно, то самое, он узнал сразу. Но в нем никого! Опоздал... Чувствуя, как подкатывает к горлу тошнота, он пошел к окну, чтобы взглянуть на залитую кровью мостовую, но споткнулся... У него под ногами, лежа на животе, жалобно хныкал ребенок. Из-под рубашонки выглядывал кончик ремешка... Значит, упал все же в комнату? Сзади слышалось нагло-смущенное хихиканье. Смеялся мальчишка в коротких штанах, тот, что открыл ему дверь.

— Натаскиваю бздунишку!

Вот когда он все понял. И, повернувшись, занес над

головой кулак. Что было дальше, он помнил смутно. Свалившись на пол, мальчишка затих, а маленький поднял рев. Вот и все.

Только на суде он узнал, что сорванец тот едва не скончался от побоев. Адвокат же сразу так и сказал, что случаем должны заниматься не судьи, а психиатры. И действительно, месяц спустя его привезли в эту долину, в лечебницу. Два года прошли в полном покое, и вот вчера ему сказали: «Забудь все, ты свободен!»

Два года спокойной жизни... И все же порой эта жизнь казалась хуже тюремной! Чтобы забыть о случившемся, он решил соблюдать молчание, меньше двигаться и вообще относиться ко всему с полным безразличием...

Поезд, оставив позади залитую солнцем долину, въехал в узкую впадину между холмов и помчался по золотисто-зеленому коридору возвышающихся над насыпью деревьев.

В купе впорхнул свежий ветерок, принесший с собой приветственное благоухание леса и гор. Пьянящие запахи кустов, чтобы заглянуть в вагон, казалось, вытягивались под кронами деревьев на цыпочки, и даже придорожные цветы, будто мечтая влететь в окно, вприпрыжку бежали за поездом.

Какое чудо! Что за неистовое ликование свежести и ароматов! Он вздохнул полной грудью: двухлетней давности пиджак чуть не лопнул у него на спине.

В купе на умиротворенного юношу внимания не обращали. Гимназисты, сдвинув колени, резались в карты. Тетки о чем-то плакались друг другу на сочном диалекте. Еще один пассажир, тот, что сел раньше, дремал. На лбу у него бисером серебрился пот.

Не придя в себя от волнения, папаша уже успокаивал сына: ладно, мол, будут тебе и грибы, не всё разом.

Мальчишка, как все избалованные дети, строил кислые мины и раздраженно тыкал ботинком в парусиновый сверток...

Паровоз с пыхтением, будто желая поделиться с пассажирами своей уверенностью, одолевал крутой подъем. Но никто, кроме одинокого юноши, не замечал ни усердия паровоза, ни знаков внимания со стороны природы.

Показалась станция. Паровоз с мягким шипением, без гудка остановился у дачного поселка. Лес и здесь подступал к самому полотну, заглядывая в окна вагонов.

Поезд стоял.

И вдруг, будто откуда-то изнутри, из-под сердца, на волю вырвались звуки.

Где-то в чаще запела птица: «Тю-тюри-фью-фьюю».

Чисто. Как флейта.

В купе разговаривали. Чтобы послушать песню, парень высунулся из окна. Птица, словно бы смутившись, продолжала чуть тише: «Тю-тю-фью-фьюю».

Простая, невинная песенка, будто сложенная в честь дня его освобождения. Поезд тронулся. «Может, сойти?» Сердце его дрогнуло. Но он тут же устыдился этой мысли и, повернувшись в сторону удаляющейся станции, прислушался в надежде хоть что-нибудь уловить сквозь шум колес.

Лесных певцов он знал хорошо и все же не мог понять, что за птица преподнесла ему этот подарок.

Иволга? Крапивник? Дрозд? Их голоса ему были знакомы — никто из них не пел так ладно, такими журчащими трелями.

Хотя подмятые паровозным гудком звуки странной флейты совсем растворились в стуке колес, голос незнакомой птицы еще долго звучал у него в ушах.

Юноша даже приуныл оттого, что подарок оказался таким эфемерным. Напрасно выглядывал он из окна, не летит ли певунья за поездом. Пока ехали до следующей остановки, мелодия постепенно забылась.

Почувствовав приближение очередной станции, паровоз отрывисто загудел. Гребень холма был уже позади, и поезд, скрипя колесами, притормаживал на спуске. Здесь от железнодорожного полотна лес отделяла шоссейная дорога. На станции перед вагонами суетился народ, и о лесной песне можно было только мечтать.

И вдруг желание юноши осуществилось. Сквозь людской гомон из-за шоссе донеслись знакомые трели. Песня лилась, как из тонкозвучного кларнета, становилась все свободней, то подымаясь до самых верхов, то обрываясь вдруг резким «росчерком».

И тут он понял: птица летела за поездом, чтобы петь для него. В честь этого радостного дня. Но разве такое возможно? Объяснения он особенно не доискивался.

Предположения, которые все же мелькнули у него в голове, были нелепы: может, подумалось ему, кто-то везет в корзине черешню, и незнакомая птица следует за ней, или ее соблазняют гусеницы, которых какой-нибудь рыболов собирал в лесу для наживки?

Но как бы там ни было, песня принадлежит тому, кто ее слушает, а здесь, похоже, никто, кроме него, не обратил на нее внимания.

От мысли, что он один наслаждается этим чудом, у юноши перехватило дыхание.

За станцией деревья снова зеленым коридором обступили поезд. И повторилась та же иллюзия: ему почуди-

лось, что поющая птица летит за набирающим скорость составом.

Нет, это было не наваждение. Он явственно слышал даже свист воздуха, разрываемого крыльями. Рискую вывалиться из окна, юноша высунулся по пояс.

Но монотонный стук колес вскоре поглотил все звуки; птица-невидимка теперь парила где-то над поездом, не подавая голоса. Он опустилсЯ на сиденье.

У теток, что сидели напротив, раскинув многочисленные, надетые одна поверх другой юбки, застыли в руках ножи, занесенные над куском сала. Что они так устались? Что-нибудь не в порядке? Он потрогал лицо. Под глазами было мокро. Да ведь он вовсе не плакал, а только... Но оправданий столь странному поведению глаз не находилось.

Он вытер слезы ладонью. Женщины смущенно склонились над салом. Мальчишка у прохода надоедливо заканючил: «Давай развернем, па, давай!»

Отец вяло отнекивался. По соседству гимназисты с прежним азартом хлопали картами.

Только теперь, прослезившись, почувствовал он, как захлестывает его радостное ощущение свободы. Юноша закрыл глаза и, обмякший от растроганности, едва не уснул.

Да, песня была прекрасна, только слишком уж коротка. Хотя и этого более чем достаточно, не каждому такое выпадает. Так природа выказывает свою благосклонность тем, кто умеет внимать ей, кто в ней разбирается. Людям избранным. И он вот, выходит, один из них. Он, знающий, что такое быть вольным как птица... Мысль, что природа к нему благосклонна, нередко служила ему утешением.

На глаза снова навернулись слезы. Чтобы не заплакать, юноша решил отвлечься и стал думать о том, что все-таки за птица эта его певунья? Славка? Она хоть и поет длинными трелями, но не так, а... Он тихонько напел песню славки. А может, то был жаворонок? Нет, у него на высоких нотах совсем другие коленца. Правда, есть еще полевой жаворонок. И лесной жаворонок, юлка. Как она поет? В саду лечебницы ему доводилось слышать ее — тоже великая мастерица на флейтовые свисты. Как это она делала... И он, подражая юлке, чуть слышно засвистел.

Поезд тем временем сбавил ход. За окнами с обеих сторон виднелись бурые глинистые холмы. Солнце слепило глаза. Пустынный пейзаж ни рядом, ни в отдалении не скрашивал ни единый кустик.

Изумленные тетки покончили наконец с едой и тут

спохватились, что пора выходить. Поезд почти уже остановился, когда они вдруг испуганно заахали, засуетились, бросились собирать вещи.

Парень снова высунулся из окна, но ничего не услышал. Стоял невообразимый гвалт. Он с сожалением опустил на место. Что ж, рано или поздно чуждая песня должна была оборваться.

Одна из женщин с шумом вернулась в купе за последним узлом. Взметнув юбками, она как-то странно посмотрела на парня. А сойдя на перрон, еще раз покосилась на него через окно. Поезд все не отправлялся.

И тут совершенно внезапно вновь раздались птичьи трели. Еще звонче, отчетливее, чем прежде. Будто играла невидимая пластинка, и это была ее самая удачная запись. Слушать! Слушать, забыв обо всем! Но откуда же льется эта музыка? Не из леса, не из кустов и не с неба—она звучала где-то совсем рядом.

Он испугался. Неужто ему мерещится?

Может, она звучит лишь в голове? Едва ли—вон и картежники вроде прислушиваются.

— Вы что-нибудь слышите?.. Птицу?—повернулся он к ним.

— Как же, как же,—не отрываясь от карт, кивнул один из них. Им было не до птицы.

Быть может, она устроилась в щели на крыше или, что еще вероятней, весело путешествовала, спрятавшись под скамью? А может, все-таки радио? Но какое уж там радио в жестком вагоне? Да и нет таких записей, таких птичьих концертов!

Мальчишка, упрямивая отца, по-прежнему канючил: «Па, давай развернем, давай!» Тот, потеряв наконец терпение, сказал твердое «нет».

Тогда упрямец со злостью поддал парусиновый сверток ногой.

И песня оборвалась.

Случилось это так неожиданно, что юноша ужаснулся. Невероятно, но между ударом и тем, как умолкла птица, не прошло и секунды. Выходит...

Он поднялся и неуверенно шагнул к отцу с сыном. Язык прилип к гортани, он только показывал на сверток, бормоча:

— Вы... вы...

Сынишка, струхнув, прижался к отцу. Тот недоуменно хлопал глазами. А парень—чего тут еще объяснять!—стал разворачивать парусину.

— Птица—моя!—завопил сын.

От этого вопля юноша обрел дар речи.

— Отпустите ее, отпустите!—кричал он, обращаясь к

отцу, но, прежде чем тот вымолвил хоть слово, мальчишка кинулся на парня с кулаками. «Птица, птица!» — верещал он при этом.

Парень, придерживая одной рукой клетку, которая чуть не перевернулась, легко отбросил мальчика. Да, под парусиной была именно клетка.

Отец с сыном набросились на него уже сообща. Он отбивался что было сил. Сначала сбил с ног мальчишку, а следующим ударом повалил на скамью и папашу.

И все это ради того, чтобы завладеть птицей.

Через секунду-другую, придя в себя, папаша с ревом накинулся на обидчика, покусившегося на сына, его самого и принадлежащую им птицу.

Не успели они выяснить, кто сильнее, как в купе и за окнами на перроне собрался народ.

Дежурный по станции, хотевший было дать отправление, опустил сигнальный диск. Подождал, что же будет. И тоже пошел к вагону.

Кто-то из толпы позвал полицию. Потасовка вскоре кончилась, и в дверях вагона, похоже, подталкиваемый в спину, показался связанный веревкой парень. Лицо его было изукрашено ссадинами и кровоподтеками. На него посыпались ругательства.

К счастью, из вагона первого класса подоспел комендант лечебницы, который, конечно же, взял юношу под защиту.

— Не трогайте его! Оставьте! — повторял он, укоризненно качая головой. — Я его знаю. Он у нас на лечении был. Оставьте, нельзя его обижать. Я отвезу его назад в диспансер.

Пассажиры наперебой объясняли ему, что случилось.

Соседка по купе, успевшая отойти от поезда, тряся юбками и волоча за собой корзины, прибежала на шум. Сгорая от любопытства, она ожидала, что будет дальше.

И сокрушалась, что нечего ей добавить к свидетельствам очевидцев, которые обрастали все новыми подробностями. Как-никак она сидела в купе напротив этого парня. Но что она могла сказать, если не поняла ни единого слова в его бормотанье, ни слез на его глазах.

1955

ТАНЕЦ

Аромат парного молока

— Не танцуете, господин профессор? — обратился к пожилому заводскому врачу молодой инженер. Удар был

нанесен в спину, как раз в тот момент, когда, пристроившись у буфетной стойки, доктор надкусил бутерброд.

Он обернулся и, не переставая жевать, поклонился с преувеличенной вежливостью.

— Я глубоко тронут вашим вниманием к моей частной жизни, господин главный инженер, но прошу иметь снисхождение к моим преклонным летам, если же это вас не убеждает, смиреннейше прошу вспомнить о моей астме. И, если позволите, я мог бы задать вам тот же вопрос.

Уже не впервые они обменивались подобными приветствиями, величая друг друга званиями, которых не имели, подстраиваясь к манерам, когда-то принятым в их кругу, и подшучивая над ними.

— Я не танцую. Не танцую с тех пор, как женат,— с горечью сказал инженер, сразу сбившись на будничный тон.

Доктор залился краской под седыми волосами: как же он забыл, что у инженера хромая жена, какие тут танцы. И он поспешил заговорить о том, как хорошо нынешней молодежи—такие великолепные залы к ее услугам.

— И концерт был вполне на уровне. Ты не находишь?—не умолкал он, и краска стыда—очень он не любил обижать людей—постепенно сходила со лба.—Я, правда, только в музыке кое-что смыслю, но артисты, которых пригласили...

Инженер, кажется, даже и не слушал, его кивки отвечали скорее каким-то собственным мыслям, и если он становился все задумчивее, то причиной тому, верно, была проникновенная мелодия. Вдруг он все-таки заговорил:

— Даже пойти с ней никуда не могу. Ты представляешь, как тяжело в наше время вести такую жизнь?

Еще бы, с хромой-то женой, согласно кивал доктор.

Но оказалось, что великодушный муж имел в виду другое:

— Она выдает себя каждым словом, каждым жестом; выносит на публику то, что никого не касается. Она только руку поднимет или усмехнется, а кому-нибудь из этого может выйти смертельная обида. Кто знает, как здесь воспримут ее самые невинные барские повадки. Даже коллегам, пожалуй, кололи бы глаза ее воспитание, хорошие манеры, от которых никуда не денешься.

Он вздохнул.

— Появись я с ней раза два в этом заводском прибежище искусств, так в следующий понедельник и меня через проходную уже не пропустят... Еще одну,—кивнул он буфетнице.

Доктор недоверчиво покачивал головой, тихо улыбаясь.

— Фантазировать изволите,—попробовал он попасть в прежний тон. Он не решился бы расспрашивать инженера о его жене. Однако Антал, опрокинув в рот рюмку рома, продолжал чуть ли не со злобой:

— Я знаю, ты думаешь: зачем было человеку жениться на хромой? Ведь думаешь? Сказать зачем? Сам толком не знаю!— Но все-таки шепнул, недобро усмехнувшись: — Они были богатые, а я бедный!

— Э-э, когда это было!—отмахнулся доктор.

Старик чувствовал себя неловко и, извинившись, сослался на необходимость заглянуть на минутку к актерам. Одна девица упала от волнения в обморок, он наказал ей полежать, и теперь надо бы посмотреть, как она.

Инженер протянул ему руку, словно хотел поблагодарить за сочувствие.

— Я еще не ухожу,—удивился доктор.

— Знаю, знаю. Словом, теперь ты понимаешь, почему я не танцую.

Оставшись один, он договорил:

— А как я любил танцевать...

Его охватило гнетущее чувство потерянности. Злила даже вежливость старика доктора. Он опрокинул еще рюмку. Потом еще одну. Потом еще. И его словно подменили.

— Ну нет, я все же буду танцевать! Этого праздника я не пропущу!

Инженер грубо выругался.

И сам поразился вырвавшемуся ругательству. Ушам своим не поверил. Пошел, стараясь держаться как можно прямее.

И остановился в дверях зала, разглядывая женщин, выбирая.

Несколько раз он уже был готов подойти, но вдруг понимал: нет, не та. Принимался искать другую. Но и другая в последний момент чем-нибудь разочаровывала: не так двигалась, не так блестели глаза.

Он колебался. Может, все-таки уйти, бог с ними, с танцами.

Вдруг в глаза ему бросился чей-то стан в зеленом бархате, который обнимала мужская рука. Красивая линия талии... и ноги хороши. Бархат пушистый, но тонкий; если бы не зеленый тюлевый шарф на плечах, женщина выглядела бы совсем раздетой. Ну просто цыпочка. Пожалуй, с этой...

— Что-то зал кружится,—пробормотал он.

Он даже не разглядел ее хорошенько. Но уж если танцевать, то только с ней.

Лишь на секунду он поймал ее профиль (полноли-

ция...), и сразу же все вокруг наполнилось сиянием, даже зал куда-то исчез. Вот... вот сейчас опять мелькнет ее лицо—румяная булочка среди зеленых листьев...

Смотрит на меня. Господи, да с кем же еще тут можно танцевать? Вот опять смотрит, отворачивается, опять устремляет округлившиеся глаза прямо мне в лицо, что-то спрашивает у партнера. Интересно—что? Он тоже оглядывается на меня. Что-то говорит, судя по губам—«Не знаю».

Оркестр начинает вальс. Нет, сейчас он не пойдет приглашать. Вальс не его танец. Пусть танцуют, а он будет смотреть на нее...

Взлетает подол зеленого бархатного платья, открываются ноги до колен—и, точно охваченные пламенем, глаза его тревожно вспыхивают: Ирма!

Его даже пот прошибает от волнения.

Первое чувство—все-таки радость, и сразу же следом удар в сердце: как я мог так поступить с ней! И тут же мысль: кто она теперь? И дальше: если она попала в начальство—мне конец. Надо же, какая чушь лезет в голову: Ирма—и начальство!

Глаза его, однако, в упоении следили за женщиной и никак не могли поймать ее взгляда. Он видел только разрумянившиеся булочки щек над зеленым тюлем: их опалили гнев и жажда мести! А может, радость?

Ликует, неистовствует сердце, но тревога одерживает верх, он плетется в буфет, валится на диван в темном углу.

Доктор надеялся, что, возвратившись, он уже не застанет своего знакомого, но находит его таким неприка-
янным, таким чужим в этой захватившей всех веселой кутерьме, что сердце его трогает жалость.

— Нет, танцы отнюдь не пустяк, милостивый государь! Вот я смотрел сейчас на этих здоровенных парней, привыкших ворочать железяки, как они вразвалку выходят на паркет... а ведь какое-то изящество в них появляется, вдохновение. Тут не только гимнастика, но и психология, знаете ли... Если бы не моя астма...

Забыв о хороших манерах, милостивый государь вско-
чил, покачнулся, но вцепился в пиджак доктора и не отпустил до тех пор, пока не заставил старика пойти потанцевать вместо себя.

— Пригласи ту, что в зеленом бархате! Выспроси ее обо всем!

Доктор не хотел, отнекивался.

— Я даже не знаю, как ее зовут.

— Кажется, Ирма...

— Кажется?—Но старик побоялся шума, а он чув-

ствовал густой, тяжелый запах рома.

Возвратился он, задыхаясь от астмы.

— Дело, видно, плохо,—испугался инженер: очередная рюмка, похоже, слегка прочистила ему мозги, он ждал своего приговора.

— Представь... так и есть... зовут Ирмой... муж—шофер... в прокатном цехе... а сейчас... играет в карты в зале отдыха...—Доктор повалился на место Антала.

Инженер глубоко вздохнул, и в эту минуту никто не взялся бы определить, сколько он выпил для храбрости.

Вот он врезался в толпу танцующих, локтями расчищает себе дорогу, и зеленое бархатное платье уже его, и шарф, и румяные щечки-булочки...

— Я так обрадовалась, когда увидела тебя,—просто сказала Ирма, и глаза ее загорелись, будто жар воспоминаний ждал только сухого валежника—радостного приветствия, ободрения.

Но огонь тут же исчез, осталась только пара испуганных глаз. Испуганные глаза тоже чего-то ждали, хоть знака, хоть слова, самого обыкновенного. Но слова нет, только танец. Только бешеный танец: танго, фокстрот—все кружится перед глазами, резкие повороты, вихрь чардаша—мы цветы на ветру... Что-то нужно сказать, одно слово, и все станет просто, все как-нибудь разрешится, кто знает как, но разрешится... Но слова нет, лишь жгучий взгляд и танец, точно в угаре... И всякий раз, как меняется мелодия, нужно сразу же удостовериться: здесь ли он еще, этот запах, свежий аромат парного молока. Губы пробуют уловить его между пеной шарфа и каштановой волной волос, вдыхают самое женщину. Лицо мужчины клонится все ниже, сперва только в краткий миг остановок, а потом уже не отрывается от источника, который так чист, что кажется, забил только вчера, а сегодня утром, нет, всего минуту назад, он сдул с него облако, которое его закрывало. Как хорошо было бы увериться, что он ошибся, что она не та, кого он ищет. Но этот запах! Аромат молодого женского тела, чисто вымытого детским мылом!

Этот аромат принадлежит только ей! На глаза Ирмы навертываются слезы, но она не пытается отстранить все ниже склоняющуюся над ее плечом мужскую голову.

Ты помнишь, злодей?—вертится в этой голове, и танец становится все неистовей.

Даже пожелай того Ирма, ей бы сейчас не вырваться.

В первый раз танцует инженер механического цеха—и чувствует, как к нему, к ним устремляется всеобщее внимание.

Вот и познакомились всем заводом с женой нового

шофера из прокатного цеха. «Ах ты, боже мой», — спохватывается Ирма.

Никто не смеет остановить их, все только смотрят.

Старый доктор в дверях зала тоже в изумлении наблюдает за танцующей парой, пальцы его так и тянутся отбарабанить мелодию, но пока нельзя — не проходит удушье.

Некоторым уже наскучил странный танец, они бы и пришли на помощь женщине — но как знать, а вдруг она любовница инженера. Тогда все, что происходит под зеленым шарфом, дело семейное.

И оркестр, как нарочно, словно желая испытать, сколько они выдержат, начинает новую искрометную мелодию.

Спасенья нет. Мужчина чувствует себя полновластным хозяином зеленого шарфа, и лишь его прерывистое дыхание тому расплатой.

Аромат нежной шеи как густой туман, гуще, чем запах выпитого за вечер рома. Сквозь него не пробиться правде. Нужно самому отыскивать ее. Правде хорошо, с ней все просто, она была, есть, будет...

Иначе кто стал бы думать о ней? Но что, если этот аромат держится, лишь пока...

Напрасно ты обрадовалась, напрасно надеешься, что я буду о чем-нибудь спрашивать. Есть ли дети? Муж? Ни за что! Ни за что! Я никогда тебе не поверю. Никогда!

Одно только слово, его можно сказать и теперь, но он ждет, чтобы женщина сама все угадала в этом бешеном вихре, в этой неясной боли (только боль ли это или всего лишь пьяное смятение?). Угадает? И содрогнется: ах, какими они были бы, эти годы, если б вместе!...

Но Ирма не содрогается, никак не обнаруживает, что его боль — их общая боль. В ее заплаканных глазах испуг. Она дрожит как осиновый лист. Все кружится вокруг них, и в этом кружении: пощады не жди.

Может, еще долго продолжалась бы эта круговерть, это яростное мщение, ведь зрители не решались разнять исступленно танцующую пару. Однако кто-то нашелся, дал знать шоферу, мужу Ирмы. Грузный, толстый мужчина доиграл партию до конца, загасил сигарету и пошел.

Он лишь кидает взгляд на жену, левой рукой мягко отстраняет ее от партнера, правой... бьет инженера по шее. Со всего размаха.

Неистовый танцор растягивается на полу, точно бычок, которого пнули под зад.

Доктор к этому моменту уже справился с дыханием и спешит присоединиться к троице, чтобы спасти инженера еще от одного удара. Обхватив Антала за талию, он

выводит его на свежий воздух; растирая ему мышцы, сгибая и разгибая руки-ноги, приводит в чувство.

— Ты вел себя как напившийся мальчишка,— качает головой старик, но ни о чем не спрашивает постепенно приходящего в себя инженера: захочет—сам объяснит.— Если ты стосковался по женщине, разве так за это берутся! Есть миллионы способов! Даже отчаяннее, чем твой. Но так же нельзя!

Какая-то незадачливая у нас семья. Никакого положения в обществе. У меня, например, не было ни одной знакомой девушки из хорошего дома. Даже в студенческие годы.

Отца перевели в министерство финансов из провинции. Никто из его сослуживцев не бывал у нас, они никогда не собирались, как собираются, скажем, учителя, преподающие в одной школе.

Так мы и жили втроем, в полном одиночестве.

Родители уж и не замечали это наше одиночество. Да и друг друга почти не замечали в страшном столичном отчуждении.

Тем больше переживал я. Вместо них я мучился всеми ужасами нашей мрачной, как в склепе, жизни...

Отец и внимания не обращал на мой угрюмый вид. Учитя—и слава богу, ничто другое его не интересовало.

Мама еще как-то тревожилась: «Не сиди сиднем, сыночек, займись спортом, ну сходи, если хочешь, в школу танцев».

Школа танцев была на площади Кристины. Модное заведение для детей из хорошего общества.

В воскресенье после обеда я туда отправился. Смущался ужасно, ведь я никогда по-настоящему не учился танцевать. Все никак не мог набраться храбрости и пригласить кого-нибудь, стоял дурак дураком. Так, с билетом в руке, и вышел на улицу, в ноябрьские сумерки, в дождь—но это я уже позже заметил, миновав дома три. Тогда я нырнул в подворотню, не хотелось мокнуть. Ждал, когда перестанет лить. Вдруг бесшумно подошла какая-то девушка, встала рядом, тоже переживала дождь. Девушка была не из простых, держалась с достоинством.

— Льет как сильно. Пожалуй, это надолго.

Она взглянула на меня и быстро отвела глаза. Я спросил:

— Вы не ходите танцевать?

Девушка так удивилась, что даже ответила:

— Нет.

— Наверно, не умеете?

— Почему же не умею,—хотя уже смеркалось, я увидел, как она вспыхнула,—умею.

Тут я глубоко вздохнул и наконец-то решился:

— Если и вправду можете, пойдёте со мной в школу танцев.

— Если могу танцевать или если могу пойти?—спросила она кокетливо.

— Если можете танцевать.

Теперь только она оглядела меня с ног до головы:

— С вами?

— Со мной...

— Но мы же не знакомы...

— Как не знакомы, вот ведь мы разговариваем. Кстати, меня зовут Антал.

Девушка еще немного поспорила, потом выяснилось, что ее зовут Ирмой, и мы под дождем вдоль стен двинулись к школе.

— Только я ненадолго, меня дома ждут.

— Конечно, ненадолго...

И за билет, и за гардероб платил я. Ирма была в лиловом бархатном платье, гораздо красивей, чем показала мне там, на улице, пока мы шли к школе от подворотни. (Бархат она и теперь любит.)

Она танцевала только со мной. Мы совсем потеряли головы, забыли обо всем на свете, опомнились вдруг, от испуга: Ирму ждут дома! К счастью, она жила недалеко. Расширенными глазами она указала на светящиеся на третьем этаже окна:

— Ох, и достанется мне из-за вас!..

Растроганный, я робко поцеловал ей руку, она же, не сказав ни слова, убежала, понеслась вверх по лестнице.

Мы встретились на той же неделе. «После занятий у меня обычно час свободный»,—сказала Ирма, и все, что она говорила, выходило очень просто. Просто, разумно и изысканно. Так я, во всяком случае, тогда думал.

Этот час мы прогуляли в Табане. Говорил один я. Ирма слушала и иногда что-то отвечала. Одно-два слова, но все равно не казалась молчаливой, и день мой и вечер были полны ею, да и следующий день тоже.

В воскресенье мы снова пошли танцевать. Ирма была уже в другом платье, я ликовал. Она была самая красивая из всех, на других даже смотреть не хотелось. Проходила неделя за неделей, иногда мы встречались и по три раза.

Мы уже с полуслова понимали друг друга. Я, бывало, только открою рот, а Ирма уже тихонечко поддакивает: да, неправильно, да-да, наверное, так.

Однажды, как раз после танцев, повалил снег, и мы забрались на гору, где нас никто не мог увидеть, даже

если бы проходил мимо, потому что все было скрыто за колышущейся белой завесой. Мы только оттанцевали, и это придало мне смелости, чтобы снова обнять Ирму; от ее шеи шел сладкий, вкусный запах, струившийся из-под пальто, из-под платья, ни с чем не сравнимый, даже мама так не пахла. Ирма, кажется, обо всем догадалась, покраснела — наверное, из-за этого своего вкусного запаха — и плотнее запахнула на себе пальто. Так хотелось уткнуться ей в шею, но она бы не позволила.

Она даже из объятий моих вывернулась и, схватив пригоршню снега, в наказание натерла мне уши и нос. Зато теперь, в поисках сухого тепла, можно было нырнуть в лазейку между щекочущими волосами и воротником, пробраться туда, где поселился свежий теплый вкус абрикоса и запах молока, легкий, как пена, сладкий запах парного молока, нежный и детский.

Ирме ничего не оставалось, как только стряхнуть с рук перчатки, ухватить меня за уши и держать их, согревать, не пуская мою голову, которая все глубже зарывалась в пальто, в блузку.

— Анти, Антика, — шептала она.

С этого дня мы лишь о том и говорили, что станем делать, как станем жить, когда будем наконец вместе, навсегда, навечно.

Только зеленые юнцы способны так мечтать.

Никаких признаний, предложений руки и сердца, никаких обещаний. Ирма, когда хотела меня порадовать, подгадывала так, чтобы мы оказались в каком-нибудь укромном, безлюдном месте (по вечерам таким местом часто становилась подворотня, это как-то само собой получалось), тогда я на мгновение принимал к ее плечу, зарывался в него лицом и глубоко вдыхал в себя ее запах.

Тепло сладкого парного молока проникало до самого моего сердца, а мое дыхание пронзало девушку насквозь.

Так я по крайней мере думал.

Это продолжалось до весны. Тогда все разом и кончилось. По вечерам я ждал Ирму, чтобы поцеловать ее в шейку, даже если мы не договаривались. Война играла нам на руку: в городе было затемнение. Вот и этим вечером, спрятавшись в парке, я скорее прислушивался, чем приглядывался к их подъезду.

Ирмы все не было, вместо нее с шумом спустилось какое-то семейство. По звуку шагов можно было насчитать человек шесть. Глубокий самоуверенный баритон отца, нервно-суетливый голос матери и три детских голосочка беседовали о кино, куда направлялись всей семьей. И за ними, или среди них, Ирмин шепот...

Я было вылез из своего укрытия, чтобы шагнуть ей

навстречу... Дети канючили:

— Нет, и ты иди с нами!

Их мамаша заколебалась. А мужчина великодушно пророкотал:

— Что ж, пойдемте, дитя мое, если все дела на сегодня закончены.

— Надеюсь, Пёнтике не проснется,—вставила женщина.

— Конечно, нет,—сказал мужчина,—у него теперь хоть над ухом кричи.

И в эту минуту мне все стало ясно: после занятий—значило после занятий детей, и все эти красивые платья наверняка с хозяйского плеча, подаренные или одолженные. А запах? Запах, который дурманил мне голову, от которого я мог бы умереть?! Во время фильма я бродил вокруг кинотеатра, а когда сеанс закончился, встал около выхода, под голубой лампой, как будто дожидаясь кого-то.

Наконец вижу, выходят...

Все семейство и Ирма с ними.

Пока я ждал их, меня даже тошнить начинало при мысли, что там, в квартире, остался грудной ребенок и это от его пеленок и сосок Ирмина одежда пропиталась свежим запахом молока, вкусом детского питания,—и этот мерзкий запах я любил! Так страстно желал его—вот только что и во все наши прежние встречи.

Ирма шла посередине семейства. Несла на руках самого маленького, сонного ребенка. На меня она старалась не смотреть, да что толку, она тоже понимала: всему конец...

Инженер глотнул холодного воздуха.

— Теперь, мой друг, на самом деле всему конец. Ты видел. Я все принюхивался. Тот же самый аромат, что и прежде. Как в юности. Пятнадцать лет назад. Это ужасно. Значит, я тогда любил ее запах, именно ее...

Доктор не знал, что и сказать о столь деликатных материях.

1956

СУДЬБА РИЗЫ

В сопроводительных документах: Роза

Где и как жила она до десяти лет? Никто этого не знал. В детстве ее называли Ризой—только и добились от

нее расспросами. Но кто дал девочке это ласкательное имя, да и ласкали ли ее когда-нибудь? В лечебницу ее привезли с сопроводительной бумагой, в которой значилось: Роза.

Приставили к ней сестру — наблюдать, что она будет делать, что говорить, о чем думать. Даже года ее рождения не знали; на вид она была совсем взрослой, хотя в действительности ей только исполнилось тринадцать.

Как со взрослой, серьезно обращалась с ней сестра, с энергией новоиспеченной медички взявшаяся самостоятельно поставить диагноз — благо доктора еще не сделали в истории болезни никаких записей.

По соседству с лечебницей — оглашаемый рокотом моторов аэродром. От этого невообразимого шума никому нет покоя; вот и последние два дня над садом лечебницы не смолкал гул самолетов, снаружи на ограде сада гроздьями висли мальчишки и, с видом знатоков наблюдая за небом, непрерывно галдели.

Но умной сестре и такое соседство может оказаться на руку. На третий день погода испортилась, зарядил дождь, в небе и на земле снова установилась тишина. Новоиспеченная медичка спешит воспользоваться поводом для разговора:

— Докричались мальчишки — самолет, самолет! Вот и льет с утра дождь, и мы не можем пойти в сад.

Она ждала, что ответит на это девочка. Но Риза молча сидела на обкрошившемся камне, глядя из-под навеса на бесполезно проливающиеся потоки влаги: кто выпьет ее, ведь земля уже утолила жажду и больше не может сделать ни глотка.

Напрасно сестра затевала с ней разговор в точности по изученному на курсах пособию, что так уверенно толковало подобные заболевания.

— Дождь так дождь, — передернула Риза плечом, других замечаний у нее не нашлось. Впрочем, вытянуть из нее три слова, пусть даже за целый день, не так уж мало, ведь она не то что говорить — казалось, и плакать-то не умела.

Но в запасе у медсестры были и другие способы выявления симптомов, также почерпнутые из инструкций. Как терпеливо она выжидала этот случай, что приключился однажды за обедом! Когда на стол подали тушеный картофель с подливкой, одна из душевнобольных — а обедали они все вместе — в порыве гастрономического восторга бросилась вдруг целовать сестру. «Кто еще поцелует меня за вкусную подливку?» — быстро спросила сестра, глядя на Ризу, которая в этот день отказалась от

завтрака, да и за обедом не смогла проглотить ни ложки супа.

В качестве ответа учебник предписывал Ризе бессмысленный набор слов, что-нибудь вроде: «Я бы поцеловала тебя, но мне нельзя есть! Есть хочу! Дай мне поесть!»

И когда Риза, задыхаясь, выпалила бы это, а она, то есть сестра, подвинула бы к девочке кастрюлю с картошкой, та оттолкнула бы ее от себя, ничего не взяв.

Но как ни добивалась она от Ризы ответа, поближе подталкивая кастрюлю, подбадривая: «Хоть тебе и нельзя, но я разрешаю!» — та и глаз не подняла. Откуда ей было знать, что написано в том учебнике для сестер.

Глаз Риза не подняла, но миску наполнила до краев и налегла на еду с такой жадностью, будто с горя решила подавиться картошкой.

— А кто же меня поцелует? — спросила упорствующая сестра, да на свою голову: душевнобольная тетка, восприняв эти слова как приказ, тут же отпечатала на ее лице еще один слюнявый картофельный поцелуй. А Риза продолжала невозмутимо есть, ей и в голову не пришло, что приказ относился к ней.

Минул год, но о девочке так и не узнали ничего нового. Еще раньше, через полгода после ее поступления, сестра разуверилась в учебнике, с помощью которого пыталась разгадать душу Ризы, ведь эта задачка и докторам оказалась не по силам. Прекратив наблюдения, стала она привлекать Ризу к уборке, глядя на нее больше как на даровую работницу, нежели больную.

А вскоре, так как лечить ее было не от чего, отправили Ризу снова в приют. Девочка была такая красивая, такая приметная, что не прошло и недели, как нашлись ей родители, вернее сказать — место прислуги. В доме на окраине города.

(Здесьшний врач, отправляя ее в приют, говорил еще: «Смотри, чтоб беды не вышло, уж больно ты хороша!»)

И вот через три с половиной месяца вдруг привозят ее назад в лечебницу. Но по ошибке не в терапию, а в то самое отделение, где она провела больше года, хотя девочка была при смерти: рот, желудок — полны каустика, этого едкого моющего средства. Видно, ничего другого под рукой не оказалось, когда решила она облегчить свою участь.

Врач-то сразу смекнул, в чем дело. Промыв ей желудок, он уже писал направление к гинекологу — без осмотра хотел отправить. Как же он удивился своей ошибке, когда все-таки осмотрел Ризу. Она оказалась нетронутой, даром что сирота беззащитная и собою

хороша. Хотя ей-то, видать, не сладко от этой красоты...

Молоко она пила с такой благодарной понятливостью, что все окончательно убедились: случайно она сюда угодила. Только одно было странно: Риза все так же молчала, лишь плакала, если испытывала в чем нужду. Плакала она теперь чаще. Но едва оправилась немного — и слезы пропали. Забывать стала, в каком виде ее сюда привезли. А узнав, что пора выписываться, даже не огорчилась.

Врач, тот, что осматривал Ризу, решил, однако, повременить с выпиской и перевел ее в корпус для слабоумных детей. Он ведь совсем рядом. Вот и пришла доктору мысль, как оттянуть возвращение девочки в сиротский приют. Уж такая она раскрасавица, белолицая, а волосы — смоль, что, попади снова в приют, живо найдутся ей родители.

На новом месте Риза бродила как неприкаянная. Правда, недолго. Вскоре взяла ее под свою опеку женщина с вялым взглядом, хотя забот у той женщины и без того было невпроворот: из религиозных побуждений она обязалась вырастить и хоть как-то очеловечить троих дебильных детей. Звали ее Херминой, и, кроме выражения глаз, ничего вялого в ней не было. Крахмальную наколку на голове она носила гордо, будто епископскую митру. Целую неделю, проходя мимо плачущей девочки, Хермина только присматривалась к ней, пока сердце под белым халатом не вспыхнуло вдруг от Ризины одиноких слез и необыкновенной красоты. Она попросила, чтобы Ризу поручили ее заботам.

Девочка вскоре стала единственной, с кем могла она обменяться понимающим взглядом. Из всех, включая коллег.

Хермина... Никто и не спрашивал, кто она: учительница или воспитательница? Или, может быть, нянька? Воспитывать в этой юдоли означало ходить за слабоумными. А Риза, под стать красоте, оказалась еще и отзывчивой: подавляя в себе неприязнь, помогала кормить убогих. В награду уже на третий день она отправилась спать в комнату Хермины, где поняла, что та, наверно, еще несчастнее, чем она. Только в несчастье они были совсем непохожи: если Хермина, пристально вглядываясь в минувшее, всей душой хотела помочь девочке, то Риза рада была любому поводу, чтобы замкнуться в себе, окутавшись с головы до пят грустным молчанием.

Все настойчивей пыталась Хермина проникнуть в прошлое Ризы, хотя от самой девочки ни лаской, ни хитростью ничего не могла добиться. То немногое, что удалось узнать, она почерпнула из истории болезни.

В десять лет Ризу вернули в приют. Вернули?! Но откуда? Нет начала у ниточки—лишь продолжение. Красивая была девочка, кожа—мраморная, вот и взяла ее к себе бесплодная повитуха из Ноградверёце. В приемные дочери, не в работницы. Сама повитуха католической веры была и Ризу решила католичкой воспитать, не важно, кто она по рождению (по рождению Риза как раз католичка). Стало быть, нужно ей закону божьему учиться, набожной быть да богомольной. А Риза-то и креститься не умеет. Слово «бог» для нее что «тетрадь в клеточку», или «кусачки», или «радио»—ничем не отличается.

Пришлось с азов начинать: с крестного знамения да Иисуса Христа.

«Господи Иисусе, благослови нас и насыть от земных твоих благ, аминь»—с этими словами садятся к обеду и ужину, а ежели не торопится поутру повитуха, то и к завтраку.

Зачем это нужно, девочка не понимает, и как раз это ей объяснить не могут, а объяснили бы—наверно, и все остальные премудрости поняла бы; она и стихи могла бы писать—такая у Ризы душа, хоть и с трещинкой.

Стыдно было повитухе: что священник-то скажет, как услышит ее приемную дочь, и все лето учила она Ризу сама по старому катехизису, чтобы осенью на уроках закона божьего без запинки отвечала та на вопросы вероучителя.

Муж повитухи, хоть работал в Ваце, городе многих церквей, не был ревностным христианином; к столу, особенно по утрам, готов был садиться не благословясь, да и жену пытался унять: сколько раз по доброте души воздевал он щитом свою руку над головой бедной девочки.

Недолго прожила у них Риза. Повитуха в бесплодии сделалась не только набожной, но и подозрительной. Ночи напролет не смыкала она глаз, подкарауливая мужа. Тот же летом имел привычку выходить по нужде во двор. Он и сном-духом не ведал, что, намаявшаяся за день, жена его бодрствует. И вот как-то едва встал муж с постели, собираясь выйти, как посыпались на него тумаки. Конечно, проснулась и девочка, все улики были налицо. Оставалось свозить ее в Вац—показать врачу, чтобы отправить потом в приют как последнюю потаскушку.

— Ну, покажись-ка, девочка,—ласково обратился к ней врач.

— Шлюха она, а не девочка,—крикнула повитуха.

Но врач, к величайшей радости мужа, нашел, что с Ризой все в порядке. Доволен был муж, что не бросил

несчастную в беде, ничего, что полсмены пропало.

В общем, не повезли они Ризу обратно в приют, но повитуха, непонятно почему, все же ходила мрачная. И приемный отец смекнул: слишком красива для них Риза! А девочка, будто разгадав мысли взрослого, на следующий же день сбежала. Еще через день ее поймали.

И вернули уже не к повитухе, а в сиротский приют. Но и на этот раз она там не задержалась, уж больно бросалась в глаза своей внешностью.

Теперь ее взял крестьянин, некий Хармат.

И сразу же поручил заботам девочки восьмерых поросят. Он был очень доволен, думая, что она немая, ведь немые, известно, работники верные.

А еще думал он, что Риза, как всякий ребенок ее возраста, конечно же, знает повадки животных.

Но Ризины поросята каждый день забирались в запретные для них посевы. Риза не знала, что такое «запрет».

Она помнила только, что запрещено садиться к столу, не благословясь. Так говорила ей повитуха.

Но ведь к поросятам это не относится, благословляются перед едой только люди, да и то не все — у Хармата вон и иконы нет в доме.

Недолго травили Ризины поросята запретные посевы. На той же неделе задал им полевой сторож трепака. Видя, что Риза новенькая, да к тому же немая, он тем и ограничился. Но однажды, когда поросята забрались в кукурузу, а девочки около них не оказалось, старик, хоть и был человек добродушный, побежал жаловаться к Хармату.

Риза спала под лопухами и не проснулась, даже когда Хармат с дубиной в руках явился осматривать потраву. Увидев спящую Ризу, он стал колотить ее так, будто собирался сделать из палки мочало.

И сделал бы, не будь рядом сторожа.

В оправдание Хармата можно только сказать, что потерявшую сознание девочку он принес на руках к сельскому врачу. Правда, председатель опекунского совета с этим не посчитался и отнял у него Ризу еще до того, как она пришла в себя. Риза об этом смягчающем обстоятельстве так и не узнала. Она и врача-то не запомнила.

Ну хоть бы сказала она после этого, хоть бы рот раскрыла: мол, куда угодно, только подальше от притких поросят! Впрочем, откуда ей было знать?

Досталась Риза рыночной торговке из деревни подальше той, где жила она у Хармата. Здесь ей пришлось пасти только птицу, да и то во дворе. Но, хоть деревня и

дальняя, очень скоро попала девочка в психиатрическое отделение. В небольшом загончике торговка держала поросят: холила их, лелеяла, откармливая на продажу. И вот как-то утром вырвались они из обветшало-го загончика и во всю прыть—к цветнику, который торговка, если возвращалась засветло, любовно поливала по вечерам. Риза, уже знавшая об этом пристрастии новой матери, тут же смекнула, как ей угодить: схватила черенок от метлы и ну поросят гонять, по бокам их оглаживать, пока не отучила негодников от баловства. Правда, негодники-то цветков пять всего срыли, а Риза—их всех порешила.

Вот он, малый осколок Ризиной жизни, да и тот весь в щербинах.

Однако вернемся к Хермине, кто она, эта женщина с потухшим взглядом, какова собою? Рост у нее немного ниже среднего, тело тугое, крепкое, коренаста, как будто создатель слегка надавил ей на маковку, отчего она до самых ступней чуть раздалась, приплюснулась, сохранив все же стройность. Наверное, оттого и глаза у нее миндалинами. Когда-то обхаживал ее один медик, практикант при больнице,—видно, не так уж дурна была Хермина, да она не пошла за него, посчитав, что не пара ей докторишка.

Днем и особенно вечерами, не надеясь дожидаться ответа, все пыталась она разговорить молчаливую Ризу.

Что же было с девочкой до того, как исполнилось ей десять лет? Хермина, хоть виду и не подавала, все больше ломала голову над этой загадкой, ставшей волнующим предметом ее ежедневных раздумий. Она побывала в приюте, но там событий трехлетней, а тем более тринадцатилетней давности никто не вспомнил. И без того дел хватало, не до воспоминаний было.

Те годы могли сохраниться лишь в памяти Ризы—поняла наконец Хермина и перестала наводить справки.

Среди слабоумных Хермина, которая была реформаткой, имени божьего никогда не поминала, зачем оно им? Не упоминала его и среди коллег—вряд ли им это понравилось бы. Но красавицу Ризу, как бы то ни было, она все же решила воспитать в святости. Зная о неудаче повитухи, Хермина была осмотрительна, чтобы не отпугнуть девочку.

Рассказывать Ризе о волшебниках и чудотворцах было бесполезно, вот и рассказывала она по вечерам грустные истории о несчастных сиротках, подробно рассказывала, во всех тонкостях—вдруг узнает Риза в одной из историй свою судьбу. Ведь сочинялись они, эти сказки, так, что в

судьбе каждой сиротки была и судьба Ризы.

Ни за одну из них не ухватилась Риза.

В работе по уходу за слабоумными—и дневной, и ночной—на девочку уже можно было положиться во всем. Только расспрашивать ее ни о чем нельзя было. Смирилась Хермина: видно, уж ничего не поделаешь. Она была почему-то убеждена, что без имени божьего ей ничего не добиться, но знала и то, что произносить его в присутствии Ризы бессмысленно.

Так Хермина и мучилась, не ведая, как ей быть, пока в одну из долгих зимних ночей не увидела сон.

Стоит она на скале, нависшей над пропастью, внизу—далеко-далеко—течет река. На другую сторону пропасти, куда ей непременно нужно попасть, можно разве что перелететь по воздуху. Там, раскинув руки, ее ждет мужчина с тонким, обрамленным светлой бородкой лицом, одетый в элегантный, с иголки, пиджак. Спадающие на плечи волосы и усы у него тоже светлые, искристые. Сквозь бороду отчетливо виден галстук. Это Иисус. А борода у него не настоящая, капроновая—чтобы нельзя было его по имени назвать, из-за Ризы, ведь это ее нужно переправить через пропасть. Кого же еще?! Распростертые руки как бы говорят: смелее!

А лицо-то вроде знакомое!

«Я его знаю,—мелькало у Хермины всякий раз, когда сновидение снова накатывало на нее.—Но как же так, ведь это отец Ризы, отец Ризы, отец Ризы...»

Этот сон, неизменный до мельчайших подробностей, повторялся тринадцать раз. Она так и не просыпалась.

Очнулась Хермина под утро. Зажгла свет: три часа.

А встает она обычно в пять. Значит, придется еще поваляться.

Она смотрит на спящую девочку: может, проснется послушать сон, будто созданный чьими-то заботами как раз для нее. Но напрасно она ждет—душа Ризы сама о себе заботится.

Минут через пятнадцать Хермина снова задремывает, и сон повторяется, растянутый, как в замедленной съемке, заполняя собой оставшееся до пяти часов время.

Стоя на краю скалы над пропастью, мужчина (пусть... пусть он и впрямь будет Ризиним отцом) медленно раздвигает руки. Ни прозрачная борода, ни призывная улыбка не могут скрыть грусти на его лице. В жесте раскрывающихся ладоней—и зов, и какое-то предостережение.

Наступает день, но сон не забывается, не выходит из головы, хотя до вечера приходится о нем молчать.

Только вечером узнаёт Риза о сне. На глазах у Хермины — слезы.

— Не могу я тебе назвать его имя, но, мне кажется, это твой отец, — краснея, раскрывает она тайну сна, а девочка, будто того только и дожидалась, бросается утешать плачущую Хермину — сначала ласками, а потом и словами, чему Хермина и радуется сквозь слезы, и удивляется.

— Ты уверена, тетя Хермина, уверена?

Сон приходится повторять столько раз, сколько он привиделся. Но опасаться, что глаза женщины, и без того миндалевидные, превратятся от слез в совсем узкие щелочки, уже нет нужды. Теперь слезы глотает Риза — в отчаянии, что не может, как бы ни хотелось Хермине, узнать человека из сна.

— А это обязательно, чтобы он с бородой был?

Та качает головой: нет, мол, не обязательно, ведь она такая прозрачная, все равно что придуманная.

Они ложатся, но Ризе не спится, она приподнимается на локте и, будто к ней только что вернулся дар речи, начинает рассказывать.

Оказалось: с десяти лет ей никак не удастся увидеть во сне, что задумывает днем. Не то что до этого! Папа был инженером. Мама — сказочно красивой. Только в сказках бывают такие красавицы. Она покупала Ризе бархатные платьица. И Ризой это она прозвала Розу. Квартира у них была такая, что, обойдя все комнаты, девочка уставала. А помнила она свою жизнь с трех лет. Мама все баловала ее, все нежила, да и папа, глядя на нее, всегда широко улыбался. Узнать его можно не по бороде, а по пиджаку. Таких пиджаков красивых Риза никогда больше не видела. И галстуков таких тоже. А то, что он грустно махнул рукой, так это, наверно, из-за мамы...

— Из-за мамы, которая умерла, когда мне было десять лет, — закончила Риза рассказ.

Дальше каждое слово из нее приходилось вытягивать.

— Она умерла из-за папы?

— Нет. Я не знаю, из-за кого... Из-за него я попала в приют. Это он сказал, что меня нужно отдать туда.

— Сразу же после смерти мамы?

— Нет, потом.

— Когда потом?

— Через полмесяца, а может, через месяц.

— А как он это сказал?

— Сказал не он, а та тетенька, которую он хотел сделать новой мамой. Но я не смогла называть ее так, потому что всегда вспоминала о настоящей маме, которая

мне бархатные платья покупала. Тогда тетенька сказала папе: «Мы не будем возобновлять удочерение». Папа подумал немного и говорит ей тихо: «Что ж, придется вернуть ее в приют». И больше не целовал меня, больше я его и не видела. И только потом поняла, как люблю его.

— А может, он тебя не любил,— с намеренной жесткостью сказала Хермина.— В таком случае это не он являлся ко мне во сне. Думаю, что не он.

Риза вдруг омрачилась и, не сказав больше ни слова, горько заплакала. Долго она плакала, пока наконец Хермина не стала ее утешать:

— Не плачь, ведь это давно было. Четыре года прошло.

Она боялась, как бы Риза снова не онемела. Но девочка от ее утешений, напротив, заговорила.

— Он раскаивается!— сказала она, вытирая кулачками слезы.— Ему стыдно прийти ко мне во сне, вот он и попросил тебя...

Хермина не стала ее разубеждать. Но предательство, из-за которого так долго молчала Риза, подкосило ее— у нее отнялись ноги. Весь следующий день до обеда она пролежала в постели.

Поняла Хермина, что чуда не произошло, и мужчину, явившийся ей во сне, приходил не к Ризе. Узнала же она своего гостя по предательству.

Риза усердно кухарничала, то и дело утешая ее чашкой чего-нибудь горяченького. И вдруг ни с того ни с сего задела тайную струнку в душе больной женщины, о которой никто и не догадывался.

— Тебя кто бросил, тетя Хермина? Кто тебя предал?— спросила девочка с такой прямоотой и трезвостью, с такой искушенностью, будто допрашивала. Можно ли было после этого говорить с ней о другом? Только об уликах.

— Он и бороду-то наклеил фальшивую для того, чтоб не опознала я его, чтоб неузнанным добиться у меня прощения.

— А большой за ним грех?

Грех Хермина постаралась объяснить так, чтобы девочке было понятно:

— Ребеночек маленький из-за него погиб.

Риза не очень-то и удивилась.

— Совсем маленький?

— Совсем.

— Покажи, какой.

Хермина, раздвинув ладони, показала. Тут уже Риза удивилась:

— Значит, он еще не родился?!

Если бы Хермину не душили слезы и она могла бы теперь говорить, то спросила бы: «И откуда ты знаешь все, бессловесная?»

— Не плачь, тетя Хермина, ведь это давно было. Прошло уж, поди, не четыре года, а дважды по четыре.

Та только глянула удивленно: мол, откуда и срок-то взяла!

— Так давно это было, что ты уже с бородой его представляешь!

К полудню выплакала Хермина болезнь, ноги ожили.

Поднявшись с постели, начала она собираться. Директору объявила, что время, которое она обязалась посвятить воспитанию слабоумных, истекло, и еще до заката навсегда покинула лечебницу.

И Ризу с собой увезла.

1957

ИСКУСИТЕЛЬ В ДОМЕ ЛЕСНИКА

Трудные дни шофера молоковоза

Больше всего они боялись, что однажды явится кто-то оттуда, из-за границы, и попытается завербовать Антала. Сделать его агентом, или распространителем слухов, или, скажем, осведомителем, одним словом — шпионом. Этого они боялись больше всего.

Раза четыре они замечали, что их обхаживают, чего-то от них добиваются. В первый раз это случилось еще в сорок седьмом, перед выборами. Но Антал был неприступен, и Йозефа его поддержала.

(Или у них со страху разыгралось воображение и то была всего лишь охота беспардонных вербовщиков за голосами избирателей?)

А между тем обстоятельства были бы для этого и впрямь благоприятны. Жилище их, к примеру, на такое дело буквально само напрашивалось. И они даже представляли себе, чего бы от них могли потребовать: позволить установить тут, на чердаке или в давяльне, радиопередатчик. Взывая к чести, долгу и т. п.

Кроме этого случая, они заметили и отразили еще три подобные попытки. И все время ждали, что кто-нибудь опять навестит Антала.

Их дом был единственным на всю улицу. Потому что это была, собственно, аллея. И стоял дом на верхнем ее конце, далеко от деревни. Старый дом лесника.

Летом каштаны затеняют идущую в гору дорогу сплошным зеленым сумраком, как укрывают муравьиную тропу перекинувшиеся через нее листья лопуха. Зимой же, особенно если прийти сюда в сверкающие инеем утренние часы, может показаться, будто ты идешь по туннелю, излучающему свет. Но кто же ходит по этой дороге вверх или вниз, да еще утром, кроме домашних? В феврале-то! Только семья. Антал—рано, на рассвете; четверо детей—в школу, в детский сад; бегут к восьми часам то вприпрыжку, то скользя по раскатанному льду. Мать ждет их с обедом здесь, под горой; она почти не выходит из дому, радио даже и то редко включает.

Последним возвращается домой муж, уже под вечер. Йозефа живет новостями, которые приносят дети и Антал, и этого ей довольно, большего она не желает. Она и мужа предостерегает: «Сиди дома, Антал, ты ведь только Антал и не желай стать чем-то большим!»

За тринадцать лет все здесь уже позабыли полное имя графа, да и про поместье едва ли помнят.

Когда он на машине объезжает округу и помогает сборщикам молока подкидывать в кузов молочные бидоны, то он для них, конечно, Антал, да и как же иначе? С самого начала надо было приучить к этому людей. Но не будь Йозефы, дочери лесника, они, вероятно, не так легко согласились бы называть его Анталом.

Ту февральскую новость, что папу ищет кто-то внизу, принесла наверх Шара, но больше она ничего не узнала: ведь негоже четырнадцатилетней девочке расспрашивать о незнакомом мужчине!

Едва прибежал домой Викторка, как ему сразу же пришлось бежать обратно: принести из лавки рису, из корчмы пятьдесят граммов рома к чаю и разузнать о человеке, который ищет отца.

— На нем шаровары, хорошие башмаки,—принес мальчик вместе с рисом и ромом все, что услышал внизу,—и он не знает, что фамилия дедушки была Карас, а тебя зовут Йозефой и что нас четверо, а в лавке он спрашивал мед, липовый мед!

Йозефа рукой зажала себе рот, словно простая крестьянка, да она бы и рада была стать крестьянкой, только бы их не нашли.

— Ты его видел?—спросил отец под вечер, за тарелкой супа.—Наверняка какой-нибудь торговый агент. А кто тебе его показал?

— Корчмарь. И еще он сказал: этот человек вовсе и не думает мед покупать! Ему только расспросить надо.

Дети помалкивали, Йозефа глубоко вздыхала. Анталу

теперь, с полным желудком, прилечь бы, но он взялся за шапку.

— Скажешь ему, что ты не знаешь, вернусь ли я сегодня домой.

У них после Караса осталось полхольда виноградника, и жена знала, что Антал теперь подымется туда, в давяльню.

Вина еще не выстоялись, их пока нельзя было трогать. Антал замерз. Попробовал протопить наверху, в комнате над давяльней, но от этого только запотели бутовые стены, а у него все так же зуб на зуб не попадал.

Рано стемнело. Часы он оставил дома и совсем потерял счет времени. Ему казалось, что, пока он топил прошлогодней лозой печку, подступила полночь.

Когда Антал, гулко шагая, поднимался по лестнице, кухонные часы в доме лесника показывали восемь.

Гость сидел в кабинете, положив ногу на ногу, так что обозначились его большие узловатые колени, и, покачивая башмаком, что-то рассказывал Йозефе.

Он говорил о балах минувших дней: на Острове*, в Геллерте**, в Замке***,— что еще, думал он, могло бы заинтересовать такую вот молодую провинциалку. Однако когда он услышал ее умные вопросы, то продолжал уже иначе—как бы посмеиваясь и слегка браня нелепые побрякушки старой жизни, но и гордясь тем, что тоже принимал участие во всем этом.

— Помню. Читала. Взрослые, трудоспособные, даже образованные молодые люди годами только и делали, что устраивали балы, согласовывали дни...

— Да, верно. Бальный комитет.

— И уж конечно, вы были в руководстве!

— Ну разумеется. Великолепное было развлечение. Но это только внешняя сторона. Приходилось решать там и другие задачи.

— Подбор пар, открывающих бал...

— Да-да... знаете, как много бывало нелепых случаев?

— Я вспоминаю только случай с Магдой Дарко и Ференцем Шарга. Газеты много о нем писали.

— Вот-вот. Большой Шарга угодил в Марко**** маленький—в Дарко!

Непринужденно болтая, гость рассеяннo ковырял кожу старого кресла, ставшую мягкой, как сафьян.

* Имеется в виду остров Маргит в Будапеште.

** Фешенебельная гостиница в Буде.

*** Дворец в Буде, бывшая резиденция Хорти.

**** Тюрьма в Будапеште.

В стеклянном шкафу поблескивали куски минералов. Со шкафа, раскрыв крылья, готовился ринуться вниз беркут. Под правым его крылом билась дрофа, левое прикрывало крапчатого кроншнепа, вытянувшего далеко вперед свой длинный клюв, похожий на медицинский инструмент. Были в этой комнате и другие чучела птиц, и старые гравюры, изображавшие сцены охоты.

И всюду старинные книги по лесоводству.

Названий птиц гость не знал, а что до картин, он не мог судить, попали они сюда из замка или подбор их свидетельствовал о вкусе лесника.

Иозефа с холодным видом сидела возле двери. Сначала она очень удивлялась—кого они прислали! Словно пьяный какой-то... Однако, когда в жвачке его старых воспоминаний блеснула самоирония, она все же насторожилась. Но обращала внимание даже не так на его слова, как на движения. «Он не пьян! Он опасный человек! Особенно для Антала! Его надо убрать отсюда!»

Много раз она вставала, давая понять, как хозяйка дома, что визит затянулся.

Но мужчина следил не за хозяйкой дома—он следил за движениями женщины.

— Неизвестно, придет ли он сегодня домой,— повторила она уже в третий раз, но совсем тихо: на кухне дети. Страшно ей стало только тогда, когда на веранде послышались шаги Антала.

— Тонио! О, Тонио!—раскинул руки гость.—Тысячу лет!

Они обнялись, но лица их не коснулись друг друга.

— Албиши! Ты ли?—притворился радостно удивленным Антал. Если бы он на самом деле искренне обрадовался, то сказал бы свое обычное: «Старина!» И не то что по фамилии, даже по имени не назвал бы гостя.

Иозефа все заметила и заварила слабый кофе—так и начала сразу с кофе, ведь Антал уже поел, когда вернулся с работы.

Душа женщины была в напряжении: этот явился неспроста и надо таиться.

Но ведь и лавочник уже знает о нем.

— Я спокойно могу здесь переночевать,—сказал неожиданно Албиши после первых изъявлений радости,—я пришел, когда стемнело, никто меня и не видел.

Антал принес ему поесть, а напуганной Иозефе в ответ на ее вопросительный взгляд только шепнул:

— Так, барон один, из недавних.

За едой Албиши донимал Антала старыми охотничьими историями. Хотя тот отлично знал, что в семействе Албиши охотников никогда не было.

Скупые ответы Антала выражали не только его недовольство—в них было и презрение. Перед Йозефой лучше этого не показывать, решил он. Чтобы ее не растревожить еще больше.

Едва вытерев рот, гость стал заметно клевать носом. Пришлось Йозефе постелить ему здесь, на месте мужа, на кожаном диване под беркутом.

Став перед выщербленной раковиной, чтобы раздеться и умыться на ночь, Албиши позвал в ванную хозяина дома. Войди Антал сам, без зова, это было бы дурным тоном. Но и отказаться, когда тебя так по-студенчески позвали, тоже нельзя—оскорбительно.

— Кстати, ведь Беци Шаумбург, помнится, родом из этих мест. Где-то здесь было их имение. Ты знаешь, что с ним случилось?

Антал не знал, он смотрел, как Албиши всовывал свои щуплые ноги в пижамные штаны. (Пижаму он попросил только что...)

— Мы живем замкнуто.

— Помилуй, я поражен! Беци сбежал за границу вместе с женой и там начал с того, что два дня был гостем Шефа Хадика. Вместе с женой!

Искоса он внимательно следил, догадывается ли Антал, кто может быть Шеф Хадика. Его удовлетворила бы полминутная стойка «смирно» и безмолвно склоненная голова. Но он сомневался, было ли это когда-нибудь вообще принято в семействе Антала.

Антал, однако, ему не ответил. Может быть, пытался тоже проникнуться негодованием.

— Его жена...

— Да,—с жаром подхватил Албиши,—дочь губернатора! Помилуй, это ведь было не *regelmässig*!

И он внезапно замолчал, вспомнив о Йозефе, но тут же продолжил:

— Ну а его отец! Старый Шаумбург! До конца стоял за Хорти!

Антал махнул рукой, словно уже ничему на свете не удивлялся. Потом он подумал, что следовало бы спросить, что же могли Беци с женой целых два дня обсуждать у Шефа. (Каким оскорблением величества звучит здесь слово «Шеф»! Да и обсуждалось ли там вообще что-нибудь? Впрочем, с Албиши они уже, зевая, распрощались и спрашивать было не у кого.)

В другой комнате супругам пришлось довольствоваться одной постелью.

— Чего он хотел?

— Скажет утром...—ответил Антал, и только потом ему пришло в голову, что неизвестно еще, сможет ли

Албиши подняться так рано, на рассвете, когда он уходит. Больше они не разговаривали, но оба думали об одном и том же. Муж от этих мыслей не мог заснуть, а у жены началась нервная дрожь.

— Что это такое — *regelmässig*? — спросила Йозефа после долгого молчания; все это время только сердца их говорили друг с другом.

— Когда имеют право являться ко двору. Приблизительно.

— И я не имею этого права, — сказала жена, но не почувствовала себя ущемленной, нет! — даже дрожь ее утихла, пока она в мыслях самолюбиво бросала в физиономию Албиши свой гордый ответ. Потом ее опять стало трясти: «Что же дальше-то будет, после такой подготовки?» Если вначале незваный гость показался ей немного туповатым, то теперь она считала его чересчур хитрым.

— Заметь, о Беци он рассказал для тебя, хотел тебя утешить. Простая учтивость, — пробормотал муж.

Жена не поверила этому.

В первую половину дня по склону горы стлался туман. Албиши встал поздно, на столе его ждал завтрак. Поел и поднялся на гору, познакомился с окрестностями, и с винными погребями тоже.

«Чтобы не мозолить глаза», — подумала Йозефа, однако к обеду он явился слегка навеселе. Вел себя забавно, старался развлечь, но был почтителен. И снова заставил забыть о том, что было связано с его присутствием — воспоминаниями о светской жизни, шлягерами того времени. Пел фальцетом, затянул какую-то пародию на шансонетку. Называл себя идеальной шансонеткой мужского рода. Детям он очень понравился. (Но, даже подвыпив, с пугающим упорством помнил о том, ради чего сюда прибыл. И это было по нему заметно!)

А Йозефе все-таки было в тягость выслушивать все эти веселые пустяки: она предпочла бы сама направлять вопросами застольный разговор.

Тем не менее эта жизнь, которую символизировали шансонетки, заняла теперь ее мысли — она была в замке только однажды, еще девушкой, вместе с отцом, когда же стало известно намерение Антала, ей это было запрещено. А гость это знает!

Склонив голову набок, она слушала Албиши. И думала: почему же старый граф запретил ей бывать в замке? Знал, что Антал серьезно влюблен? Йозефа почти забыла о госте.

Едва дети отворачивались, Албиши подмигивал ей. А стоило ей хотя бы на минутку остаться с гостем наедине,

как он тотчас же переходил на шепот. Наконец он отправился вздремнуть.

Беспокойство Йозефы все возрастало.

Когда Антал в сумерки вернулся домой, Албиши услышал шум и встал—опять он был безукоризненно почтителен.

Антал надеялся, что гостя уже простыл и след, и приуныл, снова увидев его здесь. Теперь уже он спросил жену с тихой яростью:

— Чего он хочет? Сказал?

Жена, не разжимая губ, покачала головой, слегка пожала плечами. Доносить о подмигивании и нашептываниях ей не хотелось.

Сверх ожидания ужин понравился Албиши, хотя было подано только одно блюдо: фасолевый гуляш с рулькой.

Барон расспрашивал Антала о виноградарстве, допытывался о секретах виноделия. Опять припутал Беци Шаумбурга, отец которого, будучи политиком, еще и хозяином был хорошим. И Беци тоже хозяин и деловой человек! Но какой! Албиши вытянул губы трубочкой, прижал их к сложенным вместе и вытянутым пальцам, клюв к клюву,—так он изобразил выдающиеся качества Беци. Можно было только догадываться, как он теперь великолепно устроился там, за границей! Это Албиши тоже выразил больше жестом, чем словами.

При Шефе Хадики?

Кто где спит, сегодня уже не обсуждалось. Лежа рядом, супруги не мучили друг друга вопросами. Ожидание сделало их молчаливыми. Биение сердца выдавало, что усталый муж не спит, а кожа жены то становилась шершавой, будто ее измолотили, то напрягалась, что говорило скорее о страхе, не дававшем ей спать, чем о спокойном, глубоком сне.

— Успокойся.

— Я боюсь,—призналась жена.

На рассвете Антал разбудил барона.

— Если ты хочешь осмотреться здесь в округе... рядом со мной в кабине есть место.

Даже со сна Албиши сумел точно изобразить на лице испуг и недоумение.

— Что ты, могу ли я хотеть, чтоб меня видели с тобой!

Йозефа была поражена.

Но теперь уж она знала: гость хочет провести это утро с ней наедине!

А Антал потом целый день, под музыку молочных бидонов за спиной, терзался из-за этого протестующего

возгласа. Его размышления носили политический характер.

После завтрака гость (они позавтракали еще вместе с детьми) начал жаловаться на свой неудачный брак, всякий раз останавливая Йозефу и по четверти часа держал ее на пороге своими жалобами. Открыл такие интимные подробности о привычках неверной жены, что вынужден был опустить глаза, иначе бы Йозефа ушла и не стала его слушать.

Потом Албиши, словно вдруг обидевшись, быстро оделся и, бросив торопливое «целую ручку», удалился.

В виноградниках он договаривался о покупке большой партии вина (в шутку?) и не спустился вниз до тех пор, пока не решил, что и Антал скоро будет дома. Притащил большую флягу вина, может быть, хозяева пожалеют, что даже глотка выпить не предложили, по крайней мере хоть почувствуют намек. Антал спросил о Беци Шаумбурге, словно принесенное гостем вино нимало его не задело и не обидело.

Для Албиши это был сегодня явно уже не первый бокал, он копировал акцент и жесты своих новых знакомцев с виноградников. Супруги не могли удержаться от смеха, но, взглянув друг на друга, помрачнели. «Что же с ним делать? Ведь знает прекрасно, зачем он сидит здесь».

Заметив, что хозяева посерьезнели, Албиши тоже перестал шутить и выплеснул перед ними самую большую печаль своей души — выложил про жену, про неверную, и почему они не поладили. Рассказывал то же самое, что утром на пороге Йозефе, только гораздо более сдержанно и учтиво. Из этого Йозефа не могла не понять, какая между ними возникла доверительность. Не дослушав его жалобы, она поспешно придумала себе какую-то работу во дворе — ей было неловко из-за утренних разговоров.

— Да ладно, что тут такого, не уходи, — удержал ее муж.

А Албиши уже философствовал: человек (и не только мужского пола!) так много всего делает ради настоящего! Умный же человек должен бы быть готов еще на большее ради будущего... Но проживем ли мы еще раз по-настоящему? И сможем ли еще раз по-молодому наслаждаться жизнью и ее радостями? Если доведется!

Он безнадежно махнул рукой, затем вдруг сурово насупил и подошел к Анталу ближе:

— Об этом подумай!

Антал, однако, думал о том, какая же разнородная мешанина бурлит, как в водовороте, в откровениях его гостя.

Вот теперь-то, когда он под хмельком, и разузнаем о

цели визита!—подзадоривал его сидевший в нем шофер. И все же заговорил он скорее как граф.

— Не понимаю, почему ты не выехал за границу, когда можно было. Ни семьи, ни...

Глядя в раскаленное нутро электрической лампочки через туманный стакан (чуть переломившееся в нем вино и запотевшее стекло служили призмой), Албиши забылся. Но под настороженным взглядом хозяина дома он вздрогнул, словно наступившая вдруг тишина ударила ему в висок.

— Я скажу тебе, старина. У нас, у Албиши... за границей тоже ничего нет. Ты, вероятно, об этом не подумал. Если бы я выехал, то не смог бы избежать определенных формальностей. Визиты для засвидетельствования почтения, визиты к тем, кто пригласит. И тому подобное. На все это надо и ответить тем же! Иначе все сразу и кончится. Нечего и начинать. Лучше даже, если совсем не начал. Мог бы я ответить тем же? На какие средства? Вот то-то! Рано или поздно мне все равно дали бы по носу. А жить уединенно можно и тут! Понимаешь?

— Ты живешь уединенно?

Вопрос был обидный. Антал потянулся было за бутылкой с вином, но раздумал. Он хотел бы сейчас же перевести разговор на Беци—знал, что это лучший способ поскорее все окончить.

Но спросил как-то нескладно:

— Беци?..

— Беци?—вытаращил глаза Албиши.—Беци, ну, он совсем другое дело! Но о нем не теперь. Нет, теперь я немного выпил. Беци! О!—расхохотался он.

И для верности, чтобы Антал больше сегодня не допытывался, опрокинул в себя еще стакан вина.

— Тебе-то уж я расскажу, что сделал Беци Шаумбург в пятьдесят пятом! О! В прошлом году!

И начал раздеваться. О ванной и не вспомнил. Но Антала, уже шагнувшего было за дверь, еще задержал, потянув его обратно.

— Они перед нами в долгу. Только и у нас тоже есть свой долг!

— Кто это—они?—удивился Антал.

Худая рука Албиши, казалось, раздвинула стены комнаты и провела, словно кистью, по ночному пейзажу.

Еще и полчаса спустя Антал беспомощно стоял в темноте веранды. Сегодня весь день за баранкой он решительно собирался заставить этого парня выложить карты на стол. Парня? Каким простым он казался днем, в дорожных мыслях! А все же барон.

— Послушай,—улегшись, в полусне и в смятении

объяснял он жене,—очень все-таки странное дело: с этим... С этим типом я в свое время даже в разговор не вступал. Я с ним знакомства не водил. Ему и в голову не пришло бы явиться к нам с визитом. Эти люди смотрели на нас снизу вверх. Вот это меня и смущает. Я, конечно, откажусь от любого задания, какое бы оно ни было. Но приличия! Людям в нашем положении, опростившимся, нельзя забывать о них. Албиши может унести с собой только одно «нет»! И пусть считает меня трусом или чудачком. Одного я не могу сделать—не могу вытолкать его в шею, когда он хочет о чем-то меня попросить... и может, даже не он, а с высочайшего места. То ли он привез мне какие-то сообщения оттуда, то ли... почему я знаю что!

На душе у него было смутно, и в ответ на вздох лежавшей без сна жены он еще раз спросил:

— Понимаешь?

Жена даже не шелохнулась. Затаила дыхание. Ей было ясно: над ними нависла большая опасность. Пальцы ее рук впились в ладони, она лежала вся сжавшись, как сжимается цветок, сопротивляясь прикосновению шмеля. Йозефа упорно пыталась проникнуть в душу мужа. Ведь он отказался, они отказались от всех привилегий и от гордыни, такой обычной при его происхождении. И она не понимает, откуда же эта размягченность? Перед кем? Перед Хадиком или перед Шефом Хадика? Пусть он явится сюда! Даже письма пусть не пишет! Пусть лично явится, если осмелится и если ему чего-то надо. Ей хотелось бы еще раз вздохнуть, так душили ее эти мысли. Но она не издавала ни звука, хотя все еще могла помочь мужу предостережением или советом.

— Что ты, Йоза, дорогая моя?—Он редко называл так жену.—Хоть бы вздохнула!

Йозефа вздохнула. Потом спросила:

— Высочайшее место?

Антал с облегчением рассмеялся. Помолчал.

— Если бы пришлось еще раз сказать, я и теперь не смог бы иначе сформулировать. Мы так говорили, имея в виду его особу. Его—с большой буквы.

Йозефа думала о себе.

Кем бы она могла стать в социалистическом обществе, если бы ее способностям довелось вырваться на волю?

А теперь? Надо удалить Албиши. И если нельзя иначе... Она уже не боялась—движение пальцев выдавало ее нетерпение. «Найду для него местечко в лесу...» Антал что-то сказал или собирался что-то сказать. Но ждать она не могла.

Как была, выскочила из постели, выскочила из комна-

ты, наружу, под деревья, под крыло леса — плакать.

Неужели жизнь так ненадежна, так может подвести? Зачем надо было тогда, уже в сорок третьем, отказываться от мира?

И кем бы я, дочь лесника, могла стать потом? Губернатором, депутатом, председателем совета! Ведь сумела моя одноклассница, молодая крестьянка из деревни, благодаря своему бойкому языку стать заместителем министра! А я? Взвалить на себя такую обузу или самой стать обузой! Но для чего? Могли бы ведь уйти тогда, с двумя-то детьми, и даже теперь еще можно, с четырьмя. В зимних пальто, с рюкзаками! С чем тут было жаль расставаться?

Лес шелестел в ответ на каждое ее движение. «Так где же его можно бы закопать, под прошлогодней прелью? Под листьями».

Она попробовала ногтями (как волчиха лапами) разрыть листву.

Руки ее быстро заоченели, и она подумала: «Я схожу с ума! Не так надо это делать! Не голыми руками! Ах, если бы у меня была подруга, я бы не знала таких ужасных сомнений!»

Когда холод остудил ее гнев и возмущение против жизни и против Албиши, она, дрожа, проскользнула в дом, в комнату детей, и забралась в постель к Шаре.

Ночью выпал свинцовый дождь, покрывший все ледяной коркой.

На рассвете Албиши проснулся сам: то ли его согнала с постели выпитая с вечера в большом количестве жидкость, то ли вчерашняя побудка. Он остановился за спиной шофера, когда тот одевался.

— Мне жаль тебя, Тонио, даже в такую непогоду ты должен выходить из дому!

Антал хотел было объяснить ему, что то, что он делает, называется не «выйти из дому», что это не прогулка, а просто уход на работу, дождь ли на улице, или ветер, или снег. Но вместо этого он, помня о вчерашнем своем решении, мирно предложил ему рюмку палинки, чтобы расспросить о Беци. Сам он не пил. Однако, пока Антал убирал бутылку, Албиши уже исчез с порога кухни, юркнул обратно на кожаный диван и дремотно ворочался в тепле собственного тела.

Поздно проснулся Албиши, еще позже встал. В комнате Антала, в домашних туфлях Антала и в его халате провел он день. Читал пособие по оценке леса, а в пожелтевших журналах — законоположения, относящиеся к браконьерам.

Завтрака Йозефа ему не подала. Сегодня она впервые,

может быть, порадовалась тому, что в доме нет служанки — та была бы помехой. «Теперь я сама должна пойти к нему. Как будто дрова принесла! Пока он спит. Зевает? А что, если проснется? Да ведь вот топор на колоде...» (Антал обычно готовил для нее дрова и растопку.) Она уже схватила было топор, но потом просто вошла к нему, чтобы испортить (или отсрочить) задуманное:

— Если желаете затопить, дрова на веранде.

Кожаный диван шевельнулся, что-то пробормотал.

Вскоре она услышала из кухни, что Албиши на веранде накладывает себе дрова, роняя щепки. Примерно через полчаса незадачливый гость, дрожа от холода, появился в дверях кухни:

— Я не умею разжигать огонь. Никогда еще не топил.

Йозефа не рассмеялась. Смех — прощение. Теперь она уже могла спокойно пойти и затопить печку. Но гостью велела пока из комнаты выйти, нечего ему смотреть, как она нагибается. (И подумала: «Дам ему еще один день, авось уберется».)

Однако Албиши, должно быть, что-то подметил и, выходя, доверительно ей улыбнулся:

— Пожалуй, мне бы надо лучше с вами заключить союз, чем с Тонио!

Но Йозефа не слушала его. В тот момент не слушала, зато потом, на кухне, она надолго задумывалась над каждой посудинкой. И про себя уже тоже улыбалась. А может, это вовсе и не такая уж глупость — ради спокойствия Антала самой ей вместо него принять на себя поручение. «Нет! Нет! — Она вздрогнула и совершенно отчетливо подумала: — Просто его надо убить. И закопать. Земля еще по-настоящему не замерзла. Засыпать прошлогодней листвой. Наскрести снегу! Завтра! Когда дети тоже уйдут. А Анталу я скажу: внезапно уехал».

Сама нести обед ему она не рискнула. Послала с Шарой. Чтобы не выдать себя.

Девочка вернулась с пылающим лицом и только пролепетала:

— Дядя такой странный...

Сколько ни допытывалась мать, Шара добавила одно лишь:

— Он сказал: «Как же ты похожа на маму!»

Йозефу охватил гнев. Ей не хотелось встречаться с едва одетым гостем, но за посудой она пошла сама.

— До каких пор вы намерены здесь оставаться? — спросила она очень тихо, чтобы не услышали дети, а от них Антал. Ведь он бы очень рассердился! — Что вам от нас нужно?

Албиши был поражен возбуждением женщины и так

полно раскрывшимся теперь сходством между матерью и дочерью. Ему и в голову не приходило, что он может получить отпор — ведь он сегодня видел обнадеживающую улыбку и жесты. Он схватил Йозефу, уже взявшую поднос, за кисти обеих рук. Точно так же, как только что схватил за руки девочку.

Жест был фамильярный.

Все повторилось, только еще упала и вдребезги разбилась тарелка.

Албиши сразу же понял, что просчитался. Попытался быстро все переиграть. Бросился на колени, театрально прося прощения, смиренно потянулся к руке Йозефы.

— Это потому, что вы знаете — мне уже недолго быть молодой? Поэтому и осмеливаетесь так вести себя со мной? — выкрикнула Йозефа, уже не заботясь о том, услышат дети или нет. Она ногой распахнула дверь и рукой резко захлопнула ее за собой.

— Сбегай вниз, Викторка. Если папа приехал с машиной, пусть сейчас же идет домой!

Ничего она больше ему не наказывала. Сын уже знает: «Мама сегодня ссорилась с дядей».

Албиши быстро и тщательно оделся, встретил Антала на веранде. Ни на минуту не оставил его одного с женой. Даже когда хозяин деликатно удалился похлебать супу, гость устроился рядом, чтобы составить ему компанию. («Хлебает, как настоящий шофер!»)

— Да, Беци! Ты спрашивал о нем вчера вечером. Ну, скажу тебе, выкинул же он штуку в пятьдесят пятом, когда после выселения вернулся ненадолго в свою деревню! Знаешь, что он сотворил? Ни за что не догадаешься! Хоть его и выдворили, он не потерял своей изворотливости, остался таким же ловкачом! Обещал крестьянам, что ни у кого не потребует обратно землю, ни при каких обстоятельствах. И даже выдал им бумагу. И уж как за этот «документ» крестьяне его благодарили! Кто сотней, кто пятьюдесятью! Когда Беци еще и за руку с ними попрощался, они только что не плакали. А сумма набралась совсем недурственная!

Как же так? — хотел спросить Антал, но когда посмотрел на худое лицо размечтавшегося гостя, то вместо этого попросил младшую дочку принести воды и не без язвительности заметил между двумя глотками:

— Ну, а тебе и твоему семейству, разумеется, отступные брать не за что?

И в тот же миг с радостью проглотил бы сказанное: пристойно ли отпускать колкости насчет чьего-то имущественного положения, да при том еще гостя!

Быстро прикрыв глаза, Албиши тоже замкнулся.

— Ты дал понять, будто знаешь еще о кое-какой деятельности Беци там, за границей,—попытался смягчить положение Антал, почти заискивающим тоном.

Губы Албиши сомкнулись в тонкую линию.

— Ну, когда... как ты сказал... у Хадиков, ты дал понять, что...

— Я ничего не давал понять,—сухо, сквозь зубы сказал Албиши,—считай, что этого разговора не было.

Надо было его как-то умиловить, чтобы он по крайней мере остался сидеть, а не вскочил и не убежал тут же.

— Я знаю,—смягчился наконец Албиши,—у тебя не-легкое положение. И возможно, ты взял на себя даже больше, чем...

Йозефа прислушивалась. Она опасалась, что теперь пойдет речь о супружестве, которое не regelmässig, и что Антал даже это проглотит и на это кивнет головой. Вот чего она боялась! Что он ее предаст! Ведь тогда напрасно Албиши исчезнет завтра утром!

Вмиг она очутилась возле кухонного стола.

— Уходите! Уходите отсюда! Оставьте нас!

Барон посмотрел на Антала.

Антал беспомощно откинулся на спинку стула.

— Йозефа, душа моя!

Никогда еще Йозефа не выглядела такой слабой. Антал совсем забыл о своем желании смягчить гостя.

— Ты слишком нервна.—Он прижал к себе и стал гладить жену, всхлипывавшую без слез.—Йожа, дорогая моя!

Албиши между тем исчез, молниеносно оделся и стоял на пороге в охотничьей куртке, точно такой, каким приехал. (И теперь еще он не давал Йозефе возможности пожаловаться на него мужу!)

— Извини, пожалуйста,—поклонился Албиши,—мне больше нельзя здесь оставаться. Согласись.—И отдал поклон также в сторону Йозефы.

Слова Антала настигли его уже на веранде.

— Не ребячься! Куда ты пойдешь так поздно!

— Я проведу ночь в ресторане кооператива, а...

— Жаль, так внезапно.

— ...завтра весь день я в твоём распоряжении...—Он попрощался и на сей раз даже не подал руки.

Антал вполне мог понять это так, что им предстоит дело чести. Но еще и так, что в служении делу Албиши отбрасывает прочь даже личную обиду.

Ответить на это он мог только одним—осветить карманным фонариком дорогу вниз. Под лучом света дорога скользко блестела. На полпути Антал щелчком

выключил фонарик и вернулся на кухню.

— Не так бы нужно было! — проговорил он, закрыв лицо руками.

Йозефа только теперь по-настоящему испугалась. В таком отчаянии она еще не видела своего мужа. Она и сама поняла, что Албиши по какой-то причине действительно очень важен!

И выбежала, чтобы его догнать. Чтобы упасть ему в ноги, лепетать что-то в свое оправдание, сослаться на нервы. Или... или пусть даже без слов, ведь он должен понять!

Албиши барахтался на скользкой дороге, стараясь удержаться на ногах, на том самом месте, где его оставил сноп света от карманного фонаря. Подслеповато вглядывался вниз, потом смотрел назад, вверх, и опять терял ориентацию: с обеих сторон от него все дальше расползалась оледенелая грязь.

Йозефа и с закрытыми глазами угадала бы дорогу, но несколько мгновений она стояла и смотрела на Албиши, видела его полнейшую беспомощность, и перед ней вдруг опять возникла и все заслонила утренняя сцена, его попытки затопить печку и то, что последовало днем, в обед. Оказавшись с ним рядом, она уже начисто забыла, зачем бежала сюда, о чем думала там, на террасе, когда кинулась за ним вдогонку.

— О, красавица! — прошептал Албиши под покровом ночи, узнав Йозефу по шуршанию юбки и частому дыханию. От недавней обиды не было уже и следа в его голосе. — Милостивая государыня! — И его руки устремились к ней.

Йозефа была потрясена. Возможно ли это? И закатила Албиши две полновесные пощечины. Он же теперь только понял, куда ему следовало направить руки, чтобы схватить ее в свои объятия.

* * *

Йозефа постелила в кабинете чистое белье, однако и эту ночь они спали вместе.

Но разговаривать не разговаривали. Каждый оставался со своими мыслями.

Анталу (да он все равно не поверил бы ее жалобам) надо было уйти еще до рассвета. Никто не мог заменить его на машине.

Йозефу разбудили дети. Подали завтрак в постель. С кровати смотрела она им вслед, как они скользили вниз по дороге, впереди маленькие, за ними большие. И с этой минуты всю первую половину дня была в страхе.

Возможно ли, чтобы в мозгу у Антала была какая-нибудь клетка, какая-нибудь маленькая извилина, которую она еще не знает? И может быть, как раз та извилина и воспримет сообщение Албиши. Поднявшись с постели и взглянув на себя в зеркало, она удивилась: «Неужели я до такой степени сошла с ума?»

Викторка, запыхавшись, прибежал домой, чтобы тут же бежать обратно.

— Папа велел принести два больших демижёна*.

Мальчик с радостью ухватил в каждую руку по двадцатилитровой посудине. Мать не пыталась объяснить себе, для чего нужны эти бутылки.

— Папа ждал меня там, возле школы, он вернулся обратно в кооперативку.

— В корчму?

— Ну да.

— Ничего больше не передавал?

— Ничего.

Никогда еще Антал не давал никому из детей таких распоряжений — «унеси» или «принеси»! Этот нынешний случай из ряда вон!

Йозефа чувствовала себя беспомощной в руках судьбы. Сколько ошибок она наделала в последнее время! Пригревшись возле кухонной плиты, она забылась в глубокой печали, и мысли ее были только о прошлом, о будущем она думать не могла.

Пока Антал домой не вернется, решила Йозефа, она не ляжет, сколько бы дней ни пришлось ждать.

Однако не понадобилось ждать даже одной ночи. Антал пришел, как только просвистел поезд — звук вечернего поезда отчетливо доносился сюда через долину. Бутылкой с ним не было.

Ничего не спросив, он поел и как был, прямо в одежде, прилег под беркутом. Дышал глубоко, очень глубоко. Временами это дыхание больше походило на тяжкие вздохи. Выпил человек, но пьян не был.

Несколько раз то ли в полусне, то ли вполне сознательно губы его шевелились и повторяли только одно слово: «Стыд! Стыд!»

Жена вполне могла принять это на свой счет. Всю ночь она простояла рядом, у окна, и видела рассвет, и как пришел мороз в их аллею, окаймленную двумя рядами деревьев, и как покрылся изморозью туннель из ветвей.

Когда разгорелась заря, Йозефа задала мужу очень трезвый вопрос (вот как далеко блуждали в ту ночь ее мысли):

* Оплетенные бутылки.

- Отдаст он когда-нибудь бутылки?
- Никогда.
- С вином? — Антал кивнул. — Заплатил?
- Взял в кредит, но не заплатит.

Теперь бы спросить: чего он хотел? К чему вы пришли?

Но Йозефа ни о чем не спросила. Только до тех пор глядела за утренним кофе в зрачки этого человека с огрубевшей кожей, пока не увидела в них зарождающуюся слезинку.

— Знаешь, чего он хотел? — сам заговорил Антал. — Чтобы я, как Беци Шаумбург, выдал бумагу тем, кто получил землю. Что, мол, отказываюсь от всяких претензий. А уж он бы это дело провернул. Я же только расписался бы. Двадцать — тридцать тысяч гарантировал...

Йозефа вспыхнула: торгаш.

А муж думал уже о сегодняшней езде.

— Как живодер, — добавил он в дверях, потом, уже двинувшись в путь, оглядел себя всего, словно оценивая и взвешивая:

— Нет уж! Я буду только Анталом — и ничем другим, пропади оно все пропадом!

1957

ПОЗДНИЕ ЛУЧИ

Ни государственным советником, ни министром...

Пока жена насыпала в машину щелок или капала лавандовое масло в теплую воду, предназначенную для третьего полоскания, муж зачитывал вслух короткие отрывки из мудрой книги, лежавшей рядом с мылом. Теперь это вошло у них в привычку. (Хотя раньше они и романы-то редко в руках держали!)

«У змеи головка маленькая, но если она ее куда-нибудь просунет, то и все тело туда за собой втянет...»

— Значение этого...

Во время глажки роли менялись: читала жена, не давая, однако, объяснений прочитанному. Этой ролью они поменяться не могли.

«Праведная жизнь, словно опавший плод разума, рано или поздно, несмотря ни на какие козни недоброжелателей, вызывает уважение людей и приносит счастье душе. Потому и говорят, что какой была жизнь, такой будет и смерть».

И муж продолжал:
— Значение этого...

Стоит ли нам прислушиваться к его объяснениям? Можно представить, как неполноценны толкования явлений и значений, данные человеком, естественнонаучное образование которого страдает существенными пробелами и психологические познания которого застряли где-то на уровне Вундта *. Да и в пятидесятилетнем возрасте уже не очень-то легко усваиваются новые истины.

— Ну а счастье? — спросит кто-нибудь.

Однажды жена рискнула высказать сомнения, тщательно избегая одной-единственной темы:

— А можно надеяться, что судьба одарит нас подарком, о котором мы потом будем вспоминать?

— Это означает, что тебе в жизни чего-то не достает? — уточнил муж.

— Да. Каждый день, особенно ближе к вечеру, мне хочется немножко пороптать, — вздохнула женщина.

— Ты... ты надеешься на какое-нибудь высшее проявление, нечто чрезвычайное? Такое выпадает лишь на долю тех, кто очень это заслужил.

— О, на такое я не смею надеяться. Просто размышляю. Днем и вечером, когда душа к этому особенно расположена...

Мы были бы осуждены на несчастную старость, если постоянно вспоминали бы о всех тщетных планах и беспочвенных мечтаниях нашей юности.

Возможно ли, чтобы время снизошло к старому человеку, играло ему на руку? Чтобы у того, у кого впереди осталось уже мало времени, вдруг разыгралась фантазия, хотя раньше ее никогда и не было?

— Помнишь, Сильвия? Когда я стал министерским советником? А ты ее высокоблагородием? И началась война?

— Помню, Криштоф! Конечно, помню, дорогой. Тогда пророчили, что скоро ты станешь министром, но для этого тебе надо взяться за какую-то задачу, уж забыла, какую именно.

— Да, милая, все, как ты сказала. Я не взялся, потому что считал ее несовместимой с моей честью, с интересами страны и народа.

— Ты оказался прав. И время подтвердило это. Когда война кончилась, многие говорили, что, если бы руководя-

* Вундт, Вильгельм (1832—1920) — немецкий философ и психолог.

щие посты занимали такие люди, как ты, все у нас было бы по-иному.

— Да, разумеется, всякое болтали, многое говорили, но ты думала лишь о том, что у нас все еще может родиться ребенок и это не помешает моей карьере.

— И ты согласился, потому что снова пошли слухи, будто тебя скоро назначат министром, только ты должен взяться за какую-то задачу и решить ее. Я даже сейчас не знаю, какую именно задачу. Но абсолютно уверена, что ты мог бы ее решить, если бы захотел.

— И я взялся! Но тут же увидел, что нельзя за нее браться!

— Так ты и не стал министром. А ведь очень многие надеялись на это и верили в тебя.

— А я верил в то, что, если у нас родится ребенок, нам больше ничего не будет нужно.

— Да. Ты был счастлив доверием молодых и сознанием, что сможешь сделать все что угодно, если захочешь.

— Верно, так оно и есть. Вернее, было. Но когда меня перевели, вместо того чтобы посадить в тюрьму, хотя остальных...

— Не вспоминай, дорогой, мне это больно. Часто мне кажется, есть божье предначертание в том, что у нас не родился ребенок, когда мы этого уже хотели.

— Может быть, мало хотели. Может, больше хотели иного.

— Не говори так, Криштоф! Если кто-нибудь услышит, еще подумает, что у тебя изменилось понятие о чести!

Супруги, счастье которых родилось теперь, на пороге старости, жили в Буде, на улице Герле. Криштофу было пятьдесят пять лет, Сильвии пятьдесят.

Когда-то давным-давно (четыренадцать месяцев назад) они были господами, а теперь занимались стиркой. Неужели их сделала счастливыми стиральная машина? О!

— Покорнейше вас прошу, если возникнет какое-нибудь недовольство, недоразумение, всегда говорите нам. Пожалуйста, относитесь к нам с полным доверием! Честь имею! Мое почтение!

Криштоф не всегда был таким говорливым. Но и лгуном никогда не был.

Грязное белье приносили к концу дня в чемоданах, простынях, узелках, а чистое уносили день-два спустя в то же самое время. Вывески у них не было, но с осени улице было известно о роде их занятий.

С восьми до четырех—рабочее время—они трудились. Потом принимали клиентов.

Сильвия готовила воду, химикаты, укладывала, сортировала белье, одежду, а уж затем действовала машина. И все-таки самая сложная часть работы ложилась на Криштофа. Он ровно отглаживал насухо каждую вещь электрическим утюгом, по желанию уважаемых клиентов делал острые стрелки на брюках.

В передней на тесаных стеллажах всегда в примерном порядке благоухало выстиранное накануне белье. Около четверти пятого, услышав первый звонок, Криштоф открывал дверь.

— Целую ручки, добрый день, мое почтение!—так он встречал заказчиков. Если приходили дети, им говорилось: здравствуй. От него даже мальчишки слова «привет» не слышали.

Белый халат, на носу очки в золотой оправе—словно в аптеке. Клиент получал все до последнего носового платка. Белье душистое, белоснежное, возможно, оно и новое таким не было. И каждому казалось, что даже выстиранное белье испускает аромат его собственного тела, хотя это было делом рук Сильвии. Она заботливо протравливала белье во время стирки, добавляла отдушку до того, как Криштоф принимался гладить.

— О, какое прекрасное, какое пахучее!—в изумлении разражались люди, не привыкшие к столь ароматному белью.

После пяти часов их никто не тревожил. Знали: рабочее время истекло. И... быть может, с ними, простыми смертными с улицы, даже разговаривать не станут. Никто и не пытался.

Когда полки пустели, Криштоф удовлетворенно вздыхал и сбрасывал с себя белый, как пена, халат, чтобы повести жену на вечернюю прогулку, прежде чем начать: «На сегодняшний день...»

— Гляди, Криштоф с женой шествуют!—оборачивались им вслед люди из прежних. Не моложе супругов они были. О многом помнили. Хранить в памяти чужие беды вместо собственного горя—истинное благословение судьбы.

Всего на улице не знали, но многие жалели. (Это обходится куда дешевле любой другой жертвы.)

Находились и такие, кто знал, откуда исходит эта жалость.

В начале прошлого года Криштофа уволили в отставку после тридцатитрехлетней службы. Но тогда никто их не жалел. Коллеги Криштофа пятнадцать лет ждали этого дня.

Редкость, когда человека, перевалившего за определенный возраст, с такой жестокостью выживают из

учреждения. Я ищу причину, почему выжили Криштофа.

За эти пятнадцать лет учрежденческие кресла шатались подо всеми, только не под ним.

Не из-за этого ли восстали против него сослуживцы?

Он жил своей работой, не боялся ни бога, ни черта. Замечал лишь свою правду, отважен бывал, даже дерзок в своей откровенности. (Видел ли кто-либо другой его правду? Не казался ли себе трусливым рядом с ним сам праведник? И обогащенным тот, кто не стыдился оттянуть время, когда надо было сознаться в совершенной ошибке или проступке?) Начальники и сослуживцы испытывали к нему скорее страх, чем уважение. Ибо в его тени старики вечно чувствовали себя как у позорного столба, а молодые не находили в нем идеала и не видели примера для подражания.

Улица ненавидела его и Сильвию. Что иное могло быть наградой тому, кто глядит поверх людских голов? Криштоф (и Сильвия в этом верно ему следовала) не опускал взгляда ниже двух метров — шляпы, шапки оставались где-то там, внизу. Улица дрогнула лишь тогда, когда шесть дней подряд дверь их квартиры не отворялась.

Это случилось через год после того, как ненависть коллег выжила Криштофа со службы.

Отсутствие супругов никого не беспокоило. Только дворник обратил внимание на то, что шестой день пусто их мусорное ведро. Неужели у них даже мусора нет? Надо же! Но руку-то за пустым жестяным ведром можно из-за двери протянуть?

Их нашли в кровати — они лежали рядышком, держась за руки, ослабевшие от голода, жажды и печали — обреченных на смерть. (Еда их гнила в кухне!)

Может, они и отравились, да чуть меньше яду выпили, чем необходимо, чтобы на тот свет отправиться.

Так и не отправились.

Но то, что на этот свет вернулись, — определено.

И кто оттуда возвращается!

Где-то в природе повернулся ключ. Если никто и не заметил, то сами они твердо о том знали. Знали, даже если бы за этим ничего не последовало. Но ведь последовало же!

Потом пришла идея о стирке чужого белья. Да и не пришла, а принес ее кто-то, деликатно так подсказав, чтобы не обидеть их.

После пяти вечера они гуляли. Иногда доходили до Фаркашрета. Часто бывали в Варошмайоре, заглядывали на фаркашретское кладбище. Сильвия о чем-то рассказы-

вала мужу. Он гордо сиял. Сильвия болтала только о приятных вещах. Криштоф согласно кивал. Лишь одной темы они тщательно старались не касаться.

— Помнишь? Помнишь?

Может, и этого не следовало говорить. И Сильвия прижималась к жилистой руке мужа.

Однако кое у кого память была лучше, чем у них.

Ведь и в позапрошлом году им можно было посочувствовать!

Недобро поглядывала Сильвия на всех детей—в доме и на улице, и кто-то проклял ее за это. Веселой она бывала только на работе в заводской бухгалтерии, куда детей не допускали. Там про нее говорили: какая красивая, полная женщина, она просто создана для веселья! Хотя толстой она была не всегда, а лишь с тех пор, как узнала, что не сможет выносить ребенка. Трижды выкидывало ее чрево наполовину выношенный плод, а потом она и вовсе перестала беременеть. Разговор об этом—запретная тема, да и частые воспоминания ни к чему. Вспоминать много нельзя. Ни об одном. Ни об одном из трех невыношенных детей. А организм Сильвии—вместо того чтобы вынашивать девчонок и мальчишек—трудился над увеличением веса ее тела. Позднее, когда надежда на зачатие окончательно угасла, она весело шутила над своей полнотой с заводскими коллегами.

Раньше, чтобы сбросить лишний вес, Сильвия проводила забавные курсы похудения, придерживалась диеты. Но тут начало сбываться проклятье: тело ее полнеть перестало, однако в упрямом стремлении к увеличению объема отыскало в самом себе наиболее слабые, уязвимые ткани. Ими оказались глаза женщины, вечно склоненные над мелко и неразборчиво исписанными бумажками. Началось с правого глаза. Пока.

Стремление ткани глаза к разрастанию было раком. Ценой одного глаза Сильвии удалось спастись. Но, чтобы сохранить другой, пришлось пожертвовать веселым обществом смешливых коллег, покинуть исписанные мелкими, неразборчивыми буквами бумажки.

На деньги, полученные при окончательном расчете, она купила стиральную машину. Сильвия была очень несчастна, но ее никто не жалел. А предназначением машины была еженедельная стирка двух смен белья.

И в прошлом году, когда ненависть вытряхнула Криштофа из его тридцатитрехлетнего конторского кресла, никто за него не вступился. Эта молчаливая демонстрация (ведь слово в защиту находится даже для грабителей, убийц и мошенников, а для него вот не нашлось) полностью его парализовала.

На Вермезе уже смеркалось, когда Криштоф повернул к дому. Рядом с ним, болтая без устали, брела жена, поминутно дотрагиваясь до его руки. Потом Сильвия вдруг умолкла. Птичья стая пролетела или качели на площадке для игр закачались? Трамвай проскользнул по колее или это облако в форме булочки, на котором никогда еще так не плясало заходящее солнце? Криштоф понял молчание жены, остановился и смело, как подобает мужчине, спросил у заходящего солнца:

— Чего же нам на сегодняшний день недостает? Ведь чего-то нам не хватает, как бог свят!

Другой, возможно, и не понял бы, о чем он. Но Сильвии было понятно каждое его дыхание.

— Дорогой! Не так громко. Потихе об этом.

Если кто-нибудь следил бы за ними во время их прогулок, только головой бы покачал: господи, откуда и почему это счастье?

А ведь мог бы... мог бы и за спятивших их принять, если б услышал, какое мелкое, чуть больше пустякового желаньице осталось у них неисполненным.

Ведь дом, к которому они сейчас приближались, был построен двадцать пять лет назад, как бы к их свадьбе, чтобы они могли поселиться в нем сразу по выходе из церкви, выбравшись из головной машины автокаравана и пройдя сквозь строй пускающих слюни уличных зевак. Эти алчные зеваки, не осмеливаясь сказать вслух, шептали:

— Этим принадлежит мир! Как они красивы! Эти всего достигнут, чего захотят! Сам-то в министерстве, а за женой машина приезжает, когда только ей вздумается! Даже пересчитать трудно, сколько всего могут они пожелать! И все их надежды сбудутся!

И лишь гораздо позднее:

— Чтоб вам ослепнуть! Чтоб вам сдохнуть!

Но почему? Потому что глядели они поверх шапок и шляп?

Тогда после брачной церемонии, оставшись вдвоем, они и в самом деле чувствовали, что им принадлежит мир.

А теперь?

С тяжелым сердцем вошли они в подъезд, словно боялись в темноте подняться по лестнице.

У дверей их квартиры на площадке ждала какая-то девчушка. Неприметный ребенок с испуганными глазами и выгоревшими волосами: она смотрела на дверь, что целых шесть дней не открывалась. (Слыхала, вероятно, от матери, которая послала ее сюда.)

Наверное, дочка какого-нибудь жильца с первого этажа противоположной стороны улицы. Она принесла связанное в простыню грязное белье и, так как ей пришлось ждать, сидела на нем перед безмолвной дверью. Стояла тяжелая тишина, из-за лестничных поворотов девочку не было видно, и все же лестничная клетка была заполнена ею целиком до самого подъезда. А супруги дышали все чаще и, увидав ее, не смогли тотчас остановиться. Глаза их поднялись раньше, чем ноги.

Первой их мыслью, должно быть, было: «Пять часов давно минуло! Это какая-то ошибка! Она ждет не нас!»

Однако Криштоф подумал так: «Сама смелость ее чрезвычайна! Еще никто не приходил к нам в сумерки!»

А Сильвия: «Да! Только-только я сказала Криштофу: «Не так громко, дорогой, потише об этом».

Ступеньки через две супруги остановились. Не потому, что задохнулись. Нет! Лицо девчушки светилось: ее веснушки фосфоресцировали.

Такого еще не случилось на этой лестничной клетке!

Криштоф и Сильвия смотрели на ребенка и думали, о чем думать было нельзя. Взглянуть друг на друга они не осмеливались.

И девчушка встала с завернутого в простыню белья, но не заговорила, казалось, она выполняла какую-то миссию. И не хотела терять зря слов. И, может, боялась заговорить, потому что прежде всего спросила бы: «Почему вы шесть дней лежали за запертой дверью? Разве вас некому было разбудить?»

И хотя она не сказала этого, супружеская пара ужаснулась: «Господи, над чем только ребенок голову ломает!»

Криштоф открыл дверь, пропустил вперед Сильвию. Однако та сделала рукой знак:

— Прошу зайти...

И девчушка шагнула в озарившуюся переднюю.

Узел с бельем остался на площадке.

Криштоф подхватил его за ушки и втащил в прихожую.

Он тихонько забормотал над бельем.

Принял от девочки поштучно все до последнего носового платка, не проронив ни единого слова. Криштоф и Сильвия все еще не смели взглянуть друг на друга. Только с бельем Криштоф и мог говорить.

Девочка молчала, а вокруг нее продолжалась жизнь.

— Не поможете ли снова завязать, милочка? — попытался воскликнуть Криштоф, чтобы хоть какие-то звуки нарушили глубокое, словно морское, безмолвие у тесаных стеллажей.

Девочка помогла, затем получила на руки квитанцию, которую обычно быстрый Криштоф писал очень-очень медленно, чтобы Сильвия могла вдоволь насмотреться на ребенка. И квитанцию он сначала протянул жене, а уж Сильвия передала ее девчушке.

Та молча повернула было к двери, но женщина кивнула головой:

— Большое спасибо...

Девчонка ответила бы: «Пожалуйста», но не смогла найти дверной ручки. Будто никогда за нее и не держалась. Будто не на этой земле жила, где есть дверные ручки.

Она сама почувствовала это и пришла в замешательство. И в смущении выскочила из двери, едва та приоткрылась.

Теперь супруги смотрели друг на друга, словно два небесных светила. Солнце и луна.

Они выключили свет в прихожей. Но темнее не стало: фосфоресцировало то место, где недавно сияли веснушчатые звездочки.

«Она вернется, ведь у нее есть квитанция»,— думал муж.

Они подождали, пока веснушки немного поблекли, потом повели друг друга в комнату. Окно было распахнуто, супруги облокотились на него.

— Ты поверила бы?

— О, я никогда не надеялась, но, признаться, думать иногда думала. Да ты ведь знаешь.

Криштоф откашлялся, и в голову ему не пришло ничего иного, кроме обычного: «Значение этого... значение этого», но продолжить он бы не смог и поэтому, облокотясь на подоконник, все глядел и глядел на улицу. И, казалось, от супругов исходит свет и весь дом на уровне третьего этажа светится.

Но с улицы на их окна никто не смотрел.

1958

ТЕОДОРЕ

Ясновидица

Ей десять лет, дома ее зовут Илонкой, а в школе Иляной*; сейчас лето, и она целыми днями пропадает у маленькой речной заводи под мостиком—наблюдает за

* Иляна— румынское имя. Действие рассказа происходит в Трансильвании после присоединения ее в 1920 году к Румынии.

рыбками. Все лето напролет, только ночью не приходит она к рыбкам: ночью они не плавают, потому что любят солнце. И лицо Илоны. Все лето сидит Илона, склонившись над заводью с рыбками. Ей и в голову не приходит поймать хотя бы одну, а ведь любая далась бы ей в руки. Так и рыбачит она — глазами.

Река самая настоящая. Называется Тимеш; а железнодорожную станцию, что за нею, и деревню десять лет как зовут Валишоара. Только деревня в полутора километрах отсюда. А по ту сторону речки в часе ходьбы — фабрика, мебельная. На ней делают венские стулья. Гнут в горячем пару живое буковое дерево. Фабрика принадлежит одному чеху. Каждую субботу этот чех платит жалованье тремстам рабочим.

Но и ночь не проходит для Илоны понапрасну. Рыбки переселяются в ее сны.

А над ее дневными грезами — мостик: широкие доски с перилами.

Посмотришь наверх, и сквозь щели между досками видно, кто идет по мостику и по голубому небу. Но в эту пору здесь за весь день — ни души, да и рыбки никого не интересуют.

Все утро мостик укрывает Илону тенью. Других дел у него нет.

И вдруг все же чьи-то шаги. «А, сегодня ведь суббота», — думает Илона и не поднимает глаз. Но рыбки насторожились, и она чутко прислушивается. К каждому шагу, каждому стуку. «Сапоги топают или башмаки. Длина мостика, оказывается, шестьдесят шагов. Быстрых».

Илона услышала бы, пройди даже кто-то босиком, тихо-тихо. Но кто же сейчас пойдет в лес босиком?

Снуют в заводи рыбки, поплавают и ныряют в глубину, уступая другим место в отраженном лице Илоны.

Все утро никого, а тут вдруг второй идет.

По мостику шаркают постолы. «Постолы в такую жару? Это может быть только Теодоре». Он — Теодор, но Илона ведь слышит всегда: «Эй, Теодоре, живее! Пошевеливайся, Теодоре*!»

А может, это и не он идет, и вообще рыбки красивее. На них смотреть интереснее. Теодоре там или нет, а постолы прошаркали по мостику девяносто шесть раз.

Журчит вода. Лето, покой и танец рыбок; прозрачная мертвая тишина. Илона опустила ногу в воду, и вода, щекоча, струйками обвивает ее до колена. Рыбки испуганно всплескивают. Плавники вздрагивают одновременно,

* Теодоре — звательный падеж румынского имени Теодор.

будто их дернули за ниточку. Звук, испугавший рыбок, Илона услышит чуть позже—удивленный вскрик, а потом—клокотание. Но это не вода, а воздух клокочет в тишине. Рыба на суше?

Вот опять идет кто-то, с той стороны. Опять башмаки или сапоги. Четыре быстрых шага, два медленнее... глянула девочка вниз: не вода обвивает ей ногу, а уж. Смотреть на него не страшно, но видеть его на собственной ноге неприятно. Илона вскрикивает, и уж соскальзывает в воду.

Не слышно больше стука сапог по мостику.

Можно было бы сосчитать до двухсот... и тут чуть выше, у излучины, под прикрытием ив послышались всплески. От одного берега к другому. В звуках этих нет ничего особенного и интересного, просто уши Илоны не заняты, ведь рыбки разговаривают с ней только знаками.

От реки до железной дороги рукой подать. А на ней маленькая железнодорожная станция. Но в самую жару поезда сюда не ходят. Нет и людей. Люди только в корчме за проезжей дорогой, у Захарии. Захария грек, а его полюбовница и буфетчица—Настазия; она хоть и не замужем, а у нее в деревне ребенок. Прекрасногрудая Таси. Каждое утро Таси укладывает свои кудри, смачивая их подсахаренной водой.

Горбатый коммивояжер потягивает в углу свой сладкий ликер. Пьет он не спеша, ведь начальник станции и путевой обходчик тут же в зале прохлаждаются за вином с содовой.

Фельдфебель королевской жандармерии увивается вокруг Таси. И Йонеску, богач, приходит из деревни играть с Захарией в карты, только чтобы полюбоваться на Таси. И родственник попа, студент на каникулах, здесь по той же причине, но у него нет денег даже на вино, вот он и сидит просто так, пялится на нее или что-то объясняет с ученым видом, было б про что.

Скучно в корчме, когда нет Таси. Если же она на месте, ее роскошные груди словно светятся под платьем. Кто может, всяк к свету тянется.

И не понять, правда ли нравятся старому корчмарю эти ухаживания, или он все терпит ради процветания своего заведения.

Начальник время от времени достаёт большие, с ладонь, карманные часы и наконец говорит обходчику:

— Тринадцать часов.

Это значит, что им пора: в половине второго прибывает поезд из города. Они встают, оставив вино недопитым, к нему никто не притронется, разве что мухи. Они еще вернутся допивать.

Поспешно собирается и коммивояжер.

Жарко, поезд опоздал минут на пять. Коммивояжер сел в вагон, а на платформу неловко слез Теодоре, служитель с мебельной фабрики, ездивший в город с утренним поездом.

Через плечо у Теодоре перекинута туго набитая сума. Он тоже заворачивает к Захарии. Просит вина с водой и тут же расплачивается из тощего кошель. Как и каждую субботу, над ним потешаются, поддразнивают его: «Эх ты, хоть бы мзду какую себе брал! Вон, на перевозе и на пароме берут же! Трус ты, Теодоре!» И Захария отпускает свою субботнюю шуточку: «Взял бы да и сбежал как-нибудь со ста пятьюдесятью тысячами, на всю жизнь разбогател бы! Дурень ты, Теодоре!»

А Теодоре только отмахивается и отвечает, как всегда, честь по чести:

— Бегун-то я больно хороший, и дня не пройдет — поймают.

— На твой век хватило бы, жил бы себе припеваючи!

Фельдфебель в этом разговоре участия не принимает, но, когда начальник станции и обходчик возвращаются к недопитым стаканам, заводит свое:

— Послушай, Захария, что у тебя за вино! Вечно черт его знает как живот крутит.

И, на ходу застегивая ремень, он удаляется.

Теодоре просит еще стаканчик кисленького, чтоб было с чего потеть. И, сдвинув на затылок шапку, уходит. Все, кроме поповского родича, садятся за карты, а тот радуется удобному случаю поухаживать за Таси, прохлаждающей на стойке два своих лучезарных солнца.

Дремлет время, тает в стаканах, исчезает в колоде карт, между грудей Таси.

Встрепенулось оно, лишь когда возвратился фельдфебель. Фельдфебель все бранит вино Захарии и буравит глазами студента. Вот и конец его счастью, он прячет руки, а карточная игра продолжается.

Опять дремота, только мухи жужжат, только козыри, ставки, взятки.

Солнце стоит еще высоко, кто-то с мебельной фабрики приехал на велосипеде, ищет начальника станции. «Что с дневным поездом? Куда подевался Теодоре, на мебельной фабрике триста человек ждут его не дождутся».

Захария выпучивает глаза — карп, да и только:

— Сбежал дуралей, с деньгами сбежал!

В первую минуту все смеются, но вдруг смолкают — а если все-таки не сбежал? В зале остается только Таси, но и ей не по себе, а мужчины сперва пути обследуют, потом ищут на берегу реки. Наконец гуськом идут по мостику.

Искать на другом берегу.

Нашли Теодоре вечером, на кукурузном поле у леса, всего в крови. В сумке у него вместо денег — тоже запекаясь кровь. Его голову буквально втоптали в землю, но бедняга был еще жив.

На носилках из кукурузных стеблей его отнесли в деревню.

На следующий день началось расследование.

Однако ничего, за исключением следов тех, кто разыскивал Теодоре, обнаружить не удалось.

Теодоре не приходил в сознание, умирал и никак не мог умереть.

Илона жила на станции, потому что была дочкой начальника. И все слышала об участии Теодоре и о неудачах следствия.

Она, как и раньше, спускалась рыбачить к теплой заводи под мостик, но по-прежнему не хотела поймать ни одной рыбки.

Движение по мостику между тем стало оживленной, однако никто и не подумал, что Илона ведь все лето сидит, склоняясь над жизнью рыбок и зеркальным отражением мира.

Под мостик никто не заглядывал, только однажды...

Был как раз полдень, совсем как тот, когда Теодоре в последний раз прошаркал по мосту. И поезд уже ушел, и время, чтобы выпить два стаканчика кисленького, истекло.

Тишина, сегодня уже все прошли через мостик, и тут на противоположной его стороне четырежды стукнули сапоги. Остановились, будто человек задумался или заметил что-то.

И встрепенулись рыбки, одновременно вздрогнули их плавники. А со стороны леса, с кукурузного поля, донесся удивленный вскрик Теодоре, с опозданием, как тогда, потом — клочкотание задыхающейся на берегу рыбы: руки сжимают горло Теодоре и втаптывают лицо в мягкую вскопанную землю.

(Илона тайком сходила на то место и все знала и почти все видела.)

Теперь тот, в сапогах, должен повернуть назад и попробовать перейти реку выше, через брод в тени ив, наверное, босиком.

Звук шагов между тем возобновился, и сапоги дошли до конца моста. Пятьдесят шесть шагов. В конце мостика сапоги остановились. И двинулись вниз.

Спускаются под настил. Фельдфебель. По делам следствия он часто проходил по мостику утром и вечером, но вот явился днем. Долго смотрел на Илону. Молча.

Мрачно. И только спросил:

— Плавать умеешь?

— Умею,— ответила Илона, не поднимая глаз: в зеркале воды она видела каждое движение его лица и рук. И что он колеблется. Вот фельдфебель сделал шаг—и вдруг увидел свое отражение в воде. Лицо его исказилось. Он поднял с земли камень и изо всей силы швырнул в воду перед Илоной. Взлетели брызги. Смялась зеркальная гладь. Илона подняла глаза:

— Ой, вы испугали рыбок...

Фельдфебель выругался, повернулся и поспешно ушел.

Минуло две недели, а Теодоре все еще жил. Прокурор сидел на краю его постели и ждал, когда он очнется и заговорит. Ждал на деньги мебельной фабрики.

Теодоре открыл глаза, к нему вернулось сознание, но руки и язык не слушались.

Ничего не оставалось, как согнать к его постели окрестных бродяг, нищих, цыган. Может, убиенный даст знак. Но убиенный лишь поводил глазами из стороны в сторону: нет, нет. Не эти.

В конце концов следствие стало вызывать всех подряд, ведь Теодоре еще жил, а фабрика не хотела оставить случившееся безнаказанным. Даже начальника станции вызвали к умирающему. Илона упросила, чтобы и ее взяли туда.

Теперь прокурор сидел уже на стуле. Теодоре был совсем мертвый, только глаза жили; все было точно, как рассказывали уже побывавшие здесь. Глаза Теодоре двигались, как маятник стенных часов. Значит, он живой, раз глаза живут!

Едва они вошли, Илона испугалась. Теодоре все же больше похож на мертвеца, чем на живого. Отец стал хвалить Теодоре, говорить, какой он славный. Может, ему это будет приятно. Но Илоне стало страшно, и она, пятясь, вышла из комнаты.

В коридоре шептался с кем-то фельдфебель. Его собеседник говорил громко, а фельдфебель—очень тихо, приглушенным голосом. Илона вздрогнула, по этому шепоту она поняла: фельдфебель не заходил в комнату к умирающему. Провожал свидетелей, а сам не заходил.

Увидев Илону, фельдфебель сбился, смешался. Голос его стал пронзительным: будто большая рыба, испугавшись, бьет хвостом по воде, поднимая волну. Он обругал Илону самыми грязными словами.

Через два дня Теодоре все же умер. Ни деньги, ни убийца не нашлись. Много дней после похорон Илона не могла ходить на речку. Но однажды она очень соскучилась по своим рыбкам. И по ужу. Напевая, пошла она к

мостик. И вдруг так и застыла. Внизу, у заводи, сидел фельдфебель. Она бросилась домой. Путь на реку ей был заказан.

На той неделе в корчме у Захарии фельдфебель во что бы то ни стало хотел угостить начальника станции; отцу пришлось согласиться—конечно, это было неспроста. Фельдфебель по дружбе предлагал ему очень хорошую станцию в дальней провинции. Сюда ему хотелось перевести своего родственника. Начальник, смеясь, покачивал головой.

Несколько дней спустя фельдфебель сошел с поезда в прекрасном расположении духа. Илона смотрела на него из окна: теперь ее интересовало даже хорошее настроение фельдфебеля—ведь ходить к своим рыбкам она не могла. Фельдфебель же мгновенно помрачнел, его рука дернулась к кобуре, и от этого он еще больше разозлился на себя. Он ворвался к начальнику, обзывая его бездельником, скотиной, кретином:

— Ты же враг самому себе!

Напрасно смеялся начальник над капризом фельдфебеля, в следующем месяце его все же перевели в дальнюю провинцию. Только вот станция была не та, что обещана. Правда, он ничего и не просил.

Никогда больше Илона не любовалась рыбками в теплой заводи под мостиком: вблизи новой станции не было никакой пригодной для рыбок воды.

1959

НИЧЬИ МЕРТВЫЕ

Пиши дневник—будешь жить до самой смерти

Мысль о том, что надо бы вырыть могилу, пришла на третий день. В первый их согнали стаскивать с горы орудия. Солдаты лишь смотрели на бестолково топтавшихся штатских, покачивали головами и кричали что-то вроде: «Давай-давай!» На второй день, следуя гуськом, сносили вниз снаряды (в охалке, словно поленья к печке)—с горы Шваб в сад военного госпиталя.

Когда на третий день артиллеристы оставили их в покое, одни принялись копать в обломках автомобилей, другие пробовали сдвинуть с места лошадиные трупы, сделав из уздечки петлю и затянув ее на бабке.

Только седой советник с моложавым лицом решительно заявил:

— Человек сотворен по образу и подобию господа. Похоронить его — наш долг.

Никто и не знал, откуда эти слова: то ли из Священного писания, то ли из свода законов.

В самые страшные часы осады, под минометным огнем, именно советник давал санитарные указания команде, копавшей выгребную яму.

Итак, могилу начали рыть на третий день.

— Мое почтение, господин советник, не угодно ли знать, по чьей милости на наши головы под Новый год свалилась облава? А потом в конце января?

— Послушайте, Плухар, прошу вас, найдите где-нибудь лопату или заступ и окажите помощь в уборке трупов вокруг дома, пока на наши головы не свалилась оттепель. Обменяться мнениями мы и тогда успеем.

Советник догадывался, что господину Плухару, жившему в подвале их дома на правах гостя, больше всего хотелось бы отыскать квартиру № 2 на четвертом этаже.

— Могилу, думаю, нужно рыть у ворот, как можно дальше от дома.

Ефрейтор артиллерии лежал в саду с третьего января. Конный артиллерист. На рассвете он пришел в гараж, чтобы проверить размещенных там лошадей. Трех лошадей съели, на четвертую нацелился какой-то пришлый солдат — никто его до сих пор не видел. Ухватившись за гриву, он повел шатающуюся от голода беднягу, но по дороге его настигла мина. Лошадь поплелась дальше; установить, к какому роду войск принадлежал убитый, не удалось.

Неподалеку лежал штатский.

Старичок из дома, пытавшийся в часы передышек поправить дымовую трубу над кухней бомбоубежища. Двадцать третьего января он так и остался у стены.

А рядом с забором, с северо-западной стороны, ничком распласталось до синевы окоченевшее женское тело: пальцы левой руки вцепились в решетку забора, юбкой целыми днями играл ветер.

Хоронить собирались всех вместе. Промерзшая земля поддавалась с трудом. Советник Тарноки в молодости играл в хоккей, потом в теннис, но и то вынужден был признать: «Тяжелехонько!»

— Разрешите я возьму у вас кайло, — сказал Енё Рожааги, худощавый молодой человек из бомбоубежища, отличавшийся застенчивостью. — Все-таки я моложе.

— Моложе, да слабее, — заметил советник, но кайло отдал и некоторое время смотрел, как Плухар неторопливо выгребает лопатой землю из ямы.

— Составлю пока опись документов, — пробормотал

советник и, нагнувшись над телами, пальцами в замшевых перчатках стал выуживать из внутренних карманов бумажники, сложенные листки.

— Вы случайно не еврей, господин Рожааги?— спросил Плухар; опершись на лопату.

Рожааги тоже остановился передохнуть.

— Еврей.

— Документы, конечно, фальшивые?

— Конечно,— улыбнулся Рожааги,— но на мое собственное имя.

— И не обрезаны?

— Вы же видели,— засмутился юноша.— Сами видели.

Действительно, после облавы в конце января всех схваченных выстроили полукругом в сборном пункте нилашистов и фонариком прощупали каждый сантиметр тела.

— Пожалуй, вам пора поменяться. Одно дело— работать лопатой, и совсем другое— кайлом.— Тарноки не хотел, чтобы этот неприятный разговор продолжался.— Скоро и я приду к вам на помощь.

Целый день они провозились с трупами. На балконе второй квартиры четвертого этажа несколько раз за это время появлялась женщина и подолгу смотрела, как они работают. К ней не обращались—злились. Ее мужа, Чонгора, в саду не было.

— А эта все смотрит, садистка какая-то,— шептал Плухар.

— Да нет, мне кажется, она плачет,— незаметно поглядывал в ее сторону Рожааги.

Чонгор был новоиспеченный лейтенант, долговязый, сутулый, судя по всему запасник. В середине декабря он вдруг въехал в одну из пустующих квартир. Чонгор было его имя, к которому нечленораздельно присовокуплялась какая-то трансильванская фамилия: не то Телеки, не то Телегди. Впрочем, никто особенно не интересовался, потому что из угла в подвале, куда им удалось пролезть, супруги смотрели на всех колючими глазами. Им отвечали тем же.

Этот Чонгор вечно где-то шастал! А во время новогодней облавы? Пошептался о чем-то с одним из нилашистов, и их дом оставили в покое!

Однако в конце января им уже так просто отделаться не удалось. Всех мужчин увели. На улицу Марвань.

А там вниз—в подвал! Приказано было стоять с поднятыми руками, лицом к сырой стене.

В глубоком бассейне на площади Кирайхаго — запас воды на случай воздушной атаки — не осталось ни капли.

— Лошадей сгонять к бассейну! — неслось над улицами Бёсёрмень и Неметвёльд на четвертый день.

Тарноки со своими людьми как раз шел в это время в ближайшее управление, чтобы сдать оставшиеся от убитых бумаги.

По-видимому, облеченного властью чиновника поразила такая предусмотрительность, а может, просто не нашлось под рукой никого другого, кому можно было бы приказать:

— Товарищи! Господа! Вы должны навести порядок в саду военного госпиталя.

Провожали с конвоем, иначе все разбежались бы в первый же час.

Потому что человеку легче перетащить сто лошадиных трупов, чем останки своего ближнего.

К полудню, однако, они смирились с судьбой, особенно после того, как разделение труда достигло такого совершенства, что в обязанности Рожааги, например, входило только изъятие бумаг. На Тарноки же возлагалась задача сохранить их. Они работали в перчатках, но все равно уже в первый день пришлось пять раз мыть руки в хлорке.

Когда приступали к делу, их было двенадцать, а к вечеру следующего дня осталось семеро, хотя трупов скорее прибавилось, чем уменьшилось.

Оставшейся команде отвели отапливаемые комнаты в первом этаже, иногда приносили горячую еду. После первых же кусков, однако, у них пропадал аппетит.

Они бродили по комнатам, завернувшись в казенные одеяла, ночи напролет жгли светильники, но большей частью понапрасну, потому что читал один Тарноки.

Он читал письма, войсковые газеты, извлеченные из карманов похороненных солдат, но только сухие и не снимая перчаток.

В один из вечеров ужин не принесли, пришлось удовлетвориться кирпичиками черного хлеба. Не проронив ни единой жалобы, советник умылся, затем положил рядом со своим спальным местом связку писем и небольшую, исписанную до последней страницы книжечку — чей-то карманный календарь.

Подумал: «Познакомлюсь еще с одним умершим, а потом буду спать».

Он очень устал, на конвертах можно было разобрать и полный адрес, и имя отправителя, советник решил, что и календарь попался ему не случайно: он любил узнавать новых людей.

Писал мужчина из Сомбатхея. И женщина, выхаживающая от скарлатины младшего ребенка.

— Послушайте, Енё,— время от времени окликал юношу со своего места Тарноки и зачитывал отрывки, по которым сразу можно было понять, чем живет и дышит мать двоих детей.

Сняв перчатки, советник отрезал себе кусок хлеба, потом принялся листать календарь. Увлечшись, он даже на локте приподнялся, почти до середины читал про себя, когда вдруг понял, что должен с кем-нибудь поделиться:

— Послушайте-ка, Енё!— И он принялся читать вслух:

«Через Вермезё было бы ближе, но уж очень опасно! Над черным полем поминутно вспыхивают ракеты. Чуть какая тень шелохнется—в нее сразу миной с горы Шваб. В районе Варошмайора трещит автомат. Нет, через улицу Логоди все-таки лучше. А перед туннелем—вниз, на площадь Кристины. Там какой-то пятиэтажный дом полыхает. Не универмаг ли? Выгоднее его растащить, чем заливать. На улице, которая к нему ведет, суета!

На мосту вдруг пришло в голову: какая ты, верно, голодная. Ведь я три раза с тех пор поел. А одеяло-то! Нет, ни за что не оставлю! Назад! На улицу Авар, в лагерь. Охранник у ворот меня узнал. Слышал, какие мне дифирамбы пели.

— А остальные?

— Придут.

— Все в порядке?

— Конечно.—И я лезу наверх.

Одеяло, перетянутое ремнем, ждет меня, но стоп—я застываю между спящими: придется теперь сидеть, пока не сменят часового! А то заподозрит что-нибудь. Я опускаюсь возле печки, от нечего делать подкладываю в нее уголь. На моем лице играют блики. До рассвета все равно из патруля никто не вернется. Им меня не догнать—это точно.

Вдруг голоса! У ворот. Кто-то говорит. Спрашивают, отвечают. Голос Бокора! Я замираю на месте.

Неожиданно меня охватывает страх. Но почему? Ведь бывало хуже—и то не боялся.

— Как вернулся?.. Из какого патруля?.. Ну и что? Это не имеет значения!

Я теряю последнее спокойствие. Весь дрожу. Скорее спрятаться между спящими!

*Что это? Страх смерти?
Ремнем пристегиваю одеяло к спине».*

— Наверно, не понятно. Может, сначала?

— Нет-нет, все понятно. Продолжайте, пожалуйста,—
заверил Рожааги.

«В окнах подвала, на дне шестиэтажного колодца, ночные звезды. Все боятся, даже зубами лязгают от страха. Я стою у окна, прислушиваюсь к разговору во дворе:

— Я их забираю.— И почти сразу же скрипнула дверь: — Напра-а-во!

Путь мне преграждает автомат:

— Ни с места, дезертир!

— Чего тебе от него нужно?— Какой-то парнишка в простыне не хочет без меня уходить.

— Возьму его с собой к Бокору. А то он не любит, когда его будят с пустыми руками.

Тип с автоматом приводит меня в жарко натопленную комнату. На кровати спят. Две женщины и мужчина. На столе керосиновая лампа, на стуле китель с майорскими нашивками. Воздух тяжелый, но все равно хорошо — тепло. Провожатый наклоняется над спящим мужчиной, что-то шепчет ему. Тот переворачивается на другой бок и храпит дальше. Попутчик мой все шепчет, спящему наконец это надоедает, он спускает ноги с кровати и набрасывается на меня:

— Бунтовать?! Когда сыны наши сражаются? Ах ты, грязная свинья!— Но гнев его ненастоящий.

Пока он орет, провожатый подкручивает фитиль в лампе. Свет доползает до маленького кусочка сала. Увидевши его, Бокор замолкает, смотрит на свои ноги, тянется за портянками, залезает в сапоги. Потом с раздражением облачается в китель. Но не застегивается. Садится возле сала. Отрезает крохотный кусочек и, взяв его двумя пальцами, отправляет в рот.

Словно знает, что большей муки он мне сейчас не мог бы доставить. Я покрываюсь испариной. Бокор поднимает на меня глаза.

— Ешь!

Это настолько неожиданно, что я трясую головой.

— Отказываешься выполнять приказ?

— Я не голоден.

— Не болтай!

Я тянусь за салом. Беру в рот кусочек, надкусываю хлеб—в нос шибает портянкой! Делаю вид, что давлюсь от кашля: все валится изо рта.

— Брезгуешь, значит, нашим угощением?

Вынесли смертный приговор. За покрытым зеленой скатертью столом. Посередине книга, за ней штатский. Слева полицейский, справа Бокор. Постановили: расстрелять!

Этого я, по правде говоря, не ожидал. Единственная моя вина—сало не стал есть.

Нет, я не боюсь. Револьвер мой пока на месте, не на самом боку, а чуть сзади, я всегда его так ношу вопреки уставу, вот ведь не отобрали. Я берусь за него рукой, чтобы поправить.

Разом прыгают пятеро. Штатский вниз под стол, Бокор и полицейский вверх—подальше от стола, а стоящие за моей спиной двое охранников в кожаных жилетах—на меня.

— Нет! Я отказываюсь брать на себя ответственность!—вопит полицейский, заглядывая мне в глаза.—Это дело военного суда!

Подскакивает и Бокор:

— Твое счастье, скотина.—И он расстегивает мне пуговицу у ворота, с силой дергает ее, потом срывает звездочки.—Еще вчера я бы сам с тобой разделался.

Военный корпус с трибуналом размещаются в здании Института физкультуры.

— Вчера только распустили,—сокрушается старик портье,—ведите его в лагерь для военнопленных на улице Авар.

Приходим туда. У ворот охранник. Умелым движением мне развязывают руки. С довольным видом получают расписку, квитанцию, за меня и за пистолет. Предупреждают:

— У него смертный приговор.

— Ясно,—кивает охранник.—Наверху еще есть места. Вали!

Итак, я заключенный, но по двору кружится запах еды и имя мое никуда не вписано!

Соседи не очень-то обращают на меня внимание.

— Тут недалеко живет Енё Йожи Тершански.

— Это кто?

— Писатель один. Такой же долговязый.

Завтрак уже весь раздали. Обед только готовят.

— Многие здесь со смертным приговором?—спрашиваю я.

— Да все мы здесь, старик, с ним,—чавкают вокруг.

Посреди дня раздается громогласный крик:

— Господа! Господа! Всех офицеров просим на собрание!

На лестницу, ведущую со двора в бельэтаж, поднимается подполковник генштаба:

— Господа! Я объявляю лагерь военнопленных распущенным. Городская комендатура призывает вас сформировать офицерский батальон внутренних войск. Мы готовы принять вас в нашу армейскую семью. Слово за вами. Я говорю вам прямо: нам требуется семь офицерских патрулей. Это дело чести, господа!

Пожалуй, я единственный сразу же понимаю смысл этой прямодушной и искренней речи...

Я записываюсь первым. Подполковник ставит меня рядом с собой, нахваливает»...

«Иду к воротам, в караулке снимаю со стены свой ремень. Всем, кто отправляется патрулировать, выдают консервы. Хлеб. И что кому достанется. (Я знаю, ты стосковалась по соленью. Представь, мне удалось раздобыть огурцы! Плюс две банки гуляша с фасолью!) Я все завернул в одеяло, перетянул ремнем.

— Получил на нашу команду палинку,—сообщает мне один из записавшихся, какой-то кадетик.

Всего нас пойдет пятеро. Добытчик палинки, потом толстый лейтенант, владелец мельницы, он старший по званию. Прапорщик с лошадиной физиономией будет связным. И командир—старший лейтенант бронетанковых войск.

Мы строимся, и он первым делом накидывается на меня:

— Мы как-никак офицерский патруль, господин лейтенант, а вы с поклажей.

Времени остается только на то, чтобы закинуть сверток на мое место.

— Посторожи,—прошу кого-то.

Сразу как стемнело—через пути и на улицу Марвань. Время ужина. Сейчас там начнут кричать громкоговорители. Мы то и дело натываемся на трупы. Через площадь Кристины—бегом! В туннеле немецкий пост. Наш командир впервые обращается к нам по-свойски:

— Подтяните ремни, господа!

В решетчатые ворота—и мы внутри горы.

Покои господина регента в бомбоубежище. Тишина. Раздвижные двери. Ковры.

— До чего уютно,—шепчет прапорщик.

— Я бы ни за что всего этого не бросил.

Старший лейтенант, не оборачиваясь, цедит:

— Отставить разговоры, господин кадет!

Я хотел было ответить им вместо Хорти, да не могу избавиться от отвратительного запаха гноя, забравшегося в нос, пока мы шли мимо лежащих вдоль коридоров раненых, от смрада невидимых испражнений, который проник вместе с нами в бомбоубежище регента.

Старший лейтенант докладывает, мы застыли по стойке смирно, только глаза блуждают. По коврам, по приемной регента. Перед нами стол метров в десять длиной. Прямо напротив сидит Хинди. Генерал-лейтенант Хинди, а рядом с ним еще четверо: немец и трое венгров из генштаба. Один—тот, что нахваливал меня. Говорит, впрочем, только Хинди. За его спиной столик на колесах, на подносе закуски. Он не торопясь, с расстановкой отдает приказ, но... Спокойно говорит, обстоятельно, но, пока старший лейтенант отвечает, Хинди подносит ко рту левую руку и начинает покусывать ноготь. Да-да, генерал-лейтенант грызет ногти».

Из соседней комнаты заглянул мужчина в детской шерстяной шапке с кисточкой.

— У вас не найдется острого консервного ножа, господин советник?

— Так ведь...

— Тот уже не годится. Я, понимаете ли, раздобыл две банки фасолевых консервов и хочу их открыть, прежде чем разогревать. Придется штыком.

— Будьте осторожны,—испугался Тарноки,—продезинфицируйте сначала штык на огне.

Рожааги задумчиво проговорил:

— Иногда такое впечатление, будто с хронологией у автора какая-то путаница.

— Да, я ведь читаю по порядку, но вполне может быть, что парень где нашел свободное место, там и писал.

— Удивительно, как спокойно он все описывал перед смертью.

— Он не знал, что умрет. Судя по всему, смерть настигла его внезапно.

Оба задумались.

— Я голодный как зверь,—вздыхнул Рожааги.

Советник указал сначала на хлеб, потом на дверь:
— Так ведь уже открывают. А пока слушайте дальше:

«— Мне нужно подробное донесение о том, что творится на улице Маргит. У нас только один автомат?»

Не успеваем мы выйти, как нашего командира хватает какой-то полковник: «Раздобудьте автомат!» И они скрываются за одной из дверей.

Никто не хочет отдавать автомат. Возвратившись, старший лейтенант ворчит:

— Даже паршивого автомата не можете без меня достать!— но уже миролюбиво.

Гуськом мы пробираемся по сужающемуся подземному ходу, приходится согнуться. В стенах повсюду сделаны ниши, но и сам коридор заставлен кроватями. Из ниш тянет запахом необработанных ран. Под ногами хлюпает какая-то жижа. Воздух полон серными испарениями. Вдалеке разносятся гулкие удары: никак дрова кто-то колет?

Впереди нас ковыляет солдат в сером кителе с перевязанным землистым бинтом обрубком. Останавливается в узком проходе между кроватями— до нас доносятся немецкие ругательства. Мы терпеливо ждем, пока он делает свои дела: мочится в какую-то ямку.

Иногда по лицу вдруг пробегают ветерок— в тех местах, где наверх ведут лестницы. Дрова, однако, все продолжают колоть: ну точно—минометный обстрел. У подножия очередной лестницы под белой, залыпанной грязью простыней вспыхивают угольки. Тлеющий огонь сигареты освещает полосатые нарукавные повязки. Наверное, ремесленники.

— Разве нам это обещали? Нет и нет! Они даже не считают нужным ставить нас о чем бы то ни было в известность! И за это мы воевали? Где армия, где...

Наш командир не может этого перенести:

— Знаете, что полагается за малодушные разговоры?—И он направляет фонарик на лица сидящих. В глаза бросаются золотые нашивки на воротничках: капитаны!

— Прошу прощения, господа.—Старший лейтенант гасит фонарь.—Под какой улицей мы идем?

— Под улицей Фортуна.

Командир бубнит приказ:

— Сомкнуть ряды! Первая линия, вперед!

Улица Аполда... Неужели и такая есть?

Идем не таясь. Но если вдруг снаружи доносится шорох, долго вслушиваемся. Чу, шаги. Все замирают, пригнувшись. Уф, всего только неоседланная лошадь. Ищет на горе траву, пока не стреляют. А травы-то нет. Вдруг снизу, в двух шагах от нас, из подвала разрушенного дома протягивается рука. На ладони какие-то очистки. Лошадь ковыляет к руке, слизывает очистки и бредет дальше.

(Мне кажется, огурцы, что я для тебя раздобыл, фирмы «Глобус».)

— Красным донесение понесла,— ляпает кадет. Но расплата следует мгновенно.

— А ты принесешь мне донесение с улицы Маргит!

Сворачиваем в какую-то подворотню. Старший лейтенант подзывает нас поближе и вытаскивает из-за пазухи маленький сверток.

— Это для сестры полковника Ловаи. Лекарство. Речь идет о жизни и смерти. Ждите меня здесь, господа! Можете пока покурить. Командиром оставляю вас,— кивает он в сторону толстого мельника. И шмыгает за ворота. Я не курю, и в голове вдруг рождается мысль:

— Старик, у меня на улице Аполда живет девушка. Мне бы хоть глазком на нее глянуть!— Секунда сомнений—и я решаюсь.—Я в десять минут обернусь!

До поворота бегом. А оттуда уже осторожненько. Сначала думаю: через Вермезё!»

— Опять что-то не сходится,— вздохнул Тарноки.

— Много еще осталось?

— Нет, всего несколько строк.

— Так дочитаем, и станет ясно, что к чему.

«Поняли, что документы фальшивые. А под Новый год как отлично все получилось! Ты сама видела. Но я даже рад был. Я бы со стыда сгорел, если б только меня не взяли. Теперь сижу в подвале, ночь. Все боятся. А я нет. Стою у окошка. Воздух все-таки. Приказано руки поднять и стать у стенки, но нас никто даже не охраняет.

Я все время думаю о тебе, записываю, что произошло, а то боюсь—забуду.

Когда стемнело, самые смелые и самые нервные закурили. Мой сосед, ты его знаешь, седой господин с моложавым лицом, спрашивает меня:

— Извините, нет ли у вас спичек?

— *Есть.*

— *Могу я предложить вам сигарету?*

— *Спасибо, я не курю.*

— *Даже сейчас?..*

Ты же знаешь, у меня всегда есть спички. Я даю ему прикурить, а он, представляешь, не может удержать над огнем кончик сигареты. Так руки дрожат.

Из-за этого я и сам начинаю страшно бояться. Даже писать дальше не могу».

Тарноки замолчал. Так, словно ему было еще что сказать.

Ах, как кстати прилась бы сейчас сигаретка!

— А дальше?—встрепенулся Рожааги.—Ведь это определено было написано в самом начале. Дайте-ка сюда! Ну конечно, на другой стороне тоже есть. Это он, верно, потом написал.

— Прошу к столу, все готово.

Но Тарноки не двинулся с места.

Приглашавший стоял, ожидая, что советник поднимется и с жадностью потянется к дымящейся банке.

— Очень вкусно, и свинины много.

Тарноки не мог оторвать глаз от поднимавшихся над едой струек пара.

— Вы нашли это в одеяле, перетянutom ремнем?

— Что, господин советник?—И человек в детской шапке присел на корточки, чтобы быть поближе к ароматной банке.

— Консервы.

— Да, естественно.

— Ничего тут естественного нет,—поморщился Тарноки.—И... пока мы работали?.. Рядом с трупом?

— Естественно! Парень лежал на них. К себе привязал.

— Скажите, а солений там никаких не было? Я имею в виду... огурцы, например?—спросил вдруг Рожааги. Он встал, вскочил и отвечавший.

— Как же, конечно, были! Ах я, дурак, ведь мы их даже уже открыли!

— «Глобус»?

— Какой еще глобус?

— Изготовитель «Глобус»?

Мужчина торопливо поставил банку на стул и убежал. Вернулся уже с огурцами.

— Все к нашим услугам! «Глобус»—прошу!

Тарноки тем временем встал, застегнулся и, даже не

взглянув на ретивого могильщика, вышел в коридор, оттуда, не останавливаясь, в сад.

Повторяя каждое его движение и думая о том же, Енё Рожааги последовал за ним.

— Я обижусь, господа. Положительно обижусь,— плелся за ними по больничному коридору человек в детской шапочке.

От входа трупы уже убрали.

Вдвоем они долго стояли в теплой ночи.

Прошло не меньше четверти часа, прежде чем Тарноки заговорил.

— Мы обязательно должны проследить за этим.

— Женщину как зовут?

— Не знаю.

— Мужчину-то Чонгор.

В саду за домом еще чернело много трупов. Оба они думали о том, что если его... этого... еще не похоронили... вообще о том, что они должны теперь делать.

— Дневник— вот все, что у нас осталось.

— Да, только дневник.

По саду прошелся легкий ветерок, всколыхнул запах тления, с которым им предстояло встретиться назавтра.

1960

ОЙ ТЫ, НЕБО ЗВЕЗДНОЕ...

Сны женщины

Снам не прикажешь. Они появляются, точно облако, да так же и рассеиваются: только что были—и уж нет их.

А что есть у них и свое особенное значение, про то мне ведомо с детства, недаром мать наставляла: «Чужим людям свой сон не рассказывай!»

Впрочем, не поучения же ради помянул я о природе снов, а то начал бы как-нибудь так: «Сны видит спящий, а калачи—работящий». Или вот так—великим утешением всех страждущих: «Во сне, бывает, и слепой видит!» А может, приступил бы к рассказу с мудрой старинной присказки, опытом порожденной: «Только тот сон легок, хорош, который, пробудясь, забываешь!»

Но мне-то сейчас все это ни к чему, и пишу я не о природе сна вообще, а хочу рассказать всего лишь об одной, одной-единственной женщине. О женщине, которая пела во сне!

Ее звали Юлия, Юла, и попала она в Пешт совсем молодой, в ту пору, когда горожане как раз старались

сбежать оттуда, укрыться в сельской глуши,— в начале второй мировой войны.

Юла была родом чанго*, сирота из Молдовы**, говорила она чуть шепелявя, как дома привыкла,— матушку называла матуской, из зазнобы получалась у нее сасноба; в Пешт примчалась как на пожар, всего на несколько дней остановилась передохнуть в Дёре, куда прикатила с подружкой своей Анной, моей двоюродной младшей сестрицей, из Бухареста. Там, в Бухаресте, обе они, Юла и Анна, жили в прислугах и, попав в Пешт, также стали зарабатывать на жизнь трудом своих рук.

Нет, не только из дружбы к Анне расхрабрилась Юла и прикатила в такую-то даль—больше из-за Бенце, старшего брата Анны, мне, таким образом, приходившегося старшим двоюродным братом.

Нрав у этого Бенце веселый был, непоседливый; уж не знаю, что он там наобещал Юле, чем заманил ее, но, думаю, ему и не пришлось ее очень-то приманивать, сердце девушки само его выбрало.

Да только Бенце в Пеште скоро женился и укатил куда-то с женою вместе, на том и оборвались все нити, что протянулись было меж ними.

Конечно, Юле следовало бы вернуться домой. Но она не вернулась.

Кто-то, однако ж, нашелся, чтоб о ней позаботиться, чтобы не осталась она одна на белом свете как перст. Это была моя сестричка Анна—да, может, она и винила себя за сиротскую долю подруги.

Словом, разыскала Анна одного парня. Он работал на вагонном заводе и—трех недель не прошло—попросил Юлу женой ему стать: согрела его сердце честная жизнь девушки.

*

Вот отсюда и начинается моя роль в этой судьбе. По старинному обычаю, привезенному Юлой в столицу из родной деревеньки, девушка, надумав оставить свою судьбу девическую, должна попросить совета и разрешения у самого старшего родича, непременно мужчины.

Я ей родичем не был, а в ту пору и по годам не созрел еще для того, чтоб советы давать. Да у нее-то, кроме меня, знакомых здесь нет никогошеньки, а я все ж земляк и некоторым образом родственник.

* Чанго—этническая группа, относящая себя к венграм; чанго доньне сохраняют особенности говора, обычан и являются носителями древнейшего венгерского фольклора.

** Молдова—историческая область на востоке Румынии.

Однажды в воскресенье она навестила меня днем вместе с Анной, а потом, выслав подругу под каким-то предлогом, открылась мне.

Понурившись, запинаясь, рассказала бедная девушка о трудном своем житье-бытье, поведала и о том, как в конце концов ей все-таки повезло; лишь закончив рассказ, подняла она голову — что-то я скажу ей в ответ.

Я счел важным узнать только одно.

— Ты его любишь?

Ее глаза налились слезами, и она едва приметно покачала головой.

— Но я очень ему доверяюсь,— прошептала она.

Вот так и вышло, что разрешение я ей дал.

Как старшему родичу по мужской линии, мне, само собой, полагалось быть и на свадьбе; играли ее в Андялфёльде*, на улице Яс, где проживал жених. Так сказать, на его родной земле. «С музыкой свадьба,— загодя предупредили меня.— Граммофон будет!»

Узнав это, я сразу надумал, что подарить, ведь по всем обычаям, деревенским и городским, мне, как гостю и как родственнику, пристало явиться с подарком.

Я подарил им четыре пластинки. С двенадцатью старинными молдовскими песнями. Известные знатоки музыки обходили в те поры деревни и записывали на воск песни женщин племени чанго, чтобы сохранились они в памяти народной. И я самонадеянно полагал, что доставлю тем невесте великую радость.

*

Свадьба!

Целый вечер крутили танго и чардаши. Всем было весело. Серьезность невесты гости одобряли — ей ведь так и положено. Я долго и не заговаривал о своем подарке.

Однако ближе к полуночи, видя, что терпение жениха на исходе, я все-таки овладел граммофоном и объявил, что хочу поставить теперь свой подарок.

Гости немного оторопели, да и сама невеста, пожалуй, тоже, особенно когда после сладострастных танго женщины чанго запели про наивные и искренние чувства, пришепечывая и присвистывая на шипящих.

Допев свою песню, женщина называла свое имя, фамилию, а потом говорила, что это «гудела» она и ей столько-то лет, а поет тогда-то и там-то...

Впрочем, общее замешательство длилось недолго. Уже на второй, на третьей песне гости стали переговариваться, пересмеиваться, правда негромко — скорей всего,

* Тогда — бедный рабочий район Будапешта.

из уважения ко мне. А может быть, из сочувствия к невесте, слушавшей внимательно и с тоской.

Ибо по-настоящему слушала только Юла, ее глаза округлились, она придвинулась к граммофону поближе, потянула за собой и мужа: «Послушай, послушай! Вот эту и я умею!..»

Однако молодой муж скоро отвлекся. Его мысли были явно о другом.

Так и получилось, что слушали только мы двое, прослушали все двенадцать песен, да не по одному разу. Юла непременно хотела повторить еще и еще ту или иную песню, слова которой она либо очень хорошо помнила, либо почти забыла.

Должно быть, по какой-то случайности после одной песни имя «гудевшей» названо не было, и тут Юла закрыла глаза: «Это ж матушки моей голос был!»

Я не стал рассеивать ее заблуждения.

А про другую песню она сказала еще на запевке: «Это мой, мой голос! Я точь-в-точь так всегда заводила!»

Песня начиналась такими словами: «Тучи ходят над горами, над полями да лугами. Ой ты, небо звездное, дивное, высокое...»

А когда окончилась песня, закрыла Юла лицо руками и рыдала чуть ли не час целый.

Притихнув, все мы смотрели на нее, и каждый думал: «Девичество свое оплакивает». Даже мне так казалось, хотя и догадывался я, что говорили ей песни, проигранные на граммофоне.

Долго, очень долго помнил я этот вечер, но со временем он выветрился у меня из головы. Я и о пластинках этих забыл, хотя вскоре после того они ко мне возвратились.

— Зачем они нам,— смущенно и с сожалением проговорила Юла,— машины той у нас нет, так чего ж и лежать им попусту, безголосым.

Через год после свадьбы на улице Яс Юла родила близнецов, мальчика и девочку. И очень им радовалась.

А ее мужа угнали на фронт, и скоро пришло известие, что он там и остался: перемололи его ледяные зубы отступления.

*

Благодаря добросердечию родственников, улицы и друзей, благодаря неутомимым рукам труженицы Юлы близнецы все-таки выросли, поднялись.

Много за это время воды утекло, и на улице Яс тоже случилось немало всякого.

Сын Юлы стал токарем—как говорится, на отцово место заступил. А девочка—маленькая Юла—окончила школу и училась на фармацевта. Когда же ей исполнилось двадцать лет, она пришла ко мне—просто копия Юлы двадцатилетней давности—и спросила, попросила меня точно о том же:

— Есть у нас преподаватель в техникуме, так он мне предложение сделал... посоветуйте, как поступить.

А я и теперь, все в той же роли старшего родственника, спросил только одно:

— Ты его любишь?

Она вскинула голову и быстро, решительно кивнула: «Да», а еще сказала, что квартиры у них пока нет, но...

Я возложил ей на голову свою родственную руку и спросил о матери.

Веселое и счастливое личико омрачилось.

— Мамочка у нас все молчит. Никогда мы не видим, чтобы она смеялась. И потом, если днем ее огорчит что-нибудь, она ночью поет во сне...

— И что же она поет?—спросил я.

Однако Юла-маленькая не могла мне ответить на это.

— Понимаете, мелодия такая странная, а мамочка еще и пришепetyвает как-то, а когда проснется, ничего не помнит... или не хочет помнить. И становится еще печальнее. О господи, если б можно было излечить ее от этого! Ну просто ужасно... Мы и рассказать-то никому не можем. Даже моему жениху не сказали.

Понял я, что сестра и брат ничего не знают о родной деревне матери, вообще ничего не знают о том, как и где жила она до их рождения.

— А вы прислушайтесь к ее песне,—попросил я Юлу-маленькую.

Примерно за неделю до свадьбы, на которую, разумеется, зван был и я, прибежала Юла ко мне и говорит:

— Опять пела, два раза. Уж мы так прислушивались! Да только и теперь поняли не более прежнего. О каких-то горах и долах шептала, и все сплошь «с-с-с» да «ш-ш-ш», много-много.

Зато я из рассказа этого кое-что понял.

Несколько дней оставшейся до свадьбы недели я посвятил розыскам пластинок, таких же, какие подарил тогда. Если матери подарок хорош был, будет он хорош и для дочери, подумал я. Все антиквариаты обошел, везде порылся.

С превеликим трудом я все же отыскал песен шесть, но мне пластинки не продали, тогда я попросил разрешения переписать их на ленту. К счастью, среди них оказалась и та песня, которая была мне нужнее всего.

— Магнитофон у вас будет на свадьбе?—спросил я жениха.

— Только магнитофон и будет,—ответил молодой преподаватель техникума.

Самая свадьба и свадебный пир меня не слишком занимали. Но вот, ближе к полуночи, наслушавшись роков и ча-ча-ча, я попросил уступить местечко на магнитофоне и мне с моим подношением.

Я уже готов был включить магнитофон, но вдруг рука моя замерла. Не посмеются ли гости, в основном молодежь, над шепелявым тем пением? Ведь если кто-нибудь фыркнет, я смертельно обижусь. Обижусь за Юлу.

Нужно было как-то предотвратить скандальное хихиканье.

— А сто, Юлацка, не разуцилас ессо на цанго говорить?—обратился я к матери невесты, которая, несмотря на тоску свою по родным местам, превратилась в истинно пештскую жительницу, не хуже любой другой женщины с улицы Яс.

— Да нет, не разуцилас, мозет, цут-цутоцку,—вдруг просветлела Юла,—реци-то вести не с кем мне, да и слысат, как на цанго говорят, узе не доводитца.

Молодежь прислушивалась, молчала. Никто не улыбнулся. И тогда я включил ленту.

*

И вступили со своими песнями чангские старухи. От их цоканья, пришепетывания сладко замирало сердце, их удивительные голоса пели о горе-печали, о лесе, ручейках и любви, и после каждой песни они представлялись: «А гудела песню я, такая-то...»—и рассказывали, кому сколько лет и в каком году было дело.

Те две песни, которые и прежде звучали без имен «гуделок», я оставил напоследок.

— Матушки моей голос,—вздыхнула Юла, неподвижно глядя перед собой, точь-в-точь как в ту пору, когда сама была невестой. Сухие ее глаза неподвижно следили за крутившейся лентой, казалось, ей никак не хотелось признать в этих звуках ту старую пластинку и не верилось, что лента поет то же самое.

И вот зазвучал ее голос—тот, который она признала за свой. Тогда, в ее двадцать лет.

Тучи ходят над горами,

Над полями да лугами.

Ой ты, небо звездное, дивное, высокое,

Молви, розочка моя, что, меня ты любишь ли?

Если хочешь, моя роза,
Жизнь прожить согласно,
Вот тебе рука моя —
Признайся ж без опаски.
Ох, люблю тебя, люблю, да не обмолвись никому,
Покуда не обвенчаны с тобой в божьем доме
Ой ты, небо звездное, дивное, высокое,
Высокое да звездное.

Едва прозвучали первые слова, я стал ждать, скажет ли она, как тогда: «Это мой голос! Я точь-в-точь так всегда заводила!»

Не сказала. Ничего не сказала. Только с первыми же звуками песни полились из глаз ее слезы. Юла плакала не стесняясь, не пряча их. Слезы жемчугом скатывались ей на колени, а она даже рук не подняла, чтобы стереть хоть одну жемчужину.

Эта нынешняя молодежь никогда еще не видела ничего подобного. Да и мне не приходилось видеть, чтобы слезы лились таким неудержимым потоком.

— Это она, полагаю, о деревне своей плачет,— тихо пояснил мне коллега жениха, изъяснявшийся весьма изысканно.— Ведь как захватывает душу память детства!

Но я-то хорошо знал, сколько и других еще причин у Юлы-большой, чтобы забил сейчас этот соленый и горький источник. Любовь, первая доверчивая любовь! Бенедик! Мой непутевый, вероломный брат Бенце, за которым забрела в такую даль некая девушка... И еще—отец ее двух детей. Вышло-то ведь так, что и ему она вроде как зря доверилась: он тоже не вернулся домой и напрасно она задним числом так крепко его полюбила. Можно сказать, в смерти его...

*

Минуло, должно быть, полгода, и однажды я повстречался с молодой Юлой. (Нельзя сказать, чтобы она слишком баловала посещениями старшего своего родича.) Юла расцвела, Юла сияла!

Эх, когда же и цвести, когда же и сиять женщине, как не через полгода после свадьбы!

— Что мама?—спросил я, когда иссяк в восторженных похвалах.—Все еще поет во сне, когда ее обидят?

Удивилась Юла-маленькая, она ждала какого угодно вопроса, только этого не ждала. Она покачала головой, призадумалась, как человек, который не хочет солгать и потому старается уяснить вопрос до конца, понять, хотя бы про себя.

— Нет,—ответила она наконец,—нет. С тех самых пор не пела ни разу.

А я подумал: или она навсегда выплакалась на дочкиной свадьбе, или ее наконец отпустили обиды, что настигают, мучат и ночью.

1961

ЛИСТ АКАЦИИ

С весны до осени

1

Недавно мне довелось побывать в деревне, где мальчишкой я прожил несколько лет. Меня никто не узнавал, да и мне все вокруг казалось незнакомым. Напрасно пытался я отыскать в памяти имена тех, с кем вместе когда-то пас гусей: ни одно не приходило мне в голову. Я упорно объяснял, растолковывал, где был тогда лучший выгон, как становились в кружок обмолоченные скирды, чтобы посмотреть на нас и на наши игры.

Мужчины и женщины лишь вежливо кивали, слушая меня. Никто из них не помнил того, что казалось мне таким бесконечно важным. За тридцать лет утекло много воды, целая река, оставившая наносы, плотным слоем закрывшие нашу далекую юность. Словно ее и не было!

И тут мне вспомнился листок акации! А вслед за ним — Илонци!

2

От первых листьев акации до первого инея — это и было наше время. С весны до осени! Если быть совсем точным: конец весны, лето и первая половина осени. Илонци, хотя и была на год старше меня, все же оказалась в полном моем подчинении. Ей было десять, мне — восемь, может быть, девять. Она пасла гусей, я же был сам по себе, свободный и независимый «мужчина».

Илонци я покори́л музыкой. Если бы никогда не наступал листопад, а следом за ним зима, она, верно, внимала бы мне и по сей день.

За деревней, на весеннем лугу возле речки, паслись гуси — у Илонци их было больше, чем у прочих маленьких пастухов. Четыре сердитые гусыни оберегали свой выводок от опасности и обучали гусят щипать травку.

Мы же тем временем играли в бузи́нное ружье и в

«чижика». Девчонки перебрасывали мяч или принимались пританцовывать. Но ни песни, ни пляски у них не ладились. Они пробовали водить хороводы по двое, по трое, но все равно все это им быстро надоедало.

Мы умели делать дудки из молодых веточек ивы, выбивая сердцевину черенком карманного ножа. Но ивовая дудка звучала на наш слух скучно, монотонно. Удовольствие от нее получал разве что тот, кто сам ее вырезал, выстругивал.

Я знал много разных песен, но с этой дудкой у меня тоже ничего не выходило. В конце концов я ее бросил. Дудку подобрали малыши. Я же сорвал листок акации и взял его в губы, чтобы он, этот свежий весенний листок, помог мне спасти, уловить хотя бы несколько тактов той мелодии, что звенела у меня в голове.

Я наигрывал на листке потихоньку, себе под нос, не зная, понравится ли это ребятам.

Должно быть, получалось неплохо, потому что девчонки попросили меня играть погромче и снова пошли танцевать. А когда я остановился, чтобы передохнуть, стали уговаривать, чтобы я поиграл еще.

Я высвистывал все новые и новые песни, девчонки кружились в хороводе — и так до полного изнеможения.

И лишь одну из них не брала усталость. Ее, Илонци. Она не останавливалась, когда выдыхались остальные, и продолжала кружиться одна, и все понукала меня, требуя, чтобы моя музыка сопровождала ее танец, а быть может, Илонци вела ее за собой.

Другие девчонки танцевали как взрослые или очень похоже — кружение Илонци невозможно было сравнить ни с чем, что доводилось нам видеть прежде на деревенских балах или свадьбах. Кое-кто из девчонок, позавидовав ее успеху, пробовал подражать, но рядом с Илонци все они казались неуклюжими и неловкими.

Чтобы в хороводе участвовал мальчишка — этого быть не могло. Мальчишки могли смотреть, хлопать в такт, если возникала необходимость. Я же в отличие от прочих мог еще и играть: девчонки так пристрастились к моей музыке, что обступали меня со всех сторон, стоило мне лишь показаться на лугу.

Упрашивать меня не приходилось. В кармане моем всегда дышали свежие, только что сорванные листочки. И мелодии мои никогда не иссякали.

И если мы оставались вдвоем на лугу, я заставлял листок звенеть, звучать на моих губах вовсю, а ее руки и ноги тут же начинали двигаться в такт.

Мать у Илонци была самой строгой во всей деревне (быть может, она была мачехой — не поручусь), и дважды

в день, на рассвете и после полудня, должна была Илонци гнать на луг четырех гусынь и сорок гусят. И в дождь, и в слякоть.

А раз шла она, то не мог усидеть дома и я. Ибо никто не умел слушать мою звонкую музыку так, как умела она, Илонци. И я играл, играл для нее, и она танцевала одна, для меня.

Вступило в пору зрелости лето, поля сжали, жито обмолотили, и гусиный выгон протянулся на всю стерню. Мы собирали колосья, но все же охотнее всего устраивались где-нибудь между стогами. Там мы и дали самый большой концерт, после внезапного ливня, когда всякий, кто только мог, бежал к стогам в поисках укрытия.

Проглянуло из-за туч солнце, и я играл на арене среди стогов, а Илонци танцевала. Взрослые тоже видели это и следили за нами, боясь пошевелиться...

Потом ударили заморозки, и акация загрустила одной из первых. Пожалуй, только осина опередила ее в осенней тоске. А вместе с листьями увядали и мои песни. Хрупкие, ломкие листочки уже не звали к танцу, как прежде.

А когда обнажились деревья и выпал снег, мы с Илонци и вовсе не узнали друг друга.

Но по весне, как только пустила почки акация, как только проклюнулись первые листья, начал готовиться и я. А когда сидевшие на яйцах гусыни вывели наконец желтых гусят, все мы гурьбой повалили за деревню, на луг.

И снова я играл, а девчонки танцевали, и Илонци танцевала, как всегда, всех дольше — и всех прекраснее.

Мы с Илонци стали неразлучны! И так продолжалось три года, от первых листьев акации до первого инея. Мы думать не думали, что когда-нибудь придет конец нашим забавам. И этой счастливой жизни!

Нет второго такого инструмента, как лист акации! Он настолько чуткий, что даже дыхание превращает в музыку. Никакая флейта не смогла бы так передать трепет сердца!

А танец Илонци! Он стал частью моей радости, когда я играл для нее и следил за нею глазами: она изгибалась, словно юное лиственное деревце, словно куст орешника на ветру.

3

Однажды зимой нас разлучила смерть. Илонци стала сиротой. Мать ли ее умерла, отец ли — не знаю.

Весной у них не вывелись гусята, и Илонци больше не пришла на луг.

Тогда же кончилось и мое вольное детство.

Шли годы, и акация напрасно распускалась повсюду у меня на пути. Теперь я яснее видел колючки, чем листья, таящие песню.

А быть может, уже и хороводов больше не водили, как мы в свое время на лугу за деревней.

Я стал гимназистом, учился латыни и жил в городе, в котором у художников и скульпторов был собственный парк — там они могли работать почти круглый год. Тутовым садом называлась эта их вольная мастерская, а через решетчатую ограду можно было увидеть, как они работают. Впрочем, казалось, что все обитатели сада стоят неделями в одной позе, обдумывая какие-то замыслы.

Я проходил мимо железной решетки два раза на дню, утром бросая лишь беглый взгляд в этот странный мир, зато в полдень, по дороге из школы, проводя там порой по целому часу.

Поначалу я удивлялся, что вижу самые разные деревья, но только не тутовое, хотя по нему-то и называли это царство художников. Потом я заметил еще одну странность: все люди с кистями были бородатые и те, кто работал с глиной, — тоже. Хотя стариков среди них почти не было. Разглядеть, что они рисуют, я не мог: мольберты стояли слишком далеко от меня.

Мне не хочется говорить о том, каков был тутовый сад зимой! В зимние месяцы он пустовал. И не все ли равно, сколько там было бородачей и как они выглядели!

Однажды, прекрасным весенним днем, я увидел юную девушку: она сидела на маленьком стульчике без спинки посреди поляны, а два или три десятка бородатых парней в грязных, заляпанных краской белых халатах, с кистями в руках, стоя перед мольбертами, не сводили с девушки глаз. Я уже знал, что они всегда так работают. Но эта, нынешняя, девушка так заворожила их, что все тридцать смотрели лишь на нее, лишь ее хотели запечатлеть на своих полотнах. Если бы я мог попасть туда и, обойдя всех по очереди, посмотреть, как она отражается в их глазах в этом голубом сиянии!

Потому что девушка была в голубом платье, словно сам небосвод уделил ей часть своей ослепительной голубизны. Уделил, чтобы она не сидела обнаженной. Но хотя голубизна эта и окутывала ее целиком, все же какая-то обнаженность была в ней. Быть может, так мне казалось из-за выражения ее глаз. Из-за ее незащитного взгляда. Казалось, она сирота и нет у нее никакого платья, а то, что на ней, — чужое.

Я узнал ее. Это была она, Илонци. Я махал ей свистел, чтобы и она узнала меня, чтобы обернулась

встала со стула и подошла к ограде. Нам надо было поговорить. Не знаю о чем, но непременно надо было. Однако зря я махал и свистел—она меня не замечала.

Я говорил уже, что в саду росли самые разные деревья, за исключением тутового,—была среди них и акация. Я потянулся и сорвал целую пригоршню листьев. Стер с одного из них пыль, взял его в губы и заиграл старые песенки с горя—оттого, что Илонци не замечала меня.

Я знал, что тот, кого рисуют, должен сидеть неподвижно. Поэтому на Илонци не сердился. Но когда мне попался удачный листок и я заиграл погромче, Илонци повернула голову и невидящим взглядом, как слепая, посмотрела туда, где я стоял. И, не сводя с меня незрячего взгляда, она поднялась и стала плавно покачиваться: в голубом платье, длинном, почти до пят, она не могла танцевать, а плавно покачивалась.

Кто-то сказал ей, чтобы она села на место, но на него зашикали, и Илонци продолжала свой танец. Некоторые спешно прикрепили к мольбертам новые листы и лихорадочно принялись рисовать. Другие просто смотрели на Илонци, пытаясь понять, что происходит. Художники, видно, не могли взять в толк, откуда доносится музыка и на каком инструменте играют, а некоторые из них недоумевали, что за связь между стрекотом кузнечика и этим удивительным танцем.

И тут из дома вышел человек постарше, его бритое лицо явно внушало бородачам почтение: все они расступились, давая ему дорогу к поляне. И он тоже увидел этот танец и тоже не стал Илонци мешать. Лишь спустя какое-то время он взял ее за руку и увел в дом, и она не показалась больше, а я ждал, молча, держа наготове свои чудесные листья.

Молодые люди тоже растерялись, не зная, что им делать со своими мольбертами. А я сожалел, что вместо тридцати портретов Илонци, которые могли бы получиться, теперь не выйдет ни одного.

Не слишком я был тогда умен.

В тот день я понял только одно—что Илонци очень красива. А позже я понял еще, что этих портретов она никогда бы не получила, если бы даже они и были готовы, и что сидела она на полянке в своем небесно-голубом платье за деньги. И еще объяснили мне, что такие женщины, такие девушки плохо кончают. А я не мог ничего сказать, не мог ни у кого спросить: а как же танец?

Вот что я вспомнил, вернувшись ненадолго в деревню, где мальчишкой провел несколько лет и где теперь никто не мог меня узнать.

Они только кивали, эти мужчины и женщины с обветренными лицами, в которые я уже десятый раз всматривался, выпрашивая, выпытывая.

Жнивье? О чем вы? Кому охота все это помнить!

Называть имя Илонци не имело смысла. Ведь, кроме имени, я ничего не знал о ней. Да и стыдно мне было, что только ее запомнил я из всех, немножко стыдно было уже тогда, в том саду, когда она исчезла, даже не обернувшись на оборвавшуюся музыку.

Но когда я исчерпал все слова и когда мне стало обидно, почти больно, что никто, совсем никто, здесь не помнит меня, я испробовал последнее средство, рискуя выставить себя на посмешище: встал из-за стола, подошел к распахнутому окну, где качалась ветка молодой, чахлой акации. Я обломил ее. По меньшей мере пятнадцать песен росло на ней рядком.

Я сжал губами один листок и заиграл. Слушатели удивились. Я наигрывал одну старую песню, еще из тех, пастушьих. А сам тем временем вглядывался в их лица, загрубевшие лица, в оправе седых волос и платков.

Кое-кто улыбался, некоторые женщины опустили головы, словно им было за меня стыдно. Взрослый, серьезный человек — и вдруг такое!

А я знай себе играл, играл все отчаяннее. Истирался один листок, я срывал и брал в губы другой, и играл все старые песни подряд.

И тут в глубине зала вдруг всплыли ладони. Две руки. Следом встала женщина, ее руки, кисти, все десять пальцев пришли в движение, заколыхались, словно под ветром моей старой музыки. Будто два молодых побега на срубленном или высохшем дереве. Одними руками танцевала она старый забытый танец, танцевала вновь, добрых тридцать лет спустя.

Я же играл, играл всем сердцем, всей силой своих легких и все не мог остановиться. Ибо женщина эта была для меня Илонци.

До чего же молоды ее руки!

Но молодыми были не только руки, в моих затуманенных глазах сама она была той, молодой, Илонци, распускающейся зеленой веткой, от нее веяло безграничной свободой юности, которую все мы так страстно мечтаем сберечь и теряем так быстро.

Меня не заботило, что думают обо мне остальные.

Когда же подошла к концу мелодия и я глубоко вздохнул... вытер лоб, рот и глаза платком—тут, само собой, исчезли и танцевавшие руки.

Толпа слушателей задвигалась, разбредаясь. Мне тоже надо было бы пробираться к выходу, но я все показывал, расспрашивал, пытаюсь чего-то добиться. Там! Там! Это была она! Я произнес наконец имя Илонци и указал пальцем на то место в зале, где только что поднимались, танцуя, руки.

Никто не мог ничего толком сказать.

БУРАНКА

Бурные времена

С самого полудня женщины умоляли подполковника—и все напрасно.

Старший инструктор левентовцев согласился лишь на одну-единственную уступку: собираться в дорогу должны парни, которым уже исполнилось четырнадцать лет.

Второй день слышно было, как где-то в стороне Мароша громяхают пушки, но никто и не думал о том, что нужно уходить, спасаться. Ведь в поле столько работы!

Вот и у Винце Бучаи кукуруза не собрана, свекла не выкопана—ему даже в голову не приходило бросить все и бежать. Ну и что же, что стреляют, думал он, вот подойдет фронт к деревне, тогда и спрячемся!

В тот день он с парнишкой Петером Шилло укладывал сено на телеги на берегу Сухого ручья. Петер мальчик невысокий, работает он наверху—ловко подминает под себя сено, которое подает ему снизу хозяин.

Вдруг он кричит:

— Гляньте-ка, вон, кажется, мать бежит! Уж не случилось ли чего?

— Поросенок небось убежал, а загнать его без тебя некому. Сейчас узнаем, что у вас там стряслось,—с легкой усмешкой ответил Бучаи и поддел на вилы новую охапку.

Жаль было ему тратить время на пустой разговор—хотелось еще раз-другой отвезти сено. Поэтому и двух гнедых не стали распрягать, а, лишь ослабив повод, дали им пощипать траву, где дотянутся.

Только Буранку, пегую кобылу, пустили пастись на свободе, притянув повод от уздечки к левой передней ноге, чтобы лошадь во время погрузки с испугу не опрокинула телегу с неувязанным сеном. А когда понадо-

бится, Петер в два счета запряжет ее—его-то она слушается.

Бучаи нравился этот мальчик, который всего два года как не ходит в школу, а уже годится для любой работы. Вот только с серпом он еще плохо управляет в свои четырнадцать лет. Но плату все-таки отработывает, хоть и получает чуть больше, чем батрачата его лет.

Мать Петера, тяжело дыша, добежала до луга и теперь осторожно ступает по люцерне. Видно, что она чем-то взволнована, напугана. Вилы замирают в руках Петера, поддетое сено падает на землю, но хозяин не упрекает его за это.

Подойдя к телеге, она останавливается и, зарыдав, пытается объяснить: подполковник... левентовцам собираться.

— Сынок мой единственный, и тебя я должна потерять! Ну что бы тебе родиться двумя месяцами позже!

Петеру и в самом деле еще в середине августа исполнилось четырнадцать, а так как от отца уже почти год не было никаких вестей, мать считала мальчика сироткой и называла его «сыночком моим единственным»—остальные-то дети были девочки, совсем еще несмышлениши.

— Зачем уходить?—недоумевал Петер. Он не мог понять, в чем дело: нанялся до Нового года, к празднику ему полагаются сапоги—не может он уйти раньше.

А мать все плакала, не отвечала.

Один только Бучаи не опечалился.

— Ну, давай нагружай, и поехали! Я что-нибудь придумаю. Так не бывает, чтобы как-нибудь да не устроилось,—сказал он. Потом, видя, что мальчик снова принялся за работу, но мать его продолжает всхлипывать, добавил:— Не все творится, что говорится.

Они перетянули сено веревкой, и, пока Петер привязывал ее конец к телеге, Бучаи попытался запрячь Буранку. Но норовистая кобыла, почувствовав поводья, едва не укусила своего хозяина.

Ругаясь на чем свет стоит, Бучаи взобрался на телегу, на самый верх, и тронул лошадей. И тут только вспомнил о матери Петера.

— Ну а вы что же? Забирайтесь куда-нибудь.

— Ничего, я уж пешком,—отвечала та. Молча смотрела она, как ловко управляет ее сын с непокорной пегой кобылой.

Перед управой уже собирались левентовцы.

Дома Бучаи, как бы позабыв о своем обещании, из-за

пустяка затеял ссору с женой и, нервно теребя ус, принялся распрягать гнедых.

— Дядя Винце, да бросьте вы с лошадьми возиться! — как взрослый, сказал хозяину Петер. — Идите лучше к подполковнику, уладьте мое дело!

Мальчику придало смелости присутствие его матери, которая, прислонившись к стене конюшни, смотрела на сына, онемев от горя.

— С лошадьми я и сам управлюсь. — И Петер уже взялся за упряжь.

Бучаи пошел в управу, раз уж пообещал помочь мальчику. Да и самому ему парнишка был нужен. Но лицо его было таким недовольным и кислым, как будто он выпил уксуса.

А мать с сыном все ждали, ждали, что будет.

Мальчик ждал, но тем временем делал свое дело: напоил лошадей, привязал их и дал им сена; мать же его ждала, неподвижно стоя около конюшни и молча глядя на сына.

— Ступайте лучше домой, мама, — сказал Петер.

Но она отрицательно покачала головой:

— Нет, сынок, уж я дождусь.

И не двинулась с места.

Петер не настаивал.

Пусть остается, коли хочет, кому она тут мешает? Дядя Винце наверняка все уладил, поэтому и не торопится, говорил он себе, продолжая чистить Буранку. Да и чего спешить, если он все уладил с господином подполковником? Теперь можно и по рынку походить-посмотреть.

Но когда Бучаи наконец появился в воротах, Петер и его мать сразу поняли, что дело плохо.

Она вскрикнула, не успев Бучаи и рта раскрыть.

— Ничего не вышло, — махнул рукой хозяин. — Всем, кому четырнадцать, велено идти, нынче же ночью. Такой приказ — из-за самолетов выступать ночью.

С этой минуты мать Петера как будто подменили. С досадой отвернулась она от Бучаи, но ничего не сказала, а торопливо направилась к дому, чтобы лучше собрать сына в дорогу.

А Петер еще немного побыл с лошадьми: на прощанье обнял и поцеловал пегую, погладил и гнедых — кто знает, доведется ли снова встретиться?

С хозяевами он разделяется быстрее: дядя Винце растроганно и немного смущенно треплет мальчика по плечу и на дорогу дает ему пять пенге. Хозяйка, неожиданно умилившись, сует ему кувшин простокваши.

И только когда Петер оказывается за воротами,

Бучаи понимает, как трудно ему будет справляться без мальчика.

— Зачем ты его отпустил?—сердито спрашивает жена, но Бучаи лишь вздыхает, беспомощно разводя руками.

Понурясь, он садится на ступеньку.

Слышно, как в конюшне похрустывают сеном лошади. Так, слушая их, он мог бы просидеть здесь до ночи, хоть до самого утра, не евши и не пивши.

Но в кухне еще горит свет, притягивая не только ночных бабочек—калитка открывается, пропуская двух незнакомцев. Вот они подошли ближе, и теперь видно, что один из них—старший унтер-офицер, а другой—унтер-офицер. Это они поведут левентовцев. А сейчас они просят пустить их на полночи.

Да еще скромно так просят—мы, мол, и в конюшне можем прилечь.

И хотя всем стало не по себе от прихода незваных гостей, указать на дверь им нельзя. А позднее их угощают и ужином: салом, колбасой, молоком.

Когда последний кусок съеден, наступает полная тишина.

Снова слышится, как похрустывают сеном лошади.

— Вещи!—говорит унтер-офицер и, не дожидаясь приказа, идет в конюшню. Там он что-то высматривает, вынюхивает в темноте, то и дело зажигает спички. Выйдя наконец из конюшни, он переглядывается с начальником.

А старший унтер-офицер так благодарит гостеприимного хозяина:

— До Тисы мы возьмем ваших лошадей.

Бучаи ничего не понимает.

— У нас вещи. Их нужно довести до Чонграда. А оттуда можете возвращаться домой.

— Но, господин старший унтер-офицер,—возмущается Бучаи,—у меня есть освобождение. И кто пригонит лошадей назад?

— Если вы не хотите ехать с нами,—ухмыляется унтер,—то в Чонграде мы сдадим лошадей на хранение. А после войны забирайте их.

Бучаи еще пытается отговориться, но безуспешно.

Да, это уже дело нешуточное.

И тут он вспоминает о Петере.

— Не посылайте моего батрака с левентовцами—и все уладится.

А сам думает: пусть парень поедет с пегой кобылой—все равно мне с этой кусачей тварью не справиться.

Конечно, и пегую ему жаль—лошадь-то ведь хорошая. Да и то сказать, норовистая и злобная эта кобыла оттого, что в свои четыре года она еще ни разу не

покрыта. Но ведь пегая—разводить нельзя! Жаль Бучаи и Петера, мальчик этот такой надежный—но именно поэтому он и решается доверить ему лошадь. О себе Петер уж как-нибудь позаботится—и вернется домой или с лошадью, или один—но лучше, разумеется, с лошадью!

И что бы делала его жена с Буранкой? Нет уж, и речи быть не может, чтобы он отправился с гнедыми, а пегая осталась дома.

— Ну, согласны, господин старший унтер-офицер?

А тот только отмахивается:

— Не так-то это просто, приятель.

— Приказ нельзя отменить,—добавляет унтер-офицер.

Может быть, Бучаи и удалось бы убедить их, но в это время с улицы кто-то кричит—за воротами стоит человек в запыленной кожанке и зовет унтер-офицеров.

Те приглашают во двор, обнимают незнакомца, тоже унтера. Он приехал на мотоцикле и привез донесение подполковнику. А тем двоим и спрашивать не приходится—пришелец сам рассказывает, какие страшные дела творятся за Марошем, на фронте. И клянет русских.

Все слушают его со страхом. Бучаи тоже хочется расспросить—теперь уж ему не до Петера.

Сейчас о нем и заикаться нельзя, думает он.

Его жена, дочь, невестка—все сбились послушать пришельца.

И чего не смогли сделать ни пушечная пальба, ни известие о выступлении левентовцев, делает этот рассказ: в страхе они решают сегодня же ночью убраться из деревни.

Женщины забежали по дому, торопливо укладывая провизию. Бучаи же, сам не зная, что на него нашло, неожиданно приносит бутылку с домашней водкой и угощает унтеров. И те пьют, тут же забыв о том, что до полуночи могли бы отдохнуть.

Они делаются благодущными, так что даже помогают хозяину—сбрасывают сено с телег, освобождая место для поклажи.

А еще немного позднее старший унтер-офицер обещает оставить батрачка в деревне.

Петер радостно запрягает Буранку—с благодарностью думает он о дяде Винце, уверенный, что сегодняшняя ночная поездка навсегда освободит его от похода.

Лишь на рассвете, оглядев нагруженную повозку, мальчик обнаруживает, что всю ночь он вез не только двух спящих унтер-офицеров с их пожитками, но и часть хозяйских вещей. А когда в передней повозке начинают

просьпаться—сам Бучай, его жена, дочь, невестка,—только тогда Петер с болью вспоминает, что он толком-то и не простился ни с сестрами, ни с матерью.

И дочке соседей, Клари Боци, он ничего не сказал перед уходом, даже не передал ей, чтобы она ждала его, как бы долго он ни возвращался!

Все это так огорчило мальчика, что он расплакался, и чистому носовому платку, которым он утирал слезы и прочищал нос, работы оказалось предостаточно.

Когда совсем рассвело, унтер-офицеры привели в порядок форму и кое-как умылись у придорожного колодца.

Они то и дело оттесняли с дороги идущих маршем левентовцев.

Вскоре они увидели парней из своей деревни, которые, расположившись на берегу ручья, отдыхали после быстрого ночного марша: кто еще мог есть, ели, другие же просто дремали. С изумлением смотрели они на приближающиеся повозки.

Их завистливые взгляды провожали Петера—ему-то не приходится идти пешком! А он, проезжая мимо них, с болью чувствовал, как удаляется от дома. Мальчик мог бы посадить возле себя своих приятелей, но он не посмел сделать этого из-за сидящих позади него унтер-офицеров.

А те спорили, кому сойти. И не успели они отъехать, как победил старший унтер, другой же, недовольно ворча, слез с повозки, обещая достать велосипед и догнать их.

Подполковника нигде не было видно.

Будь он тут, уж наверное, слез бы и старший унтер-офицер, подумал Петер.

А Винце Бучай, который до сих пор не проронил ни слова (и весь съезжился под хмурыми взглядами односельчан), вдруг ожил и, передав вожжи жене, сошел на землю и задержался, чтобы проверить поклажу и Петера. Поклажу он, видимо, нашел в целости и сохранности. Во всяком случае, он ничего не сказал о ней, но в батраке ему что-то не понравилось, и он начал ругать его—почему, мол, так отстал ночью. Если это еще раз повторится!.. Он грозил и бранился, как никогда прежде. Даже старшему унтер-офицеру пришлось вмешаться—да ладно, все хорошо.

Вдруг оба они замолчали. Подозрительно прислушались и стали перешептываться, продолжая идти.

А Петера так обидел незаслуженный нагоняй, что он только тогда заметил пушечную пальбу, когда остался один. И вправду, это были пушки, и они стреляли где-то гораздо ближе, чем накануне или дома.

Вскоре они подъехали к большой реке.

Должно быть, это и есть Тиса?—подумал Петер.

Вдалеке виден был мост. Услышав, что на том берегу Чонград, мальчик уже не сомневался, что это и есть Тиса.

Туда, к реке, двигалась колонна повозок и автомашин, и начало ее было уже на мосту. Они ехали, не замедляя хода, потому что того, кто останавливался, тут же оттесняли в сторону и приходилось поджидать случая, чтобы вновь влиться в устремленный к мосту поток.

И тут неожиданно появился подполковник. Сам похожий на плешивого медведя, он, как разъяренный зверь, заорал на старшего унтер-офицера, а тот с перепугу рад был бы зарыться в узлы. Однако ему пришлось оставить лошадь и задержаться. А когда Бучаи, обернувшись, прокричал ему что-то, между ними было уже шесть телег и все новые и новые повозки обгоняли их.

Наконец старшему унтер-офицеру кое-как удалось отделаться от подполковника. Но теперь им пришлось свернуть на другую дорогу.

— Вот те на, где же вы, дядя Винце?—изумился Петер, но даже поднятый над головой кнут не видел хозяина.

Уже порядком отъехав и оглянувшись в сторону моста, он с удивлением заметил, что движение там как будто прекратилось. И тут сильный взрыв потряс воздух.

— Мост взорвали...—тихо сказал старший унтер-офицер.

— Зачем? Как же мы попадем в Чонград?—простодушно спросил Петер.—Или нам здесь оставаться?

— Ничего ты не понимаешь, щенок,—сердито ответил старший унтер-офицер.

Петер замолчал, решив, что, наверное, есть и другие мосты, а этот, до Чонграда, почему-то стал не нужен.

Теперь они двигались очень медленно. То и дело навстречу им шли немецкие солдаты в серых шинелях; усталые, брели они пешком или ехали на мотоциклах или лошадях. У многих из них не было никакого оружия, хотя когда-то, уж конечно, оно у них было. И они тоже ищут мост? Чтобы перебраться на другой берег? Чтобы спастись?

И—вот чудо!—унтер-офицер еще до заката догнал их на велосипеде. Машину забросили на телегу, и, обгоняя мерно поскрипывающие телеги, оба унтера пошли вперед.

Однако вскоре всем пришлось остановиться: снова путь им преградили немецкие солдаты. Но эти были вооружены до зубов. Они согнали с телег людей покрепче, отобрали лошадей получше. Не успел никто опомниться, как на дороге почти не осталось повозок, у которых были бы и лошадь, и возница. Но на Петера солдаты даже не обратили внимания. Один немец хотел было забрать

Буранку, но другой так гаркнул на него, что тот оставил лошадь в покое. Злобный немец, а вслед за ним и второй даже плюнули в сторону Буранки. А Петер очень рассердился, ишь ты, не нравится, что пегая!

Но когда в толпе идущих назад людей он увидел унтер-офицеров, то сразу позабыл свой гнев.

— Мне-то куда? Где вас ждать?— встав на сиденье, закричал он им вслед, но те как будто и не слышали его.

Вид у них был плачевный.

Наступила ночь, и ехать стало еще тяжелее— да и какая может быть езда, когда лошадь на каждом шагу натывается на идущую впереди повозку, а твою телегу то и дело подталкивают сзади!

И отовсюду неслась брань: ругали Петера и за то, что он ехал, и за то, что он остановился.

А мальчик лишь тихонько уговаривает Буранку:

— Пойдем-ка подальше от этой чертовой стрельбы, увидишь, сразу станет легче, только бы ноги унести...

И лошадь будто понимает, что он говорит ей,— наострив уши, искоса поглядывает на него и ржет, словно в ответ.

Петеру так захотелось спать, что, кажется, лучше смерть, чем ехать этой беззвездной ночью, под громыхание пушек.

Повозки то и дело останавливались, лишь короткими рывками продвигались вперед.

Буранке тоже надоела такая езда, и она свернула вправо, на проселочную дорогу, и некоторое время брела в темноте, потом остановилась и прислушалась. Было тихо, как будто ветер отогнал прочь все звуки.

Петер Шилло дремал, крепко сжимая в руке кнут.

Проснулся он от холода. Его шапку, волосы, лицо и руки покрывала роса. Рассветало. В полях, среди кукурузы, ни на небе, ни на земле— ни души.

Страх его прошел и больше не возвращался. Он привязал лошади торбу с овсом, подкрепился немного и сам из котомки.

Ночью повозка двигалась на восток. Теперь, днем, снова тронувшись в путь, Петер не изменил того направления, которое ночью выбрала Буранка.

Вскоре они выехали на шоссе. Там был указатель, и он показывал, где дорога домой.

Только мальчик собрался свернуть на безлюдный проселок, как перед ним промчались три всадника.

«Гляди-ка! Это ж какие шапки на них!»— удивился Петер. Тут дорогу по всей ширине заполнили повозки, грузовики и пушки. И все это с грохотом неслось ему навстречу.

«Э, да как же я теперь проеду?» — растерянно думал мальчик.

Из задумчивости его вывели смех и крики, которые раздавались из машин. Смеялись явно над ним, но что ему кричали — этого он не понимал.

Да ведь это русские! У Петера душа ушла в пятки. Что делать? Повернуть назад или, или...

Он настолько испугался, что погнал вперед, навстречу потоку. Вдоль дороги мелькали поля, луга, кукуруза.

Пока он мчался, все показывали на него пальцем, громко смеялись, хохотали.

И ему тоже стало смешно. Хотя внутри все еще дрожало. Ну и развеселились же они!

Теперь ему уже не было страшно. Он понял, что веселятся они, глядя на него.

«Смейтесь, пожалуйста, только не трогайте меня», — думал Петер.

Тут он догадался, что смеются они не над ним, а над пегой кобылой, Буранкой.

Всю дорогу его ни разу не остановили. Легко было у него на душе, когда ехал он назад, в деревню, с хозяйским добром и вещичками унтер-офицеров.

На закате Петер приехал домой.

Мать, увидев его, чуть ума не лишилась от радости, а сосед, дядя Боци, сказал:

— Ну вот, землю беднякам раздают, а у тебя уж и лошадь есть.

Петер удивился было, а потом обрадовался словам соседа: и правда, если Бучаи уехал, не дав ему обещанные сапоги, то взамен он может оставить у себя Буранку.

Немного спустя к забору подошла и Клара, двенадцатилетняя дочка дяди Боци.

— А ты знаешь, — похвалился мальчик, — что я к тебе вернулся из самого пекла?

Зарделась Клара, покраснел и Петер.

Но было уже так темно, что они и не увидели, как счастливо оба смутились.

ДАВИД И ДЕЖЁ

Давид был скромным, только именем своим гордился:

— Прошу не забывать, на какие подвиги я отваживался в библии, а потом у Диккенса. Копперфильд, тот тоже понимал, какое у нас имя.

Тем, однако, кто был несведущ в библии или не читал романа Диккенса, приходилось самим составлять мнение о Давиде Балле.

— На аттестат зрелости, пожалуйста, не обращайтесь внимания, потому что на письменном экзамене по иностранному языку, когда преподаватель выписал на доске все незнакомые слова и запретил пользоваться словарем, мой племянник блестяще перевел первые три предложения, а на четвертом засел, потому что там встретилось слово, которое, он точно знал, они не проходили. Он подумал-подумал, отложил ручку и не стал писать дальше. Потому что было сказано, чтоб никаких вопросов. Потом выяснилось, что этого самого слова никто в классе не знал, но все или пропустили его, попросту выкинули из текста, или заменили другим, подходящим по значению словом, думая, что знали его, но забыли. Давид единственный поступил по правилам, к тому же и первые три предложения он перевел без ошибок, а экзаменатор все-таки наказал его.

Такие пояснения к аттестату своего племянника давала на юридическом факультете, куда его хотели определить, его тетка по отцу, урожденная Тереза Балла. И дальше:

— А все потому, что у моего племянника исключительно развитое чувство справедливости, другой пример, пожалуйста: в последнем классе кто-то из учеников буквально на несколько минут стащил у учителя математики портфель и подсунул туда составленное из газетных букв письмо, которое начиналось обращением: «Ты, слабоумный Бегемот...» Ясное дело, виновник преступления готовился заранее, ведь на клейку букв нужно время. Опять же надо было сочинить оскорбительный текст, украсив его возмутительными выражениями и множеством грамматических ошибок. Все знали, что ребята за глаза называют преподавателя Бегемотом. О том, чья это выходка, в классе тоже знали—одного из лучших учеников, между прочим отличника по математике. За отсутствием улики наказание пало на дежурного, невысокого,

застенчивого паренька,—двойка по поведению! Когда оглашали приговор, Давид встал и сказал: «Меня тоже накажите, потому что я считаю, что дежурный не имеет ни малейшего представления о том, кто это сделал, те, кто стояли на стреме, отвлекли его внимание бутербродом с саями и вишнями с ликером».

Конечно, ни на юридическом факультете, ни на пресловутом разбирательстве из вполне понятной щепетильности ни слова не было сказано о том, что преступник (тот самый отличник по математике) вдобавок ко всему помогился в портфель Бегемота.

Вот так из-за своего развитого чувства справедливости Давид не попал на юридический факультет, однако стараниями тетушки он уже в июле был определен учеником на радиозавод. Как раз в обмоточный цех.

Молодежь обмоточного цеха зимой ходила в бассейн, а летом сходилась с ума по гребле. Некоторые молодые работяги были настоящими рабами трех четверок и четырех двухместных байдарок—все свое свободное время они возились с лодками.

Коллективное увлечение греблей явно положительно влияло на обстановку в цехе, поэтому руководство завода поддерживало идею длительного лодочного похода. Десятого августа, чуть только рассвело, двадцать три человека—по пять вместе с рулевыми на лодках и по двое на байдарках—отплыли от эржебетской лодочной станции в южном направлении... В тот же день они дошли до ташского шлюза.

Трое девушек рулевых и в байдарках две женщины, с мужьями. Пять женщин и восемнадцать мужчин. Давид в последний день узнал, что он тоже может поехать—кто из команды отказался. И то хорошо, хотя он еще в начале июля заявил о своем желании принять участие в походе, когда на огромной цеховой доске объявлений вывесили карту маршрута.

Он тогда загорелся мечтой о сказочном путешествии по воде, но через несколько часов отказался от поездки, сославшись на веские причины, пусть он и плавает хорошо, и во всех видах гребли мастак. Так он и сообщил кому следует. Да...

Неизвестно еще, дадут ли ему отпуск через пять недель после поступления на работу.

Ехать, не ехать—начальник цеха, однако, считал, что туристический отряд должен быть укомплектован.

Давид умеет и плавать, и грести, даже на байдарке! А из старичков никто не рвется его заменить.

В лодке, куда попал Давид, рулевой была девушка по имени Эдит, а лодка называлась «Ласточка». Эта Эдит

выдавала в цехе зарплату, у нее были очень красиво загоревшие бедра, ведь больше всего солнечных лучей достается выступающим поверхностям.

Ребята не обращали особого внимания на такую красоту. Давид тоже помалкивал, он сидел на самом носу, только, наверное, после шлюза, то есть после Ташша, его стала разбирать досада, потому что остальные трое уже раза по два менялись местами, поочередно оказываясь против рулевой («необходимо менять руки, так как, когда гребешь левым веслом, развивается правая рука, а когда правым — накачиваются мускулы левой»).

Не могло быть и речи о том, чтобы к концу четырнадцатидневного похода мышцы его левой руки непропорционально развились. Тем более, что и сама Эдит сказала, уже на второй день утром: «Я совсем тебя не вижу, Давид. И даже голоса твоего не слышу, будто тебя и нет».

Было приятно, что девушка говорит ему «ты», но в то же время ее слова отдавали насмешкой.

— Нет, я здесь,— только и можно было ответить.

— Ну и оставайся там, где есть,— сзади! — махнул ему рукой Дежё, называвший себя командиром судна, а остальных, включая Эдит,— командой.— Вернее, впереди!

И он расхохотался, заразив своим смехом всю лодку, ведь было понятно, зачем Давиду меняться местами — глядеть на бедра Эдит.

Для женщин везли отдельную четырехместную палатку. Днем держались по-дружески.

Давид решил не спорить, но разозлился, что его специально засадили подальше от Эдит, тем более что об этом во всеуслышание объявил низкорослый крикливый «командир». Он не мог остаться в долгу:

— Если бы у вас у всех был такой удобный рост, как у Дежё, я бы и отсюда с носа целыми днями любовался Эдит.

Откуда ему было знать, что Дежё легче всего обидеть именно упоминанием о росте.

С этого момента каждое слово и движение Давида стало не попад: неловким, глупым, нахальным!

Давид не сразу понял, в чем дело. Случалось, он и впрямь неловко шлепал веслом. Но, когда убедился, что Дежё к нему придирается, не выдержал:

— Учи свою тетю! Ясно?

Командир выдернул весло из уключины и поднялся. Крику было! Если б между ними не сидели два парня, дошло бы до драки. Лодку так и швыряло из стороны в сторону.

— Ну подожди! Ты у меня получишь!

Давид промолчал. Чувствовал, скажи он сейчас еще

слово—они тут же окажутся в воде или на берегу и надают друг другу тумаков. А этого он не хотел. Он в жизни никогда не дрался. И теперь не испытывал желания. К тому же и Эдит говорила: «Дежё, ну хватит, Дежё!»

Давид занялся тем, что стал обдумывать увлекательный маршрут: вверх по Шио, потом не торопясь вниз, через весь Балатон. От этого он не может отказаться из-за какой-то дурацкой ссоры. Вот как они поплывут по Зале, он уже не мог представить, до самой ее верхней точки, где она поворачивает на юго-запад, а оттуда пешком, с лодками на плечах, до Марцала. Он никогда не бывал в тех местах, не знал дороги. Как-то они справятся? Придется ведь тащить еще и девчоночьи вещи. Говорят, четырнадцать километров. Оттуда уже легко, по Рабе по течению и у Дёра прямо в Дунай.

В Дёре он бывал когда-то в детстве, Комаром и Эстергом несколько раз видел по телевизору и мог мысленно проследить путь до Будапешта, до Южного железнодорожного моста и шлюза Квашшаи.

Командир продолжал бурчать, шутки перемежались угрозами. Эдит то смеялась, то принималась шептать: «Ну, Дежё, Дежёке! Ты ведь не такой».

Во время привала выяснилось, каков он есть, этот Дежёке. Они хотели купить в прибрежной корчме жареной рыбы, но только сошли на берег, как Дежё набросился на Давида. До кулаков не дошло, их разняли. Рыбки тоже перепало. Замучились, выбирая кости.

Наевшись, Давид подошел к начальнику отряда, который, сидя по-турецки, еще наслаждался трапезой:

— Я бы хотел в другую лодку перейти.

Ответ последовал не сразу, только после того, как была выплюнута последняя кость:

— Почему?

— Да так. Долго рассказывать.

К тому моменту ребята из его лодки уже стояли рядом. И Дежё вместе с ними.

— Да потому что он все время дурит и знает, что я этого не потерплю.

— Чего этого?

— Дурачества твоего.

Начальник объяснил, что ночь они проведут в Байе, а завтра рано утром должны быть у канала Шио.

Девушки тем временем собрались на берегу чуть поодаль. Давид, сам не зная почему, видел одну только Эдит и не раздумывая направился к ней: хотелось услы-

шать слова утешения.

Сейчас он возьмет ее за руку, и не спросить ли сразу, что она думает о наглости Дежё, и вообще, как себя вести в такой ситуации? Может, обойдется, если он будет молчать все две недели? Он ей скажет: ты — свидетель! Я обещаю ни на что не реагировать, но ты подтверди, что не из трусости, а потому что я прав. И все из-за этих двух недель: полстраны захотелось на лодочке объехать!

Как только он тронул Эдит за обгоревшую на солнце руку, она обернулась и резко, испуганно отстранилась от него:

— Что ты пристал? Тебе что, в лодке было мало?

Давид ничего не понимал.

— Пойдем, оставь его, — успокаивали Эдит остальные.

Только уже в лодке Давида охватил жгучий стыд: ведь женщины по очереди бегали в лесок, потому и стояли там.

Начальник отряда погрозил им обоим, и Дежё и Давиду, из байдарки пальцем. Призывал к порядку.

— Что ты грозишься? Грозить мне вздумал! — возмущался Дежё, но его слышали только они впятером.

Давид думал то же самое: мне-то что грозить?!

Было решено — непонятно кем, — что они поплывут последними. Дежё ворчал: еле-еле тащитесь, вот доплывем до Байи, где меня ждет невеста, так она с радостью заменит любого, у кого силенки на исходе и кто только и ждет, как бы оказаться на берегу и распрощаться с лодкой. Ребят забавляло монотонное бормотание, да и Эдит посмеивалась, хотя ее самолюбие наверняка страдало от того, что в лодку хотели взять другую женщину, и кто же — тот самый загребной, который всю дорогу просто глаз с нее не сводил.

Не понимал Давид женскую душу. Во всяком случае, он совершенно разочаровался в Эдит и все больше утверждался в мысли, что они вчетвером сговорились досаждать ему.

Ну подождите! Он смотрел по сторонам. На правый берег, на левый. Он никогда бы не поверил, что Дунай может быть таким широким, и эти набегающие одна на другую волны...

Дежё все говорил. Эдит смеялась. Номер третий время от времени оглядывался на Давида, словно проверяя: действует? Один раз даже сказал: «Пожалей горючее, Дежё».

На шедшей впереди них лодке веслами указывали на какую-то точку на правом берегу: «Шио! Шио!» Прибавили скорости и немного спустя скрылись из виду.

Загребной на «Ласточке», однако, не торопился. Если он что и участил, то свои наскоки на Давида. Но по имени

не называл, все четвертый да четвертый. Остальные притихли, словно ожидая чего-то. А может, на что-то решились.

Далеко ли они отъехали от устья Шио? Нет, не далеко. Когда Дежё вдруг ни с того ни с сего — не обменявшись с Эдит ни словом — выпалил:

— Презираю тех людей, которые могут оскорбить женщину, даже и за людей таких подонков не считаю. Понятно? Тех, кому начхать на женскую стыдливость. Понятно?

Никто не ответил, ведь «понятно» было у Дежё чем-то вроде присказки.

— Я тебе говорю, ты, скотина! Что молчишь?

Это уж Давид и вовсе не мог отнести на свой счет.

— Четвертый! У тебя рот дерьмом, что ли, забит?

— У тебя у самого во рту дерьмо, и скотина тот, от кого слышу.

Эффект был неожиданным. Дежё прыснул и, откинувшись почти на колени ко второму, с деланным хохотом схватился за живот:

— Комар рычит!

Раззадоривая себя, он продолжал:

— Значит, ты уважаешь женскую стыдливость?

Второй тоже перестал грести, только на носу поднимались и опускались весла.

— Что молчишь? Кто ходил подглядывать за женщинами, а?

«Неправда», — пробормотал Давид. Так тихо, что его не услышали. Разве что третий мог расслышать.

— Подонки! Человеческое отребье!

И Дежё потихоньку скомандовал Эдит править к берегу.

Берег в том месте был пологий, легкая лодка проехала днищем по гальке. Давид прямо под собой ощутил скрежет.

— Вылезай!

Дежё не смотрел в его сторону. Ждал. Через минуту Давид вылез. Взялся было за цепь, но тут же выпустил ее.

— Забирай свои шмотки!

Его вещи были на носу.

Может, предложить им подтолкнуть? Нет, не стал.

Третий взял его весло и ловко оттолкнулся им от берега.

Их глаза не встретились. Рассмеяться или напустить на себя пристыженный вид? Чего опасаться больше?

Перекинув через плечо рюкзак, Давид стоял на берегу.

Сначала гребли все трое, потом первый перестал. Эдит

даже не обернувшись, ребята работали веслами, опустив головы. Им было и смешно, и стыдно. Только Дежё смотрел прямо перед собой: наверняка сюда.

Может, помахать ему рукой? Нет, не стал.

Давид в последний раз оглянулся и исчез в лесу. У него не было с собой ничего съестного, но он не тревожился. Сразу же попалась тропинка, но он еще до этого почувствовал себя счастливым. Сырой, теплый запах пойменного леса. Это невозможно передать. Очень скоро Давид услышал человеческие голоса.

Тут он испугался. Затаился как мышь.

Громкими лесными голосами переговаривались женщины и дети. Тропинка, должно быть, вела к дому. И к дороге.

Ему даже почудился запах дыма, тонкими струйками взрывающийся над очагом с сухими поленьями. Он остановился. Приставив к уху ладонь, прислушался к звукам, идущим с той стороны, где, казалось, был дом. Он знал, что звук человеческой речи распространяется в лесу не по прямой, а как бы расходится кругами. Вокруг вслушивающегося уха и воображаемого дома.

Давид так и не пошел дальше. Тряхнув головой, он повернул назад к реке. Подойдя к воде, нашел то место, где лодка врезалась в берег. Внимательно обследовал его, словно здесь было совершено преступление. Оставил все, как есть. А мог бы стереть следы ног. Вверх по течению плыл корабль. Давид стоял и смотрел. Какой-то матрос помахал ему рукой, он помахал в ответ и нырнул обратно в чашу — искать себе старое дерево, с которого видна река. До заката еще было время.

В Байе, не успели они причалить, сразу же обнаружилось, что Давид исчез.

Приказ начальника отряда — экипажу «Ласточки» вернуться за своим товарищем. Эдит разрешили остаться. Взяли все четыре весла, хотя Дежё сел к рулю. Разъяренный. Он-то рассчитывал завтра, на обратном пути, захватить этого типа. И теперь злился: пропал отдых!

Они причалили в нескольких метрах от того самого места. Втащили лодку на берег и принялись кричать: «Давид! Да-вид! Бал-ла!» Потом углубились в лес, переключаясь уже друг с другом. Нашли тропинку. Двинулись по ней и обнаружили в доме смотрителя плотины женщину и троих детей. Ничего не добившись, поплелись обратно, теперь лишь изредка выкрикивая имя Давида. И потихоньку чертыхались, что завтра все начинать сначала, весь этот вопёж, никуда не денешься.

Давид дождался на верхушке старого дерева, пока они выплывут на середину реки, он мог бы даже крикнуть им

вслед, они бы его заметили, высунь он голову из листьев. Дежё сидел спиной к нему на месте рулевого.

— Утром вернетесь, а меня уж тут не будет,— сказал Давид, осторожно слез с дерева и выбрался на тропинку.

1963

ОХОТА НА ЛЯГУШЕК

Магдуш, невеста Дюлы, спросила однажды: «Слушай, Дюси, а у тебя где-нибудь на стороне ребеночек не плачет?» Он пожал плечами: «Вроде бы нет». Ответ прозвучал искренне, Магдуш его расцеловала. Это ради нее Дюла добился назначения в Пешт.

Однако то коротенькое письмецо—всего три строчки—он ей не показал. Хотя в нем даже намек никакого не было. Но, попадись это письмо на глаза Магдуш, она могла бы спросить, а что они, собственно, от тебя хотят.

Разумеется, он все отрицал. До тех пор, пока не произнесли имя Юльчи. И никто его не заставил бы ехать в провинцию из-за ребенка. Он сам так решил. Да и вряд ли его этот ребенок! Ничего страшного в общем не произошло, просто какой-то кондитер захотел удочерить девочку и требует полного отказа от родительских прав. Но ведь полный отказ—это полное признание! В детском доме Дюла посмотрел бумаги: судя по дате, он и в самом деле мог быть отцом. Девочка родилась шестнадцатого июля, носит фамилию матери. А они с Юльчи так чудесно провели вместе октябрь. Это было в Тарцале, во время сбора винограда.

Юльчи работала в госхозе, когда он, начинающий фининспектор, прибыл туда с обычной проверкой, какие бывают в эту пору в винодельческих хозяйствах. Он застал девушку одну среди груд чуть сморщенного, перезрелого винограда, отобранного по одной яголке,—его потом добавляют в вино. В комнате, наполненной запахом меда и жужжанием пчел, он, немного смущаясь, задал ей несколько вопросов насчет вчерашнего и позавчерашнего сусла, а затем без всякого предисловия поцеловал. Они договорились встретиться вечером.

— Зовут-то вас как?—тихо спросила Юльчи, уже пообещав, что зайдет к нему после ужина. И зашла. И весь октябрь, за исключением двух или трех дней, приходила к нему по вечерам. Позже Дюла сказал ей свою фамилию и даже точный адрес. А к концу месяца пообещал жениться, но девушка не приняла этого всерьез. В начале ноября они поссорились: все из-за того, что

Юльчи познакомилась с каким-то водителем грузовика и раза два, сказав, что пойдет в кино, ездила с ним под вечер в Уйхей. Ревности Юльчи терпеть не могла. Она уехала из Тарчала не попрощавшись. Дюла всего только и знал о ней, что родом она из-под Сольнока. Выяснить о ней что-нибудь в отделе кадров тоже не удалось.

Поезд пришел на станцию поздно вечером. В гостинице, не посмотрев даже, с кем его поселили, Дюла лег, отвернулся к стене и уснул. Проснулся он от шума воды: сосед, собравшись умываться, налил воду в таз.

— Почему эти алфёльдские города называют городами? — спросил Дюла вместо приветствия. — Только потому, что народу здесь живет много. И все. А на самом деле это большие деревни!

Сосед по номеру, худой, жилистый, загорелый, с тощими ногами, одетый в одни лишь шорты, обернулся:

— Доктор Багамери. Доброе утро!

Дюла лишь рукой помахал, будто доктор и так должен был его знать.

— Если в деревне живет тридцать тысяч душ, она что, от этого становится городом? Вот если бы водопровод! Да канализация! Тогда бы другое дело!

Он чувствовал, что болтает больше, чем обычно. Багамери задумался над его вопросом. Лоб его от виска до виска разрезали пять глубоких морщин. Не будь их, трудно было бы понять, где кончается у него лоб: доктор был лысым.

— Если хотите умыться первым, пожалуйста...

Но Дюла уже не мог остановиться:

— Возьмем, например, кондитерские! Сколько их может быть в такой дыре?

— Две, — ответил Багамери, намыливая руки. — Насколько я знаю, две.

— И как, сносные?

— А как же! Конечно.

— И позавтракать там можно?

— А как же! Разумеется.

— Вы не будете возражать, если я пойду с вами?

— Почту за честь.

На улице выяснилось, что человек в шортах — адвокат из Пешта. Однако не слишком он надрывается на работе в своей коллегии.

Они прошли мимо симпатичной кондитерской. Неподалеку, в переулке, оказалась еще одна. Выглядела она, мягко говоря, невзрачно. В меню значилось три сорта мороженого: за два форинта, за форинт и за пятьдесят филлеров.

Дюла предпочел бы, чтобы ребенок оказался в той,

первой, кондитерской, но Багамери сказал, что ходит завтракать только сюда.

Появился хозяин—с бритой головой, небольшим брюшком, в подтяжках. Они пошептались немного с адвокатом и, присев за стойкой на корточки, что-то там стали рассматривать с довольным видом. Вскоре хозяйка принесла два кофе с молоком, хотя они еще ничего не заказывали. Глаза у нее были грустные, волосы растрепались; кофе она принесла по-домашнему, в кружках. Вряд ли она была неряхой, но, наверное, волосы ей трудно держать в порядке, просто ей минуло уже пятьдесят и была она отчего-то печальной.

Дюле подумалось: а если бы Магдуш увидела меня здесь? Ему стало не по себе, но он уже не мог отогнать от себя эту мысль. Конечно, такое почти невероятно. К тому же он надеялся, что ребенка у этих людей не окажется.

— Приятное заведение. А дети у вас есть?—Он хотел сохранить в тайне цель своего прихода и поэтому ожидал, что и хозяйка будут с ним скрытны. Однако женщина—чего нельзя было предположить по ее печальному, замкнутому виду—подвинула к себе стул и уселась рядом с их столиком.

— Уж полтора года, как живет у нас мое золотко, зовет папой-мамой, а родная мать, представьте себе, за все время так и не объявилась, не удосужилась даже отказать от ребенка в нашу пользу, в пользу девочки. Говорят, с грудного возраста от силы раз навестила Агику. И отец небось хорош гусь, вообще не потрудились взглянуть на свое чадо, хоть бы из любопытства: мол, что у меня вышло? На что я способен?

Дюла признался себе, что вместо отцовского чувства в нем шевелится скорее что-то вроде любопытства: а правда, на что я способен? Его поразило, что и хозяйку кондитерской это интересует.

Женщина долго еще поносила Юльчи, называя ее на деревенский лад: Юльча. Зря она так. После всего того, что она наговорила, Дюла уже не мог чувствовать к ней расположение. Хотя, наверное, ей были известны многие грехи Юльчи, которые и вправду за той водились. Грехи и легкомыслие. Но ведь ребенок тут ни при чем.

Адвокат невозмутимо завтракал. Он уже много раз слышал эти причитания.

Дюла подумал было, не пора ли ему сбежать, но любопытство пока его удерживало.

— Завтрак был превосходный. Пообедать здесь тоже можно?

Адвокат, однако, запротестовал. Он обычно обедал не

здесь. Но печальная хозяйка по какой-то прихоти пригласила их обоих на обед, если они не погнушаются ее стряпней.

Дюла подумал, что за обедом или после него ему удастся взглянуть на девочку и любопытство его будет удовлетворено. Но тут вошел хозяин с ведерком, наполненным смесью для мороженого, а за ним в открытую дверь проскользнула Агика; левой ручкой она держала раскрашенную машинку, а правой ловила мамину юбку.

У Дюлы возникло ощущение, будто перед ним другой ребенок, что на него и смотреть-то не стоит; но он отогнал от себя эти трусливые мысли.

Волосы у девочки были подстрижены в кружок, из-под сдвинутых густых бровок сердито блестели две черные бусинки; казалось, что девочка больше знает о своей судьбе, чем думают взрослые.

— Дай ручку.

Девочка затрясла головой и еще сильнее насупилась. Дюла не видел в ней никакого сходства даже с Юльчи, не то что с самим собой. Теперь и на обед ни к чему оставаться.

Ручонку свою девочка так и не дала, но смотрела на него, не отводя глаз и упрямо сжав губки.

— Агика, что ты? Вообще-то она не боится чужих.

Пока женщина говорила, Дюла смотрел на ее рот; наверное, от этого Агика и расплакалась. Но она не уткнулась мокрым личиком в мамину юбку — даже сквозь слезы продолжала смотреть на чужого дядю.

— Это правда?

— Что?

— Что она никогда не плачет?

— Конечно. Сколько я знаю малышку, она никогда еще так не плакала.

Дюла не поверил. Женщины всегда так говорят! Он смотрел на ребенка с удивлением, но спокойно, как смотрят, скажем, на ливень, это вполне естественное явление природы. Девочка потянулась к нему, но не дотронулась.

— Не плачь. Когда в следующий раз приду, принесу тебе обезьянку.

Агика отдернула руку. Неужели она, бедняжка, знает, что значит «в следующий раз»? А вот что такое «обезьянка», она наверняка знает: когда Дюла произнес это слово, глазенки у нее так и округлились. Но плакать не перестала.

Наконец хозяйка увела Агику.

Адвокат с кондитером возились за стойкой. Затем из шкафа появились соломенная шляпа, железный сачок и

два здоровенных мешка. Мешки Багамери повесил себе на шею, пора было идти. Разумеется, Дюла пошел вместе с ним: что ему теперь делать в этой кондитерской? Про обед он забыл, даже не отказался от приглашения.

Они пересекли несколько улочек; адвокат стал было прощаться, но, узнав, что молодому человеку до обеда делать решительно нечего, пригласил с собой на реку.

Ни один из них ни о чем не спрашивал. Не прошло и часа, как они оказались у реки; перейдя через мост, спустились к самой воде и еще минут пятнадцать шагали по берегу. Наконец Багамери остановился на краю луга, покрытого густой травой и кустарником, выбрал место, где помельче, и спокойным, привычным движением опустил сачок в воду. Подождав немного, он поднял сачок, из которого капала грязная жижа с остатками водорослей. И вот на дне сачка остались три барахтающиеся лягушки. Двух Багамери отправил в левый мешок, а одну—в правый. По всей видимости, лягушки попали в разные мешки не без причины; адвокат объяснил: это так называемые прудовые лягушки. Самочек я кладу в правый мешок: их я сдаю в кооператив, пойдут на экспорт, а самцов—в левый, эти для клиники. До сих пор нет лучшего способа определения беременности. Анализ на лягушках.

Когда Багамери забросил сачок во второй раз, Дюла стал внимательно следить за всей процедурой. Отойдя в сторону, Багамери топнул ногой, и несколько лягушек попрыгали с берега в воду.

«А сдавала ли Юльчи анализы, чтобы узнать, не беременна ли она»,—подумал Дюла. Он старался помнить о девушке только хорошее, но после всего того, что он услышал от хозяйки кондитерской—а ведь, наверное, была в ее словах доля правды,—он представил себе, что Юльчи, заметив, что беременна, посокрушалась денек-другой, а затем, до самых родов, опять веселилась вовсю. Бедняжке и в голову не приходили какие-то там анализы. Ему стало жаль Юльчи.

Они шли дальше по берегу. Один раз попало целых восемь лягушек. В руках у адвоката они дрыгали лапками, животики у них были светлые, а спинки—ядовито-зеленые.

— Как вы их различаете?—спросил Дюла после того, как целых четверть часа безрезультатно пытался проникнуть в тайны лягушачьего промысла.

Багамери с гордостью и упоением стал посвящать его в секреты своего мастерства:

— Вот эти дырочки в уголках рта бывают только у самцов.

Некоторое время Дюла помогал Багамери. А затем разделся до трусов — кругом не было ни души — и, отойдя в сторону, чтобы не распугать лягушек, искупался. Позагорал немного, потом спрятался в тень. Когда Багамери разморило на солнце, а мешки стали оттягивать плечи, он тоже перешел в тень. Дюла как раз разглядывал свои детские фотографии: разложив их на траве, он пытался найти сходство.

— Похоже?

— На кого?

— Во-первых, на меня, во-вторых, на Агику.

— Так это вы здесь изображены?

Вопрос был излишним, отвечал бы сразу.

— На девочку похоже больше, чем на вас. Это, наверное, из-за возраста. Вам здесь года четыре, верно? — сказал адвокат.

Фотокарточки еще некоторое время валялись на траве.

— А что скажете про плач?

На этот вопрос специалист по лягушкам ничего не сказал. К обеду мешки были наполнены доверху. Дюла же сгорел на солнце. На обратном пути Багамери рассказывал про клинику и кооператив. Только в эти две конторы и стоит сдавать лягушек. Рыночным торговкам разве что в крайнем случае. Но в таком верном деле крайних случаев не бывает.

Кондитерская уже была закрыта на обед, и они прошли через двор; Багамери сразу направился в зал и уселся на корточки возле холодильного шкафа для мороженого. Лишь теперь Дюла заметил там два специальных ящика с двойными стенками, между которыми был лед для лягушек.

Обед был уже на столе. Мужчины мыли руки и обсуждали улов. Стоя в глубине комнаты, девочка смотрела на взрослых. Дюла настолько проголодался, что даже не обратил на нее внимания.

— Можно узнать, как вас зовут? — спросила хозяйка. Дюле стало немного не по себе. — Дюла? Агика, не бойся, подойди к дяде Дюле, дай ему ручку.

Девочка с очень серьезным видом подошла, вложила свою ручонку в его ладонь и прошептала: «Дядя Дюла...» Две руки — большая и маленькая — крепко держали друг друга, словно боясь расстаться.

Девочка приподнялась на цыпочки и заговорщически прошептала: «Ты обезьянку принес?»

Дюла как раз прислушивался к разговору хозяев с адвокатом и лишь краем уха уловил шепот. Он понятия не имел, как вести себя с такими маленькими детьми.

— За полтора дня я восемьсот форинтов заработал, а

до вечера еще столько времени.

Адвокату пришлось снова подходить к морозильному шкафу: как там его квакушки переносят зимнюю спячку среди лета.

— Утренним поездом и выедем.

Дюла решил, что речь идет о нем, но Багамери имел в виду лягушек, которые спали в ящиках с двойными стенками.

Девочка ждала, пока Дюла сядет, но ручку ему больше не дала. «Упрямая, паршивка, вся в мамочку... В мамочку... А известно ли хоть кому-нибудь, кто ее отец?» Он радовался, что не выдал себя. Адвокат тоже стал ему неприятен. Отвратительным показался Дюле его способ хранения лягушек. Нельзя этого так оставить, он должен вмешаться! Как фининспектор? Нет, но, может быть, это нарушение правил санитарии?

Девочка все смотрела на него, и Дюле стало ее жалко. Он хотел взять ее за руку.

— Ты икладёт,— сказала Агика, отдернув руку.

— Что ты сказала?

Но она не повторила.

— Она говорит, что я «икладёт».—Он повернулся к адвокату, затем к толстяку кондитеру. Те пожали плечами.

Хозяйка накрыла стол во дворе, в беседке: все торжественнее, чем обычно. Мужчины вновь пустились в рассуждения о лягушачьих делах.

На столе дымился бобовый суп, для девочки хозяйка накрыла отдельно, на табуретке, рядом поставила маленький стульчик.

Первым к столу подошел Багамери.

— О фотографиях вы, надеюсь, не сказали.

— Как вам будет угодно,—ответил адвокат.—Такие вот дела.

На второе были котлеты и кабачки. Хозяйка наконец села с ними за стол. Девочка тоже ела, то и дело поглядывая на взрослых.

— Спроси у дяди Дюлы, нравится ему мяско?

Но малышка не захотела спрашивать.

— Она тут сказала, что я «икладёт».

Мужчины посмеялись, но снова ничего не поняли.

Немного погодя хозяйка объяснила:

— Давеча мы с мужем про нашего дровокола разговаривали. Тот как-то неправду сказал. Я и говорю мужу: ты держи с ним ухо востро! Кто врёт, тот и крадет. Вы ведь Агике обещали что-то.

И они опять рассмеялись: надо же, малышка и вправду ждала обезьянку. Девочка смотрела на взрослых очень

серьезно, знала, что смеются они над ее словами.

Потом все вдоволь наелись пирожных—из запасов кондитерской.

— Знаете, это часто бывает, что девочки совсем не такие, как матери.—Про отца на сей раз она ничего не сказала, лишь принесла две фотокарточки Агики. Видно, совсем недавние. Дюле казалось, на этих снимках Агика больше похожа на него маленького, чем в жизни. Инстинкт отцовства в нем так и не проснулся.

Неожиданно девочка подошла к столу и тоже стала разглядывать карточки, от ее липких рученок остались пятна на скатерти и на брюках... на брюках Дюлы; никто этого не заметил, а он промолчал.

— Это хорошо, что вы ее сфотографировали!

Хозяева и Багамери переглянулись. Неужели адвокат все же проболтался?

За все это время Дюла почти не вспоминал о невесте, теперь же он вдруг задумался. Как бы на все это посмотрела Магдуш? Единственное, о чем они никогда не говорили, будет ли у них ребенок.

Дюла спросил, когда отходит поезд. В лицах хозяев что-то переменилось. Он спокойно успеет на станцию. Дюла стал прощаться. Девочка куда-то исчезла. Адвокат вышел немного его проводить и опять стал объяснять, как устроены ящики для лягушек, в которых он повезет их завтра утром.

— Вы им что-то сказали,—перебил его Дюла. Он готов был рассердиться.

Пройдя еще немного, они повернули назад.

— Я не могу их так оставить.

Багамери молчал.

— И вы бы меня просто так отпустили?

— В гостинице я бы сказал кое-что. Да уж что тут поделаешь.

Кондитерскую все еще не открыли. Хозяин нес ведро с помоями к свинарнику. Завидя их, он вышел навстречу, а ведро так и осталось стоять посреди двора.

— Агика? Спит,—ответил он.

Они сели за стол в саду. На табуретке лежала фотокарточка Агики. Дюла решил сравнить ее со своими. Полез в бумажник, а там оказалось четыре фотографии. По ошибке он захватил со своими одну чужую. Дюле стало неудобно: надо же, сунул в карман совершенно случайно.

— А мы так заметили,—кивнул кондитер. С этой минуты Дюле стал симпатичен этот пузатый человек. Мужчины разглядывали фотокарточки, перекладывая их, словно карты в пасьянсе.

— По-моему, мы очень похожи. Мне тоже тут годика четыре.

Хозяева молчали. Могли бы сказать хоть что-нибудь, но не сказали. Багамери, нацепив, впервые за это время, очки, долго сравнивал два детских личика.

— Да,—произнес он веско,—именно в этом возрасте яснее всего, на кого похож ребенок. Может, зимой напишу об этом в «Ведомости».

Все как будто задумались: почему именно зимой?

— Я только хочу сказать,—вздыхнула наконец женщина,—если мы Агику удочерим, никто больше не сможет ее навещать.

В решительности ее дрожащего голоса слышались любовь и ненависть.

— Тогда я взгляну на нее еще раз,—сказал Дюла и тут же заверил, что вечером уедет.

Девочка заснула прямо в одежде на тахте, где обычно спали хозяева. Женщина сняла с нее ботиночки. В доме было не очень чисто. От тахты, где спала Агика, пахло стариками. Поцеловать девочку Дюла постеснялся. Лишь дотронулся двумя пальцами до детского лба.

В тот вечер он так и не уехал. Адвоката попросил не рассказывать об этом кондитеру и его жене. Весь остаток дня провалялся в номере, глядя в потолок, вместо того чтобы пойти ловить лягушек. Теперь он уже не хотел, чтобы кто-нибудь другой оказался отцом девочки. Выяснись это, ему стало бы тяжело. Нужно будет увидеться с Юльчи. Она одна может разрешить его сомнения. Ерунду говорил Багамери! Все четырехлетние дети одинаковы. Он закрыл глаза, но все равно видел лишь потолок. Есть же еще одно доказательство! Агнеш расплакалась, а ведь раньше с ней такого не случалось.

На рассвете он, разумеется, уехал вместе с адвокатом. Дюла занял адвокату место; тот до последней минуты сдавал в багаж свои ящики с лягушками и в вагон прыгнул, когда поезд уже тронулся. На перроне Дюла заметил кондитера, который козырнул им, приложив руку к шляпе. Увидев Дюлу, кондитер ни капельки не удивился.

До самого Сольнока они говорили о лягушках, о том, сколько можно на них заработать.

— В этот раз у меня королевский улов!—восторгался Багамери. Дюла зевал.

— Ага, чуть не забыл! Мой друг просил передать, что вы, если хотите, можете их навещать. Как дядя Дюла, понятно?

Грустно, однако, все это. Дюла вновь достал фотографии. Оказалось, вместе со своими карточками он опять

прихватил фото девочки.

— Она сказала, что я «икладёт».

— Что-что?

Но Дюла не ответил. Багамери некоторое время смотрел на него выжидающе, потом закрыл глаза, хотя совсем уже рассвело. Поезд проезжал Надькату.

1964

НА КУРСАХ

На областных курсах они сидели рядом. Подглядев в конспекты, сначала узнали фамилии друг друга, а потом, как положено, даже обменялись рукопожатием. В перерыве Фиделмешши уже пробивался к буфету за кока-колой для Марии. Скоро они выяснили, что живут в семидесяти километрах друг от друга, что добираться имеет смысл через областной центр, но удобней всего встречаться здесь, если будет желание, конечно. Хотя бы прямо на вокзале. А еще лучше на телебашне — оттуда весь город как на ладони, да и ждать за чашечкой кофе не так скучно.

— Не зовите меня товарищ Фиделмешши, просто Акош.

Оторвав взгляд от соломинки, через которую потягивала кока-колу, девушка посмотрела на него прищурившись. Лукавство или просто близорукость?

— Идет. Но мне бы хотелось, чтобы вы звали меня не Мария, а как дома — Мария-Йозефа.

— Вы живете дома? То есть, я имею в виду, с родителями?

— Я этого не сказала.

Оба они служили по налоговой части. Акош удивился, что девушка так настаивает на своем полном имени, и вдруг испугался: уж не собралась ли она за него замуж!

— Что-то Мария-Йозефа очень задумалась.

— Это со мной бывает. В наше время и женщина, прожив полжизни, может себе это позволить.

Ответ понравился.

— Значит, вам тридцать три?

— Угу. — Не испугался, душой молодой, он лет на двадцать старше, самое большее, подумала про себя Мария.

После перерыва вводную лекцию они слушали, уже сообщнически переглядываясь и чиркая друг другу в тетради наиболее неуклюжие обороты лектора.

Питание обеспечивал областной совет; на обед был

бульон с тонкой лапшой и мясо по-венски с картошкой. Пообедав, они поднялись на гору посмотреть на затянутый дымкой город. Акош задумался, и девушка — ей так много хотелось сказать — не прерывала молчания: вдруг он думает о ней, о том, какое у нее необычное имя.

— Однажды наш полковник спросил меня в офицерской столовой: «Скажи-ка, господин старший лейтенант, ты действительно умеешь читать мысли, толковать сны и всякое такое?»

Вихрь вопросов поднялся в Марии-Йозефе, но она, подняв голову и глядя на Акоша, с удивлением ждала продолжения.

— Я изобразил скромность, мол, это дело нехитрое, господин полковник. Сон можно даже предсказать. Он торопил: «Тогда скажи, что мне приснится сегодня ночью». — «Сегодня ночью вы изволите видеть во сне, как попали в плен, вас окружают автоматчики, а ноги будто в землю вросли, вы пытаетесь звать на помощь, ведь их не так много, чтобы не вырваться, к тому же они принуждают вас к тяжелой работе, заставляют что-то поднимать. Вам еще тяжелее от того, что некому пожаловаться — эти с автоматами и внимания на вас не обращают, расхаживают себе взад-вперед, будто у них есть дела поважнее». — «Повтори еще раз». Я повторил дважды. «А дальше?» — «Точно сказать не могу. Знаю только, что вы изволите протестовать, ссылаясь на женевское соглашение, доказывать, что офицеров, а тем более штабных, запрещается посылать на работы».

— А потом что? — нетерпеливо спросила Мария.

— Ничего. Утром старик пришел совершенно пришибленный, ему приснилось все, как я предсказал.

— В этом все же что-то есть. Такое не может быть случайно.

— Конечно, не может, ведь шел сентябрь сорок четвертого, и мы отступали.

На телебашне они выпили коньяку. Настроение было совсем неделовое — на вечернюю лекцию пошли только приличия ради, да и то скоро сбежали.

— Мне так весело, вот возьму и навру вам с три короба всякой всячины.

Оба забыли об этом обещании, пока ехали в трамвае к недавно раскопанным и восстановленным остаткам крепости.

— Знаете, почему я развелся с женой? Наверное, не надо бы вам об этом рассказывать. То есть смысла никакого. Она влюбилась не в меня, а в мою автобиографию. Образца сорок девятого года. Хотя написал я чистую правду. Но, пожалуй, вам я все же не стану

рассказывать то, что в то время писал. Начну с аттестата зрелости. В гимназию я ходил из детского дома, а позволялось это только отличникам. К тому же занимался спортом. Это тоже имело значение. Ядро я метал на тринадцать метров, с шестом прыгал на два семьдесят. В седьмом классе был дважды чемпионом кубка средних школ. И вбил себе в голову, что должен стать офицером. Нас ведь «патриотами» воспитывали. Да и кошт казенный. В общем, я подался в Людовику*, и меня уже было приняли, скорее всего, благодаря моим спортивным успехам. Кроме того — я, наверное, уже говорил, — у меня был отличный аттестат.

— Кажется, говорили, Акош. Поднимемся на эту башню, там, по-моему, есть смотровая площадка.

— Что ж, поднимемся... Ну а в августе меня вдруг вызывают. Майор говорит мне: «Плохие новости, мой мальчик, — его высочество затребовал список офицерского пополнения и, кажется, для большинства будет настаивать на подтверждении дворянства». Я ушел как побитый. Директор детдома отдал мне все мои документы, и выяснилось не только то, что я вовсе не Фиделмешши, но и что круглым сиротой остался потому, что моего отца казнили в двадцатом за участие в событиях 1919 года**. Майору я доложил, что дворянского происхождения подтвердить не могу, но офицером хочу быть во что бы то ни стало. Хоть унтером, хоть через Юташ***. Помогите.

— Все это очень мрачно, Акош, и очень похоже на правду. В этом нет никакой житейской мудрости.

— Потому вам и хотелось врать?

Мария пожалела, что прервала его.

— Вы тоже вчетвером живете в комнате? Придем, надо будет проветрить.

— Втроем, но все равно вполне как в казарме. Хотя в позапрошлом году нас поселили в большом классе двадцать человек, и спали мы на железных койках. Знаете, что мне ответил майор (потом-то он стал мне очень симпатичен): «Ты слишком умен, мой мальчик, из тебя не выйдет хорошего унтера. Ты уже знаешь больше, чем положено».

Они и не заметили, что на смотровой площадке уселись спиной к панораме.

* Людовика — военная академия в Будапеште; существовала до 1945 года.

** Имеется в виду Венгерская советская республика.

*** Юташ — пригород г. Веспрем, где находилось военное училище для подготовки младших офицерских чинов хортистской армии и жандармерии, печально известное жестокостью и бесчеловечностью своих выпускников.

— Мне тоже не хотелось бы услышать, что вы попали в Юташ.

— В том-то и дело, что житейская мудрость, по которой вы так скучаете, мне всегда была свойственна. Однажды в седьмом классе учитель закона божьего продиктовал нам: «Слушайся, сын мой, наставлений отца твоего и не забывай поучений матери твоей». Я тогда записывать не стал под тем предлогом, что ко мне это не относится, но с некоторыми поправками усвоил на всю жизнь. Может быть, поэтому майор и обратил на меня внимание и вызвал, хотя вовсе не был обязан этого делать.

— Насколько я знаю, в то время дворянское происхождение надо было подтверждать до третьего колена.

— Только до второго, до дедов. Но для меня тогда главным было дворянство вообще, а эта проблема всплыла позднее.

— Это было ужасно романтично, должно быть. Когда имеешь документы, что круглый сирота, и только от тебя зависит, чтобы родители остались неизвестны, можно объявить себя хоть эрцгерцогом.

— Думаю, не очень много эрцгерцогов-сироток попадало в приюты. А я, хотя и был сиротой, знал, например, имя отца, только выяснилось оно, когда одна из воспитательниц уже назвала меня Акошем по святому того дня, когда я родился, а фамилию дала по выражению моего лица — Фиделмеш, позднее, не знаю уж почему, переименовав ее в Фиделмешши. Моя настоящая фамилия Балог, без всяких «h»*. Да, вы ведь обещали что-то наврать.

— Коньяк уже выветрился, а без него не получится.

— В детском доме ко мне хорошо относились, и тот майор тоже.

Мысли девушки тем временем, словно ручеек, бежали под спудом невысказанных слов и вдруг вырвались наружу.

— В нашем селе положение женщин, служащих женщин, безнадежно. Учительницы даже на работе не имеют возможности общаться с мужчинами. Большинство в сорок-пятьдесят лет еще девушки. И это действительно так. Вы обратили внимание?

— Теперь, когда вы об этом заговорили. У меня нет знакомых учительниц.

— Вот видите! — воскликнула Мария-Йозефа и тут же,

* Фиделмеш (Figyelmes) — внимательный, сосредоточенный (венг.). Вариант Фиделмешши давал основание считать носителя фамилии дворянином. Непроизносимая буква «h» в середине или конце слова также являлась признаком дворянской фамилии.

немного смутившись, вернулась к прежней теме.— Но вы все же достигли своей цели, стали старшим лейтенантом.

— Если бы действительно достиг, к концу войны стал бы майором.

— Вас это огорчает?

— Ну что вы. А зависело все только от одной поездки. Я рассказал кому-то о своей молитве за сирот: «Тот творит справедливость во веки веков, кто в дом свой или в сердце свое примет сироту». Не думаю, чтобы то был майор, но он сказал мне: «Все равно сейчас каникулы, поезжай-ка в Береттёуфалу — если не сваляешь дурака, добудешь там дворянскую грамоту комитата Бихар. Большая часть Бихара отошла к Румынии, проверять не станут». Да только у меня даже на билет денег не было.

Ужинали они вместе, молча съели выданное на талоны жаркое.

— Вы обижены на меня за что-то, Акош, или задумались?

— Молчание — защитная стена мудрости.

— Почему вы мне это говорите, — недоуменно спросила Мария, — считаете меня такой глупой?

— Напротив. Вернее, совсем по другой причине. У меня обычай дарить на прощание тем, кого уважаю, какой-нибудь афоризм, который долго помнился бы.

— Курсы закрываются только завтра вечером! Ах да, понимаю. Вы уже прощаетесь со мной. Но вот что все-таки не понятно: зачем вам понадобилось разводиться с женой?

— В шестидесятом для нее уже не имело никакого значения, что вырос я в детском доме и что мой отец погиб за советскую республику... Ну, так как же с враньем?!

— Ох и упрямый же вы! Ладно, после третьего стаканчика!

Они чокнулись.

— А то, что вы старший лейтенант?

— Этого ей уже было мало.

Вот-вот хлынул бы целый поток вопросов и объяснений. Оба замолчали.

— Акош, вы не находите ничего особенного в моей фамилии?

— Оршич. Южнославянская. Постойте, я знавал одного прапорщика, но он... он был граф.

— Это мой дядя, Альфонс. Но наша ветвь была еще беднее. Мой отец уже во время войны с гордостью говорил, что наши предки были не только разбойниками — графский титул они получили от Габсбургов за партизанскую борьбу еще против турок.

Акош, вероятно, почувствовал себя вправе разговаривать с Марией резко, даже слегка свысока.

— Только не ждите, чтобы я пал перед вами ниц. Или, пардон, обомлел. Ваш дядюшка, насколько я помню, отправился на фронт до локтей унизанный наручными часами и только и глядел, как бы не пропустить ни одной толкучки, чтобы выменять на них иконы. А когда выяснилось, что консервы идут лучше, обворовал солдат.

Мария-Йозефа от души расхохоталась.

— Похоже, очень на него похоже!

— Коли пришло время лисицы, что делать, и перед ней встань на колени.

— Опять ничего не понимаю.

— Я сказал это в офицерской столовой, когда бригаду принял новый командующий. Сказал громко, чтобы и он слышал: поговаривали, что он не любит немцев. Тогда он ничего не ответил, опешил. Но на следующий день, слышу, спрашивает, кто это сказал вчера насчет лисьего времени. Через неделю я попал в штаб, а месяц спустя весь мой батальон погиб.

Они нехотя брели к ночлегу, в свои комнаты на троих и четверых. На узенькой улочке Акош обнял девушку, уткнувшись лицом ей в шею. Мария-Йозефа дрожала. Надо было отвлечь, успокоить ее.

— И все же о чем вы хотели мне врать?

— Про Оришича. Не окажись вы однополчанами, мы бы очень весело над ним посмеялись. Я бы много всего наплела вам, чтобы вы не говорили потом, будто я что-то утаила.

Акош, словно в благодарность, крепко обнял девушку.

На следующий день вечером по программе была заключительная лекция и вручение каких-то почетных грамот. Им очень хотелось сбежать, но нельзя было.

— Положение учительниц в провинции необычайно сложная, неразрешимая проблема,— шепчет Акош во время лекции,— даже медицинская. Необходимо заняться ею всерьез, может быть, и через печать. И вообще, разрешима ли она, как вы думаете?

Мария-Йозефа растроганно кивает.

Потом Фиделмешши открыл новую страницу в тетради и написал: «Как поживает Альфонс?» «На запад укатил»,— написала и Мария под его вопросом; они улыбнулись своему первому общему творению, и Мария продолжила: «Умер четыре года назад».— «Наследство оставил?»— «Алименты на троих детей, наскучило, видно, не платить».

Пожатие руки под скамьей: ничего, не беда.

За обедом Мария заявила, что главное препятствие

процветанию человечества, по ее мнению, отсталость женщин и то, что они полны предрассудков. Это означало, разумеется, что она, коль скоро распознала беду, тем самым и преодолела ее.

Перед заключительной лекцией какой-то товарищ из столицы, как позднее выяснилось — заместитель министра, вручал почетные грамоты и дипломы, а к ним еще и конверты. Торжество застигло трудящихся врасплох. В таких случаях награждаемых ради экономии времени обычно сажали ближе к проходу. На этот раз все случилось иначе. Мария-Йозефа видела, что Фиделмешши как раз начал разбирать свою самописку, когда прозвучала его фамилия. Прошло довольно много времени, пока Акош очнулся, поднялся с места и выбрался в проход, чтобы пройти на сцену. А заместитель министра уже хвалил его за успехи в работе и еще продолжал говорить, когда долго тряс ему руку, хотя виделись они впервые. Благодарить полагалось тихим, дрожащим голосом. Акош же громко произнес в микрофон:

— Не стоит так щедро хвалить! Не вся похвала — в глаза, главная — за глаза!

И он решительно протянул руку за дипломом и лежащим рядом конвертом, нисколько не заботясь о том, желает ли заместитель министра что-либо добавить к сказанному.

Все взоры были обращены на Фиделмешши, пока в мертвой тишине он пробирался на свое место и пока не стихли с опозданием раздавшиеся аплодисменты; долго смотрел на него и государственный секретарь, лишь после долгой паузы произнес он следующую фамилию.

Хотя произошло это у всех на глазах, никто не посмел вести себя так же.

Мария-Йозефа, возможно умышленно, на несколько мгновений позабыла о приличиях и, словно подражая государственному мужу, долго жала Акошу руку. А потом спросила шепотом:

— А если вас переведут в министерство? Согласитесь?

Фиделмешши пожал плечами, укрывшись за защитной стеной мудрости.

1965

ЧЕРЕЗ ПЯТЬ ЛЕТ

За месяц до свадьбы они блаженствовали в саду у Петера: в разгар рабочего дня одни валялись на траве.

предаваясь после экзаменов приятному ничегонеделанию. На парне были короткие брюки, на девушке—летняя юбка. Они глядели в небо, и девушке хотелось положить себе на колени его голову.

— Ты меня любишь?—спросила Гермина.

— Откуда я знаю?

— А ты не чувствуешь?

— Для этого прошло еще слишком мало времени.

— Да для этого и одной минуты достаточно!

— Кому как.

У девушки на глаза навернулись слезы.

— И так будет всегда?

— Да,—флегматично отвечал парень, и они замолчали. Но надолго ее не хватило.

— Помнишь, как ты спас меня?

— Ничего я не помню!

Тот день Гермина считала началом их брака, а Петер—лишь день обручения, которое состоялось месяц спустя.

А сейчас у них была пора помолвки. К вечеру вернулись с поля родители Петера; мать его, как обычно, стала готовить цыпленка, и молодым людям, весь день пробывшим вместе, пришлось разойтись: Гермина спала в светлице, а Петер, насупившись, побрел в душный от испарений хлев.

Родители Петера с первой же минуты одобрили этот брак, но отчим Гермины, Тодор, и слышать о нем не хотел. Сам он женился на вдове, много старше его, с тремя детьми. В ту пору Гермине было девять лет, и Тодор, вошедший в семью перекупщик, мог изумленными глазами наблюдать за развитием стройной, как тополь, девочки. Что он и делал, подсматривая за занавеску, когда она мылась в чулане. И неизвестно, к чему бы это привело, если бы его жена не приглядывала за ним. Поэтому и встала она на сторону Петера, и поэтому-то и возражал против него Тодор.

За две недели до свадьбы парень вечерним поездом приехал в Угру. Все уже спали, и ему пришлось стучаться. В окно выглянул Тодор:

— Кто там барабанит?

— Мне нужно Гермину. Я не барабаню.

— Заткнись!

Петер из приличия промолчал, а Тодор все не отходил от окна.

— Гермина!

— Не ори! Ее нет дома.

Но изнутри слышались шаги и плач.

— Не верю.

— Что я тебя, обманываю?!

— Завтра утром я иду на медкомиссию, в армию!

Наступила тишина, как будто приход новобранца подействовал и на отчима. Петер побрел назад, на станцию, ведь ему только и нужно было, что сказать о медкомиссии. Влюбленные расстались так, словно никогда больше не увидят друг друга и словно и на этот раз вовсе не жестокий отчим помешал их встрече.

Комиссия признала Петера непригодным к службе, после того как он полдня прождал, пока его вызовут на осмотр. Растерянный, вышел он из кабинета, не осознавая, что все окончено.

А теперь что же? Хорошо еще, что он от нечего делать купил местную газету — сейчас, в который раз, он снова стал просматривать ее, хотя и прочитал от корки до корки. Но теперь в глаза ему бросилось одно объявление: «Сельскохозяйственному кооперативу в Кишкунтаркане требуется молодой агроном. Жилье предоставляется».

Как будто его призвали в армию и он немедленно должен становиться под ружье, Петер не поспешил с вестью ни домой, ни к Гермине, а отправился прямо в Таркань, в хуторской центр, со справкой о непригодности к военной службе (худой, малокровный), с дипломом об окончании техникума.

Геза Гудулич, коренастый председатель, то разглядывал диплом, то смотрел на покрытое пушком лицо агронома.

— Женаты?

— Да.

— Кто ваша жена?

— Домашняя хозяйка.

— Ей тоже можно подыскать работу.

— Не сейчас.

— Не сейчас?

— Она ждет ребенка.

— Ах вот что!

— А жилье? Где мы будем жить?

Кооперативу очень нужен был агроном. Поэтому Гудулич не стал больше разговаривать, схватил шапку и повел Петера туда, где находились давяльни и винные подвалы, извилистыми дорожками в сторону виноградников. По дороге он задавал ему вопросы по специальности — об обрезке винограда, о правилах подкормки. Молодой человек выдавал профессиональные ответы.

Они остановились перед двумя расположенными на склоне холма домами.

— Вот здесь.

Два строения, двор общий. Более старое заселено. То, что поновее — комната, кухня, кладовая, — пустое. В первом обитает угрюмая престарелая пара, обоим за семьдесят. Петеру очень понравилось на новом месте. Возвращаясь назад, он насвистывал. Его хорошее настроение передалось и председателю.

Свадьбу справили без ведома Тодора. Мебель им дали родители Петера. Гермина принесла от матери лишь кое-какую посуду. Гудулич посмотрел содержимое машины, на которой они переезжали (ее дал он), и прислал им из кооператива недостающие предметы — стол, скамью, печку в комнату.

Гудулич заметил — Петер знает много, но организовать работу не умеет.

— Не могу я ругаться.

— Я не про то говорю, чужак-человек! В бригаде нужно уметь распорядиться — тому показать то, другому это! Понял? Надо научиться!

— Я умею.

— Ничего ты не умеешь. Ты даже не знаешь, как нужно обращаться с людьми.

— Положитесь на меня, дядя Геза.

— Ты даже пастушонку не решаешься сделать замечание!

— Потом, потом. Дайте мне, пожалуйста, пять лет. За пять лет я...

Петер имел в виду, что за этот срок наберется опыта. Выяснилось, однако, что, как бы ни был он силен в теории, применить его знания на практике Гудулич едва ли сможет.

Стояла осень. Приближалась зима.

— Не скучно вам в вашей глухомани?

— Нет.

— А то пришли бы в центр, посмотрели телевизор, потанцевали.

— Не хочется.

Нет так нет. Гудулич не настаивал. Но вот работа. В общем-то, работы убавилось, но председателя удручало то, что этот неопытный парнишка превращается в бездельника, здесь, у него под рукой, на его глазах.

— Вот ты сейчас пришел из техникума. Осмотрелся, обжился тут, знаешь свои возможности, слышал, какие у нас соображения насчет трех тысяч хольдов. Принимайся

за дело, составь план на будущий год.

Петер краснел, бледнел, готов был пойти на попятный—но и доверию радовался.

— Тут, в конторе, теплое помещение, до конца февраля оно свободно. Садись, дружок, и работай!

Петеру хотелось сказать «пять лет», однако он принялся за план и несколько дней складывал на столе бумаги и делал заметки.

— Дядя Геза, позвольте мне закончить работу дома.

Гудулич изумленно вскинул брови, но тут же вспомнил о беременной молодой женщине.

— Ну конечно! Я не возражаю. Работай дома. Но давай о себе знать.

Прошел целый месяц, а от Петера не приходило никаких вестей. Тогда Гудулич натянул сапоги и побрел на хутор.

Только теперь он впервые разглядел хрупкую, с кроткими глазами молодую женщину.

— Да вы одногодки,— заметил председатель, расположившись на кухне.

— В комнате топим только к вечеру,— пояснила хозяйка, вытирая для гостя табуретку.— Мы с Петером вместе учились в техникуме.

— Вы тоже агроном?— изумился Гудулич.

— Меня зовут Гермина. Зовите меня просто Гермина.

Председатель понял, что задал вопрос неудачно и поставил в неловкое положение и себя, и молодую женщину, которая так мудро несет бремя супружества.

— Вот выпадет снег, и за окном будет очень красивый вид.

Потому что в дневные часы жизнь проходит в теплой кухне, за тремя столами. За первым, погружившись в заботы о трех тысячах хольдов, работает Петер. За вторым готовится обед и ужин. На третьем столе покоятся книги Гермины, ее знания по сельскому хозяйству, которые неведомы даже председателю.

— Петер, принеси немного дров.

Муж краснеет и идет за дровами.

Гудулич доволен, что парню дают и такие распоряжения. Но нужно спросить и о чем-нибудь приятном.

— На каком вы месяце?

Она ужасно смущается, опускает голову и молчит. Гудулич спохватывается— снова он задал вопрос неудачно.

— Простите, простите. Когда вы ждете маленького?

— Мы еще не знаем,— поспешно отвечает Гермина, давая понять, что не обиделась.

— Да как же это так? У меня у самого трое детей, и

всякий раз жена с точностью до дня могла сказать время родов. Возможно ли, чтобы вы, образованная женщина, и не знали?

— Вот и возможно,— отвечает, сверкнув глазами, Гермина,— потому что я вовсе не беременна.

Петер принес дрова и пожаловался, что ни одной ночи не проходит без того, чтобы вокруг винных подвалов не орали пьяные.

Этим он давал понять, как трудно ему работать в таком шумном месте.

Прошло еще несколько недель, пока наконец Гудулич снова решился пойти и узнать про план. Но Петера за столом не оказалось.

— Он поехал в Сольнок, купить немного мяса,— сказала Гермина, отложив книгу.

— Что вы читаете, Герминка?— мягко, хотя из-за агронома он весь кипел от злости, спросил председатель, а сам был уверен, что молодая женщина коротает время за каким-нибудь романом.

— Курс орошения,— перевернула книгу обложкой Гермина. И видно было, что ее удивил и гость, и его вопрос.

От такого ответа Гудулич почти позабыл свой гнев и, пожалев, что не застал дома главу семьи, собрался уходить. Но Гермина так истосковалась по человеческому слову, что тут же завела разговор о самом невероятном приключении в своей жизни.

— А вы слышали, как Петер спас меня, когда я тонула в Тисе?

— Нет, от кого бы я мог слышать?

— Дело было в этом году на пасху. Мой отчим никого не пускал к нам с поздравлениями. Но Петер и не собирался приходить. Он ведь такой гордый! Мы с ним договорились встретиться у моста. Никуда ты не пойдешь, сказал отец. А я оделась тайком, прямо в выходном платье перелезла через забор в дальнем конце сада и помчалась к мосту. Поезд уже пришел, когда я прибежала туда, но Петера нигде не было видно. Мне стало так горько, что я поднялась на мост и прыгнула с самой середины. А Петер тем временем ждал меня на берегу, думал, заметит, когда я пойду по мосту, но проглядел. Только увидел, как я прыгнула в воду. Он скинул пиджак, ботинки и бросился за мной. Вода была очень холодная, и я пожалела, что прыгнула, но было уже поздно. Так, в одних носках, понес меня Петер домой на руках. Какие-то дети несли за нами его пиджак и ботинки. Я была в

сознании, но долго делала вид, что не пришла в себя, потому что отчим избил бы меня. Петер тогда два дня оставался у нас, и мама очень полюбила его. Но отчим заявил: чтобы ноги его здесь не было. Так и вышло.

И я это наперед знала. И то, что осень и зиму мне придется провести дома. Ведь я потому и бросилась в воду, что думала — Петер обманул меня.

Гудуличу нравилась искренность молодой женщины.

— Вы бы приходили вечером в центр, посмотреть телевизор, потанцевать.

Но Гермина ничего не ответила на это, и было ясно, что не от нее зависит, как им проводить вечера.

Выпал первый снег, и Гудулич уже предчувствовал, догадывался, что ему самому придется делать годовой план, ведь вот даже ехать в Ниршег, правдой и неправдой добывать семенной картофель, должен он. Но при этом ему не хотелось задевать самолюбие молодого супруга, «теоретического хозяина»; он считал, что ему лично следует ввести парня в практическую жизнь. А практическая жизнь сейчас был Ниршег, куда Гудулич вместе со старшим бухгалтером отправлялся за семенным картофелем. Он известил Петера о поездке.

Рано утром Петер появился на станции, в полушубке. Он не понимал, для чего ему нужно ехать. Перед билетной кассой они выпили наливки, и больше Петер уже не задавался этим вопросом. Поездка за картофелем продолжалась четыре дня, и в конце концов оказался полезным и он.

На одной из станций они провели нелегкую ночь в нетопленном мягком вагоне, так как нигде не устроились на ночлег: поздно прибыв сюда после дневных скитаний, они, из соображений экономии, не очень-то и хотели ночевать в другом месте. Но им пришлось пожалеть об этом, потому что весь свой запас палинки они израсходовали, чтобы согреться. У старших, конечно, ни в одном глазу, но новичок агроном уснул, повалившись на сиденье, и спал как мертвый, пока его не разбудили к отправлению поезда.

У них было всего одно покрывало, и старшие отдали его Петеру. Впрочем, им все равно не удалось бы уснуть.

После первого глубокого сна парень всхрапнул, перевернулся и заговорил. Из слов его, произносимых во сне, ключом бил страх, и Гудуличу с бухгалтером нужно было очень внимательно вслушиваться, чтобы разобрать, чем напуган Петер.

Он боится за Гермину. Ревнует ее. Очень ревнует. «Не

отрицай! Не отрицай! Он опять был здесь!» Непристойными словами ругал он жену. Потом ругал весь свет. Снова повернулся на узком диванчике, дохнув перегаром, пробормотал что-то невнятное и снова принялся обвинять и ругать Гермину. «Не отрицай! Председатель опять приходил! Куда ты его спрятала?»

Хохотал Гудулич, смеялся и бухгалтер, из-за протеза стараясь не открывать рта. Он и спать-то не ложился на самом деле потому, что боялся во сне выронить протез.

К рассвету, когда пьяный угар понемногу рассеялся, порядком остыл и гнев Петера: «Не сердись, деточка! Я знаю, что виновата не ты!»

Когда они пересели на свой поезд, то ничего не сказали Петеру, хотя и не договаривались молчать.

А Гудулич все тянул да оттягивал с тем, чтобы отобрать у молодого специалиста порученное дело, и наконец решил оставить на после Нового года. В середине декабря он передал Петеру, что тот обязательно должен прийти на новогодний праздник.

Раз уж приказано—делать нечего. Вот и привел Петер—с гордостью и чувством превосходства—свою стройную, как тополь, жену. Она и сейчас не ждет ребенка, определил председатель. Только с Петером он обменялся рукопожатием, чтобы не возникло или не усилилось подозрение. И вообще он был очень тактичен с молодыми супругами, которые, хоть и с трудом осваивались в обществе, впрочем, хорошо чувствовали себя друг подле друга.

К ночи бухгалтер здорово накачался, и тут у него неожиданно обнаружились скрытые актерские способности. Не заботясь о том, как фальшиво щелкают его зубы, демонстрировал он свое умение. Это был человек пожилой, поэтому и программа его была старой, давно заученной программой на случай опьянения. А когда она иссякла, он—несомненно, совершенно бессознательно—разыграл спящего мужа, подозревающего свою невинную жену.

К счастью, никто, кроме председателя, не узнал Петера. Только Гермина опустила глаза да Гудулич, который все-таки не мог удержаться от смеха.

Тогда Гермина встала из-за стола и, взяв Петера за руку, молча увела его. Как мать своего ребенка.

Никто больше не видел Петера и его жену. Они удалились по-английски, и лишь спустя неделю стало известно, что домик опустел. В остывшей кухне на взятом в кооперативе столе остались бумаги с набросками плана.

А потом через месяц пришло письмо:

«Через пять лет, если будем живы, я вам его покажу».

Только летом Гудулич узнал, что Петер устроился на работу в родной деревне, без трудовой книжки, бригадиром рабочего звена. И тогда он написал ему ответ: «Жду тебя через пять лет». И послал трудовую книжку.

1965

ФАЗАН, ЖЕНИХ

Бора в третий раз приступала к делу.

— Нечего воду в ступе толочь. Скажешь просто, мы с Борой... словом, решили пожениться. И дело с концом.

— И все?

— А что еще? Мама и так обо всем знает.

— А если она что-нибудь спросит?

— Да не станет она ни о чем спрашивать, в крайнем случае спросит: когда? Тогда скажешь: чем скорее, тем лучше.

Фазан был на удивление разговорчив. Вопросы так и сыпались из него. Что случалось редко.

— И она поверит?

— А что ей не верить? Ведь это правда.

В воскресенье Фазан приехал в Оласи. Утренним поездом, и одно только это казалось ему огромной жертвой. Покумекал о том о сем со стариками и отцом Боры, то есть с Габором, так как тот был неродной отец. И его тут же, чтобы преодолеть неловкость, принялись усаживать за стол, покрытый зеленой узорчатой скатертью. Бора принесла вино и содовую. Выпили по рюмке.

— Я вижу, вы не знаете, как ко мне обращаться,— после почти двадцатиминутного молчания вздохнула мать,— называйте меня просто тетя Марча.

Это была хорошая завязка для любого разговора.

— Только не мамаша. Тетя—и все. Не очень приятно, когда тебя в тридцать восемь лет называют мамашей.

Фазан не заинтересовался темой. Он обнаружил на скатерти спичечный коробок и стал щелчками подбрасывать его. Перевернувшись три-четыре раза в воздухе, коробок падал на скатерть этикеткой вверх. Ну не всегда, конечно, однако часто.

Габору женщины сказали: молчи и даже рта не раскрывай, по крайней мере до тех пор, пока со сватовством не будет покончено. Ему как неродному отцу не положено лезть со своим мнением. А теперь пришлось бы

кстати, если б он все-таки заговорил.

— Мы с мужем одного года, странно мне было бы слышать: мамаша!

Фазан поднял глаза, словно хотел удостовериться в правильности замечания насчет возраста. Но коробок подбрасывать не перестал.

Уже давно подошло время готовить обед. Однако тетушка Марча все тянула, надеясь, что парень вот-вот приступит к объяснению.

— Знаете, как поступил отец Бору, когда познакомился с моими родителями?

Этого Габор не пожелал слушать, вышел из комнаты. Марча спохватилась: дальше-то она не может рассказать.

— Папа, папа,—смешавшись, прокричала она в сторону кухни и коридора,—что же вы не идете?

Снаружи отозвался голос Габора:

— Мы на матч пойдем, ко второму тайму как раз успеваем.

На межобластных соревнованиях оласийская команда боролась за второе или третье место. Встречи должны были состояться в воскресенье утром.

Фазан отложил коробок. Встал, потянулся, одернул брюки.

— Семь из восьми верняк.

— Что вы сказали?—изумилась Марча (никогда она не могла понять ход мысли у мужчин, что молодых, что в возрасте).

— Пожалуй, и я не откажусь,—разболтался вдруг парень. С тем и вышел.

Тут только к Марче вернулась способность соображать: может, и хорошо, если мужчины все уладят во время матча.

— Вы уж там половчее как-нибудь, папа,—прошептала она на ухо старику Рокушу.

И с мачехой—поскольку с прошлого года она тоже стала падчерицей—пошла готовить обед.

Куриный суп, рис с потрошками и помидорами—такая была задумка.

Уже и печенье подрумянилось, когда вернулись те четверо. Бора, понятное дело, тоже с ними ходила.

Гости выиграли со счетом пять—четыре, но по лицам Марча поняла: сватовство не состоялось.

Все сосредоточенно жевали, с трудом сдерживаясь, чтобы не чавкать, особенно болельщики.

Вскоре после обеда Фазан заторопился на поезд. Обронил коротенькое «до свиданья» и был таков.

Бора учинила головомойку дважды. Сначала матери, почему она хотя бы не спросила: что вас привело к нам?

Как твой приятель, Бора, стоящий парень? А на другой день Фазану, за то, что он такой недотепа.

— Твой отец что говорил?

На этот вопрос Бора не могла ответить.

В следующее воскресенье Фазан опять приехал с первым поездом. Все спички спрятали. Марча в субботу отказалась поделиться с дочерью воспоминаниями о том, как делали предложение в ее время. И всем остальным тоже запретила. Жена старого Рокуша (тетя Эржи) то и дело подносила руку ко рту: чтоб не проговориться—уж так хотелось поведать эту историю, но увы. Борике такого знать не следует.

На стол выставили ром. Но Фазан и его не очень-то пил, правда, первые две рюмки опрокинул разом.

Запустил руку в карман. Вынул спичечный коробок и, держа его перед собой, виновато посмотрел на Марчу.

— Пожалуйста, пожалуйста, не стесняйтесь,— улыбнулась та, и парень принялся щелкать.

Под ходиками теперь вместо Габора сидел Рокуш, родной дед как-никак, у него право голоса в любом деле.

— С чем пожаловали, молодой человек, что вас к нам привело?— Голос Марчи с каждым словом становился все тише.

В промежутке между щелчком и падением коробка Фазан поглядел на тетушку Марчу, после следующего щелчка—на Бору.

— Вот уж ровно неделя, как мы того классного цыпленка ели.

— Сегодня будет шницель,—вздыхнула мать,—из свинины.

Бора залилась краской—так бы и убила обоих.

— У меня алле-грия сделается, если я еще секунду вас послушаю. Кстати, мама, Фазан всю неделю приставал ко мне с вопросами, как папа делал тебе предложение. Ему для примера нужно. А ты все отмалчиваешься. Тетя Эржи тоже, сколько я ни спрашиваю, закрывает рот руками.

— У нас в семье об этом не принято говорить.

В голосе Рокуша прозвучали укор и предостережение. Фазан лишь вскинул брови:

— Опережение зажигания, так, что ли? И на старуху бывает проруха.

Тетушка Марча пошатываясь вышла.

В свое время отобедали. Фазана никто не торопил. Но и не упрасивал остаться. Он как раз успевал на поезд. Бора пошла провожать.

— Что же теперь будет?

— А что?

Вновь он заговорил только на станции:

— Мутер у тебя первый сорт. Готовит классно.

Этого Бора не могла стерпеть.

— Ей тетя Эржи помогает. Она была поварихой у Пургли.

— А-а...

— Спорим, ты не знаешь, кто такие Пургли?

— Ну?..

— Родители губернаторши.

— А-а...

Фазан сел на поезд. До отправления оставалась минута. Он высунулся из окна. Опережение зажигания, припомнила Бора. Она помахала парню—нагнись. И влепила ему две здоровые пощечины. Поезд тронулся. Фазан побоялся прыгнуть, чтобы потребовать объяснения.

Дома старики сделали вид, что смущены. Но не переставали бубнить:

— Второй раз у нас обедает, ест в свое удовольствие и даже не поблагодарит как следует. Что у него, язык отвалится два-три вежливых слова сказать? Оскорбить—это он умеет!

— Мое дело сторона, я ни во что не вмешиваюсь. Но будь я на вашем месте, я бы спросил у него: вы, молодой человек, кроме как коробки подкидывать, что-нибудь еще умеете делать? Неделя, как я за ним наблюдаю, ему даже футбол неинтересно смотреть.

— Мы же только второй тайм видели,—пробурчал старый Рокуш.—И команды ему не знакомы. Мне тоже было не очень интересно, когда я возил Пургли на конные состязания в Мезешедеш. Ни лошадей, ни наездников я не знал. Да и видно, что парень молчун.

Раздался, впрочем, еще один голос в защиту:

— Послушай, Маришка, ведь еще в наше время—когда мы с твоим отцом были молодые—первый ребенок в каждой семье рождался пятимесячным. И ничего такого. Как это он сказал?

Но никто не хотел вспоминать оскорбительные слова.

Отстаивая честь жены, Габор продолжал нападать на жениха.

— А чем он занимается? Верно, бездельничает? Пижон какой-нибудь?

— Он маляр. С его стороны страшная жертва тратить на нас воскресенья. У него в это время сверхурочные.

Габор сделал вид, будто этого, самого важного, сообщения он не услышал.

— И что за имя такое—Фазан? Это фамилия?

— Нет.

— Имя?

— Нет.

— Ну вот. У него что, имени нету? Или ты не знаешь?

— Знаю. Его фамилия Валентини.

— Ага, а имени нет?

— Есть.—Тут сердитое сопение Боры перешло в хихиканье.—Кажется, Эрне... Или что-то в этом роде.

Марча и Габор помрачнели. Нет ничего хуже легкомыслия. Рокуш признался:

— В наше время молодежь тоже такое творила, что старики только ахали: жди конца света! И кто бы мог подумать, Эржике, что мы с тобой через пятьдесят лет снова будем вместе.

Вопреки всему Фазана удалось заманить и в третий раз. Об оплеухах он даже не вспомнил. Когда над зеленой узорчатой скатертью взлетел специально оставленный на столе новешенький коробок, Бора решительно прихлопнула его:

— Выкладывай, что хотел, а то не дам играть.

Довольно неожиданно вышло.

— О чем это вы?—поспешила на помощь Марча.

— Да вот мы с Борой... Бора и я...

Тетя Эржи всплеснула руками.

— Нашей Борике делают предложение,—прокричала она в коридор.—Ты слышишь, Рокуш, Фазан хочет жениться на нашей Борике!

Итак, с делом было покончено, и ничто не мешало взяться за приготовление обеда.

— Мне Бора наплела, будто не тетя Марча готовит ваши классные обеды.

В порядке опровержения пришлось выслушать в тени дикого винограда историю замужества тети Эржи.

— Меня родители не отдали за того, кого я любила: он уже соблазнил одну девочку—да туда ей и была дорога. А мы по-настоящему любили друг друга. Но так ничего поделать и не смогли. Я тогда говорю матушке: если не отдаешь меня за того, кого люблю, пойду за первого, кто посватается, хоть за цыгана. И вот на троицу пришел один смирный парень из Мезешхедеша, с прядильной фабрики, утром только переступил порог, а в обед и говорит: иди за меня замуж, Эржебет. Согласна, говорю. Записались, трижды объявили помолвку да в том же месяце и свадьбу сыграли. В воскресенье. А в понедельник утром муженек мой отправился на работу, на фабрику. Я, известное дело, приготовила обед, жду его, дожидаясь. Уж все соседи пришли, а его все нет. Вышла на улицу, опять жду. Нет и нет. Вдруг вижу, идет какой-то человек в плохонькой шляпчонке, волосы из-под нее торчат... Я его спрашиваю: не видал ли, добрый человек, муженька моего? А он так пристально на меня

посмотрел, не узнаешь, говорит, меня разве, Эржебет? Да, сынок, такой человек был мой первый муж, что скажи я ему: сиди здесь — так он сядет и сидит. Но я и через четыре месяца все еще могла в миртовом венке красоваться. Потом, когда разошлись с ним, я нанялась поварихой к Пургли, у них тогда кучером служил тот, кого я любила. Уже женатый он был. Ну, дальше-то я не стану рассказывать, скажу только, что к тому времени у него уже был ребенок, который, как водится, родился пяти месяцев.

1966

НАСТОЯЩИМ ПОРУЧАЕТСЯ...

Арпаду — двадцать один год, Антонии — девятнадцать, Питю сравнялось шестнадцать.

Почему я называю младшего домашним именем, если им я больше всех недоволен? Иначе его от меня не отличишь. Стоило жене в последнее время позвать: Пишта, и что же — откликаются сразу двое. В другой семье не упустили бы случая пошутить, но у нас теперь чуть что — сразу ссора. Супруга моя только и ждет повода.

Но вот уже три недели все спокойно, с тех пор как я съехал с квартиры. За день до этого Питю заявляет матери: «Вырасту и убью отца».

Я из ванной каждое слово слышал. Хлипкий очкастый последыш! Против родного отца пошел. А ведь в тот день мы с женой даже не ругались.

Я уже высказывал тебе свои соображения насчет того, как современный человек может сохранить работоспособность, — про сбалансированный образ жизни. Это касается только мужчин. Суть в следующем: каждые семь лет вкус человека в корне меняется, и если не приноравливаться к нему в любовных отношениях, то мужчина теряет силу воли, дееспособность и становится бесполезным на руководящей должности. Ты сам видишь это на каждом шагу, мне не нужно тебя убеждать. А дело в том, что далеко не все пользуются преимуществами нашей системы. Очевидно, не осознали закономерностей. Я и сам, честно говоря, не помню, когда во мне зародилась эта идея семилетнего цикла. Может, слышал от кого. Но я уже давно пропагандирую ее как собственное социологическое открытие. Настоящий мужчина не станет разглагольствовать о любви. Особенно о любви, завершившейся браком. В сорок

пятом все женились по любви.

Мы отдыхали на Балатоне, в Алмади (наш ведомственный дом отдыха), жена то ли носила, то ли кормила Антонию, и вдруг однажды она мне говорит: «Ты только посмотри, какая девушка. Какая фигура! Вот бы и нашей такую». (Мы тогда еще любили поделиться мнением, обсудить то да се.) Фигурка действительно была на загляденье: словно литая, в цельном купальнике... Поверишь ли, у меня даже сердце екнуло. Навел справки, какая-то Эстер из технического отдела. Прошел год, жена жалуется: «Сегодня опять беседовала с твоей секретаршей, а как зовут, не знаю». Эстер, говорю безразлично. Ведь ей невдомек, что сама же мне ее и указала. И потом при встрече в одежде тоже не узнала, но к тому времени Эстер уже была не та.

Я не против, если ты используешь мою теорию о семилетнем цикле в нашем деле, а можешь в каком-нибудь другом. Пошел третий год с тех пор, как Эстер стала для меня самым дорогим сотрудником, когда я начал замечать перемену. Не только в ней, в себе тоже. Мои потребности изменились. То, что раньше нравилось, теперь никак не трогало, я просто недоумевал. А то, на что прежде не обращал внимания (какие-то слова, жесты), неожиданно доставляло такую радость, что я только диву давался. На первых порах. Пока не вывел закона: с течением жизни мне для роста, чтобы держать определенный профессиональный уровень, постоянно нужны свежие впечатления, новая пища для души. Опять же чисто по-человечески — чтобы наращивать свой внутренний потенциал, не потерять способности создавать новое.

Когда я послал Эстер к косметологу, я все это уже отлично понимал. Немногим позже — примерно на пятом-шестом году наших отношений — у меня появились такие мысли: чтобы остаться порядочным человеком, есть только один путь избавиться от Эстер, прежде чем взять новую секретаршу, — жениться на ней. Однако двоеженство у нас, к сожалению (я вовсе не шучу), не принято. В крайнем случае оно практикуется после развода. Но я и не думал разводиться. Тогда только-только появился Питю, и я ни за что на свете не стал бы тревожить жену, наслаждавшуюся семейной гармонией. А она и не замечала — точнее, они, потому что Эстер тоже не замечала, — что я по уши влюблен в Хелену Штрац, о которой раззвонил, что она протеже генерального директора и ее нужно куда-нибудь пристроить. Но это уже случилось — опять же немногим позже, точно на седьмой год. Итак, Хелен. Хороша ли она? Господи всемогущий, как... (Ты скажешь, не объясняй, я и так постоянно вижу ее в твоей

приемной. Э-хе-хе, ты видишь то, во что она превратилась. Ты даже представить себе не можешь, какой она...) Впрочем, очки она уже и тогда носила, правда только когда читала или писала. Помню, снимет их, чтобы посмотреть на тебя, и чуть прищурится. И как бы слегка улыбнется. А мягкий палочкий выговор! Очки делали ее такой домашней: Питю тоже с самого детства носил очки, и они ему очень шли. Вернее, им. А в лавине белокурых волос Хелен мне виделся жидкий пучок жены, и это только укрепляло меня в моей решимости.

Мне тогда на голову свалился инженер-конструктор из сегедского филиала. Этаким хляк. Все носился с изобретениями, усовершенствованиями и жаловался, что ему не дают хода. Не человек, а заноза. Вскоре я стал замечать: стоит ему увидеть Эстер, так сразу глаза в пол и слова из него не вытянешь. Не знаю, в который раз он ошивался в моей приемной и долго ли, только Эстер вдруг вошла и просит: «Прими, дорогой, этого типа, я из-за него не могу поестъ, так в рот и смотрит».

Пока он входил, я хохотал. Но ему со всей серьезностью говорю: поймите, мол, у меня нет привычки вмешиваться в личные дела сотрудников, но я хотел бы знать, с какой целью и на какой, так сказать, предмет вы обхаживаете мою секретаршу. Помимо всего прочего, это вопрос производственной важности. И прежде чем дать мне ответ, подумайте о том, благородны ли ваши намерения. Пока эта девушка сидит в моей приемной, я в ответе за ее доброе имя. О ней больше некому позаботиться, она сирота. Я дал обещание ее матери, когда та умирала, так что нравственные обязательства... и так далее и тому подобное... Ни слова правды в этом, конечно, не было, но парень покраснел как маков цвет, его аж потом прошибло, и выложил все, как есть. Со мной он не особенно робел, но сколько мне пришлось его подбадривать и понукать, чтобы он и Эстер во всем открылся... Когда Эстер стала советоваться со мной, я сделал вид, что потрясен, изображал отчаяние, взывал к прошлому, не хочу, дескать, лишать тебя счастья, но я-то надеялся, что... Впрочем, оставим романтику, можешь на меня положиться, все, что в моих силах, будет сделано, супруга твоего назначим главным инженером, зарплату повысим не меньше, чем в два раза...

На следующий день после свадьбы в приемной сидела Хелен. Как лучезарный цветок. Свежая, благоухающая, в очках. Я повстречал ее уже зрелым мужчиной, но еще достаточно молодым, чтобы для нас наступил настоящий медовый месяц. Она таяла от моих нежностей, ты моя третья жена, шептал я, видя, как она этому радуется. В

такие минуты Хелен смотрела на меня как на какого-нибудь бога или полководца. И этот ее взгляд я тоже очень любил. «Просто потрясающе, какой вы твердый и решительный,—шептала она,—даже в самых сложных ситуациях». Мы долго были на «вы» и потом, позднее, иногда возвращались к старой привычке. Так, ради забавы.

Восхищение Хелен дошло до того, что она стала контролировать каждую мою минуту, добралась и до моих домашних. Освоившись у меня в приемной, начала нападать на жену, зачем она тратит попусту мое драгоценное время, почему позволяет, чтобы я подтачивал свои силы и умственные способности в разлагающем обывательском ничегонеделании.

Да, чтобы не забыть, эта необыкновенная женщина сходила с ума по жареным семечкам. В ту пору это придавало ей особую прелесть. Исходивший от нее цветочный аромат сливался с запахом подсолнечных семечек! Когда жена поняла характер наших отношений, она пришла в отчаяние. Об Эстер она не знала ничего наверняка, но Хелен позаботилась о том, чтобы теперь у нее не осталось сомнений. У тебя нет причин огорчаться, утешал я жену. Узнав, в чем дело, обрадованная Хелен на другой же день пожертвовала полтора часа телефонного времени на то, чтобы задобрить мою супругу и как-то успокоить ее. Я, дорогая, говорила она, возьми свое и в рабочее время, поверь, милочка, у тебя нет оснований для беспокойства, я бы никогда не взяла Пишту в мужья.

Я слушал и умилялся: вчера, казалось бы, из провинции, а с какой стремительностью приобретает столичный лоск, буквально у меня на глазах.

У моей жены, между нами говоря, религиозно-консервативные взгляды на семейную жизнь. Но эта женщина сумела шаг за шагом, вернее, миллиметр за миллиметром, завоевать ее сердце. На четвертом или пятом году наших отношений мы неделями оставались без домработницы. После обеда Хелен куда-то таинственно отпрашивалась, порой даже заставляла меня ревновать, и только потом они с женой признались, что она в это время стирала, убирала у нас дома.

Если я поехал тогда в командировку в Сегед, то, конечно, не ради нищенских суточных—ради Эстер, время от времени на меня нападала какая-то ностальгия. Хотелось хоть на несколько часов забыть цветочный аромат, смешанный с запахом семечек. А что я нашел в Сегеде? Запах манной каши и детского белья. Моя загубленная молодость мельничным жерновом придавила меня к креслу.

— Хелен на тебя жаловалась,—ворчала жена,—за твою сегедскую поездку.

Я привлек ее к себе; мог ли я объяснить, какой пыткой было для меня, сидя в квартире сегедского главного инженера, наблюдать кокетство стопудовой бабы, на которую, как на гору, со всех сторон карабкались дети. Близнецы и девочка поменьше. Мог ли я сказать жене: дорогая, радуйся, это полное отчуждение, полный разрыв... хотя... к близнецам, если подумать, может, и я имею некоторое отношение. Впрочем, говорят, рождение двойни зависит от женщины. Я, конечно, ничего не сказал, ни о близнецах, ни о фигуре Эстер, меня тревожил какой-то странный запах.

— Что у тебя за духи?

Несмотря на почти двадцатилетний стаж нашей супружеской жизни, жена покраснела:

— «Кипарис», Хеленке достала. (Точно, а я и не узнал его без маслянистого запаха семечек! Так, значит, благоухание Хелен от духов!)

Это уже произошло на шестом году эпохи Хелен. Как только в нос шибал ее гибридный запах, я начинал ощущать в желудке беспокойство. Ради встряски я попробовал перейти на «вы». Никакого эффекта. А потом нагрязнуло то, чего я ждал. Нечто совершенно новое, поистине возродившее меня к жизни и... и весьма поучительное: то была Пирошка. (Впрочем, что значит «ждал»? Я, как какой-нибудь астроном, мог с математической точностью вычислить время и место падения неизвестного небесного тела.) Распущенные по плечам волосы, пружинистый шаг. Я обнаружил девушку плачущей в полутемном коридоре главного здания. С ней стали явлю все мои выдумки насчет Эстер: мать-вдова, сиротство. И зарплату ей опять не прибавили. Хм, значит, мягкий, пружинистый шаг? За рассмотрением, вернее, обсуждением деталей мы дошли до бассейна «Лукач».

Вот тогда-то мне и бросилась в глаза одна ее особенность, от которой я просто затрясся: у этого кроткого создания была фигура хищного животного. Линия талии не вогнутая, а выгнутая. Тигрица, пантера, готовая к прыжку! Никогда у меня не было такой женщины! И что существенно, ее вполне утешило предложение пойти ко мне в секретарши на оклад в 1800 форинтов. Печатать и стенографировать она постепенно научится.

Дома мы никогда не затевали бурных ссор в присутствии детей. Правда, они и по нашему шипению наверняка обо всем догадывались. Теперь же Хелен, эта двулично пахнущая старая дева, раздула целый скандал: «Представь, дорогая, он хочет перевести меня в кебаньское

отделение нормировщицей или кем-то там еще с прибавкой в пятьсот форинтов. Ну уж нет! Я этой потаскушке своего места не отдам. Не нужна мне никакая прибавка. Я и на своем месте имею достаточно, а захочу, так и больше буду иметь».

Мужчина, конечно, должен быть рыцарем, но желательно, чтобы в решении о разводе моя жена тоже была признана виновной. В неправильном воспитании детей. Я с самого начала все домашние дела доверил ей. И вот результаты. Арпад четыре года назад связался с дурной компанией. Приятели, сборища, насилие. Попросту говоря, изнасилование. Едва удалось сухими из воды выбраться. Но я еще во время разбирательства так и заявил отцу этой девицы: вы с нами не равняйтесь. Одно дело, если я наступлю сапогом в грязь, и совсем другое, когда кто-то своими грязными ногами лезет в мои сапоги! Он тупо уставился на меня; конечно, какие сапоги, у меня самого никогда их не было, в лучшем случае полусапожки.

Теперь Антония... Таскает деньги из ящика стола, из карманов, из портфеля. Поначалу было даже забавно, а потом стало обидно. Ну попроси, скажи, разве я когда отказывал? Ты ее балуешь! Единственная дочь у человека, зачем же ее отталкивать? Наконец стала просить, я даю, а она все тащит и тащит. Всегда, правда, раскаивалась, когда я ловил ее на месте преступления. Так это было трогательно. Но теперь и она взбунтовалась. И все из-за Пирошки. Дует в одну дуду со своей мамашей и Хелен: где у тебя глаза, папа? Ведь эта чувиха мне ровесница, да к тому же горбатая! Ты сумасшедшая, наорал я на нее, потому что теперь мы все обсуждаем вслух. А самому стало так больно, надо же, думаю, ту, в ком мне видится грация пантеры, моя дочь со свойственной юности жестокостью называет горбуньей.

Ну и, конечно, главная беда в том, что качество моей работы снижается день ото дня. Я всем своим существом ощущаю тлетворное воздействие нездоровой обстановки. Избавьте меня от Хелен! Хотя к кому я взываю? Все свои личные дела я принципиально решаю сам. Хеленке, говорю я, на твоей совести административные вопросы, а Пирошка пусть сидит на телефоне и принимает посетителей. Жизнь с тех пор превратилась в ад. Нисколько не стесняясь нашим присутствием, она из моей же приемной чуть ли не каждый час докладывает обо всем жене. Далее, если я вечером иду к Пирошке (одна комната, холл), Хелен направляется к жене, и они еще раз, смакуя, перебивают нам косточки. Прямо при детях. Но все равно заявление Питю было совершенной неожиданностью — «Вырасту и убью отца!».

Я выхожу в спортивной майке из ванной—и при его мамаше:

— А ну, повтори!— Парень испуганно смотрел на меня в четыре глаза и тихо повторил угрозу.

— Сними очки!— Он снял, я ему закатил две увесистые оплеухи, пока злость не прошла.— Надень.— Он надел; смотрю— в глазах ни слезинки, я опять:

— Повтори еще раз!

— Вырасту и убью отца!

Тихо так, безучастно, как о постороннем, хотя говорит мне «ты», как и остальные.

— Сними очки!— Он снял, я снова— по одной щеке, по другой и, уж не знаю почему, влепил еще и третий раз. Левой рукой. Он покачнулся, но не упал. Я попытался говорить спокойно.

— Только попробуй еще раз повторить.

— Убью, когда вырасту.

— Снимай!

Он чуть помедлил и снял. Не знаю, что это было, какой-то свет лился у него из глаз, лицо казалось безмятежным. Я взбесился. Замахнулся и не рассчитал удара. Жена только теперь начала кричать и ругаться, только теперь, когда этот паценок остался лежать на полу. И в левой руке держал дужку от очков, как какой-нибудь пай-мальчик.

Так и живем. Жена настаивает на разводе, в связи с чем я и обращаюсь к тебе с просьбой быть моим адвокатом. Пирошку с матерью тоже устраивает такой оборот событий. Хелен в растерянности. Только вздыхает: что с тобой будет?! И кулек за кульком грызет семечки.

1967

У ПАЛА МОРЭ В ГОРАХ

В середине февраля на горе только у меня в саду держится снег. Повсюду уже стаяло. Приходится топить эту крохотную комнатку два раза в день— туман и сырость пострашнее холода. Спускаюсь только за хлебом, раз в неделю. Уже и слова человеческие забывать стал. Из-за этого даже радио не включаю. Выйдя на пенсию, я больше всего своим зрением гордился. И вот тебе на! Стоит теперь вечером отойти от фонаря— перед глазами расплывается красный туман. Лишь какое-то время спустя начинают вырисовываться контуры деревьев, разные предметы вдалеке. В конце концов опять все вижу и

уговариваю себя, что ничего страшного нет. Одно у меня теперь утешение и отрада — животина всякая, на людей я не очень рассчитываю. В детях своих разочаровался, только младший, Карчи, еще навещал меня поначалу, да в нем-то как раз больше всех разочаровался. Куда спешишь, если уж пришел, если решился на этот подвиг? Я ведь не жалею! С тех пор как выпал снег, сюда на гору даже браконьеры не хаживают, хотя следы на снегу всегда виднее. Верно, за свои следы беспокоятся! Иногда ко мне навевается одна овчарка, килограммов пятьдесят весом, ей от силы год. Совсем еще щенок, я зову ее мишка, вот так — с маленькой буквы, ведь наверняка у нее другое имя. Не знаю, откуда она приходит, заметил только, куда убегает. В конце осени в летние «апартаменты», что подо мной, еще заглядывали воры, но теперь и их не видно, не слышно. Самое лучшее время было, когда гуси улетали на юг. Будь у меня двустволка и патроны, ну и, конечно, разрешение, я бы прямо с лавки перед домом укладывал их десятками. Вернуть бы еще мои тридцать лет, чтобы все это было в охотку. Да чтоб терпения хватило — повозись-ка с собакой, пока она собирает подстреленную дичь, в кустах, в воде. Но это я только что придумал, а когда птицы улетали, у меня такого и в мыслях не было. Кажется, словно все гуси с Карпат и из Польши собираются в сиянии Дуная. Днем перехватывают там-сям, а вечером и ночью тянутся к югу. Я из-за них спать не могу. Стрелочников из Кишмароша и из Верёце уже по голосам узнаю. Их выкрики по воде далеко разносятся. На прошлой неделе в ночную смену дежурил кто-то из нogradских, по выговору было слышно, разводил товарные поезда и сквернословил куда больше, чем местные. Я сначала восхищался его залихватскими оборотами, долгими периодами, но, когда его сменили, вздохнул с облегчением. Ночью это как-то совсем некстати. От наших я иногда тоже слышу выражения, которые должны быть у человека на слуху с детства. На одного худо-бедно хватает тысячи форинтов пенсии, но если бы пришлось за каждое полено платить... Это я о хворосте. Карчи — дай бог памяти — пришел в середине ноября, и я, старый дурак, обрадовался. Побыл три дня и исчез не попрощавшись. А с ним кольцо, часы, две бутылки палинки. Я следил за косяками гусей, говорю ему что-то, он ответил, я опять что-то спросил, а он молчит. Вот так-то. Уже над Бёржёнью, как только открывается большая вода, в воздухе повисает гоготанье. Радуются, что не заблудились. Что память не подвела. Или еще почему. Раньше у меня была кошка, но зимой от нее такая вонь — с души воротит. От белки тоже непереносимая вонь. Только с

открытыми окнами можно выдержать. Значит, раньше конца марта не заведешь. В прошлом году я думал, заведу двух, чтоб им веселее было. Но удалось поймать только самочку. Я ее из соски кормил. Она привыкла ко мне, из кармана не вылезала. Спала на вешалке около двери. А в сентябре что-то съела. Умерла. Как раз орехи поспевать стали! Осенью на дом обрушиваются полчища мышей. Ни одного дома без мышей нет. Пока была кошка, у нее нет-нет да и мелькнет в зубах серая шкурка. Но писка я не слышал. А этой зимой дом словно ходуном ходил. Хруст, шорох, шмыганье. Я, когда хлеб внизу покупал, пожаловался графу Б. Он говорит: у меня на чердаке есть одна первоклассная австрийская штучка. Обещал дать на время. Притаскивает мне потом с чердака маленькую часовенку. Как только мышь попадает на весы, где лежит кусочек сыру, дверца «часовни» захлопывается. Тогда зверек вынужден вот по этому проходу лезть на башню, объяснял граф Б., и, добежав до конца коридорчика, падает в пропасть. «Пропасть» — это жестяная бадейка, которая заполняется водой, чтобы мышь утонула. За ночь до двадцати штук сваливается в воду, друг за другом так и юркают. Мишка наведывается раза два в неделю. Ему хочется порезвиться, припустится от меня бежать, дескать, догоняй. Щенок, что с него возьмешь. Или начнет за фазанами гоняться. Я, конечно, не стану наливать в «пропасть» воду. Мне главное переловить их. Вечером оденусь потеплей, сяду на лавку и любуюсь на небо. Свет не зажигаю, пока можно, чтобы лучше было видно, как гуси летят. Они, когда соберутся над Дунаем, все равно, туман или ясно, всегда сначала посоветуются, куда лететь: на Вац или на Сентендре, я просто так и слышу. «Часовня» только наполовину действует, мои мыши не пролезают в башню. Они полевые, к тому же еще и прыгучие, как потом выяснилось в банке из-под огурцов. Рыжевато-коричневые и в полтора раза больше, чем домашние. А животики у них почти белые, красивые. Смотрят на меня через стекло банки. Взгляд смысленный. Не боятся, если в банке хватает места. Хрупают, хрумкают, гадят и глазют: ты кто такой? И прыгают, и скребутся по крышке. Я банку закрыл носиком от лейки. Так сразу пять штук заберутся в носик, и только хвост у последней торчит. В середине января господин Шайбен из долины оказал мне честь, искал здесь свою собаку, пятнадцатимесячную овчарку, отзывается на кличку Лорд. Грубиян этот Шайбен, кричит, угрожает. Потом расплакался: верно, Лорда лесники застрелили. Но, видите ли, я во всем виноват. В этом году несколько косяков чуть ли не в конце декабря прилетели. Всегда соберутся

тучей там, где река разветвляется на рукава, выбирают. Одна стая из десяти направляется в сторону Эстергома. Час пройдет, и я уже слышу, как они, бедолаги, кружат над Дёмёшем, гусыни и усталые гусята жалобно перекликаются, боятся, что и к ночи не найдут, куда сесть. Хорошо бы там наверху установить какую-нибудь сигнальную вышку, указатель направления, а если дело уже сделано, то хоть обнадежить, что возле горы Геллерт в любой момент можно сесть на воду. Когда набралось двадцать мышей, я решил переправить их через реку. Три форинта туда и обратно. Опорожню банку под какой-нибудь дуплистой ивой на том берегу. В этом году Дунай, надеюсь, не замерзнет, так что до дома им не добраться. Сначала я думал, предложу какому-нибудь институту, за деньги, все поголовье. А можно и даром. Школьникам. Собрался объявление давать. Говорят, долго и дорого. Назад с пустой банкой расстроенный шел. Мышь, которая на свободе бегаёт, совсем не та, что дома. Пока до двадцати дошло, пять покончили с собой. Не знаю, как еще сказать. Если я оставлял мышь в ловушке больше двух часов, она умирала. Полевые мыши, они такие—в неволе не живут. Гибнут, когда нет надежды выбраться. Слопают приманку, а потом видят, выхода нет, ни туда ни сюда, и умирают. От одной только мысли. Из принципа. То есть как бы по собственному желанию. Но теперь эти хлопоты позади. Ночью часто просыпаюсь, каждые два-три часа, смотрю на потолок, в окно, на облака и звезды. Третьего декабря на рассвете прилетела одна большая стая, красивым клином шли. Слышу знакомый радостный галдеж, гогот, хлопанье крыльев. И тут вместо привычно-миролюбивого «куда же дальше» раздражается яростный гортанный крик. Что, думаю, такое? Скоро сообразил, в чем дело. Вожак хотел лететь на Эстергом. Такое бывало. Но вот чтобы ему осмелились перечить, когда он уже даже развернулся с несколькими своими единомышленниками,—такого никогда не случалось. Молодые проворные и напористые гусаки откуда-то с самого хвоста клина отважились вступить с ним в спор. Они отстаивали северо-южное направление: только по течению реки, в отраженном свете солнечных лучей, доказывал тот, что ими верховодил. Из облаков так и несло: «Ты что, ослеп, папаша?» Бьюсь об заклад, что они обозвали старика слепцом на своем гусином языке, в конце концов свернувший на запад вожак остался почти один. Хорошо еще, что не оттрепали. Прислушиваясь к мечущемуся в облаках неистовому гоготанью, я вполне допускал и такое. Да, действительно, у авторитетного представителя власти, судя по всему, что-то случилось со зрением.

Вообразите, смена вожака во время перелета! Я не знаю, как возраст гуся соотносится с возрастом человека, но, как бы то ни было, я с моими глазами уже никогда бы не рискнул возглавить такую вот человеческую стаю. Большая часть гусей давно добралась до Тахи, а передовой отряд, верно, и вовсе подлетал к Будапешту, но ветер все еще доносил откуда-то из-под Дёмёша командирскую ругань престарелого горемыки гусака, который пронзительно излагал свои взгляды трем-четырем глупым и преданным гусыням, с шумом взвываясь все выше и выше, хотя и сам он уже, было слышно, чуял недоброе.

1969

ЛЕТНЯЯ ПРАКТИКА

Они посадили мать на поезд, уходящий в 20.34, в вагон первого класса, и Кази тут же направился к выходу. Но Шари удержала его—в окне вагона появилась мать и следовало помахать ей рукой и улыбнуться. Было только 20.30. Целых четыре минуты они махали ей и делали вид, будто что-то говорят. Поезд отправился вовремя. Вот мимо них проехал последний вагон, и они, взявшись за руки, пошли к выходу. И только на улице Шари наконец заговорила:

— Куда ты меня ведешь?

— В лодочный сарай. Куда же еще?

— Я не хочу туда.

— Занавесим окна. Хотя зачем? Все равно там никого нет.

— А позавчера? Только мы расположились—сразу пришли какие-то люди.

— Тогда было еще рано.

— Ты хотел зажечь свет.

— Ну, не буду зажигать. Пойдем.

— Все равно не хочу.

— Вообще не хочешь?

— Этого я не говорю. Кази, а бывают женщины-инженеры?

— Что? Да, бывают.

— Тогда у вас есть и женщины.

— Есть.

— Трудно тебе устоять.

— Я же сказал, что прекрасно могу устоять, и устоял.

— Я тебя не таким знала.

— Из-за сарая я на два месяца подрядился на эту работу, на воде. Думаешь, мне здесь больше нравится, чем на вагонном заводе?

— При чем здесь сарай? Я ведь знаю, что ты просто не хочешь, чтобы нас видели вместе.

— Тогда почему же я жду тебя в пять часов у выхода?

— А много ли ты меня ждал? Два-три раза, да и то прижавшись к стене.

— Я тебе уже говорил—тот лодочный сарай не годится.

— Лично мне не годится никакой сарай.

— Но ведь на квартиру я не могу тебя привести.

— Я об этом и не думаю. Проводи меня домой. Хозяйка не любит, когда я долго задерживаюсь.

— Я так рассчитывал на сегодняшний вечер! Чтобы мама тебя увидела.

— Она и увидела. И не очень-то обрадовалась. Больше смотрела, какие у меня распухшие суставы.

— Правда распухшие. А ведь руки у тебя сильные.

— Сильные-то сильные, а больно много приходится им работать.

— Я так рассчитывал на сегодняшний вечер!

— Это ты мне уже говорил. Но в сарай я все равно не пойду. Хватит того, что я была там вчера.

— Тогда я провожу тебя домой. Но сперва зайдем выпьем чего-нибудь.

В гостинице свободных мест не было, поэтому мать остановилась на день у знакомых, а вечерним поездом уже уехала домой. Кази отпросился на работе, чтобы провести этот день с матерью. Но, оказавшись вместе, они долго не могли начать разговор и, думая об одном и том же, молча смотрели друг на друга заплаканными глазами. Время от времени Кази отворачивался, как будто для того, чтобы смахнуть слезы,— пусть матери будет о чем вспоминать дома. Они купили шнуры и тесьму для диванных подушек и на занавески. Потом пообедали. А время стояло на одном месте, как вечность.

— Как вы с отцом похожи! Ты не спрашиваешь о нем, и он не спрашивает, вот уже два года. Я этого просто не могу понять.

— Не надо мне его одобрения. Денег я от него не жду. Мне достаточно того, что я вижу тебя, знаю о тебе.

— Ты не жалеешь о том, что в Эстергеме ничего не вышло?

— Я думаю, что в любом случае это было бы невозможно. После того как священник так отрекомендовал меня.

— Но я и сейчас не верю, что священник написал в Эстергом. А если и так, мог ли он поступить иначе?

— Я на него не обижаюсь.

— А этнография? Ты так увлекался ею. Потом, ведь это все-таки ближе к богу.

— И математика не дальше.

— По-моему, гораздо дальше.

— Если ты помнишь, на самом-то деле я увлекался не этнографией, как вскоре выяснилось.

— Увлекался? Ты говоришь об этом в прошедшем времени, сынок?

— Ты меня не так поняла. Я договорился с Шари, что найду за ней в пять и мы вместе поужинаем. Она очень хочет познакомиться с тобой.

— А что с ней? Опять то же?

— Да нет, мама. Не смей меня. Познакомиться с тобой значит лишь то, что для нее важно твое мнение о ней. Неужели не понятно?

— Господи, как жаль, что ты учился музыке.

— Ты так легко примиряешься со всем. Наверное, просто веришь в то, что в один прекрасный день Шари исчезнет.

— А ты знаешь, что моя жизнь остановилась два года назад?

— На это тебе нужно жаловаться дома.

— Я нигде и ни на что не жалуюсь.

После выпускных экзаменов Казмер не сразу смог принять окончательное решение о выборе своей будущей профессии. Перед ним открывалось три пути: один из них — изучение этнографии, другой — политехнический институт, куда он и подал документы, но, как выяснилось впоследствии, из-за того, что затерялась повестка, пропустил экзамены. И наконец, эстергомская духовная семинария. Это решение возникло под влиянием романтически-религиозно настроенной матери, с самого его детства лелеявшей этот план, хотя сама она месяцами не ходила в церковь и даже забывала об обязательных на пасху исповеди и причастии. Пытаясь совместить свое увлечение этнографией с любовью к музыке, Кази решил заняться цыганским фольклором и сразу же после выпускных экзаменов принялся за дело. Ему казалось, что если он предстанет перед профессорами с интересным материалом, то его безо всяких формальностей тут же примут в университет. В пяти километрах от районной больницы, главным врачом которой был его отец, в цыганском поселке, Кази обнаружил благодатную почву для своих занятий. Каждый день он ездил туда на велосипеде с подаренным ко дню рождения магнитофоном. Сперва он

пытался найти подход к жителям цыганской деревушки, но, несмотря на все старания, ему так и не удалось расположить их к себе. Зато в поселке он в первый же день достиг желаемого результата. Тем летом поселок представлял собой уже не беспорядочное скопление жалких лачуг—вдоль двух его улиц стояли маленькие, крытые черепицей домики, которые их владельцы незадолго до этого построили на ссуды, полученные в сберкассе.

В то лето Шари Каланош работала в ближайшем госхозе, окапывала саженцы в питомнике, но в начале июля ушла оттуда, потому что бригадир (женатый мужчина, отец троих детей) хотел переспать с ней. А вскоре она уже вместе с другими жителями поселка с любопытством присматривалась к Кази. В ту пору внимание молодого человека привлекла одна невероятно толстая старая цыганка, чрезвычайно разбитная и большая любительница поговорить. Она очень гордилась своими четырнадцатью сыновьями, которые жили в разных концах света и помогали ей.

— Послушай, сынок. Я знаю, зачем ты ходишь к нам и просишь меня петь—тебе нужна любовница-цыганка. Ты все не мог найти себе по нраву, а теперь вот нашел—Шари Каланош. Ну что ж, у нее еще никого не было. Я ведь знаю, молодые парни таких любят.

Казмер покраснел, старуха засмеялась, засмеялись и остальные. Шари замерла, а потом, опустив голову, медленно пошла прочь. С этого дня она и не пыталась найти себе другую работу. А Кази приходил теперь в поселок ради нее. Вскоре они уже очень сблизились, и однажды утром, когда Казмер приехал немного раньше обычного, в ближнем лесу они стали любовниками. Парень действовал нерешительно, но девушка отдалась ему без сопротивления. В августе сын врача уже был своим человеком в доме Каланошей, а если ему случалось засидеться там допоздна, спал в одной кровати с Шари. Ее отец был подсобным рабочим на заводской стройке, а мать шила лоскутные ковры. Они не надоедали им вопросами, видя, что детей по-настоящему влечет друг к другу. В конце августа молодые люди пошли фотографироваться. На следующий день Кази, рассчитывая, что фотографии понравятся его матери (сам он остался ими очень доволен), показал их ей. У матери не было привычки устраивать сцены: посмотрев фотографии, она лишь крепко прижала к себе сына и взялась передать их отцу. Разговор с ним произошел на другой день, вечером. Фотографии были извлечены из портфеля главного врача, где они лежали вместе с официальными документами. Болманьи вел себя сдержанно и делал вид, будто и не

удивлен. Прежде чем заговорить, он еще раз внимательно пересмотрел фотографии. По его лицу не было видно, рассматривает ли он фотографию девушки или сына.

— Можешь не беспокоиться, я не собираюсь ни ругать тебя, ни возмущаться, как мать. Между нами говоря, я одобряю твой вкус.

— Я тебя не совсем понимаю.

— Девушка очень красива, и, насколько можно судить по фотографии, у нее прекрасная фигура. Я поддерживаю это увлечение и со своей стороны готов предоставить в твое распоряжение любое возможное превентивное средство.

— Звучит слишком официально — я не понимаю, что ты имеешь в виду.

— Я вспоминаю себя в восемнадцать лет! И завидую тебе! Если бы я после экзаменов на аттестат зрелости мог вступить в связь с такой великолепной женщиной! Разумеется, в наше время, в мое время, этого нельзя было делать так открыто. Твоя мать поистине пришла в ужас. Конечно, женщина, даже если она и мать, вообще не может понять, как важно для мужчины в самом начале встретиться с совершенным партнером. Представляешь себе ее возражения! А я так убежден, что во многих отношениях это самое лучшее для тебя решение. Вот только...

— Что?

— Хорошо бы взять кровь на анализ.

— Это унижительно!

— Разумеется, вместе с тобой. Когда-то это было обязательно и перед нормальным браком, из-за состава крови.

— Если ты имеешь в виду реакцию Вассермана, то об этом не может быть и речи.

— Если ты такой щепетильный, я удовлетворюсь тем, чтобы ты сам пришел завтра в больницу.

— Не пойду я! Все гораздо серьезнее!

— Знаю. Ты уже почти поселился у них. Я и в это, разумеется, не вмешиваюсь. Мне достаточно знать, что мой сын уже наверняка мужчина. Но во всей этой истории есть, я бы сказал, какая-то безвкусица!

Молодой человек ждал открытого нападения, а эти слова настигли его, как удар в спину. С самого детства он был очень чувствителен к тому, чтобы не оказаться безвкусным — в одежде, в манерах, в поступках. Для семьи это слово имело особый смысл. И для него тоже. Мгновенно он перебрал в памяти события прошедших, полных блаженства недель. Никогда и нигде не было ничего такого, за что он мог бы упрекнуть свой вкус, — кроме, пожалуй, одного короткого получаса однажды на рассвете. В это время Каланош всегда просыпался на

какое-то мгновение, но, смертельно уставший после тяжелого рабочего дня, не приходил в себя, а лишь переворачивался на другой бок. И вот как-то раз в этом состоянии полусна он проговорил: «Всю ночь колобродят, спать не дают!» И потом продолжал спать, безмятежно, еще около полутора часов. Но то, что он сказал, было правдой. И—совсем неожиданно—унизительной правдой! Это имел в виду отец? Но откуда ему известно?

— Ты установил за мной слежку?

— Я слежу за тобой всю жизнь. Это мой долг перед самим собой.

— Ну и что же ты узнал?

— Твоя мать сказала, что ты хочешь жениться.

— Это ты считаешь безвкусицей?

— Нет. Здесь я бы употребил другое слово. Ведь это естественное стремление. Его нельзя мерить мерками эстетики.

— Прежде чем мы поженимся, я собираюсь выучиться, получить профессию и помочь в этом и Шари.

— Профессию? Плести корзины? Или делать корыта? Все это очень утомительно. Изготовление самана механизировали. Если же ты имеешь в виду музыку—боюсь, уже слишком поздно. Ты вышел из этого возраста.

— Я сам разберусь!

— Итак, ты хочешь учиться. Этому я, во всяком случае, рад. Но тогда вам нельзя сохранять плод.

— Откуда ты знаешь? Ты был у них?

— Я только посмотрел на ее фотографию. Она сказала тебе накануне, так ведь? Испуганное лицо, заплаканные глаза—видимо, для них кое-что значит—рожать ребенка вне брака. Это достойно уважения. Итак, какую же профессию ты для нее выбрал?

— Будет учиться печатать на машинке. У нее есть способности к правописанию.

— Ты не удивился бы, если бы ей удалось достичь этого? Ну а ты?

— Я выбрал этнографию.

— Что бы ты ни выбрал, пока ты будешь учиться и сдавать экзамены, она станет шлюхой.

— Если бы ты разбирался в людях и если бы поинтересовался, ты бы узнал, что она не такая.

— Почему бы ей не быть такой? Этнография—пять лет, техника—по меньшей мере шесть.

— Ты говоришь так потому, что погряз в предрассудках! Закоснел! И еще ты завидуешь мне, завидуешь моей молодости! Тебе обидно, что я свободный человек и что я смею быть счастливым. И ты прикрываешься расовой дискриминацией.

— Заткнись! Я не допущу, чтобы над нами смеялся весь район! Это я тебе обещаю!

— Знаешь ли ты вообще, что такое расовая дискриминация! Ты и понятия об этом не имеешь!

— Ах та-ак!..

— За что ты меня ударил? Объясни, за что? Скажи, я требую!

Он получил еще одну пощечину. И вслед за тем отец вдруг остыл и стыдливо отвел руку за спину. Кази схватил его за отворот пиджака и, повторяя свой вопрос, стал трясти. В другое время он не посмел бы сделать это даже в шутку. Теперь и отец повторял одни и те же, сказанные сгоряча, слова. Когда-то Казмер занимался боксом, и сейчас он правой рукой с силой рванул отца за пиджак, левой ударил его по лицу. И тут же, увидев кровь, отвернулся и замер, словно ожидая, что отец избьет его. Но этого не случилось. Тогда Кази, не сказав ни слова, ушел...

— Я твоей маме не понравилась.

— Что ты, ведь она даже поцеловала тебя.

— Поцеловала?

— А ты и не заметила? Когда вы прощались, она погладила тебя по голове и поцеловала в волосы.

— Она только чуть дотронулась до моих волос, а ведь я их вчера вымыла.

— Не беспокойся, это она заметила. Женщины обращают внимание на такие вещи. Она только из деликатности ничего не сказала, чтобы не обидеть тебя—будто ты в другой раз не моешь. Как хорошо пахнут. Еще один стаканчик! Выпей еще, ты ведь любишь это вино.

— Ты всегда говоришь то, что тебе выгодно. Разве это честно, как по-твоему?

— Лучше подумай о том, что сегодня мама в первый раз поцеловала тебя.

— Говори потише, за соседним столом прислушиваются.

— Какое им дело? Не смотри туда.

— Я и не смотрю. Но мне слышно, что они повторяют твои слова.

— Теперь хорошо. Если мы будем говорить так, они не услышат.

— Знаешь, что я придумала? Пошли в лес.

— В какой лес?

— На берегу Дуная, за дорожкой. Там, где копны. Сегодня, когда мы с твоей мамой ходили туда, она еще сказала, как много хорошего сена.

— Ну и что?
— Там ничего не видно с дорожки.
— Как это тебе пришло в голову?
— Потому что два года назад... Помнишь? Там тоже было сено в лесу.
— Правда, только оно не было сложено в копны.
— Можно разбросать. Какой странный оркестр. Смешанный. Знаешь, кто играет на барабане? Додо.
— Кто такой Додо?
— Сын наших соседей. Говорят, он никогда не учился музыке, а как хорошо играет.
— Он тоже тебя узнал.
— Да, видишь, он кивнул мне.
— И ты ему кивнула?
— Ну что ты! Как ты мог такое подумать?
— Знаешь, Шари, о чем я жалею? Что мы не оставили того ребенка.
— Что это ты вздумал? Тогда ты меня и слушать не хотел, а теперь не приставай!

Через некоторое время Кази попросил счет. Расплачиваясь, он тоже услышал, что за соседним столом говорят о них, но даже не посмотрел в ту сторону. Шари покорно шла рядом с ним к рощице на берегу. Доверчиво склонив голову ему на плечо, она что-то тихо напевала и каждые десять шагов целовала его. Давно она не была такой нежной. Кази шел молча. Он не хотел досаждать ей, но из головы у него не выходило то, о чем он попытался заговорить с ней в ресторане. Они вышли на лесную дорогу, усыпанную хрустящим мергелем, едва освещенную редкими электрическими фонарями. Ночью рощица казалась густым лесом. Они нашли поляну, где стояли копны, поближе к деревьям и достаточно далеко от дороги. Было еще красивее, чем помнилось Кази. Не говоря ни слова, они свернули с дороги. Раскидали одну копну. Пока Шари медленно расстегивала кофточку, они молча смотрели друг на друга. В обступившей их тишине слышались лишь звуки далеких автомашин да шорохи ночного леса.

Поэтому так неожиданно прозвучали голоса людей. Их было четверо, они приближались, пошатываясь. Двое из них держали в руках палки. Что они кричали ему? Быть может: «Вали отсюда!» Или: «Убирайся!» А может быть, и то и другое. Они приказывали. А один из них уже схватил Шари. Кази видел, как она задрожала от страха. Но трое уже двинулись в его сторону, и он вынужден был отступить: «Убирайся!»

У железнодорожного моста он встретил полицейского. Они пошли назад, в рощу. Кази убеждал себя, что он не

мог поступить иначе. Не прошло и десяти минут, как они вернулись к стогу. Никого. Никаких следов. И полная тишина. Полицейский покачал головой, спросил Кази, не боится ли он, и продолжил свой путь. А молодой человек еще немного побродил вокруг.

Перед самым закрытием Кази заглянул в ресторан. Оркестр еще играл. Но уже без барабанщика. Как же его зовут? Додо? Внезапно Кази почувствовал, что лучше бы его избили насмерть. Он еще никогда не испытывал ревности при мысли о том, что Шари может принадлежать другому.

1970

СОН ЭМЕШЕ

Шла уже вторая неделя, когда Эмеше вдруг обнаружила у него в столе «Путеводитель»; отчеркнутые красным карандашом строки подсказали ей, где вести поиски:

«Расположено селение прямо напротив поднимающейся на левом берегу Дуная горы Святого Михая, над крутым склоном которой громоздится еще более крутая скала, именуемая Чертовой горой».

— У него ничего не бывает без причины. Или — не бывало. Может, уже и так.

В Лале сработало мужское достоинство.

— Что ж, тебе видней.

Когда они сошли с электрички, Эмеше опять заглянула в «Путеводитель»: «В этом месте Дунай всего уже, часто ходит паром. Подкова реки вырисовывается на фоне глубокой, напоминающей ущелье долины».

— Двинули к парому.

На полях «Путеводителя» простым карандашом выведена фамилия — Бестерцей.

— Точно, что это его почерк?

— Не зли меня.

Они по ступенькам спустились к воде. Моторный паром урчал, поджидая. Эмеше и Лала взбежали на него, паромщик развернулся против течения.

Посреди реки Эмеше, играя наивную девочку, принялась расспрашивать кондуктора о названии горы Святого Михая, о станции и селении напротив. Кондуктор на вопросы отвечал старательно, местным говорком — возможно, по-палоцки*; почему-то это придало ей решимости спросить про полосатое коричневое одеяло — тот, кого они разыскивают, сворачивал его жесткой подковой и прикручивал ремнями к набитому рюкзаку. В первый раз — уже довольно давно — он был в бриджах и парусиновом плаще, тогда у него была еще с собой и палатка. Впервые приехал сюда, должно быть, весной, а потом стал наезжать каждую неделю, дня на два, на три — словом, мотался туда и обратно.

— Вроде бы не припоминается. Народу возим, прошу прощения, довольна многа. А вы расскажите еще разок,

* Палоцы — этническая группа венгерских племен, обосновавшихся в Северной Венгрии и сохранивших свои особенности говора.

пажалуйста. Значит, адеяло каричневое, паласатое, так?

Должно быть, нравилось усатому «палоцу» наблюдать, как трепыхается душа у Эмеше, он переспросил ее трижды, только после этого успокоился. К тому времени как добрались до другого берега, память его работала уже вполне прилично.

— Он, пращу прашения, снаряжение свае укладывал точь-в-точь как солдатики в прежние времена. Н-да, недели две тому, пожалуй?.. А, Лаци? Не помнишь?

— Одного туда везем, другого сюда,—загадочно отозвался моторист.

— Да и я бы поклясться не мог,—сразу ушел в кусты «палоц». Но слово «Бестерцей» растолковать сумел. За что и получил два форинта.

*

— Господи боже ты мой,—всплеснула руками старая Бестерцей,—господин Дёмётёр, дорогой вы наш! Да где же вы так изгваздались, прошу прощения? Надо же, весь в грязи, даже брюки, даром что короткие...

Дёмётёр оглядел сперва башмаки—верно ли? Куски грязи в самом деле пристали даже к брюкам гольф, однако сейчас ему было не до того.

— Не накормите ли обедом, хозяйюшка?

— А ведь вы, милость ваша, дорогой господин Дёмётёр, не из Пешта к нам прибыли, вон даже не задыхаетесь ничуть! Так откуда ж вы?

Дёмётёр не ответил, лишь коротким, но весьма точным движением руки указал на склон горы, по которому спустился.

— Слабость человеческая! Горячей пищи захотелось.

— Выходит, вы и не уезжали отсюда. Сколько ж это дней вы здесь? Господи, подумать страшно. В такой грязи!

— Да. И, как мне ни совестно, хочу попроситься к вам на ночлег. И еще—хорошую ванну бы, горячую...

— Я уж по дыханию вашему, изволите видеть, тотчас поняла, что пришли вы не снизу. Только поперву подумала, что это вы из-за договора такие нетерпеливые.

— Ну и поэтому, разумеется. Но прежде всего потому, что больно вкусно бульон ваш пахнет. Нынче утром запах вашего мясного супа мне просто не давал покоя. Несуразность, конечно. Однако сейчас, когда я шел через двор ваш, и точно, мясной дух почуял. Не ошибся?

— Не ошиблись. Хотя нынче я, правду сказать, вроде как овощной суп варила. Но, конечно, и косточка в нем поварилась, а как же.

Дёмётёр молчал. Он смотрел внутрь дома, в коридор.

— Жаль вот,—проговорила хозяйка,—со вчерашнего дня у меня гость. После обеда уж так спит крепко. Ну и после ужина вздремнуть не ленится. Астма у него. На каждой ступеньке останавливается, отдыхает.

Дёмётёру почему-то не верилось. Вроде бы на торг похоже, может, сделку готовят?

— Это господин Колмайер. У него бумажная фабрика была.

— Ну мы-то с вами, конечно, поладим, договор о купле-продаже заключим.

— А как же!—всплеснула руками Бестерцен и с этой минуты то и дело поводила в воздухе рукой, показывала, какой от их дома вид открывается.

— Второго такого вида во всей Венгрии не сыщете. Глянете налево—точно море, посмóтрите вниз—так и чудится, будто дворец Матяша* перед вами... А вот здесь, напротив...

— Напротив?—Гость всякий раз прерывал ее на этом месте.—«Расположено селение прямо напротив поднимающейся на левом берегу Дуная горы Святого Михая...»

— Ну да,—неизменно отвечала на это хозяйка,—оно так и написано, но ведь человек себя самого не видит, вот и мы—только про то говорим, что отсюда, с террасы, увидеть можно.

— Ну а если в зеркале?

— Это вы про что, господин Дёмётёр?

— Вы меня тотчас поймете, ежели я напомним вам, что «в этом месте Дунай всего уже и подкова реки вырисовывается на фоне глубокой, напоминающей ущелье долины»

— Вы всегда на другое разговор уводите, дорогой господин Дёмётёр. Эдак у нас едва ли до окончательного договора дело дойдет.

— А вот мне кажется, это вы с мужем все оттягиваете сделку.

— Так ведь мы-то считали, что уже сговорились с вами на ста сорока тысячах.

— Кто ж говорит, что нет? Я ведь ни слова не сказал против.

— А чего же тогда бесперечь про эти сто семьдесят две ступеньки поминаете, вроде как отступиться хотите.

— Вы неправильно меня понимаете, хозяйшюка милая. И вообще я только из-за дыхания, из-за одышки проклятой не начинаю с порога договор наш обсуждать. Собственно, о сумме мы договорились, разве что о сроках выплаты еще не условились толком.

* Имеются в виду реставрированные развалины придунайского дворца короля Матяша Корвина (1443—1490) возле г. Вишеграда.

— Мы с мужем прикинули тут, он так считает...
— Рассрочка на восемнадцать, даже, пожалуй, на двадцать месяцев!
— Это надо бы еще обсудить.
— А для чего же я и спустился к вам с горы!
— Потому-то и начали с бульона мясного да с горячей ванны.

— Вы с мужем не так меня понимаете. Одышка—одышка или задышка,—она всегда со мной, сто семьдесят две ступеньки играют тут свою роль. Но я прекрасно знаю: ничего не поделаешь, этого, разумеется, изменить нельзя. Все прочее может измениться так и эдак, но эти сто семьдесят две ступеньки как были, так и останутся. Я уж их и сам сосчитал.

— Муж говорит, самый верный признак, что покупатель серьезный,—это когда он глядит отсюда не наглядится...

— Это надо понимать в том смысле, что речь не именно обо мне, а о покупателе вообще?

— Дорогой господин Демётёр! Да любой, кто б сюда ни взобрался, только взгляд бросит вокруг—и тут же спрашивает: «Скажите, а за сколько бы вы дом этот продали?»

— Господин Колмайер тоже?

— И он тоже, а как же! Мы с ним уже на двухстах тысячах было остановились.

— Любой, кто б сюда ни взобрался... Особенно после объявления, а?

— Да и теперь едва ль какой день пройдет без этого!

— И Колмайер?

— Вы уж ему не завидуйте. Астма у него. Но мы ему объяснили...

— Так. А какие у вас против меня возражения?

— Я только про то говорю, что всякий раз, как ступеньки считать начинают, это и значит, что покупатель пошел на попятный.

— Следовательно, вы сейчас говорите не только и не исключительно обо мне.

— Нет, почему же, сейчас именно что про вас. Потому как никто до сих пор на эти сто семьдесят две ступеньки не напирал так, не пересчитывал каждую. А ведь другого такого места вам не сыскать! Глянете налево—точно море, посмотрите вниз—так и чудится, будто дворец Матяша перед вами... Вот здесь, напротив...

— Взгляните-ка, там, внизу, поднимаются по лестнице двое. Гости к вам? Или, может быть, покупатели?

— Почему же я знаю?

— Что, еще одно объявление дали?

— Понять не могу, отчего вы все про одышку да про сто семьдесят две ступеньки речь заводите. Сами же знаете, мы этого изменить не можем. Вот и муж мой считает, что этими разговорами вы рано или поздно цену сбить захотите.

— Молодые люди... Гости? Покупатели?

— Все может быть. Я их не знаю.

— Они, кажется, в нерешительности.

— Видать, гостями напросятся. Поначалу все так-то нерешительно поднимаются.

Так гадали они и в последний раз, когда Дёмётёр появился снизу, сбоку откуда-то, вот как сейчас — оттуда, где скрывался целую неделю. Они стояли молча, лишь изредка перебрасываясь словом, наблюдали, как медленно поднимаются по крутой лесенке, взбираются сюда, наверх, мужчина и женщина, которые, возможно, захотят здесь и погостить.

Хозяйка дома уже разглядела их.

— Оба молоденькие, парень и девушка.

Дёмётёр с сомнением хмыкнул.

— Правда, совсем молоденькие. Если они не женаты, комнаты им не сдам.

— Но ведь это...— вскрикнул Дёмётёр и осекся.

Бестерцей не заметила, как он вдруг разволновался. Молодая пара поднялась еще на пятнадцать-двадцать ступенек.

— Послушайте, дорогая Бестерцей! Я не хочу с ними встретиться!

— Вы их знаете?

— Я не желаю встречаться с ними, понимаете? Ни с кем вообще,— отчетливо и очень тихо проговорил Дёмётёр.— Смотрите же не обмолвитесь, что я здесь или что был здесь сегодня. Вообще на этой неделе!

Укрывшись за занавеской, он не спускал глаз с приближавшейся пары, готовый к прыжку, готовый бежать, скрыться.

— Вам что, паренек знаком?

— Прошу вас держаться так, словно вы моего имени даже не слышали.

Те двое были уже совсем близко, так что Бестерцей поспешила навстречу им на террасу, чтоб Дёмётёр успел спрятаться: не то эти, чего доброго, обойдут дом сзади и заглянут в окно гостиной.

*

Им оставалось еще ступенек десять.

— Высоковато, верно? Но вы только оглянитесь!

Молодые люди подчинились и на секунду так и застыли, повернувшись к Бестерцей спиной, забыв даже о том, ради чего пришли.

Хозяйка упивалась их восхищением. Высшего наслаждения в жизни она не знала.

— Пообедать желаете?

— Что? Пообедать?

— Ох, совсем разум потеряла! Я даже не знаю еще, зачем вы пришли. Вообще-то я сдаю комнату, ну и обед, само собой, лишние две-три порции труда не составят.

— Собственно говоря, можно бы и пообедать,— сказал парень и сглотнул.

— Хватит тебе, Лала, не валяй дурака.

— Ну, нет так нет.

Бестерцей к ним приглядывалась.

— Бестерцей здесь живут?— спросила девушка.

— Вы по объявлению?

Потертые бархатные штаны сидели на парне в обтяжку.

— Ну а как же, конечно, по объявлению. Итак, вы давали объявление? Когда? В воскресенье? В «Мадяр немзет»?

— Вы его не слушайте!— Девушка протянула к Бестерцей красивую руку с кольцом из сердолика.— Пожалуйста, не слушайте его, он просто дурачится. Мы, видите ли, ищем одного человека.

Хозяйка смотрела на красивую кисть с сердоликом, ласково, доверительно коснувшуюся ее скрещенных на груди рук.

— Человека по фамилии Дёмётёр.

Бестерцей так удивилась, что этим себя и выдала; теперь ей ничего не оставалось, как запричитать: ох, давно уж я его не видела...

— Когда ж это он был здесь? Недели две назад, а может, и поболее.

— Не могли бы вы сказать... что он говорил в последний раз?

Хозяйка молчала.

— Ладно в молчанку играть, бабуся!

— Лала! Ты нахал, как ты ведешь себя!

Нет, не могла Бестерцей на него сердиться, даже когда его рука легонько шлепнула ее по лопатке.

— Ты мне надоел!— раздраженно оттолкнула его девушка.— Вон, гляди, абрикосовое дерево, встретимся под ним. Мальчишка!

Парень поплелся вниз, к абрикосу.

«Бабуся» и шлепок по спине были бы по отдельности, пожалуй, обидны. Но вместе?..

- На сколько же он вас моложе, деточка?
- На год старше.
- Брат вам?
- А...
- Я все болтаю, болтаю, а и не знаю, с кем довелось...
- Я жена Дёмётёра.
- Как?.. Жена?!
- Ну да. Я ищу своего мужа. Тревожусь за него.

Бестерцей села и долго в упор смотрела на молодую женщину.

- Лала! Брось-ка мне парочку абрикосов!

Парень бросил ей абрикос, дамочка поймала, упустила, подняла, сунула в рот. Оба смеялись. Ни малейшего намека на тревогу.

С половинкой абрикоса во рту:

- Боюсь, как бы он не сделал чего над собой.

И на секунду посерьезнела.

- Ох, все-то вы не боитесь этого, дамочка.

- Я у вас о чем-то спросила... О чем, а?

— О последних словах его. Я только теперь поняла. А ведь он все об вас заботился, все об вас. Вот этот дом торговал. Мы уж и решили отдать ему за сто сорок тысяч.

Молодая так и села, прямо на траву. Как она смеялась!

- Ты слышишь, Лала? Он хотел дом купить!

- Старик был не без юмора.

- Был?

— Милая тетушка! А вы и клюнули на его посулы? У него в сберкассе на счете всего двадцать тысяч форинтов. К сожалению, на его имя. Ну и еще только пенсия—тысяча восемьсот.

- Так он уже на пенсии?

— Полтора года. Прежде-то вместе с приработками у него до пяти тысяч в месяц доходило. Я и выскочила за него. А он—как подменили его. Сразу на пенсию вышел.

Ее легкомысленный смех придал Бестерцей храбрости.

— Выходит, этот молодой человек, Лала-то, любовник ваш?

Красивая молодая женщина непринужденно сидела на траве.

- Но ведь это так естественно.

В самом деле. И Бестерцей тоже совершенно естественно спросила:

— А почему вы пошли за него? Как вы могли? Из-за этих пяти тысяч?

— А! Просто он очень настаивал. Я говорила ему: это добром не кончится, но он все равно настаивал на своем.

— Ну, вряд ли только по этой причине... И давно он настаивал?

— Конечно, не только. Но это длинная история. Вы сперва расскажите, каков он был в последний раз.

— По правде сказать, ему было, верно, не по себе. Но ведь мы с ним все про покупку дома говорили, цену обсуждали, а он знай на эти сто семьдесят две ступеньки напирал.

— Это на него похоже.

— Что похоже?

Парень принес в подоле рубахи несколько горстей абрикосов. Опустился на колени, выкатил их на траву.

Парочка была явно голодна, уплетала абрикосы за обе щеки.

Но в ней проснулось и чувство вины.

— Он, знаете, еще до моего рождения за мамочкой моей приударял.

— Ну, видите, так-то оно понятнее.

— Почему понятнее?

— Он был влюблен в нее, верно?

— Вроде того, да только папочка обошел его на полголовы. И он ждал, пока папа вернется из плена домой, и ждал, ждал, пока я не выросла. А в позапрошлом году сказал: ты красивей, чем мать.

Парень выплюнул косточку абрикоса.

— А эта недоделанная деваха и уши развесила. Как же: благоустроенная квартира, независимость! Пять тысяч ежемесячно, приходящая домработница.

— Ты мне надоел, Лала! Я прекрасно могла бы оставаться дома! Понимаете, тетечка, я так к нему привыкла, с самого детства привыкла, что он каждый день у нас! И все его привычки меня нисколько не раздражали. Слава богу, наслышалась и как он сопит во сне, и как храпит даже. Я пошла за него со спокойной душой.

Вдруг она услышала, что говорит, заметила и гримасу на лице парня.

— Убирайся отсюда! Подонки!

— А ведь вы не очень-то и тревожитесь?

— Нет-нет, очень! Только по мне не видно.

— Да чего ж вы боитесь?

— Что он покончил с собой.

— С чего бы ему покончить с собой?

— Он еще весной раздобыл большую дозу стрихнина, чтобы покончить с собой. И даже говорил мне про это, да я не верила.

— И только теперь встревожились. Ну, знаете!

— Так ведь не верила я! До сих пор он каждую неделю возвращался домой. Ванна для него все.

— Это верно,—задумчиво проговорила Бестерцеи.— Он и мне жаловался, что очень ему не хватает ванной.

Абрикосы кончились. Парень вскочил на ноги. Он был отнюдь не мальчишка, в его голосе появились даже командирские нотки.

— Ну, хватит воду в ступе толочь! Эта добрая женщина его не видела, наставить нас на путь не может. Да и не наше дело искать его. Взрослый человек. Еще какой взрослый! А если он принял это самое, так я и вовсе не хочу с ним встречаться. Терпеть не могу трупы. У меня от них... аллегрия.

— Видите, какой он душка, этот Лала, вечно шутит. А ведь по правде-то он ради моего мужа даже в шахматы играть научился.

— У меня от этих шахмат и сейчас мурашки по коже! В гробу я их видел! У меня шок от шахмат!

— Слышите, слышите? Он все превращает в шутку.

Бестерцеи раздумывала о том, что из остатков обеда могла бы, пожалуй, выкроить для них две порции.

Да только по их виду не скажешь, будто найдется у них сорок форинтов.

— Ну что же, тетечка, если вы ничего о нем больше не знаете, мы с грустью в душе распрощаемся с вами.

— А видок отсюда и впрямь классный. Был вкус у этого типа!

Бестерцеи вдруг вспомнила, на что ей следовало по-настоящему рассердиться.

— Если про сберегательную книжку вы правду сказали, выходит, господин Дёмётёр с самого начала только пустые посулы здесь расточал.

В основном жалоба направлена была внутрь дома.

Ее утешили с двух сторон.

— Не берите на сердце, бабуса. Как-нибудь да будет. Этот пузан, ну, там, в доме, уж он!..

— Совсем обнаглел?! Спятил?

— Не люблю, когда меня за нос водят.

Эмеше попрощалась за руку, по-мужски, парень низко склонился, но поцеловал собственную руку.

Миновав абрикосы, они еще помахали ей рукой.

— За абрикосы спасибо!

Она крикнула им вслед:

— Я за них пять форинтов беру.

— Не понимаю,—рупором приставил Лала к уху ладонь, подняв голову к ней, и загоготал. Впрочем, ей были слышны и другие слова, произнесенные негромко и обращенные вниз:

— Ну, скажу я тебе, ты вел себя как подонок.

Хихиканье.

— Придется же тебе попотеть, пока до тех двадцати тысяч доберешься. Дуреха ты, дуреха.

Бестерцей вошла в дом и сперва тихо, потом все громче стала звать Дёмётёра. Покричала над погребом, под чердаком. И во дворе звала. Но все было напрасно.

1971

ДВОЙНАЯ ПАРАБОЛА

Бельгийцы и голландцы ловят ласточек сетью во время перелета. Едят их жареными, две штуки—порция.

К нам тоже каждый год прилетают ласточки. Сперва им приглянулась кухня, но мы на это не согласились. Весь июнь продержали из-за них закрытыми двери и окна. Когда опасность вроде бы миновала, мы вдруг обнаружили, что на покосившейся алюминиевой тарелке, прикрывавшей кухонную лампочку под потолком, уже готово аккуратное ласточкино гнездо, слепленное, как обычно, из грязи, и в нем покоятся четыре остреньких яичка.

В глазах нашего народа ласточка птица святая, обижать ее не годится—в доме, где водятся ласточки, дочери вырастают красавицами и хозяину во всем бывает удача. Кто намеренно убьет ласточку, тому не миновать беды, а то и вечного проклятия. Не прошло и недели, как мы их заметили, а из яичек уже вылупились птенцы, и началась двухнедельная суматоха. Родители метались туда-сюда, приносили птенцам своим насекомых со всей округи, трудились так усердно, летали так стремительно, что иной раз казалось: их, кормильцев, не двое, а по крайней мере шестеро. Как выяснилось позднее, мы не очень-то и ошиблись в счете: когда птенцам перестали носить насекомых и настало время им покинуть гнездо, вокруг беспомощных еще малышей кружилось сразу восемь птиц—двое стариков родителей и шестеро подростков первого помета.

Вылет прошел удачно, кошки поблизости не оказалось. Детская смертность покуда равна нулю. Теперь уже самая большая забота предстоит им только при перелете. Друзья животных из Люксембурга, как я слышал, в этом году уже начали кампанию протеста против варварского обычая своих соседей бельгийцев, а наши ласточки, я надеюсь, будут держать путь не через Италию—хотя бы через Балканы. Оттуда же—прямоком в Африку.

*

Р. уговаривает меня купить выученную им птицу. Заметив, что я так и эдак увертываюсь, предлагает ее в

подарок. Сарыч. Змеелов. По ценности не уступает соколу. Я делаю вид, будто его намерение подарить птицу поколебало меня: хочется узнать о ней, о ее жизни подробнее. Р. работает в лесничестве. Он хороший рассказчик.

Как-то прошлой весной расположились рабочие лесничества пообедать, кто на пень сел, кто где, вдруг слышат—плач, да такой жалобный! Людей вокруг не видно. Ну, те, что полюбопытней, пошли на голос и на краю опушки увидели возле куста свернувшуюся кольцами змею, а в кольцах-то у нее птица зажата, стонет, бедняга, да все тише, тише. Змея, когда жертвой своей занята, не слишком опасна. Ну, кто-то схватил палку, на конце раздвоенную, пошли на змею напрямик, прижали, один рабочий смело сапогом наступил. Освободили птицу. Что за птица, не знают, а она и четверть часа спустя все к сапогам освободителей своих жмет, дрожа дрожит, словно и позабыла, что улететь может, как рабочие ожидали. Ну потом, конечно, поймали ее. А тут как раз Р. подошел, он и определил: сарыч-змеелов. Змеелов-то он змеелов, да только не по себе добычу выбрал, ему бы на обыкновенного ужа броситься, а не на эдакую змеищу, напоказ себя выставившую: представилась, будто на солнышке греется, а сама птаху высматривает. Вот друг на друга и напали. Да только змея сильнее оказалась, старая уже, опытная, а сарыч—новичок в охоте, перво-годок, подросток.

Очень захотелось Р. птицу ту получить, но не вышло: рабочий лесохозяйства, тот, что сапогом на змею наступил, уже не первый год внучонку что-нибудь эдакое обещал, Шанике своему. Ну, сарычу тут же и имя дали—Шани, а Р. снабдил рабочего советами, как с птицею обходиться. Первое время сарыча нужно на привязи держать, а пищу ему, сказал, пусть детвора добывает—тут и ловкость понадобится, да и ловушки пригодятся...

Для мышей-полевок настали худые времена, дети ловили их по всей округе, приносили Шани ворон, воробьев, иной раз и зайчат. А то, бывало, кролика дома стащат, и он тоже сарычу на стол попадает. Но скоро приелась старому рабочему этакая слава. Женщины боялись Шани, да и птица домашняя никак не могла привыкнуть, что Шани под одной кровлей с ними живет. К тому же лето шло на убыль, мальчишки нередко и впроголодь держали теперь Шани. Отдали птицу Р.

А она все еще была совсем молодая и под рукою

лесничего стала быстро всему обучаться. Не пропала еще склонность к учению. Приучил он ее днем на насесте сидеть, в колпачке. Во время занятий—на кулаке в черной кожаной рукавице, потом, вытянув руку, стал колпачок снимать. Начались прогулки на плече, на привязи. Всему обучился сарыч, что ему знать надобно. Ничем не хуже наилучшего сокола.

И вот теперь Р. предлагает сарыча мне.

— Совсем ручная птица. Послушная. Может хоть целый день просидеть на шесте. Если чует на ноге ремешок и сыта, даже не шевельнется. Любит сырое мясо. Вполне обходится без змей. Для них это только деликатес. И содержание ее ничего не стоит. За одну коротенькую прогулку она сама добудет себе зайца, куропатку, фазана. Еще и на кухню останется. Я потому только избавиться от нее хочу—хотя слов нет, как жаль расставаться,—что боюсь, как бы она кому поперек горла не стала, как бы не заявил кто на нее. В моем положении это опасно вдвойне. А мне хотелось бы знать, что Шани в хороших руках. Ваше положение, ваши связи... Мы вместе за несколько дней его к вам приручим. Походите с нами неделю. Под конец уже сами станете надевать черную кожаную перчатку. И хоть сразу можете к себе домой нести. Для него не я важен, а рука моя, кулак в перчатке, который он ощущает когтями.

Я догадываюсь, что и Шани и Р. переоценивают мои «связи». И, выразив свою симпатию к Шани, сообщаю об этом Р. Он невесело со мною распрощался.

Прошло несколько недель, и мы опять встретились. Что с Шани? Кто решился взять его?

— Никто... да я с тех пор не особенно и предлагал его. Как-то под вечер отнес подальше на Геречское взгорье. Там надел черную перчатку, посадил Шани на кулак и, вытянув руку, как всегда, снял колпачок. Он—вз-з-з!—радостно ухая, взлетел высоко-высоко, почти скрылся из глаз... Повернул я домой, а сердце так и колотится. Не прошло и пяти минут, как он уж и нагнал меня. С фазаном в когтях. Кружит надо мной, сесть хочет, руку в перчатке ищет... Я сделал вид, будто не узнал его или не замечаю. Тогда он сердито сел на дерево, мимо которого мне как раз идти, и разодрал фазана. Я ничего не сказал ему. Много раз, пока я шел к дому, он налетал на меня, просил, чтобы я хоть словом его приветил, чтоб на руку взял. Однако кулака в черной перчатке так и не увидел. А влететь во двор, в дом иначе как на руке ему не позволялось. Но проводил он меня до самого дома. Много дней после того видел я, как он кружит, высматривает меня на привычных наших дорогах. Но черную перчатку я

спрятал подальше. И неохотно вспоминаю об этом. Уж поверьте.

*

Большинство птиц навсегда покидает родимое гнездо, место, где они вылупились из яйца. Но ласточки—это известно всем—возвращаются. Как и журавли. Инстинкт?

Нет, это не просто инстинкт. Это знание! Ласточки, покинувшие гнездо в нашей кухне, вот уже третью неделю каждое утро и каждый вечер—до и после охоты за насекомыми—по многу раз облетают гнездо. Мало того, старики приводили сюда и первый свой выводок. В этих посещениях не было решительно никакой к данному моменту относящейся цели. Только обучение. Углубление, укрепление памяти. Прививка против забвения, дважды в день. И не только о новых возможностях лепки гнезда, не только о преимуществах комбинации алюминия с глиной наставительно чивикают старики—они призывают: приглядитесь получше, дети, как мастерски вписано в пространство это гнездо! Как оно расположено. А теперь вылетаем наружу: рассмотрите получше пути подлета, двор, деревья вокруг, но главное, запомните эти строения, и дорогу, и воду. Теперь взлетим повыше, видите, все словно уменьшилось, но вон те две башенки вы видели и прежде, а теперь, отсюда, их уже штук семь видно. Значит, примечайте: те две башни, вода, дорога, по ту сторону горки—башня и развалины. Там мы гнезда не лепим. В развалинах—никогда. Почему, объясню как-нибудь в другой раз. Что, дом и двор маловаты, говорите? Ну а наше-то гнездышко? Куда поменьше! Еще десять, пятнадцать раз тьма сменит свет, а свет тьму, и тогда мы тронемся в путь. Остаться здесь нам нельзя. Здесь скоро пропадет вся зелень, все станет бело и ударят холода. А мы полетим в такие места, где... но сюда мы вернемся!

Вылупившиеся летом птенцы поначалу еще глуповаты, хотя летают так стремительно, что это и незаметно. Но к девятому сентября даже самый глупый, самый тупой птенец в совершенстве изучает очертания местных вод и гор и, в общих чертах, расположение солнца, луны, звезд—настолько, чтобы даже с закрытыми глазами через моря и океаны вернуться сюда, когда здесь все зазеленеет вновь. Вернуться даже в одиночку, кому посчастливится дожить до весны. И снова жить здесь. На нас, людей, почти не обращая внимания.

РАЗГОВОР В САДУ

— Вот вы не поверите, а у меня, право, душа болит, когда я этим расчудесным секатором «Кунде» живой побег обрезаю. И ведь знаю, что нет души у дерева или там куста какого-нибудь, а вот поди ж ты...

Взгляд владельца участка взбегает по придорожному тополю, и садовник умолкает. Гадает про себя: может, он просто на чисто выметенное небушко глядит, ищет глазами, где воздушный путь диких гусей пролегает. Трудно сказать, что думает по этому поводу садовник.

— На что, прошу прощения, засмотрелись? Они в эту пору еще не взлетают, разве что ближе к ночи, попозже. А вообще-то ихний путь как раз здесь, над рекой, идет. Река им вроде как дорогу указывает, вода гладкая, что зеркало, прямо к югу ведет их.

— Да я не гусей выглядываю. Вон там, на самой вершине тополя, в листве белка прячется. Раненая белочка.

— Почему же вы знать изволите, что она ранена?

— Вон те два монтера, видите, все утро швыряли в нее, что под руку подворачивалось... Они третий день тянут здесь линию электропередачи.

— Видел я их. Сбить, что ли, затеяли?

— Ну да.

— Убить-то, думаю, не хотели.

— Нет-нет. Сказали: чтоб домой, мол, детишкам отнести поиграть.

— Ну, все равно, и это свинство порядочное. Я тоже когда-то охотился, но на белку—ни с ружьем, ни с камнем... А вы их все же прогнали?

— Крикнул: что за жестокость такая! Экое варварство! А знаете, что они мне в ответ крикнули? Мол, если б они сейчас не обратили мое внимание на белку, я бы так никогда и не узнал, кто орехи с моих деревьев ворует.

— Глупые речи. Как же вам этого не знать? Верно говорю?

— Ну а как же? Белка каждое утро взбегает на орех этот и на миндальное дерево тоже. Несколько орешков разгрызет тут же, на месте, парочку с собой прихватит, за щеки заложит. А вот вчера на закате видел я и одного из монтеров этих под большим орехом: полные карманы орехов набрал и убежал крадучись. Мне уж не хотелось его позорить... Но в самом деле, нельзя ли что-нибудь против белок придумать?

— Чтоб орехи сберечь?

— Именно.

— Так ведь, дозвоьте заметить, белка зверек куда какой чувствительный. И обидчивый очень, а уж сколько от ловушек страдает! Милый зверек. Конечно, некоторый вред приносит, тут ничего не скажешь. Но уж такая она, белка-то, ей, вишь, полная свобода по вкусу.

— И что же выходит?

— А выходит то—это, значит, мы, специалисты, к такому выводу пришли,—что надобно по всей стране столько орехов и миндаля вырастить, чтобы и белкам хватало. И если с такой думою за дело приняться, то никакой беды уж и нет.

— Ну, если вы к тому же еще и охотник, то воззрения ваши просто прекрасны и очень гуманны.

— А я это и как садовник говорю, белка ведь у нас не промысловый зверек. Как, скажем, дикие гуси. Не стану отпираться, иной раз по осени и я загляжусь на небо, когда по нему клин плывет, а вожак гогочет, с помощниками своими, с замыкающими, перекликается. Тут из хорошего ружья да рассыпной картечью можно так подладиться, что несколькими выстрелами запросто треть стаи снимешь.

— В здешних местах так не принято.

— И правильно. Потому как, извольте сами подумать: и по правому берегу, и по левому шоссе и идут, третья дорога—по острову, по обоим рукавам Дуная лодки, катера, теплоходы так и снуют, в горах тоже всякого люда полно, верно говорю?... Так что тут ваша добыча пока вниз спланирует да туда-сюда упадет веером, ищи ее! Нет такой легавой, которая бы здесь все собрать могла. Вот и выйдет, что настрелял охотник гусей невесть для кого, он и не знает людей тех, а то и вовсе сгниет его добыча где-нибудь среди кустов.

— Приятно говорить с вами. Вроде бы и про охоту разговор, а как-то по-человечески получается.

— Так-то оно так, да только не извольте думать, будто добираются гуси до наших границ в целости и сохранности. Там, где Дунай на равнину выходит и разливается шире, стая непременно выберет местечко побезлюднее да и опустится, чтоб подкрепиться немного, попастись. Пощипать того-сего. Вот тут и подстерегают их тамошние жители, даром что ночью, поджидают стаю там, где кукуруза либо жнивье к самой реке подходит.

— Жнивье? Теперь-то?

— Ну, не знаю. Вот два года назад позвал меня как-то тип один сад ему, значит, прихорошить. В Бодисло. Знаете, где это? Ну вот. Мне они ничего не сказали, а просто повели с собой под вечер на край бо-ольшого жнивья, по другую-то его сторону как раз Дунай был

виден. Гляжу, а там по краю жнивья уже несколько ям вырыто. Ямы большие, в каждой по два-три человека стоя поместятся. И облокотиться удобно. Погода была уж холодная, так что застелили они те ямы соломой. А я все смотрю: для чего это? Тут подкатила машина, вынули из нее горячие кирпичи и побросали их в ямы. Наниматель мой и говорит: ну, Ференц, прыгайте и вы в яму-то! Остальные все к этому времени позанимали в ямах места. Становиться надо было прямо на горячие кирпичи, чтоб холод не пробрал, пока ожидаешь. Приладили мы ружья, стоим, чай попиваем тихонько в ямах этих. Ну, вдруг слышим, ближе к полуночи, гогочут со стороны реки. Видим, от берега по стерне приближаются к нам гуси, переваливаются себе спокойно, пасутся. Не совру, сотни две их было. Ждать, однако, приходилось, терпением запасаясь и в полной тишине. Они подошли совсем близко, ничего не подозревая, а когда уж все были тут, мы по знаку из шести-то ям, из двенадцати ружей как дали по ним картечью! Которые пробовали взлететь, мы в них — по второму залпу. Осталось их там не меньше половины, право слово. В четырех кузовах добычу в деревню везли.

— Хорошо, хоть белки не скачут стаями.

— О, белка славный зверек. Вон и та, что на тополе спрыгалась.

— Надеюсь, ее не слишком поранили и хватит у нее смелости спуститься, чтобы до ближайшего ореха добраться? Интересно, чувствует она, что мы по-доброму к ней?

— Я, прошу прощения, думаю так, что чувствует. Животное доброго человека всегда угадает. И ведет себя с ним совсем наособицу. Да хоть гусей взять, до чего ж, извольте знать, умная птица. Вот и та стая, в которую мы стреляли тогда, она ведь, верней, остатки ее, по крайней мере неделю целую где-то в другом месте паслась. На другом берегу даже. И те стаи, что вслед им прилетали, тоже — видно, эти им весточку какую оставили. Дней, может, через десять только вроде как забываться стало, что у этих ям, соломой высланных, случилось. Тут и хозяин мой опять взялся кирпичи греть... Время-то стояло не весеннее, что верно, то верно.

— Хотелось бы мне верить, что кровожадность человечества не увеличивается, а уменьшается. Но, с другой стороны, конечно...

— Вы это про тех двух монтеров подумали? Нет, они люди порядочные, семейные, детей имеют. И с белками у них только и было думки что про детей. Как радоваться, мол, будут, коль удастся зверька сбить. Да неопытные они, подхода к белке не знают. А так я б их лишь за то по-

прекнул, что таким делом в рабочее время занялись.

— Глядите-ка, а я про это и не подумал.

— Вот видите!.. Жил тут неподалеку господин один, недавно от рака помер. Так у него в саду, как ни заглянешь, всегда одна-две белки в клетке, на колесе, знаете, крутятся... Поглядеть приятно, конечно. Очень любил этот господин дарить белок гостям своим. Вот он знал, что белку можно ловить не иначе как в западню. Чтоб не поранить. А все равно эти славные игривые зверьки и у него не доживали до весны.

Садовник откланивается. Белка по-прежнему сидит затаясь среди листвы, где-то на верхушке тополя. Смеркается. С севера приближается косяк гусей—кажется, первый в этом году. Все слышней их далекое гоготанье. Заслышав их отдаленные клики, садовник, уже с дороги, оборачивается, указывает своей палкой на приближающийся клин, прицеливается из нее в вожака и твердо стреляет дуплетом. Его улыбки уже почти и не видно.

1973

ГОРОСКОП

— Бледный какой. Краше в гроб кладут. По-моему, до утра не дотянет.

— Тсс. Тише. Там все слышно. Вдруг услышит...

(Через несколько минут.)

— Сестра! С кем вы сейчас разговаривали?

— Да так, коллега. С первого этажа.

— Коллега—он? Может быть, она?

— Да. Та, что из приемного покоя.

— Я все слышал.

— Вам спать надо, а не слушать.

— Отчего ж вы с нею считаете, что я умру?

— А, эта болтушка вечно городит невесть что. Я думаю, она ненормальная. Господин главный врач как раз сегодня говорил, что ваше состояние улучшается на редкость быстро.

— Видите ли, мне еще никогда не приходило в голову, что я могу не дожить до утра.

— Да не тревожьте вы себя понапрасну.

— Я из-за этого и не тревожусь... ведь вот еще днем меня так и обступили заботы-печали, ну, разумеется, от лекарств, а сейчас я думаю про завтрашний день: пожалуй, будет туман. Но—*будет*, понимаете?

— У вас боли? Дать успокоительного?

— Болей у меня нет, так что и успокаивать нечего.

- Ваши таблетки вот здесь. И слева подстакана воды.
(Позднее.)
- Почему вы все еще не спите?
- Волосы у нее темные, под цвет мака, и прилизанные такие?
- При чем тут мак?
- А вы совсем сонная, сестра? Я про ту женщину спрашиваю, из приемного покоя.
- А-а... Прилизанные?
- Да-да.
- Но вы не могли ее видеть.
- Давеча не видел, но три дня назад она и в рентгеновский ходила за мной со своей тетрадкой и, пока мне вливали в вену контрастное вещество, о чем только не расспрашивала. Записала, когда родились мои родители, какими болезнями болели, спросила, живы ли. Это так у вас принято?
- Не знаю. Говорю вам, эта женщина немного чокнутая. Может, она в вас влюбилась.
- Тогда бы она сидела у моей кровати и сжимала мне руку.
- Больше она ничего не спрашивала?
- Спросила, когда я родился.
- Это записано в вашей истории болезни.
- Нет, она требовала, чтобы я сказал, в какое время дня, в котором часу, даже четверть часа, минуту! Я ответил так, как ей хотелось услышать: в половине третьего, на рассвете.
- А это неправда?
- Может, и правда, я не помню.
(Около полуночи.)
- Вы так и не приняли успокоительное.
- Не принял.
- Не хотите заснуть?
- Не хочу. Знаете, что мне еще сказала та женщина? Там, в рентгеновском кабинете? Она сказала, что мы с ней—едины. У нас общая судьба. По рождению. Год, месяц, день, час, минута.
- И что это означает?
- Что мы одновременно умрем.
- Так я и думала, что она больная. Вернее, теперь уже просто знаю.
- И что чокнутая, знаете, и что ненормальная. Да только кто же нормален, кто не чокнутый? А знаете ли вы о ней что-нибудь еще?
- Она тут чего только мне не наговорила. Несчастное создание. Ее первый муж под поезд попал. Родителей не стало десять лет назад. Представьте, как-то в зимний день

рассорились старики, мать возьми дахвати мужа кочергой по голове. Тот так и рухнул мешком. Мать со страху, чтоб не узнали, облила его бензином и подожгла. Весь дом сгорел, и они оба тоже. Сынишка ее от первого брака на детской площадке убили до смерти. Второй муж в прошлом году ушел от нее. Теперь вот опухоль в желудке нашли, в лучшем случае...

— И она все это просто так, с ходу, и рассказала?

— Ну да... У вас правда ничего не болит? Тогда я уберу болеутоляющее.

— Больше она ничего не говорила?

— Ой, в самом деле, я же только сейчас поняла... она все плохую звезду поминала. Под которой она родилась.

— И под которой родился я.

— Все же вам лучше принять снотворное и болеутоляющее вместе.

— Когда человек не хочет уснуть, небольшая боль ему только в помощь.

(Ночью, в два часа.)

— Я вас уже и корить не стану. Но свет я обязана погасить. Что, разве и вы несчастливый? Как она?

— Вовсе нет.

— Выходит, вы ей, бедняжке, неправду сказали?

— Да нет, я ей не врал, но как знать, может, минуты и не совпадают.

— А вдруг она все же в вас влюбилась?

— Бросьте, право. Пока я не сказал ей, в какой день родился, она на меня и не глянула.

— Но тогда что же?..

— По-вашему, у нее только и думки, что с другим несчастливцем связать себя? Просто она хочет судьбу свою знать, только и всего.

— Может, и так. Она нашла вас очень бледным.

— А еще что сказала?

— «Дорогая, я готова на все. Дольше я такой жизни не вынесу».

— Н-да, ей бы моя смерть прилась кстати.

— В том смысле, что тогда б и она умерла?

— Конечно. Что могла бы покончить с собой.

— Ой, что вы, можно ли говорить такое?

— А вы не в состоянии себе это представить?

— Нет, почему же. Вообще-то, я теперь вспоминаю: она попросила, если с вами что-то случится, около шести утра позвонить ей домой. А вот что делать, если ничего такого не случится, мы как-то не договорились.

— Не волнуйтесь, она не примет яда до тех пор, пока не позвонит сюда. Без четверти шесть она позвонит непременно.

- Может быть, мне позвонить ей прямо сейчас?..
— Рано пугать ее, мы бы только разбудили ее до времени, а моя судьба все еще осталась бы для нее неясна.
— Вы правы. Но спите же.
(Перед рассветом.)

— Ну, это уж ни на что не похоже! Сейчас же закройте глаза!

— Не смею.

— Да теперь-то уж смело можете спать, светает.

— А если зазвонит телефон?

— Что? Ну, я подниму трубку. И скажу, что все в порядке, вы живы.

— Но ведь она спросит, когда вы меня видели и убеждены ли, что мое сердце все еще бьется, дышу ли я.

— Ну что ж, вы правы. Тогда я положу трубку, скажу: подожди минутку, дорогая, сейчас посмотрю. Потом на цыпочках войду в палату, тихонько, так, чтобы не разбудить вас, найду под одеялом вашу левую ногу, нащупаю на левой ноге большой палец и уверюсь, что он совсем теплый, что кровообращение, значит, хорошее и все в порядке.

— Если вы меня не разбудите и я даже не открою глаза, откуда же мне знать, что это именно вы прокрались ко мне на цыпочках, а не...

— Нет, с вами нельзя разговаривать серьезно. Спать, немедленно спать! Вы поняли?!

— Понял. Однако, если зазвонит телефон, а он зазвонит непременно, вы все же отворите дверь и даже не войдете, а только заглянете, просунете голову и поглядите на меня. Вы увидите, что глаза у меня открыты. Но это не доказательство. Мне придется вам что-то сказать. Но почему я знаю, достанет ли у меня сил. О, вот что я придумал: я дам вам знак рукой. Чуть-чуть приподыму ладонь правой руки. Вроде бы помашу вам. Вот тогда уж вы со спокойной душой ступайте себе назад к телефону.

1974

ПАРАПСИХОЛОГИЯ

— Как я уже уведомил вас по телефону, мне хотелось бы рассказать вам о некоторых явлениях, для вашей профессии, полагаю, небезразличных.

— Весьма рад встретиться лично и глубоко признателен...

— Только, прошу вас, без иронии, я ведь знаю, как вы любите эдак движением каким-нибудь или словцом выста-

вить сомнительным то, что для других свято.

— Надеюсь, вы преувеличиваете.

— О нет. Вот и недавно вы многих задели за живое, высказав свое мнение о гороскопах.

— Вы гороскопам верите.

— Речь не о том, верю я или нет, но я с уважением отношусь к невинным суевериям наших добронравных сограждан.

— В этом мы с вами не схожи.

— Сказать откровенно, я тоже не одобряю всяческие предсказания и то, как неблагоприятно зачастую используется эта способность на практике. Предсказания—рассадник жульничества, сударь мой.

— И все же вы вопреки этому?..

— Не вопреки этому, а несмотря на это, я пристально изучаю способности человека и самую возможность для него заглядывать в прошлое, видеть прошлое. Вот в этой-то связи я и подумал о вас.

— Воскрешение, восстановление прошлого?

— Да-да.

— Что до меня, то я для этой цели пользуюсь собственными воспоминаниями, а также наблюдениями, записками других людей и, разумеется, старыми-престарыми источниками всякого рода.

— Н-да, это, конечно, кое-что, но ведь такое доступно каждому.

— Не стану запираться, иной раз я привлекаю и воображение.

— Воображение? Для меня это пустой звук.

— А я-то полагал, наоборот... Но в таком случае мне не совсем ясен ход вашей мысли...

— Видите ли, при определенных обстоятельствах прошлое является нам само, то есть его можно вызвать. Вот о чем я говорю.

— Этим вы не сказали мне ничего нового. С помощью определенного электровоздействия, обработки с поверхности ганглий действительно можно вызвать к жизни забытые, давно захороненные воспоминания детства и более поздних периодов жизни... Простите, я не знаю, насколько вы...

— Продолжайте, продолжайте, я отлично могу следить за вашей мыслью, сударь. Термины эти мне известны. Как и сами явления. И вы тоже, полагаю, не станете возражать, если я вам замечу, что личные знания и сведения—это вопрос запоминания, то есть проблема педагогическая, и воскрешение их в памяти, собственно говоря,—область химии или, может быть, электротехники.

— Следовательно, вы имеете в виду не личное прошлое.

— Безусловно. Более того, весьма и весьма широко понимаемое прошлое. Но, разумеется, не слишком и увлекаясь—говорить о времени бесконечном я просто не смею.

— Простите, но мое удерживаемое, так сказать, на привязи воображение теперь способно продвигаться вперед только с помощью осязаемого примера.

— Я это предусмотрел, сударь... И потому припас несколько доказательств. Одно из них непосредственно относится к нашей теме. Дело с изумрудом.

— Рассказ какого-нибудь ювелира?

— Ну что вы! Особа, чья история и послужит доказательством, моя близкая родственница... к слову, с мужем она разошлась, после неудачного брака замкнулась в себе. Ей сорок лет.

— Любовная история?

— Нет! Эту даму вот уже несколько лет посещает один и тот же сон... Залитый солнцем склон горы, по нему там и сям разбросаны гипсовые памятники—просто столбики и на них головы без лиц. В нынешней своей жизни эта дама никогда ничего подобного не видела, даже в ранние детские годы; и фигурки, и сама эта ослепительная яркость, добела раскаленная солнцем атмосфера, совершенно ей чужды.

— Этот тип снов известен. Он именуется...

— Нет-нет! Здесь речь совсем о другом. В обычных снах типа «*déjà vu*»* картина всегда недвижима и не тревожима практически никаким действием. Узнавание состоит лишь в том, что она пробуждает в спящем ностальгию или, реже, ужас. Но в данном сне каждый раз совершается определенное действие, и совершается оно именно на этом залитом солнцем склоне, среди разбросанных довольно далеко друг от друга гипсовых памятников; моя родственница неуверенно, будто ища чего-то, шла среди фигурок и наконец решительно направлялась к какой-то, словно бы знакомой, гипсовой голове и всякий раз дотрагивалась до нее рукой. При этом она твердо знала, что под неким утолщением каменной косички она найдет спрятанный там камень, и этот камень, это она тоже знала, ждет ее. Ждет с давних пор.

— Понимаю. Позвольте только осведомиться, записывала ли упомянутая дама свои сны. И возможные варианты.

— За исключением первого случая, да. Впервые это приснилось ей весной шестьдесят седьмого года и на меня никакого особого впечатления, кроме недоумения, не

* Сон-прошлое (бука.: уже виденное) (франц.).

произвело. Позднее сон повторялся, примерно раз в полгода, в год, и она уже точно записывала даты навязчивых видений, с указанием дня и даже часа.

— Что же я могу вам сказать? Здесь есть над чем поразмыслить.

— Справляться о вашем мнении пока рановато, ведь я даже не кончил рассказ. Продолжу тем, с чего, вероятно, следовало бы начать. У моей родственницы, именно в силу ее одиночества, имелось единственное, кроме работы, увлечение — путешествия. Каждый год она проводила свой летний отпуск в туристской группе. По объявлениям ИБУС'а* она загодя выбирает наиболее подходящий маршрут, иной раз уже в декабре оплачивает предстоящее лето удовольствие и до самого отпуска по картам, по бедеккерам готовится к будущим впечатлениям, даже, можно сказать, изучает их.

— Ага, понимаю, она начала сознательно искать...

— Нет! Единственной целью ее путешествий была возможность быть среди людей, видеть новые края. Я не вправе говорить за нее, но почти уверен: она при этом даже не ставила себе задачу найти нового спутника жизни. Разумеется, с полной достоверностью высказаться об этом может только она сама. Короче говоря, так она побывала чуть ли не во всех народных демократиях, в Советском Союзе само собой, даже дважды. Больше того, съездила как-то в туристскую поездку по Испании, и я спросил ее именно о том, о чем думаете сейчас вы: не чудилась ли ей где-нибудь, например в Греции, та самая атмосфера, какая так поражала ее в том повторяющемся сне. Она решительно отвечала мне «нет» и что, напротив, во время путешествий, пока ИБУС возил и развлекал ее, эти сны ей даже не вспоминались.

— Сейчас должен произойти какой-то поворот.

— Да, это в вас подает голос писатель. Итак, в прошлом году моя родственница записалась на поездку в Болгарию. В Софию их доставили самолетом, оттуда два дня спустя автобусами повезли в Варну, где они провели следующие два дня на берегу моря. Случилось так, что местные их хозяева задумали сверх программы прогулку по морю и каждый желающий мог, за соответствующую доплату, принять в ней участие. Среди венгров желающих оказалось мало, хотя прогулка обещала быть очень приятной.

— И ваша родственница...

— Она тоже не собиралась ехать, но в последний момент, рассказывала она уже задним числом, ее вдруг

* Венгерское агентство типа «Интурист».

что-то словно подтолкнуло, и, хотя недостающие левы ей пришлось просить в долг, она заявила, что поедет. Конечный пункт, откуда пароходик поворачивал обратно, был Бургас — осмотр города и возвращение. На этот раз моей родственнице не захотелось ходить вместе с группой по запрограммированным местам, она предпочла в одиночестве побродить по городу. Вскоре, ничего не обдумав заранее, отдавшись на волю случая, она уже подымалась на возвышавшийся над городом холм с единственной целью: посмотреть на море с высоты. И тут она обнаруживает, что находится на турецком кладбище. Причем на том самом залитом солнцем склоне, который так хорошо знала по своим снам. Она буквально застыла от изумления, но что-то мешало ей просто стоять, что-то заставило направить шаги свои прямо к тому памятнику, увенчанному турецким тюбаном, который она столько раз узнавала, которого касалась во сне. Она протянула руку к упрямой под тюбаном косе и — достала из-под нее драгоценный камень, тот самый изумруд, который ждал ее долгие столетия.

— И теперь вы хотите услышать мое мнение об этом?

— По правде сказать, да.

— Простите, но сперва... нет ли у вас еще каких-либо доказательств?

— Извольте. Хотя следующий случай совсем иного характера. В нем речь пойдет о профессоре, который несколько месяцев назад захворал, попал в больницу, и в это время скоростно умерла его секретарша. Осталось множество неоконченных дел, нерешенных вопросов, главным образом научного характера, поэтому профессор, поправившись и приступив к работе, прежде всего стал диктовать на магнитофон указания новой секретарше. Несколько дней спустя эта новая секретарша обратила его внимание на то, что на магнитофонной ленте, как бы вплетаясь в распоряжения профессора, слышится какой-то женский голос. Профессор прослушал соответствующие куски ленты и с недоумением узнал в неизвестном голосе голос умершей несколько недель назад секретарши.

— И что же она говорила?

— «Я жива, господин профессор, это я, я существую». Эти слова повторялись много раз, вплетаясь в речь профессора. Что вы на это скажете?

— Позвольте мне сперва задать вам вопрос, касающийся второго сюжета. Не по-немецки ли произносила эти слова секретарша?

— Ну, знаете, вы меня поразили. В самом деле, профессор, оставаясь с секретаршей наедине, охотнее

говорил с ней по-немецки, поскольку это был ее родной язык. Но вы-то как догадались?

— Позвольте еще вопрос. Как звучали по-немецки слова умершей?

— Herr Professor! Ich bin! Ich bin! Ich bin!

— Так я и предполагал, вернее сказать, знал, поскольку недавно уже слышал эту историю, правда без упоминания имени профессора. Для меня все это было бы убедительнее, знай я наверное, о ком идет речь, профессор ли он или кто-то другой. Быть может, он существует не более, чем тот голос на магнитофонной ленте.

— Если вы, сударь, подвергаете сомнению реальность одного из действующих лиц, причем как раз оставшегося в живых, то с вами о подобных вещах невозможно разговаривать.

— Позвольте мне, однако, вернуться к истории с бургасским изумрудом. Я не бывал в Бургасе, а вы?

— Мне тоже не доводилось бывать там до сей поры.

— Прежде всего я хотел бы знать, есть ли на склоне холма над Бургасом турецкое кладбище? Вообще, существует ли такой склон холма, который когда-либо был пригоден для турецкого кладбища? Это мой первый вопрос, с вашего разрешения.

— А второй?

— Предъявила ли ваша сновидица изумруд на таможене?

— Об этом у нас разговор не заходил, но я допускаю, что нет. Не только потому, что было бы весьма трудно заставить таможенников поверить в эту историю, но потому также, что еще труднее было бы доказать право наследования, коим облек ее некий дальний предок или родственная душа, отказав ей в пользование этот камень.

— Я прекрасно вас понимаю и даже в некотором смысле, становясь тем самым соучастником тайного преступления, соглашаюсь признать права вышеупомянутой дамы на изумруд. Но одно придется вам все же признать.

— А именно?

— Что для науки было бы неоценимо важно иметь не только заключения обеих таможен, но еще более — свидетельства бургасских специалистов, фотодокументацию, подтверждающую, что драгоценный камень перешел из сновидения в действительность именно там, на солнечном склоне бургасского холма, и что он обнаружен в самом деле под тюрбаном гипсового надгробия на этом, запечатленном сном солнечном косогоре, с расстояния в несколько сотен километров.

— Теперь я вижу: вы человек недоверчивый и циник.

— Особенно сожалею о последнем.

— А я сожалею, что с этими столь важными сообщениями обратился именно к вам.

— А я сожалею, что сожалеете вы.

1974

МОЯ РОДИНА? НАСТОЯЩЕЕ!

— Не покажете ли фотографии родных ваших мест?

— Невозможно. Они все пропали.

— А сами родные места?

— Что за вопрос! Надгробные плиты, памятники, кладбища всегда со мной. Как и неистребимые, не поддающиеся фотографированию воспоминания.

— Но чем вы возмещаете ушедшие картины прошлого?

— Деятельностью, без картинок. И разумеется, настоящим.

— Ну что ж, тогда начнем, быть может, с этого инжира?

— Пожалуй. Семь лет подряд мы скашивали этот куст вместе с сорняками и прочими травами, пока однажды осенью из-под засеменившейся отавы он вдруг не выставил свои пальчатые листья среди крапивы, дикой сурепки, карликовых ростков бузины.

— Можем ли мы извлечь из этого определенный нравственный урок?

— Какой же урок? Инжир, вот он, разросся, иногда даже приносит плоды.

— Чем вы его опрыскиваете?

— Ничем. Но на зиму все-таки прилаживаем ему одежду из кукурузных стеблей, подбиваем пальцецо сухим сеном... Впрочем, мы и другие деревья не опрыскиваем.

— По убеждению?

— Да. Ведь сюда прилетают птицы, ягоды поклевать, насекомых половить. Один только этот сад им и остался, где они всегда найдут себе неотравленный корм и без опаски восполнят весенний недостаток белка.

— Зато половина плодов червивеет и осыпается.

— Самое большее одна треть. Для нас же это чистая выгода, иначе пришлось бы все на перегонку сдавать, за большие деньги из сливы и абрикосов получать палинку.

— Так и гниют фрукты-ягоды на земле, в траве?

— Почему же гниют? На мускатный их дух из леса слетаются сюда на рассвете фазаны. А вон там, под деревьями, поднялись два муравейника, я их не трогаю, тем более что для фазаньих птенцов нет ничего вкуснее и здоровее, чем личинки муравья.

— Есть люди, для которых любой край, где протекает их жизнь, становится родиной.

— И во мне, конечно, как соль, растворенная в большом количестве воды, множество родных мест сливается, и притом неотделимо. Вспомнить хотя бы только отслуженные в армии годы: Кездивашархей, Унгвар, Кашша, Мункач...

— Отчего это так, что память сохраняет место рождения как бы увеличенным, даже воспроизводя его с самых бледных негативов? Может даже, через отрицание...

— Знаете, когда Дунай разливается, вертолет водонадзора каждый день курсирует вверх и вниз по течению, иной раз и дважды в день. Как-то и я летал с ними на таком вертолете, когда разлилась Тиса.

— Отчего вам вспомнились сейчас эти разливы, полеты?

— Да вот, мы говорили о памяти, которую можно сфотографировать... Каждую неделю я подымался в воздух с аэродрома в Самошфалве на двухместной машине. Цель была самая практическая: регулярный облет Цегейского озера; мы летели иной раз всего лишь в сотне метров над землей, над лесами, над заснеженными горами. Однако память моя сохранила, хранит и поныне, только те дранкой крытые деревеньки, по которым мне довелось когда-либо пройти пешком.

— Вывод?

— Никаких выводов. Но Марош и Олт я узнал, узнавал всегда и без карты. И среди всех вод на свете нет для меня ничего красивей бегущего с горного склона густого от талого снега ручья под весенним солнцем. Солнечные лучи вступают со снегом в борьбу, ручейки то и дело на миг пытаются скрыться под туманной завесой, и каждая их неудача — золотое сверканье.

— Да только теперь ведь осень.

— С точки зрения настоящего это безразлично. Однажды у Балатона, не помню уж, сколько лет назад, знакомый артист все допытывался, почему я предпочел Балатону Дунай. Для меня, говорю ему, настоящая вода — Дунай. Не может быть, ведь там течение! Вот именно, он течет, Дунай, и разливается, и опадает. К концу лета иной раз так обмелеет, что по всему руслу островки... И выходят со дна на свет божий места средневековых и даже древних поселений: остатки римских пристаней, обломки крепежных обручей с буксиров.

— И это все, что осталось от прошлого.

— А еще — вот эта деревенька напротив.

— Верёце? Кишмарош?

— Кишороси. Некогда люди поселились на верхнем

мысе острова, чтобы буксировать поднимающиеся по левому и правому рукавам баркасы и баржи, чтоб было кому тягловых лошадей подковывать, с начала ледохода и до самого ледостава.

— А что это за круглая фреска у вас на стене?

— Солнечные часы. Видите, тут изображения разного благородного лесного зверья.

— Наводнение вашему саду не грозит?

— Прежде затопит все междуречье Дуная и Тисы.

— Говорят, Дунай нынче грязный.

— Говорят. Но когда вода спокойна, олени стадами спускаются к реке перед рассветом, чтобы утолить жажду после ночной пастбы. А ведь олень чистюля. И лакомка.

— Лакомка?

— Молодую сосну от них непременно оберегать нужно, огораживать, также и саженцы яблони, персика—у этих ствол сладкий, так олени, пока он молоденький, до основания сжуют, бывает. У меня тут есть несколько яблонь, так они их каждый третий год съедают, когда снег укроет луга. Двухметровое ограждение из колючей проволоки для них сущий пустяк, если, спускаясь к воде, почуют, например, аромат спелых груш.

— Все-то вы о животных, да об идиллии в природе. А ведь в деревне и люди живут.

— К тому же хорошие люди. Впрочем, едва ли можно сказать, что главная их черта—доброта сердечная, я-то уж знаю. А вот грешками соседусшек моих я, пожалуй, точней их охарактеризую. Как-то в начале мая в мое отсутствие неизвестный злоумышленник ободрал мою единственную гвоздичную грушу, на диво плодоносную. Участковый полицейский меня обнадеживать не стал, сказал, что такими пустячными нарушениями заниматься не может. Но мне все же не давала покоя мысль, что «нарушение» это, пусть маленькое, останется неразгаданным до скончания века. Похититель явно толк в грушах понимал и с местом действия был знаком неплохо. Так что мне и двух рук хватило бы, чтобы лиц подозрительных пересчитать по пальцам.

— И вам удалось бросить луч света во мрак преступления?

— Я решил посвятить этому неделю, так и так предназначенную мною для роздыха, но уже на второй день, при третьем собеседовании, обнаружил виновника. Я использовал простой способ: каждому стал жаловаться, что слишком уж разозлился, и, только что не себя же обвиняя в отсталости, признался, как сплеховал, почеловечески оказался не на высоте—мол, обнаружив покражу, прямо там же, под деревом, обрушил на

неведомого похитителя страшные проклятия. Повторять каждому подозреваемому все слово в слово было необязательно, так что я постепенно расцвечивал текст проклятий. Третьим моим собеседником был мужчина, он пришел с независимым видом, но вскоре понурился и умолк — после седьмого же проклятия побледнел, явно представив себе ожидающее его черное будущее, и хотя на словах ни в чем не признался, однако же поспешил удалиться. На этой же неделе он принес нам в подарок корзиночку малины и, убедившись, что мы пробуем ее с самым доброжелательным видом, исподволь свернул разговор на украденные неизвестным злодеем груши. Весь его облик выразил облегчение, когда он услышал, как искренне я сожалею о сорвавшихся у меня сгоряча ужасных словах, и узнал, что на днях я громко, как в подобных случаях неукоснительно полагается, объявил свои свирепые проклятия, способные поломать судьбу таинственного злоумышленника, недействительными.

— А нет ли у вас примера доброты человеческой из местной жизни?

— Конечно, есть! Везде и повсюду люди отбирают у только что окотившейся кошки слепых еще котят и уничтожают, разве что одного у материнских сосков оставят. Не так обстоит дело в Кишороси. Сердце не позволяет им сгубить хотя бы одного котенка. Однако, когда наступают холода и ручные животные тянутся в дом, на кухню, вдруг выясняется, что двух-трех кошек на кухне более чем достаточно. Остальных, лишних, совсем неопытных и потому особенно милых-славных зверушек, они сажают в лодку и переправляют с острова на правый берег, где всегда большое движение и где проводят свободное время чувствительные и добросердечные горожане.

— И каждый котенок находит место?

— В кемпингах, куда приезжают с детьми, добрых людей много, вообще друзей у животных немало, а против очарования молодого котенка устоять невозможно. Те же, что все-таки остаются, становятся добычей лис, куниц, хорьков, жертвой автомобильных колес на дорогах.

— Итак, да здравствует настоящее время! Это провозглашают и фреска-часы на южной стене вашего дома: время на них, ввиду отсутствия стрелки, недвижимо.

— С девяти часов утра и до пяти вечера, если погода солнечная, я в любое время могу «завести» их. Мне достаточно для этого ткнуть указательным пальцем времени в лоб.

Содержание

<i>Е. Малыхина. Предисловие</i>	5
ПОВЕСТИ	
* <i>Холодные дни. Перевод О. Громова под редакцией В. Середы</i>	11
<i>Сын и враг человеческий. Перевод Е. Малыхиной</i>	125
РАССКАЗЫ	
Из сборника «Сын и враг человеческий»	
<i>Розика. Перевод В. Середы</i>	175
<i>На радостях. Перевод О. Тарасенко</i>	181
<i>Пошел прочь, витязь! Перевод Т. Воронкиной</i>	186
<i>Корни золотобородника. Перевод В. Середы</i>	198
<i>Ледяной мир. Перевод В. Середы</i>	213
<i>Рика вернется. Перевод В. Середы</i>	218
<i>Плач. Перевод В. Середы</i>	230
<i>Что за птица! Перевод В. Середы</i>	242
<i>Танец. Перевод С. Солодовник</i>	250
<i>Судьба Ризы. Перевод В. Середы</i>	259
<i>Искуситель в доме лесника. Перевод Ц. Гурвиц</i>	269
<i>Поздние лучи. Перевод Е. Тумаркиной</i>	285
<i>Теодоре. Перевод Т. Гармаш</i>	293
<i>Ничьи мертвые. Перевод С. Солодовник</i>	299
<i>Ой ты, небо звездное... Перевод Е. Малыхиной</i>	311
<i>Лист акации. Перевод В. Белоусовой</i>	318
<i>Буранка. Перевод Л. Бондаревой</i>	324
Из сборника «И здесь, на земле»	
<i>Давид и Дежё. Перевод С. Солодовник</i>	333
<i>Охота на лягушек. Перевод Е. Львовой</i>	340
<i>На курсах. Перевод Т. Гармаш</i>	349
<i>Через пять лет. Перевод Л. Бондаревой</i>	355
<i>Фазан, жених. Перевод С. Солодовник</i>	363
<i>Настоящим поручается... Перевод С. Солодовник</i>	368
<i>У Пала Морэ в горах. Перевод С. Солодовник</i>	374
<i>** Летняя практика. Перевод Л. Бондаревой</i>	378
Из сборника «Образы утерянные и хранимые»	
<i>Сон Эмеше. Перевод Е. Малыхиной</i>	387
<i>Двойная парабола. Перевод Е. Малыхиной</i>	396
<i>Разговор в саду. Перевод Е. Малыхиной</i>	400
<i>Гороскоп. Перевод Е. Малыхиной</i>	403
<i>Парапсихология. Перевод Е. Малыхиной</i>	406
<i>Моя родина? Настоящее! Перевод Е. Малыхиной</i>	412

* Первая публикация на русском языке в сборнике «Человек в кожаной тужурке». М., «Прогресс», 1969.

** © Перевод на русский язык издательство «Радуга», 1984.